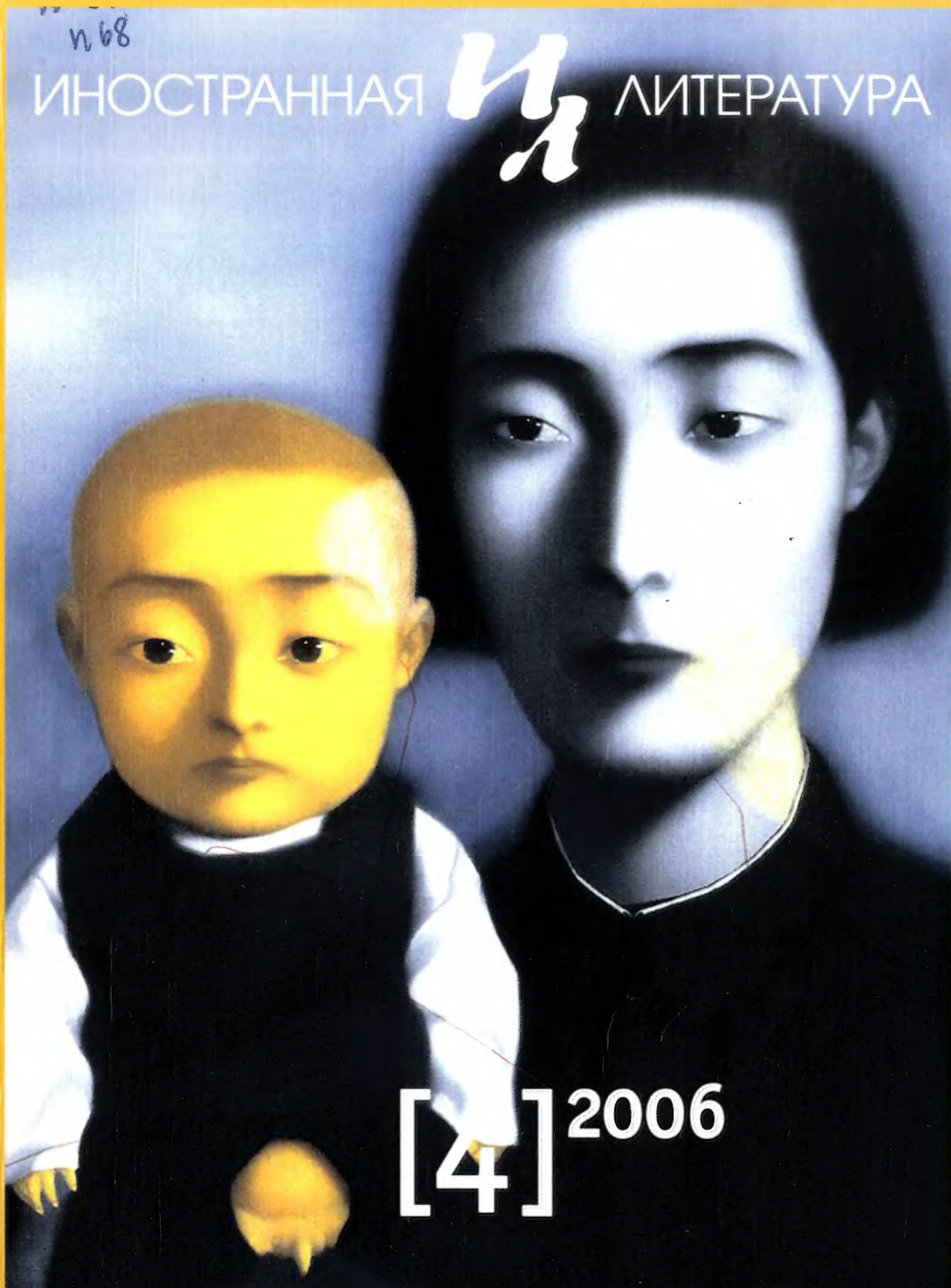
ISSN 0130-6545

п68

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[4] 2006

ПЬЕСА АНГЛИЙСКОГО ДРАМАТУРГА ПИТЕРА ШЕФФЕРА "СОГЛЯДАТАЙ" / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: ДНЕВНИКИ ДЖОНА ФАУЛЗА / РОМАН "ПЁС ОДИССЕЯ" САЛИМА БАШИ / "МИКРОРАССКАЗЫ" КИТАЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ ВАН МЭНА / БАЛИНТ БАЛЛАШИ В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ"

Основан в 1891 году

До конца 2006 года будут напечатаны:

"Не отпускай меня" – новинка от известного английского романиста КАДЗУО ИСИГУРО. Это антиутопия, где речь пойдет о клонировании. Автор, мастер закрученной интриги, рассмотрел проблему в очень необычном ракурсе...

"Свидания" – маленький французский роман о любви мастера стильной прозы КРИСТИАНА ОСТЕРА, которого "ИЛ" впервые представляет на русском языке.

"Последние истории" – роман известной польской писательницы ОЛЬГИ ТОКАРЧУК, современная сага, состоящая из трех связанных между собой новелл: биографий трех женщин.

"Игра в вышибалу" – новый роман самого читаемого автора в Чехии, МИХАЛА ВИВЕГА.

"Педант на кухне" – книга кулинарных рецептов от именитого английского острослова ДЖУЛИАНА БАРНСА.

"Рассказчик" ДЭНИЕЛА СТАШУОЭРА – биография английского писателя Артура Конан Дойла (1859–1930), создавшего образ знаменитого сыщика-любителя Шерлока Холмса.

"Curruculum vitae" – написанная в сдержанно-иронической манере автобиография знаменитой английской писательницы МЮРИЕЛ СПАРК, на страницах которой встречается немало людей, послуживших прообразами ее героев.

"Гуантанамо" – документальная книга итальянского журналиста КАРЛО БОНИНИ, где рассказывается о знаменитой американской тюрьме, расположенной на военно-морской базе США на Кубе.

"Мне пришло в голову" – очерки из автобиографической книги известного польского писателя ЯНУША ГЛОВАЦКОГО о детстве, превратностях литературной судьбы, опыте эмиграции в США и о том, как его пьесы ставились на американской сцене.

Статьи, эссе, литературные гиды и специальные номера, посвященные проблемам мировой литературы.

Новые выпуски постоянных рубрик журнала: "Документальная проза", "Вглубь стихотворения", "Из классики XX века", "Литературное наследие", "Путешествие по книге", "Трибуна переводчика", "Наши гости", "Среди книг", "Зрительный зал", "Carte blanche", "Письма из-за рубежа", "Курьер ИЛ", "БиблиофИЛ" и др.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская"). Тел. 953-51-47.

[4]
2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Питер Шеффер *Соглядатай (Ионадав).* Трагедия в двух частях. Перевод с английского и вступление Сергея Таска

70 Ван Мэн *Микрорассказы.* Перевод с китайского Ольги Мазо. Вступление Ильи Смирнова

Другая поэзия. Антология

88 Роберт Крили *Стихи.* Переводы с английского. Вступление Антона Нестерова

Дебют

104 Салим Баши *Пёс Одиссея.* Роман. Перевод с французского и вступление Е. Ляминой

Литературное наследие

211 Балинт Балашши *"Как птица воспарю и в песне воспою..."* Стихи. Переводы с венгерского. Вступление Ю. Гусева

Документальная проза

227 Джон Фаулз *Дневники.* Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление В. Бернацкой

Премия имени отца Александра Меня

283 *"Иначе нас ждет конфронтация цивилизаций..."* Беседа с д-ром Абрахамом Петером Кустерманом

288 Эрнст-Йерг фон Штудниц *Речь при вручении премии имени отца Александра Меня.* Перевод с немецкого Е. Араловой

Письма из-за рубежа

293 Павел Лемберский *Исповедь нью-йоркского киномана*

Среди книг

301 Сергей Зенкин *Место парижских картин.* Николай Мельников *Бунтующий человек Уильяма Стайрона*

БиблиофИЛ

308 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

310 *"ИЛ" рекомендует. На книжных прилавках апреля 2006-го.* Выбор главного редактора

Курьер "ИЛ"

313

Авторы номера

316

© "Иностранная литература", 2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

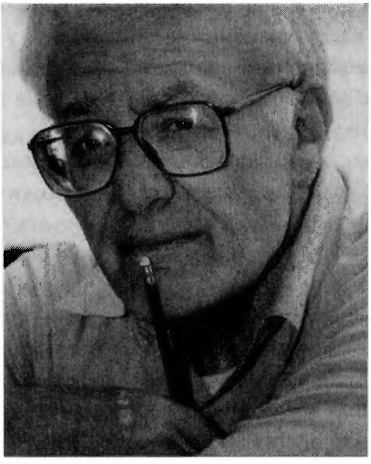
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Питер Шеффер



Соглядатай
(Ионадав)

Трагедия в двух частях
По мотивам романа Дана Якобсона "Бесчестие Фамари"

Перевод с английского и вступление Сергея Таска

Под знаком Близнецов

Курьез, достойный пера автора "Двенадцатой ночи": в 1926 году в Ливерпуле родились братья-близнецы, Питер и Энтони Шеффери, которым было суждено стать ведущими английскими драматургами XX века. На пару они написали примерно столько же пьес (добавим сюда и киносценарии), сколько Великий Бард. Но если Шекспир умер в день своего рождения... стоп, не будем продолжать опасные параллели. Энтони Шеффер ушел из жизни четыре года назад, а Питеру пожелаем еще долго здравствовать.

Поработав по военному призыву на угольной шахте, а после войны — в отделе новых поступлений Нью-Йоркской публичной библиотеки, Питер Шеффер посвятил себя исключительно драматургии. Начал он с радиопьес для Би-би-си и Си-би-эс, а первый театральный успех ему принесла "Пьеса для одной руки" в постановке Джона Гилгуда (1958). С 70-го года началось его сотрудничество с известным режиссером Питером Холлом, который, кстати, поставил и предлагаемую читателям "ИЛ" пьесу "Ионадав" в лондонском "Национальном театре" (1985). Тогда критики особо отмечали сильный актерский состав и, в частности, "неподражаемо самодовольного, серафимоподобного Авессалома".

© Macnaughton Lord, 1985
© Сергей Таск. Перевод, вступление, 2006

Излюбленный прием автора: сюжет разворачивается как mystery в обоих смыслах этого слова — как детективная загадка и как мистерия. Но это не тот детектив, когда разгаданное убийство снимает общее напряжение, а попранные на два часа нормы морали оказываются восстановленными, к обоюдному удовольствию выживших персонажей и досидевших до конца зрителей, которым автор успел изрядно потрепать нервы. Здесь все наоборот. Каждая разгадка только множит сомнения и порождает новые, неразрешимые вопросы.

Многие из пьес Питера Шеффера, представляющих удивительный сплав философских драм и сатирических комедий, были удостоены самых высоких наград. "Эквуус" в 1975 году принес автору премию "Тони" за "Лучшую пьесу сезона", а также престижную премию нью-йоркских театральных критиков "New York Drama Critics Circle Award". Спектакль выдержал на Бродвее более тысячи двухсот представлений. Еще больший успех выпал на долю "Амадея", который также получил премию "Тони" (1981), годами не сходил с театральных подмостков, а одноименный фильм Милоша Формана собрал восемь "Оскаров", в том числе за лучший сценарий. В 2001 году драматург был возведен в рыцарскую степень.

Питер Шеффер не нуждается в особом представлении. Наш зритель хорошо знает его по двум ярким спектаклям во МХТе — "Эквуус" (Станислав Любшин) и "Амадей" (Олег Табаков — Сальери и Сергей Безруков — Моцарт), — а также памятной постановке "Любовного напитка" в Театре им. Маяковского (Наталья Гундарева и Евгения Симонова).

Действующие лица

Ионадав — племянник царя Давида.

Давид — царь Иудеи и Израиля.

Амнон — старший сын Давида.

Авессалом — любимый сын Давида.

Фамарь — дочь Давида.

Милха — служанка Фамари.

Шесть служителей.

Действие пьесы происходит в Иерусалиме.

Время действия — X век до Рождества Христова.

От автора

Сценическая площадка состоит из внутреннего и внешнего круга. По периметру последнего неподвижно сидят служители — шесть фигур в белых одеждах и белых масках-чулках, натянутых на головы и скрывающих лица. Они исполняют все второстепенные роли — других сыновей Давида, телохранителей, священников, носильщиков, слуг, женщин и жителей Иерусалима. Они производят разные звуки, но не участвуют в диалоге. Их жесты графически выразительны.

Звуковая партитура в более сложной оркестровке дублируется в зрительном зале.

Часть первая

Сцена первая

Отдаленная музыка. Входит Ионадав, мужчина средних лет, в одежде своего племени. Сцена погружена в темноту.

Ионадав *(зрителям)*. **Вооламнон райах воошомов Йонадаб.** – Но у Амнона был друг по имени Ионадав. **В'Йонадаб иисе хохом м'од.** – Ионадав был человек очень хитрый. Иными словами, изворотливый – так в моем племени называют тех, кого Бог наделил умом. А это, сами понимаете, большая редкость. Если кому интересно, я цитирую по каноническому изданию Библии – Вторая книга Царств, глава тринадцатая. Я там удостоился двух упоминаний: первый раз как "хитрый", второй раз в смысле "утешитель"... а так меня как бы и вовсе нет. Что весьма кстати.

Пауза.

История, надо сказать, препаршивая. Средневековые раввины, читая вслух Священное Писание, опускали ее целиком, а ведь они не знали и половины правды. Я один знаю всю подноготную, и беречь ваши уши я не стану. Не для того, милые мои, я столько лет пребываю в *лимбе*, между раем и адом, чтобы щадить чьи-то чувства.

Пауза.

Это история всеобщего обмана, где каждый – одновременно обманщик и обманутый. История падения великого царя и всего "дома Давидова", и тут не обошлось без вашего покорного слуги. Я, презренный Ионадав, – сын Самая, брата Давидова, которого обошел пророк Самуил, помазав на царство младшего брата, в то время безусого юнца, и поставив его царем над коленами Иуды и Израиля.

Освещается внутренний круг – Давид на троне.

Царь Давид, сын Иессея, мой всемогущий дядя, главная фигура в мировом пасьянсе трехтысячелетней давности. Ревнивый, лживый, похотливый Давид, которого Бог Яхве поставил над избранным народом, народом скрижалей Господних. Вам, для кого скрижали Завета сделались общим местом, трудно даже представить, чем они были для племени, которое в жестокости могло поспорить со своими соседями.

Служители – четыре связанных пленника – опускаются на колени перед Давидом; двое – священники – становятся сзади.

Выкиньте из головы образы запуганных обитателей гетто или добрых меценатов, создателей культурных центров. В те времена мы не были запуганными – и добрыми тоже не были. Мы вырезáли всех подряд именем нашего Господа. Аммонитян, хананеев, иевусеев, амаликитян, евеев, хеттеев, ферезеев, моавитян... всех этих на "ян" и на "ев", о которых вы, нынешние, ничего не знаете, а почему? Да потому, что мы их всех вырезали подчистую. Не скажу, что мне их очень жаль... дикари... хотя были еще похлеще – возвышавшиеся над нами всемогущие вавилоняне и асси-

Питер Шеффер. Соглядатай (Ионадав)

рийцы. Словом, не впадайте в заблуждение, представляя себе Давида этаким пастушком, отдыхающим на лужке. Его лугом был город из камня на вершине каменистого холма; и десять заповедей, тяжелые, как каменные глыбы, перекатывались у него во рту.

Давид *(сурово)*. Этих людей будут судить перед народом. Они сделали себе золотых истуканов и за это достойны смерти. Отведите их на площадь, и пусть их забьют камнями. Сэла́![1]

Двое священников поднимают вверх руки.

Говорю вам: благословен тот, кто ходит путями Господа. И проклят тот, кто уклоняется от путей Господних. Не потерплю оскверняющего нечистотами стену Храма. Так же сделай со мной, Господи, если я нарушу хоть одну букву Твоего закона. Сэла́!

Он ударяет в ладоши. Барабанная дробь. Пантомима: священники забивают камнями осужденных, те замертво падают на землю. Зрительный зал заполняют выкрики толпы и трубный глас пастушеских рогов-шофаров. Перемена света. Священники уходят. Мертвые лежат.

Ионадав *(зрителям)*. И так каждый день. Иерусалим провонял кровью. Человеческой, бежавшей по сточным канавам; жертвенной, заливавшей алтари. А из пустыни ветер приносил запах чужой крови, что уходила в песок из порубленных тел врагов наших. От этой вони меня выворачивало наизнанку. Что поделаешь, тонкая натура. Такая вот белая ворона. Кстати, это единственное, что я, подлая душа, могу предъявить в свое оправдание. Да, я натура тонкая... чего не скажешь о Творце. Как Он мог создать меня по своему образу и подобию? Смотрите: вот я, чувствительный Ионадав, и вот Он, свирепый Яхве, которого не умягчит ни женская ласка, ни спасительная самоирония. Не вижу сходства между мной и Им... если Он вообще есть. *(Понизив голос.)* При жизни я не смел даже намекнуть на это, но не думайте, что меня не посещали сомнения. Знатоки Библии, если таковые среди вас найдутся, видимо полагают, будто древние израильтяне все как один были истовыми верующими. Вранье! Вот перед вами я, червь пресмыкающийся. И таким становится всякий, кто падает ниц перед Единым Богом из страха быть забитым камнями. А сердце тянется к другому — к Богу, который не держит камня за пазухой.

Мертвые встают...

Давид. Пусть подойдут мои сыновья. Подайте им угощенья.

...теперь это Адония, Ифреам, Сафатия и Совав. Еще двое — слуги — вносят блюда с едой.

Ионадав *(зрителям)*. Последуем за ними, ибо с этого застолья, в сущности, начинается наше повествование. Ваше счастье, что вас не пригласили разделить трапезу. Еду готовили под наблюдением раввинов, ничего не смысливших в кулинарном искусстве, так что можете себе представить, чем нас потчевали. Знаете, от чего больше всего страдали люди за тысячу лет до Р. Х.? От медвежьей

1. Слово, встречающееся в псалмах Давида и предположительно означающее паузу во время музыкального исполнения либо повышение голоса (в русском синодальном переводе оно всюду опускается). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

болезни. *(Переходит на внутренний круг.)* Кстати, этот "Х", происходящий из рода Давидова, — мой дальний родственник.

Давид *(с приветственным жестом).* Адония. Ифреам. *(Они склоняют перед ним голову. Ионадав низко кланяется братьям, но те его игнорируют.)* Сафатия. Совав. *(Тот же ритуал.)*

Все садятся. Слуги подносят еду для царского благословения.

Ионадав. У Давида были еще сыновья, такие же безликие. Та еще свора: злые, горячие кобели, которые меня не замечали, зато со старого хозяина не сводили глаз... когда уже он подохнет?

Давид встает. Все, включая Ионадава, падают ниц.

Давид *(простирая руку над едой).* Хвала Царю Небесному, который дает нам хлеб насущный! *(С завуалированной угрозой.)* И благословен тот, кто мирно ест его с братьями своими, не имея тайного умысла в сердце своем. *(Пронзает их тяжелым взглядом.)* Ешьте и радуйтесь.

Слуги ставят блюда перед едоками и уходят на внешний круг. Братья приступают к трапезе. Ионадав запускает руку в общую миску.

Ионадав *(зрителям).* Когда-то Давид велел убить Урию Хеттеянина, чтобы завладеть его женой Вирсавией. Говорили, будто за это Господь поразил их сына-первенца и предсказал Давиду, что не отступит меч от дома его вовеки. Судите сами...

Перемена света. Двое слуг на внешнем круге принимают ритуальные позы египетских божеств — Озириса и Изиды. На внутреннем круге братья низко склоняются над едой. Экзотическая музыка.

Сколько я себя помнил, мне всегда хотелось убежать без оглядки из этой скотобойни. Каждую ночь, засыпая в своей комнатенке вдали от дворца, я уносился в своих мечтах далеко-далеко. Еще мальчиком я услышал легенду о Царстве Вечного Мира — это было давно, когда правили юные и влюбленные друг в друга царь и царица. Боги даровали им красоту и бессмертие.

Озирис и Изида заключают друг друга в объятия.

Там воздух оглашали звуки флейты, а не истошное блеянье баранов перед закланием. Там храмы украшались статуями добронравных божеств — не табличками с грозными запретами. Там небеса проливали золотой дождь благодати — не огонь и серу слепого возмездия.

Царь и царица, держась за руки, уходят со сцены.

Иногда я видел это так ясно: загорелые плечи царя, подведенные бирюзой, живые глаза царицы... Бредовая фантазия, согласен. С сексуальной, отнюдь не небесной подоплекой. Слишком красиво для этих мужланов. Но она как-то утешала меня в этом царстве страха и палочной дисциплины.

Сцена вторая

Перемена света. Из противоположных кулис выходят Амнон и Авессалом. Амнон, этакий здоровый, тугодумный бычок тридцати с лишним лет, кажется рассеянным. Юный Авессалом поражает красотой и статью; его

необыкновенные, черные как смоль волосы собраны в узел. На лице первого написана глуповатая наивность; лицо второго выдает пылкую натуру, еще незрелую и потому опасную. Здесь же другие ЦАРЕВИЧИ. АВЕССАЛОМА сопровождают ДВОЕ ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ с посохами, которыми они ударяют об пол, выражая таким образом свое отношение к происходящему.

ИОНАДАВ. К этим, в отличие от других сыновей, стоит приглядеться.

ДАВИД. А вот и солнце наше, Авессалом!

АВЕССАЛОМ *(с горячностью)*. Да хранит тебя Господь вовеки, возлюбленный отец!

ИОНАДАВ. Любимчик Авессалом. Единственный, кому разрешено иметь личную охрану. Отрада всех, кто хотя бы раз его видел. Ярчайшая звезда... поневоле отвернешься.

ДАВИД. Амнон!

АМНОН *(отделывается легким поклоном)*. Храни тебя Господь, отец.

ДАВИД. Что? Я тебя не слышу.

АМНОН *(громче, угрюмо)*. Храни тебя Господь, возлюбленный отец.

ДАВИД. Благодарю.

ИОНАДАВ. Амнон, старший сын по кличке Бычок. Мой друг и высокий покровитель. Куда я без него? Как червя раздавят.

Амнон подзывает его кивком. Ионадав подходит.

Как все быки, он страшно похотлив. Но, в отличие от быков, с претензией. Забавное сочетание. Главное его желание – прослыть человеком думающим. Меня он считает ученым. На его фоне – еще бы! *(Амнону, подобострастно.)* Мой царевич.

АМНОН *(понизив голос, раздраженно)*. Где ты пропадал?

ИОНАДАВ. Семейные дела. Имение в Галилее. Вот уж дыра так дыра.

АМНОН. Ты был мне нужен.

ИОНАДАВ. Сожалею.

АМНОН. Приходи, как стемнеет.

ИОНАДАВ. Если смогу.

АМНОН. Если? Сегодня, как стемнеет! *(Резко.)* Ты меня понял?

ИОНАДАВ *(удивившись)*. Да, мой царевич. *(Зрителям.)* Что-то стряслось. Давно я его таким не видел.

ДАВИД. Амнон!

АМНОН. Ммм?

ДАВИД. Подойди. Что с тобой? Ты не заболел? Ну-ка... *(Поворачивает его лицо к себе.)* У тебя запой?

АМНОН. Нет.

ДАВИД. "Нет"! Ты с кем разговариваешь?

АМНОН. Нет, возлюбленный отец.

ДАВИД. Значит, шлюхи?

АМНОН. Нет, возлюбленный отец.

Давид. Как бы не так. *(Забавляясь.)* Совсем они тебя заездили.

Амнон. Ничего подобного, клянусь!

Давид. Не боишься оказаться клятвопреступником?

Амнон. Не был я с женщиной, отец!

Давид. Давно ли?

Амнон *(огрызается)*. Давно! Месяц... два... не помню!

Братья издевательски цыкают. Он в ярости оборачивается к ним.

Это вы из постелей шлюх не вылезаете, а у меня есть дела поважнее! У вас же не головы, а пустые черепушки!

Братья и телохранители в восторге стучат посохами об пол.

Давид. Тсс. Ты у нас бык, могучий бык! Мысли — это удел Авессалома. *(Младшему сыну.)* Что ты думаешь, солнышко? Он говорит правду?

Авессалом. Откуда мне знать, величайший из отцов? Он такой скрытный. Мы его совсем не видим.

Амнон. Как это?

Авессалом. Когда ты был последний раз во дворце?

Амнон. А чего мне здесь глаза мозолить!

Все смеются.

Давид. Тсс! Довольно! Ты мрачный и скрытный, зато Авессалом у нас как ясное солнышко. *(Авессалому.)* Чего ты хочешь, свет моих очей? Чем вознаградить тебя за твою открытость?

Авессалом. Мне ничего не надо, возлюбленный отец!

Давид. Будто бы. Всем что-нибудь да надо от царя!

Авессалом. Что ж, есть у меня одно желание.

Давид. Так-так!

Авессалом. Чтобы ты, отец, посетил меня в Ваал-Гацоре. В следующем месяце праздник Кущ[1]. Ты уже много лет не покидаешь города. Простые люди хотят тебя видеть! Я правду говорю?

Телохранители с одобрением стучат своими посохами.

Если ты приедешь, я велю раскинуть шатры... сотни, тысячи шатров!

Одобрительный стук посохов. Авессалом почтительно склоняется перед Давидом. Вдруг все застывают.

Ионадав *(зрителям)*. С этим приглашением в деревню он обращается к отцу каждый год, и всякий раз Давид придумывает новую причину для отказа. Он слишком подозрителен, чтобы покидать пределы столицы.

Давид. Мой мальчик, царь себе не принадлежит. Когда он путешествует, его подданные ждут небывалого спектакля. Они хотят видеть своего правителя во всем блеске.

1. Один из трех главных еврейских праздников седьмого месяца в память странствования евреев по пустыне и жизни в шатрах.

Авессалом. Так возьми с собой всю свиту! Мои владения благодаря тебе, самый щедрый из отцов, обширны и плодородны.

Давид. Избави Бог, чтобы мои дети доказывали свою любовь, как нищие, выпрашивающие подаяние!

Авессалом. Не милостыни я прошу, отец.

Давид. Нет, и весь разговор!

Авессалом. Не знаю, как мне доказать свою...

Давид *(грубо)*. Я сказал, ни слова больше! *(Берет себя в руки.)* Иди сюда. Дай прижать тебя к моей груди. Послушай, как бьется любящее сердце! *(Заключает сына в объятия.)*

Свидетели этой семейной сцены издают крики одобрения.

Красавчик, а? И родился у такой образины!

Авессалом *(смущен)*. Отец...

Давид. Кто может похвастаться такими волосами? Какая женщина? Ну, отцу можно! *(Гладит его по волосам.)* Знаете, сколько они весили, когда он их в последний раз подстригал? Он у нас скромник, слова не вытянешь, так я послал своих людей узнать. Двести сиклей! Не волосы – чистое золото! Видел ли Израиль что-нибудь подобное?

Стучат посохи, рукоплещут царевичи. Амнон отвернулся.

Что, Амнон, нахмурился? Ревнуешь? Зря! *(Встает с трона, подходит к нему.)* Ты мой первенец! Мой бесстрашный Бычок! *(Изобразив рога на голове, делает выпады.)* Ха!.. Хххха! *(Роет "копытом" землю. Боднул Амнона "рогами", тот с досадой его оттолкнул. Зашипели братья. Повисла тишина.)* Ого! *(С угрозой в голосе.)* Наш Бычок сегодня не в духе. Це-це-це. А где моя девочка? Вас я, вижу, захвалил. Того гляди испорчу. Я хочу видеть Фамарь! Где Фамарь?

Авессалом. Она здесь. Ждет, когда ты ее позовешь.

Давид *(с притворным изумлением)*. Здесь? Ты не шутишь?

Авессалом. Как можно?..

Давид. Нельзя. Впустите же ее! Пусть нас потешит! Фамарь! Фамарь, где ты? Мы жаждем тебя видеть! Ну-ка, мальчики!

Царевичи стучат руками по помосту – так нетерпеливые зрители требуют, чтобы начинали спектакль. Телохранители ударяют в пол посохами. Музыкальный аккорд. Все застывают.

Ионадав *(зрителям)*. А сейчас, любезные мои, **она**... какая же история без женщины? Здесь она – главное лицо, с нее эта буча началась, ею и закончилась. Умащенная и разодетая, приведенная из дворцового гарема для ублажения царя, родная сестра Авессалома и сводная сестра Амнона, любимая дочь старого греховодника – Фамарь! Самое избалованное существо в царстве Давида!

Музыка. Входит Фамарь, чье лицо скрыто покрывалом, и приседает перед царем. Она юна и удивительно хороша собой.

Кукла, не удостаивавшая меня даже презрительным взглядом.

Давид *(открывая ее лицо)*. Совершенство! Я велю написать на скрижали из порфира: "Господь создал совершенство!"

Царевичи согласно барабанят по помосту.

Моя радость, позволь мне усладить твое нёбо! *(Протягивает ей какую-то восточную сладость.)*

Фамарь. А благословить?

Давид. А?

Фамарь. Еду надо благословить, разве ты не знаешь?

Давид *(забавляясь)*. Ну разумеется. Умница моя. *(Держа кусок перед собой.)* Хвала Царю Небесному, который дает нам хлеб насущный!

Фамарь *(набожно)*. Аминь.

Давид *(кладет ей в рот лакомство)*. А теперь ты нам споешь.

Фамарь. Нет.

Давид. Что?

Фамарь. Не сегодня.

Давид. Но я все утро ждал этой минуты. Мы все ждали!

Фамарь. Прости. Нынче я не в голосе.

Давид. Глупости! Ты хочешь, чтобы тебя уговаривали! Амнон, попроси свою сестру, для тебя она споет. *(Тот словно не слышит.)* Амнон!

Амнон *(не глядя на нее, тихо)*. Спой, Фамарь.

Давид. Что это? Не очень-то убедительно. Ты просишь о милости, за которую можно отдать все наше царство! Кто же станет петь для такого сухаря! Да, моя голубка?

Авессалом *(вскакивает на ноги, с воодушевлением)*. Спой, Фамарь, я прошу тебя! Спой для меня, а я тебе подыграю!

Давид *(резко)*. Нет. Тебе еще надо поучиться. Дайте мне гусли!

Рукоплескания. Царю подают инструмент. Фамарь присела на ступеньки у подножия трона. Царь коснулся струн, девушка отозвалась мелодичным эхом. Но вот зазвучали уверенные переборы. Девушка поет и танцует, походя флиртуя с братьями. Сначала она заигрывает с Авессаломом, игнорируя Амнона, сидящего с низко опущенной головой. Вдруг, словно невзначай, задевает лицо Бычка покрывалом, и тот едва не теряет сознание. От яростного бессилия он вдребезги разбивает блюдо. Песня оборвалась. Пальцы царя замерли над струнами. Все уставились на Амнона, тот отводит глаза.

Давид *(с трудом сдерживая гнев)*. Кажется, я не ошибся: мой Бычок сегодня немного перебрал. От вина быки становятся еще более неуклюжими. Фамарь, не обращай внимания. Пой!

Фамарь *(надулась)*. Не хочу. Он все испортил.

Топнув ножкой, она швыряет покрывало в лицо Амнону и убегает. Давид, прошипев что-то в адрес старшего сына, уходит в сильном раздражении, за ним Авессалом и его телохранители. Слуги уносят царский трон. Перемена света. Сверху опускается балдахин с подобранными матово-белыми занавесями. Мы переносимся в...

Сцена третья

Дом Амнона. Закатное солнце. Амнон мечется по комнате, затем садится. Лицо его выражает страдание.

Ионадав *(зрителям)*. Разумеется, вино здесь было ни при чем. Вдруг я все понял. Вы тоже? Глаза-то нам на что! Вот так сюрприз. Как это могло случиться?.. Я шел к Амнону, сгорая от нетерпения.

Служители — двое рабов — проводят его к Амнону, на внутренний круг, и уходят.

Амнон?

Амнон *(тупо)*. Ммм?

Ионадав. Я пришел...

Амнон. Подойди.

Ионадав с опаской подходит.

На колени!

Ионадав опускается на колени. Амнон показывает нож.

Ну!

Ионадав. Что?

Амнон. Смелее! *(Вкладывает ему в руку нож.)* Бей сюда! Ну! Давай!

Ионадав *(сопротивляясь)*. Нет, Амнон! Нет! *(Отшвыривает нож.)* Я не за этим пришел. Изволь объяснить.

Пауза.

Амнон. Я не могу... не смею...

Ионадав. Я тебя не понимаю.

Амнон. О таком не говорят вслух! Никто и никогда!

Ионадав. Я скажу.

Амнон *(после паузы)*. Ты?

Ионадав. Поклянись, что ты не причинишь мне вреда.

Амнон подносит пальцы ко лбу.

В Израиле есть закон: не обнажай наготы сестры своей, хотя бы даже сводной.

Пауза.

Угадал?

Амнон *(едва слышно)*. Да.

Ионадав. И давно ты возжелал этого?

Амнон. Давно.

Ионадав. А точнее?

Амнон. Месяц назад! Во дворце. Она пела ту же песню, и пальцами так: щелк, щелк. Понимаешь? Щелк, щелк. И теперь она у меня здесь. *(Показывает на голову.)* Днем и ночью! Только глаза закрою: "Я здесь, Амнон!.. Я с тобой, Амнон!.. Чего ты ждешь, Амнон!.." Я был у кудесника. Я его спросил: "Разве щелканье пальцев может

разбудить демона?" — "Может". — "Так прогони его!" Он взял краски и нарисовал мне на груди вот это. Смотри! *(Обнажает грудь, показывая каббалистический знак, переливающийся яркими цветами.)* Сказал, чтобы я семь дней этого не трогал. А толку! Еще хуже стало. С каждым днем все хуже и хуже...

Ионадав. Ш-ш-ш! Ну что ты, Амнон. Я же с тобой. Твой верный друг. *(Прижимает его к себе. Амнон застыл. Зрителям.)* В ноздри мне ударил запах — свалявшейся бычьей шерсти... и страха. И в эту минуту **во мне** проснулся демон! Тот, что так чутко спит в кишках всех презренных и презираемых. Демон жажды похлеще той, что мучила Амнона, — жажды разрушения, катастрофы, вселенского хаоса! Уничтожить великих мира сего, вытирающих об меня ноги! Уничтожить "дом Давидов", для которого я не существую! Уничтожить его Бога! Почему бы нет? Пусть защищается! Пусть доказывает, что Он есть! Пусть всесокрушающий Яхве попробует меня остановить!

Пауза.

Я открыл рот, и это было началом конца...

Амнон зашевелился, застонал.

Нет, Амнон, это не демон. Кажется, тут сокрыт великий смысл.

Амнон. Что ты хочешь сказать?

Ионадав. Трудно... страшно об этом говорить... но все сходится.

Амнон. Что? Да говори же! Ну?

Ионадав. Я часто рассказывал тебе одну старинную легенду. О Царстве Вечного Мира.

Амнон. Которым вместе правили юные Царь и Царица.

Ионадав. Влюбленные друг в друга.

Амнон. Им было даровано бессмертие.

Ионадав. Да.

Амнон. И что же?

Ионадав. Они были братом и сестрой.

Пауза.

Эту легенду так чтят в Египте, что брак между братом и сестрой разрешен там по сей день.

Амнон. Нет!

Ионадав. Только в царских семьях. Не просто разрешен — предписан.

Амнон. Предписан?

Ионадав. Египетские цари являются богами, разве ты не знал? Наши священники об этом помалкивают, поощряя невежество... для нашего же блага, разумеется.

Амнон. Продолжай!

Ионадав. В долине Нила люди верят, что царский отпрыск несет в себе свет божественности.

Амнон *(испуганно)*. Тише ты!

Ионадав. Наш Бог, понятно, светом ни с кем не делится. В Египте все иначе: царский сын обладает бессмертием по праву рождения и только ждет решающего мгновения.

Амнон. Какого?

Ионадав. Чтобы зачать свое бессмертие. Вместе со своей сестрой.

Амнон. Зачать?

Ионадав. На ложе.

Амнон. Молчи!

Ионадав. На священном ложе, разумеется.

Амнон. Мерзость! Какая мерзость!

Ионадав. Мне не стоило говорить об этом.

Амнон. Да! Не стоило! Продолжай.

Ионадав. Переменим тему. Я слишком многим рискую.

Амнон *(вскочил на ноги)*. Я сказал: продолжай! *(Спокойнее.)* Ты у нас ученый. То, что простые люди называют богохульством, у тебя — предмет исследования. Это дозволено. Я тебе дозволяю. Я тебе предписываю! *(Смеется.)*

Ионадав *(после паузы)*. Избранничество — тебе это что-нибудь говорит?

Амнон. Это как?

Ионадав. В старинных легендах сестра среди всех братьев должна указать на своего избранника — как Самуил когда-то указал на твоего отца. Она посещает его как видение и приглашает разделить с ней вечную жизнь.

Амнон. Видение!

Ионадав. Да. Это устраивают боги, а ей самой и невдомек. Я читал папирусы. Настоящее чудо. Лишь один из сотен тысяч удостаивается этой великой чести. Другие просто не вынесли бы такого испытания.

Амнон. Почему?

Ионадав. Царевна поселяется в голове несчастного царевича. Она терзает его денно и нощно. Кому под силу вынести подобные муки? Он вожделеет... бьется в судорогах... теряет сознание. Иной, кажется, вот-вот умрет.

Амнон. Точно!

Ионадав. Но в конце концов он побеждает — если достоин ее выбора. И в обладании друг другом... о, эта неземная нежность нам, простым людям, неведома... они достигают бессмертия! Когда земной их путь заканчивается, они вдвоем уходят в иной мир, где их любовь длится вечно.

Амнон *(молчит под впечатлением услышанного; с нервным смешком)*. Неужели ты веришь этому, Ионадав?

Ионадав. Я, как ты сам сказал, ученый. Просто рассказываю, во что верили люди. А Египет, что бы там ни говорили наши священники, величайшее царство. От его сокровенных тайн, мой дорогой, смехом не отделаешься. *(Помолчал.)* Твой кудесник прав: скорее всего это демон, которого можно изгнать молитвами и постом. Но если, паче чаяния, это не демон... значит, мы имеем дело с чудом. Ты — Избранник! Невероятно, но факт.

Амнон *(переварив его слова)*. А как можно проверить?

Ионадав. Путь один — самопознание.

Амнон. Самопознание?

Ионадав. Это когда человек заглядывает в себя. Я не уверен, что ты способен это выдержать.

Амнон. Я старший сын Давида! Нет такого, чего бы я не выдержал!

Ионадав. Ты можешь провести неделю затворником в этой комнате?

Амнон. Спрашиваешь!

Ионадав. Загляни в себя, и ты увидишь притаившихся старых богов. Спроси у них: "Это демон или судьба?"

Амнон. И спрошу!

Ионадав. Они ответят — ее устами. То, о чем ты мечтаешь, да будет священнодействием — или пусть не будет совсем.

Амнон *(раздраженно)*. Никогда этому не бывать! А то ты не знаешь, что ее держат взаперти!

Ионадав. Сначала выясни, судьба ли это. Запри все двери. Разрисуй тело знаками каббалы. Одного знака, если это демон, пожалуй, мало.

Амнон. Еще он дал мне оберег. *(Показывает.)* Сильнее не бывает.

Ионадав. Носи его — тут лишняя предосторожность не помешает. И никому ни слова! Если это демон — схватись с ним. Если судьба — положись на меня. Я придумаю, как выманить ее из дворца. Клянусь. *(Касается лба кончиками пальцев.)* И Божий промысел порой требует земного вмешательства.

Амнон. Вот уж не думал, что ради меня ты готов на всё!

Ионадав. Не забывай, мы, простые смертные, можем мечтать, но осуществить мечты дано только царям.

Амнон. Хорошо сказал!

Ионадав. Неделя затворничества! *(Зрителям.)* С этими словами я отбыл в наше имение, подальше от дома Амнона. За неделю этот болван потеряет остатки разума!

Сцена четвертая

Перемена света. Амнон опускается на колени, целует амулет и надевает его на шею. Четыре служителя входят с паланкином и уносят в нем Ионадава на внешний круг.

Амнон. Защити меня от всех демонов и духов! Сэла́ и аминь!

Ионадав *(зрителям)*. В носилках по пути в наше именьице я был как пьяный. Всё! Это конец! Мне ли тягаться с помазанником Божиим и царскими выродками? Хуже — с самим Всевышним? Зарвался! Не таких обламывали! *(Задирает голову к небу.)* Что Ты молчишь?

Амнон. Фамарь! Приди ко мне, Фамарь!

Ионадав. Всю неделю меня терзали видения... его тоже.

Амнон. Явись, спаси меня, или я издохну как пес!

Ионадав. Мои были похабнее. Фамарь, невинная голубка, недотрога, опрокинутая навзничь.

Амнон. Где же ты? Заговори со мной!

Ионадав. Не в боли дело. И не в насилии. Просто грязь и бесчестье. То, что всегда было **моим** уделом, изволь теперь хлебнуть ты... породистый зверек!

Амнон *(бьет поклоны)*. Громче! Я тебя не слышу!

Ионадав. Всех презирающая Фамарь и всеми презренный Ионадав — на одной доске! Испытай разок, каково это — жить среди царских плевков!

Амнон *(раскачивается как одержимый)*. Да!.. Да!.. Еще!.. Еще!..

Ионадав. Но сначала следовало придумать, как выманить ее из дворца. Всем известно: чем проще, тем вернее. Мой план был гениален в своей простоте.

Амнон. Я твой слуга! Я твой раб! Еще! Еще! Еще!

Ионадав сходит на землю. Паланкин уносят.

Ионадав. Его первая догадка была, разумеется, верна. Охватившая его похоть — что это, как не демон... чьи зубы раздирают плоть... чей язычок змейкой вползает в ухо... чей бред заставляет человека поверить чему угодно? Да, милые мои, чему угодно, лишь бы загасить этот пожар.

Амнон. Да!.. Да!.. Да!..

Он разворачивается всем телом навстречу Ионадаву, который ступает на внутренний круг. Перемена света.

Сцена пятая

Амнон. Я знаю!

Ионадав. Что?

Амнон *(в сильнейшем возбуждении)*. Все как ты сказал! Что я пережил! Я думал умру. Еще день, и меня разорвало бы в клочья. Боги укрепили меня, видишь, ты прав — кто, как не они! Их много... сотни сотен! Они говорили со мной через **нее**! Я сам долго не верил! Она произносила слова, которых знать не знает. "Внемли!" Ничего, да? "Внемли! Я твоя сестра! Такой союз, Амнон, запретен для всех, кроме избранных! Только он способен разорвать цепь, которой скованы смертные! Они знают страсть, заставляющую их повторять одни и те же телодвижения, но не знают, во имя чего! Ты

избран причаститься божественному знанию! Ты узнаешь *(многозначительный жест)* **смысл желания**!" Ну, что скажешь?

Ионадав. Невероятно.

Амнон. "Ты унаследуешь трон, – сказала она. – Ибо скоро наш отец умрет. Тогда мы станем царствовать вдвоем как муж и жена. Новое светило взойдет над Землей Обетованной! Солнцеликий – так будут впредь называть Амнона, не Авессалома! Когда же закончатся наши земные дни, мы перейдем в другой мир, ты и я, и будем вечно счастливы!"

Ионадав. Она все это сказала?

Амнон. Слово в слово! Я слышал ее так же ясно, как слышу тебя.

Ионадав. Я тебе верю! Просто... у меня нет слов. *(Амнон застывает. Зрителям.)* Я правда растерялся. Я не верил ушам своим. Мой ручеек мистицизма он превратил в бурную реку, сметающую все преграды! Мол, одна ночь любовных утех сделает его **бессмертным** – как вам это понравится? И это говорил человек, который перепробовал больше женщин, чем иные из вас – горячих блюд... в сущности, они и были для него едой: проглотил и забыл. Но ведь он не играл! О, игру я вижу за версту. Нет, тут серьезно. Связь с сестрой, по примеру древних, освободит нашего Бычка от оков, коими опутаны мы с вами! Как куколка, он сбросит кокон и бабочкой улетит высоко-высоко! Туда, где нет ни тлена, ни страданий. В рай небесный. На полном серьезе! У вас это в голове укладывается? *(Презрительно тычет пальцем в Амнона.)* Он! В раю! Грязное, тупое животное в золотой попоне!

Амнон *(самодовольно)*. Я избранный! Меня ждет награда! Тебя, кстати, тоже.

Ионадав. Меня?

Амнон. Ну да. Спутники бессмертных тоже могут обрести бессмертие. Кто это говорил, рассказывая о фараонах?

Ионадав *(зрителям)*. Было такое. Я сделал вид, что у меня нет слов.

Амнон. Ты что-то сказал?

Ионадав. У меня нет слов.

Амнон. По-твоему, я сошел с ума?

Ионадав. Нисколько. Я ведь предчувствовал это, если ты помнишь.

Амнон. А я о чем! Один к одному!

Ионадав. Скажи... тебе не страшно?

Амнон. Страшно? Со мной боги!

Ионадав. Ну да.

Амнон. Тебе только осталось выполнить свое обещание – помочь им.

Ионадав. То есть привести **ее** сюда.

Амнон. Ты придумал – как?

Ионадав. Да.

Амнон. Правда?!

Ионадав. Я не бросаю слов на ветер.

Амнон. Ты потрясающий друг! Лучший со дня сотворения мира! Когда я стану царем, заявлю это во всеуслышание.

Ионадав. Право же, я того не стою.

Амнон. Еще как стоишь! *(Деловито.)* Как же ты это сделаешь?

Ионадав. Только царь может отпустить ее из дворца.

Амнон. Ну и?

Ионадав. Пошли сказать ему, что ты на смертном одре. Ты неделю не был при дворе — это прозвучит убедительно. Он поспешит сюда. Здесь ты его попросишь прислать к тебе Фамарь, чтобы она ухаживала за тобой.

Амнон. Он откажет.

Ионадав. Почему?

Амнон. Он любит отказывать.

Ионадав. Его тронет твоя просьба. Он увидит в ней смирение и сыновнюю почтительность.

Амнон. Глупая затея. Ничего не выйдет.

Ионадав. Почему?

Амнон. Слишком просто.

Ионадав. Чем проще, тем вернее. Послушай, уже сегодня ты будешь держать ее в объятьях! *(Обнимает его за плечи, доверительно.)* Амнон, ты должен обойтись с ней как можно ласковее. Будь с ней таким же нежным, каким ты будешь с Израилем. Взойди с ней на ложе и скрепи ваш союз любовью. Во имя Вечного Мира.

Амнон *(со вздохом)*. А... а...

Ионадав *(зрителям)*. Пока я говорил с ним, я понял одну вещь — **я должен это видеть**. Спрятаться... где-нибудь поблизости... и все увидеть воочию. Легко сказать!

Амнон *(вздохи сменяются стонами)*. А!.. А!.. А!.. *(Согнулся пополам.)*

Ионадав. Что с тобой?

Амнон *(сотрясаемый конвульсиями)*. *Ааа!.. Ааа!..*

Ионадав. Амнон! Что случилось? Скажи мне!

Амнон. На помощь! Эй, слуги! *(Хлопает в ладоши.)* Ко мне!

Служители — два раба — прибегают на крики.

В постель! Ааа!

Они подхватывают его под руки. Вдруг все застыли.

Ионадав *(зрителям)*. Невероятно. Не успел я заикнуться о мнимой болезни, как он и вправду заболел. Да как! Опять же, никакого наигрыша. Горячка, рвота, обильный пот! Только диву даешься.

Служители приносят целый ворох подушек, из которых сооружают царское ложе. Сверху опускается балдахин. Рабы укладывают хозяина в постель.

Амнон. Дай мне умереть, Господи! Убей меня! Смерти хочу! *(Срывает с шеи амулет и отшвыривает подальше.)*

Ионадав *(слугам)*. К царю! Кто-нибудь! Живо!

Двое служителей убегают за кулисы.

Сцена шестая

Спальня. Вокруг Амнона суетятся служители. Один готовит лекарство, другой вытирает испарину со лба больного.

Амнон *(бредит)*. Согрешил! Нет мне прощения! Убей, убей меня! А!

Ионадав *(зрителям)*. Это в нем говорил ужас перед предстоящим. Бросить двойной вызов — Отцу Небесному и столь же грозному земному!

Быстро входят Давид, Авессалом, служители и священник с молитвенным покрывалом и цанифом — царским тюрбаном, на котором подревнееврейски написано "Слуга Яхве".

Давид. Амнон! Что с тобой? Что происходит? *(Ионадаву.)* Говори!

Ионадав. Я не знаю... Все случилось так неожиданно...

Давид. Его отравили? Кто-то чужой присылал ему еду?

Ионадав. Нет, господин мой царь.

Давид *(увидел знак на груди Амнона)*. Что это? Кто нарисовал? Ты?

Ионадав *(испуганно)*. Нет, господин мой царь!

Давид. А кто?

Ионадав. Не знаю... наверное, он сам... обратился за помощью...

Давид. Помочь может только Бог Единосущный.

Ионадав. Да, мой господин.

Амнон *(бредит)*. Все открылось!

Давид. Что? Что он сказал? *(Склоняется над больным.)* Говори, мой мальчик. Я тебя слушаю.

Амнон. Все открылось! Моя низость...

Давид. Ты о чем, Амнон?

Ионадав. Он в горячке. Сам не знает, что говорит.

Давид. Помолчи. Открой мне свое сердце, Амнон.

Амнон. У меня черная душа! Грязные мысли!

Давид. Ну что ты, мой мальчик. Грязные мысли — это, скорее, про меня.

Амнон. Я — низкий, неблагодарный!

Давид. Ш-ш-ш. Это я заслужил такие слова. Всю эту неделю, что ты не появлялся во дворце, я говорил: "Он запил! Он таскается по шлюхам!" А в это время ты корчился от боли. Вот я и наказан!

Амнон. Я злобный, грязный пес!

Давид. Неправда! Ты добрый. А бежишь от меня, потому что я недостоин собственных детей! Но ты поправишься. Я вылечу своего любимого Бычка. Милосердный Господь услышит мои молитвы и вернет тебя к жизни. Он не накажет тебя за мои грехи. Авессалом!

Младший сын облачает его в молитвенное покрывало, надевает на голову царский тюрбан.

А теперь все молитесь, чтобы Всемогущий Господь восставил Амнона!

Все, как по команде, падают ничком на пол.

Ионадав. И тотчас все пали ниц в порыве веры, лицо же Давида обратилось к небу. И вновь, как это часто бывало, когда я заставал его в молитве, я ощутил неодолимое желание взглянуть на мир глазами этого верующего.

Тихий аккорд на струнах арфы.

Давид. Царь Небесный, яви Свою милость!

Общий стон.

Отврати свой гнев от безвинного сына и его недостойного отца!

Общий стон.

Обрати к нам Свой пресветлый лик и даруй нам радость!

Все тихо бубнят молитву.

Ионадав *(встает с колен и подходит к Давиду)*. Одно из двух: или он говорит в пустоту, или там, наверху, и вправду есть Высший Суд. Или царь так же обманывает себя, как его сын, или он может ходатайствовать перед этим Судом за себя — и за меня... В эти несколько минут, лежа на пыльном ковре, я всеми силами пытался вообразить себя Давидом — царем-священником, которому подвластны судьбы мира. Что мог бы я почувствовать, обращая свой призыв к Неведомому? Посылая Ему слова, смысл которых неведом мне самому, свою сокровенную суть? Дать этому великому Неведомому познать мою суть, и она вернется ко мне, посланная с такой силой, что я тоже смогу ее познать — в своей бурлящей крови... Убедиться, что Непостижный Бог — такая же реальность, как я сам! Это ли не чудо!.. Всецело быть Его звучащим инструментом!.. Уже не собой — и при этом истинно собой!

Давид. Сэла́.

Ионадав. Так просто?

Давид *(опуская руки)*. Амнон, мой сын, на тебе благодать Всевышнего. Пусть дарует Он тебе жизнь!

Ионадав. Смотрите — он оживает! Или кто-то вдохнул в него жизнь!

Амнон *(садясь на постели, тянется к Давиду)*. Отец!

Ионадав *(снова простирается ниц)*. Здоров! Словно из него вышел смертельный яд!

Амнон. Величайший из отцов!.. Ааа...

Давид. К ночи он оправится от этой хвори. *(Амнону.)* Поспи. Отдыхай весь день.

Амнон. Одна просьба...

Давид. Все что ты хочешь. Говори.

Амнон. Хочу, чтобы меня навестила сестра.

Давид. Фамарь?

Амнон. У нее добрая душа. Она вдохнет в меня новые силы.

Давид отворачивается.

Ты сердишься? Прости, это горячка.

Давид. Ты прав, вот кто исцеляет! Однажды ее лепешки поставили меня на ноги. Что ж... я ее пришлю. Сегодня же.

Авессалом *(вскочил)*. Нет!

Давид. Что?

Авессалом. Она не должна... она не может... *(Запутался.)*

Давид. Это почему?

Авессалом. Она еще никогда не выходила из дворца.

Давид. Вот и выйдет. Маленькое приключение.

Авессалом. По-моему, это... нехорошо...

Давид. По-твоему? Ты сказал "по-твоему"? Ты смеешь мне возражать?

Авессалом *(шепотом)*. Нет.

Давид. Не слышу?

Авессалом *(громко)*. Нет, возлюбленный отец.

Давид *(глядя ему в глаза)*. Надеюсь. *(Передает Авессалому цаниф. Амнону.)* Сегодня вечером твоя сестра придет и позаботится о тебе. *(Ионадаву, резко.)* Ты! Немедленно сотри с его груди эту мерзость!

Ионадав. Повинуюсь, господин мой царь.

Давид *(раздумчиво)*. Ионадав... все видит, все знает...

Ионадав. Прости. Я тебя не понимаю.

Давид *(свите)*. Идемте. Ему нужен отдых. *(Амнону, ласково.)* Мой Бычок снова станет сильным и еще наведет шороху в наших угодьях. А?

По-свойски шлепнув сына между ног, с хохотом выходит. За ним священник. Авессалом, с тюрбаном в руках, задерживается.

Авессалом. Похоже, отец тебя вылечил.

Амнон. Его могущество безгранично.

Авессалом. Я зайду к тебе завтра.

Амнон. Нет!.. Мне лучше отдохнуть денек-другой.

Авессалом. Как тебе угодно. *(Ионадаву.)* Смотри, береги мою сестру как зеницу ока.

Ионадав. Да, мой царевич. *(Авессалом испытующе глядит на него, на брата. Зрителям.)* У меня внутри все похолодело. Что это было, ревность? Или воистину "наше солнышко" просвечивало насквозь?

Авессалом. Будь здоров, Ионадав. *(Выходит.)*

Слуги кланяются. Амнон хлопком отпускает их. Ионадав берет тазик с водой и тряпку и начинает стирать магический знак с груди Амнона.

Ионадав *(в радостном возбуждении)*. Ну? Что я тебе говорил!

Амнон. Ты о чем?

Ионадав. Сработало. Как я и думал.

Амнон. Не надо...

Ионадав. Что такое?

Амнон. Не сейчас. Я устал... Не всякий выдержит такое испытание.

Ионадав. Да, но все уже позади. Сегодня ты ее увидишь!

Амнон. Прошу... посиди со мной как друг. Я подремлю, а ты не спи. Вдруг что понадобится...

Ионадав. Конечно.

Амнон. Я никому не доверил бы свою жизнь. Но ты — другое дело.

Ионадав. Я польщен.

Амнон. Вздремну немного. Ты удивительный человек, Ионадав. Да... удивительный...

Он уже спит. Ионадав застыл с тряпкой в руке.

Ионадав *(зрителям)*. Уснул. Счастливый как младенец.

Перемена света. Тихая зловещая мелодия.

Мне же было не до сна. Яркий и шумный день клонился к вечеру, а на душе у меня становилось все тревожнее. Скоро она будет здесь, в этой комнате! Пора уже Богу вмешаться! Как далеко Он позволит этому зайти? И какой будет расплата?

Красный закат. Музыка нарастает, становясь все более зловещей. Входит Авессалом и с ним четверо телохранителей. Он указывает им на Ионадава, и они, выполняя молчаливый приказ, проделывают в замедленной пантомиме, не прикасаясь к Ионадаву, все то, о чем тот рассказывает.

Ионадав. Тут я почувствовал необоримую слабость. Веки сами закрылись, и грозное видение пронеслось в моем отуманенном мозгу. Я увидел Авессалома с горящим взором, окруженного своими цепными псами, и в руке у него — карающий меч правосудия! Вдруг меч указал на меня, и в следующую секунду я уже извивался в руках его прихвостней, тащивших меня куда-то. Они швырнули меня в канаву с нечистотами! Надо мной издевались оборванцы. Бродячие псы кусали меня за ноги.

По залу прокатывается волна издевательского смеха.

В ушах стоял устрашающий крик...

Авессалом молча разевает рот, а из динамиков грохочет:

Голос. Справедливый суд!!! Справедливый суд!!!

Ионадав с криком просыпается и невольно будит Амнона. Перемена света.

Амнон. Что такое?

Авессалом и телохранители медленно покидают сцену.

Уже вечер?

Ионадав. Не знаю...

Амнон. Я же велел тебе не спать.

Ионадав. Да...

Амнон. Что с тобой?

Ионадав. Ничего. Все хорошо. Отлично. Лучше не бывает.

Амнон. Ты боишься. Это мне не нравится. Страх — он как зараза.

Ионадав. Прости.

Амнон. Успокойся, Ионадав. Посмотри на меня. Я спокоен. Ничто не тревожило мой сон — это ли не знак? Взгляни в окно: какой покой! Небеса улыбаются. Один ты какой-то неприкаянный.

Ионадав. Как всегда.

Амнон. Выше нос! Где слуги? У меня до сих пор во всем теле слабость.

Ионадав. Позвать?

Амнон. Пусть принесут праздничные одежды!

Ионадав *(хлопает в ладоши)*. Белый талиф[1] для царевича!

Амнон *(кричит)*. Да поживей! *(Ионадаву.)* Я тебя не виню. На такое дело пойти... не всякий способен.

Ионадав. Спасибо.

Амнон. Сяду-ка я к окну. Говорят, закатное солнце полезно для здоровья.

Слуги приносят белый талиф.

Одними царскими молитвами выздоровел. Одевайте, что стоите! *(Слугам, пока они его одевают.)* Нынче ко мне сестра придет. Передайте слугам, что они мне не понадобятся. Вы тоже. Провóдите царевну — и с глаз долой. До утра как-нибудь один справлюсь. Понятно?

Слуги молча кланяются.

Ступайте.

Захватив таз с водой, слуги уходят. Амнон пересекает комнату и садится в кресло возле окна.

Ты все еще не в себе.

Ионадав. Может, теперь я заболел?

Амнон. Царская болезнь к простому человеку не прилипает.

Ионадав. Ну да. Это я не подумав.

Амнон. Не все так просто. Меня испытывали — неужто ты этого не понимаешь? Я был в руках богов. Их пальцы... я чуял их в своем нутре... Флакон с духами видишь? Побрызгай простыни.

Ионадав выполняет его просьбу.

В самом деле, что с тобой? Говори прямо. Может, ты ревнуешь?

1. Мужская одежда наподобие греческого хитона.

Ионадав. Еще бы не ревновать! Сегодня ты узнаешь великую тайну. Испытаешь то, что и вообразить невозможно. А мне остается только наблюдать!

Амнон *(с важным видом)*. Я понимаю.

Ионадав *(втирая духи ему в волосы)*. Скажи... если я незаметно постою... ты мне разрешишь?

Амнон. Что?

Ионадав. Наблюдать.

Амнон. В каком смысле? Глядеть, что ли?!

Ионадав. Не для удовольствия, ты понимаешь. Это было бы кощунством. Тебе предстоит стать другим человеком... *(Растирает ему ноги.)* Позволь мне быть свидетелем твоего преображения! Так обыкновенный смертный следит за восходом солнца.

Амнон. Это священнодействие, Ионодав. Только между ею и мной. Неужели непонятно?

Ионадав. Да. Глупый вопрос. *(Зрителям.)* Напыщенный индюк!

Амнон. Вообще, тебе лучше не мозолить ей глаза. Сам знаешь, она тебя недолюбливает. Пожалуй, еще взбрыкнет... Ничего, после этой ночи подобреет. Мы оба станем другими. Не обижайся.

Ионадав. Ну что ты. *(Зрителям.)* Должен, должен быть выход. Думай!

Амнон. Такие путешествия совершаются без свидетелей.

Ионадав. Я понимаю. Какой я все же неотесанный. Мне не с царевичами водиться, а...

Амнон. Ерунда! Ты потрясающий друг. А сейчас прощай. Пожелай мне чего-нибудь на прощание.

Пауза.

Ионадав. Бессмертия!

Амнон *(растроганно)*. Спасибо. Спасибо тебе, дружище! *(Хлопает в ладоши, и тут же из динамиков раздается: "Дорогу! Дорогу!")* Что такое?

Четыре служителя – носильщики – вносят закрытый паланкин и ставят его на внешний круг. Их сопровождает Милха.

Ионадав *(выглядывая в окно)*. Это она!

Амнон. Нет!

Ионадав. Можешь сам убедиться.

Амнон *(бросается к окну)*. Так рано? Я не готов! А кто с ней?

Ионадав. Я полагаю, служанка.

Амнон. Какая служанка?! Она должна была прийти одна! О чем ты думал?

Из паланкина выходит Фамарь, ее лицо скрыто под покрывалом.

И что нам теперь делать? А? Что молчишь?!

Ионадав. Я не знаю!

Амнон. Он не знает! Прекрасный ответ! Ионадав, великий стратег! "Чем проще, тем вернее"!

Ионадав. Амнон, тебя услышат.

Амнон. Пусть слышат! Все пропало! Это конец!

Ионадав. Тише! Прошу тебя!

В спальню входит слуга и склоняется перед Амноном.

Амнон *(раздраженно)*. Знаю, знаю! Царевна здесь! Скажи ей, чтобы она поднялась сюда одна. Ты понял? Одна!

Слуга жестом выражает недоумение.

Ионадав. Прости, что вмешиваюсь. *(Спешит успокоить слугу.)* Царевич счастлив видеть царевну... и ее свиту. Так и передай своей госпоже.

Слуга возвращается и передает приглашение. Носильщики выгружают фрукты и муку.

(Амнону.) Амнон, постарайся взять себя в руки.

Амнон. Зачем, когда все пропало!

Ионадав. Ничего еще не пропало.

Амнон *(срывается)*. Как же! Вот она, твоя дальновидность!

Приближаются Фамарь и Милха, за которыми следуют носильщики с провиантом.

Ионадав. Амнон, если ты сейчас же не возьмешь себя в руки, то все действительно пропало.

Амнон. Избавься от этой гусыни, слышишь? Это по твоей части!

Ионадав. Я сделаю все от меня зависящее.

Амнон. От тебя зависящее? Не-ет! Ты сделаешь **все**! Если ты ее не спровадишь, считай, что это был твой последний гениальный план! Ясно?

Прибывшие входят в спальню. Отвесив поклоны, Милха открывает лицо своей госпожи, чью красоту подчеркивает искусный грим.

Фамарь *(холодно)*. Что за крики? Я думала, ты серьезно болен.

Амнон. Ионадав любит меня подначивать, пока не выведет из себя.

Фамарь *(насмешливо)*. Как остроумно! Что он вообще здесь делает?

Ионадав. Я ухаживаю за царевичем.

Фамарь *(с холодной учтивостью)*. Может, у меня это тоже получится? Ступай. *(Амнону.)* Почему ты на ногах? Немедленно ложись в постель! *(Повелительно хлопает в ладоши. Он подчиняется, изображая внезапную слабость. Ионадаву.)* А ты куда смотришь?

Ионадав. Семья Давида отличается своенравием, царевна.

Фамарь *(Амнону)*. Укройся! *(Ионадаву.)* Я расскажу царю, как ты ухаживаешь за своим другом!

Ионадав смиренно кланяется.

(Брату.) Ты быстро поправишься, Амнон. Я угощу тебя своими знаменитыми лепешками. Отцу после них сразу полегчало. *(Ионадаву.)* Где кухня?

Ионадав. Вон там, царевна.

Фамарь. Проводи туда моих слуг и вели разжечь огонь.

Ионадав *(с трудом сдерживаясь, слуге Амнона)*. Проводи их.

Слуга, повернувшись к носильщикам, щелкает пальцами, и они выходят вслед за ним.

Фамарь *(Милхе)*. Ты тоже иди, замеси тесто.

Амнон. Нечего ей здесь делать!

Фамарь. То есть как?

Амнон. Пусть уходит.

Фамарь. Ты хочешь, чтобы **я** месила тесто? *(Милхе.)* Иди на кухню.

Амнон. Но отец мне обещал, что лепешки приготовишь ты!

Фамарь. Милха замешивает тесто, я кладу айву. Не суйся в женские дела.

Ионадав *(подобострастно)*. Тысяча извинений, царевна, но твой отец выразил желание, чтобы ты все приготовила для царевича сама, без всякой помощи.

Фамарь. А я желаю, чтобы она осталась!

Ионадав. Прискорбно, но я должен буду известить царя, что его ослушались.

Фамарь. Что ты сказал?!

Ионадав. Это мой долг. Я бы предпочел проводить служанку домой. Царевна наверняка не захочет навлечь на себя царский гнев.

Милха. Как он мог отдать такой приказ, не понимаю!

Ионадав. Это его воля. Да, мой царевич?

Амнон. Вот именно!

Ионадав. Болезнь царевича такова, что только член царской семьи в одиночку может ее одолеть. Простому человеку тут не место.

Фамарь *(польщена)*. Вот оно что... Это меняет дело.

Милха. Госпожа, приличия не позволяют мне оставить вас одну.

Фамарь. Такова воля царя.

Милха. Но это невозможно.

Фамарь. Я, кажется, ослышалась?

Милха. Как хотите, одну я вас здесь не оставлю.

Фамарь. Возвращайся во дворец!

Милха. Не могу, госпожа.

Фамарь. Немедленно. Сию же минуту! Милха, ты меня слышишь?

Милха. Не гневайтесь, моя госпожа. Я не могу. Нет! Нет!

Фамарь наотмашь бьет ее по лицу.

Фамарь *(Ионадаву)*. Отведи ее во дворец.

Ионадав. С радостью. *(Хлопает в ладоши.)*

Входит слуга.

Скажи носильщикам, что служанка госпожи возвращается во дворец.

Слуга с поклоном уходит.

(Амнону.) Господин, желаю скорейшего выздоровления. И приятного ужина. Хотел бы я, царевна, быть сейчас на месте царевича. *(Милхе.)* Пойдем.

Милха и двое носильщиков, вернувшихся из кухни, выходят на улицу, а с ними Ионадав, прихватив флакон с духами.

(Зрителям.) За это время я, конечно, придумал, как мне остаться.

Фамарь. С помощью твоих слуг я как-нибудь управлюсь. Даже интересно.

Амнон. Отец сказал: "Никого, кроме тебя, не должно быть". Пришли сюда моих слуг.

Фамарь. Как это "никого"? Вот еще глупости!

Амнон. Его приказ должен быть исполнен. Ты знаешь, как он любит повторять: "Прежде чем править, надо научиться служить".

Фамарь. Ну, знаете! Что же мне — с горшками возиться?!

Уходит на кухню, провожаемая отчаянным взглядом... За окном темнеет. На улице носильщики стоят возле паланкина.

Ионадав. Дорогая, я сожалею о том, что произошло.

Милха. Пустяки.

Ионадав. Твоя госпожа, уверяю тебя, может чувствовать себя спокойно.

Милха. Хочется верить.

Ионадав. Эта безделица тебя утешит, а заодно снимет камень с моей души. Духи́ царевича Амнона.

Милха. Нет-нет, господин. Я не могу их взять.

Ионадав. Твоя красота достойна большего. Я тебя прошу.

Милха. Что ж... господин так добр.

Ионадав *(вкладывая ей в руку флакон)*. Прошу прощения, но мне необходимо отлучиться по неотложному семейному делу. Если бы ты согласилась вернуться во дворец одна, я был бы тебе крайне признателен.

Милха. Разумеется...

Ионадав. Как ты великодушна! Тебя, кажется, зовут Милха?

Милха. Да, господин.

Ионадав. Великодушная Милха... прощай!

Она садится в паланкин, и носильщики ее уносят. В спальне двое слуг ставят по бокам кровати горящие факелы.

Амнон. А теперь идите к себе, и чтобы я вас не видел — под страхом смерти.

Слуги с поклоном уходят. Ионадав возвращается.

Ионадав *(зрителям)*. Я дождался, пока эти двое скроются на своей половине, и спокойно прошмыгнул обратно в дом, на второй этаж. Между спальней и передней было проделано окно, и этот простенок почти целиком закрывала огромная каменная ваза с разросшейся сосной – для освежения воздуха. Лучшего места не придумаешь! За этой сосной я простоял до самого рассвета... Ионадав, ваш специальный корреспондент! Благодаря мне вы станете свидетелями величайшего скандала в истории царственных особ.

Сцена седьмая

Ионадав. Сначала были только запахи. Оливковое масло. Тертые фиги. Мед и кориандр. У меня засосало под ложечкой. Подозреваю, что нашего больного терзал голод совсем другого рода.

Стоны Амнона.

Потом я различил звук – шипение горячего масла, в которое опускались сладкие лепешки!

Стоны делаются громче. Из кухни доносится пение.

Амнон. Фамарь!

Ионадав. Шипение, запахи и женский голос...

Амнон. О!.. О!..

Ионадав *(зрителям)*. Шипение, запахи и женский голос...

Амнон. Фамарь... *(Кричит.)* Фамарь!

Пение обрывается.

Фамарь *(входя)*. Что случилось? Снова боли?

Амнон. Да... нет... да...

Фамарь. Наберись терпения, я еще не закончила.

Амнон. Я не голоден. Посиди со мной. Сядь рядом.

Фамарь. Но я должна закончить...

Амнон. Скажи, ты ее ударила нарочно?

Фамарь. Нарочно?

Амнон. Чтобы она поскорей ушла.

Фамарь. Зачем?

Амнон. Удивительно...

Фамарь. Что?

Амнон. Ты... Ты удивительная. *(Смущенно смеется.)*

Фамарь. Пора доставать лепешки.

Амнон. Не уходи!

Фамарь. Но ведь они сгорят!

Амнон *(осторожно берет ее за кисть)*. После этой ночи ты больше никого не ударишь. У тебя даже не возникнет такой мысли...

Фамарь. Глупости. Слуг надо наказывать, если они этого заслужили.

Амнон. Я о другом. Сегодня все изменится, понимаешь?

Фамарь. Изменится?

Амнон. Это трудно себе вообразить. Но мы научимся... ты и я.

Фамарь. Чему мы должны научиться?

Амнон *(притягивает ее ближе)*. Чем ты подвела глаза?

Фамарь. Малахитовой пастой. Тебе нравится?

Амнон. Отец подарил тебе при рождении два бесценных украшения, чтобы ты с ними не расставалась. Теперь я вижу, это — знаки.

Фамарь. Ты о моих глазах?

Амнон. Тело может быть отмечено знаками — если оно чистое. Ты это знала?.. На моем теле знаков нет. Но ты можешь со мной поделиться...

Фамарь. Я тебя не понимаю.

Амнон. Отмеченный благодатью разделит ее с тем, кто ее лишен!.. Таково пророчество.

Фамарь. Ты болен и говоришь всякие глупости.

Амнон *(дотрагиваясь до ее глаз)*. Если я умру, ты выплачешь свои глаза от скорби?

Фамарь. Ну конечно.

Амнон. Если бы ты умерла, я бы выплакал мои.

Фамарь. Вот уж ни к чему. Они у тебя и так красные.

Амнон. Это от болезни. Могла бы пожалеть меня...

Фамарь. У тебя глаза красные из-за бессонных ночей. Ты познал слишком много женщин, так все говорят.

Амнон. Ты знаешь, что это такое — познать женщину?

Фамарь. Я не ребенок! *(Высвободившись, уходит на кухню и через минуту возвращается.)* Я хочу помолиться за тебя.

Амнон. Что?

Фамарь. Это молитва об исцелении. Я прочитаю ее, а потом ты поешь.

Амнон. Фамарь, не надо...

Фамарь. Молчи! Ты думаешь, нас в гареме ничему не учат? Если хочешь знать, мы обращаемся к Богу, наверное, чаще, чем ты!

Амнон. Наверняка.

Фамарь. Издеваешься? Наслышана я о твоих подвигах! Ну-ка, закрой глаза и слушай меня внимательно. *(Принимает молитвенную позу. Говорит с простодушной горячностью.)* "Благословен Царь Небесный, посылающий недуги и изгоняющий их. Прогони хворь из раба Твоего. Укрепи его дух, дабы он мог славить имя Твое.

Амнон подглядывает.

Сэла́ и аминь!"

Амнон. Когда ты молишься, у тебя глаза точь-в-точь как у отца.

Фамарь *(испуганно)*. Ш-ш-ш.

Амнон. Если б мы жили в Египте, я бы повелел сделать твою статую: женщина, застывшая в молитве.

Фамарь. Тише ты!

Амнон. Я бы поставил ее в пустыне, чтобы ее было видно отовсюду.

Фамарь. Прекрати. Ты знаешь, наша вера запрещает поклоняться идолам.

Амнон. Люди бы шли через пустыню, чтобы увидеть эти сияющие глаза, инкрустированные горным хрусталем. "Коленопреклоненная Фамарь" – новое чудо света! Они падали бы перед тобой ниц.

Польщенная девушка хихикает украдкой.

Целовали бы твои стопы. Маленькие ножки в голубых прожилках... только ножки эти были бы не маленькие. Каждый ноготь величиной с ладонь. Египет – страна колоссов.

Фамарь. Ненавижу Египет.

Амнон. Почему?

Фамарь. Там страдали наши предки.

Амнон. Все причиняют друг другу страдания, Фамарь. Кроме нас. Мы будем другими.

Фамарь. Да?

Амнон. Да. Нам на роду написано быть нежными... вдвоем! *(Касается ее ступни.)* Я загадаю тебе загадку. Те, кто возлягут, скрытые от мира, принесут в него мир. Догадалась?

Фамарь. Нет.

Амнон. Подумай.

Фамарь. Я не понимаю!

Амнон. В чем природа моей болезни? Ты пришла, потому что я твой избранник! Ты поселилась в моей голове – и ничего не чувствуешь?

Девушка отдернула ногу. Амнон привстает на постели.

В чем дело?

Фамарь. Ни в чем.

Амнон. Спой.

Фамарь. Что?

Амнон. Ты знаешь. Я тебя прошу.

Фамарь. Я забыла мелодию, Амнон.

Амнон. Я тебе напомню. *(Щелкает пальцами и напевает, стараясь казаться беззаботным.)* Хай-ла. Хай-ла. Хай-ла. Пой! Ну же!

В глазах девушки появился испуг. Она поет.

Вот так! Вот так! А кто будет щелкать пальцами? Давай-давай!

Щелкая пальцами, она начинает пританцовывать.

Хай-ла! Хай-ла! Их музыка! Их песня! Это они поют вместе с нами!

Остановившись, она смотрит на него испуганным зверьком.

Не бойся.

Фамарь *(слабым голосом)*. Я не боюсь.

Амнон *(встает с кровати в сильнейшем возбуждении)*. Мы в их руках! Они этого хотят! Это предначертано! Даже если бы мы не хотели, нам пришлось бы подчиниться! Мы им нужны, Фамарь. Мы им нужны. Ты не думала, что боги могут в чем-то нуждаться? Могут! Чтобы утвердиться на земле, им нужны мы! *(С лихорадочной горячностью.)* Фамарь, мы войдем в их круг... ты только себе представь! Мы будем править на земле вдвоем, изливая свою любовь и нежность — на всех, на всех! И по завершении земного пути мы останемся неразлучными — ты и я — бессмертные Амнон и Фамарь!

Она в ужасе.

Люди будут нам молиться, а мы — даровать им то, о чем они просят! "Услышь меня, великий Амнон! Услышь меня, великая Фамарь!" Бог и богиня!

Она вскрикивает, и это возвращает его к реальности.

Фамарь. Это говоришь не ты, Амнон... это в тебе говорит демон!

Амнон. Неправда.

Фамарь. Это не твои слова!

Амнон. Ты сама мне их нашептала. "Я твоя, Амнон! Я здесь, Амнон!"

Фамарь. Я не знаю, о чем ты говоришь! Я не понимаю, чего ты хочешь! Мне страшно. Ты болен! Я хочу домой!

Амнон *(спокойно)*. Иди ко мне. Не надо слов. Пора!

Фамарь. Пора?

Амнон. Скажи: "Я выбрала тебя!" А дальше — молчание и нежность.

Он делает шаг к ней, она отступает. Они начинают кружить по комнате.

Фамарь. Амнон...

Амнон. Фамарь...

Фамарь. Господи, ты создал небо и землю, ты мой щит, моя твердыня...

Амнон. Иди сюда! Иди ко мне!

Фамарь *(скороговоркой)*. Ради всего святого, спаси и сохрани...

Амнон *(отчаянно)*. Ты сама меня выбрала! Ты не можешь это отрицать!

Фамарь *(после короткого замешательства)*. Да!

Амнон. Да?

Фамарь. Я сама тебя выбрала. Это правда. Только не сейчас. Завтра мы пойдем к отцу. Ради нас он изменит закон, и мы открыто сможем любить друг друга. Все будет, как ты хочешь. А сейчас отпусти. Не оскверняй нашу любовь.

Ионадав *(наблюдая за ними)*. Сообразительная девушка!

Фамарь. Докажи, что ты меня любишь. Отпусти!

Амнон стоит в нерешительности, опустив голову как бык.

Ионадав *(Фамари)*. Главное, не двигайся. Пока он не успокоится.

Фамарь. Позови слуг. Вели им доставить меня во дворец. Тогда я поверю, что ты действительно меня любишь.

Амнон. Я всех отпустил. Никто не должен видеть это великое таинство. *(Делает неуверенный шаг к ней, и тут у нее сдают нервы.)*

Она бросается к выходу, он ее перехватывает.

Ш-ш-ш. Только мы. Фамарь и Амнон.

Фамарь. Нет...

Амнон. Мы, и больше никого. *(Сжимает ее в объятьях.)*

Она не сопротивляется — словно загипнотизированная.

Ионадав *(зрителям)*. Прошла вечность, а он все прижимал ее к себе, вздыхая, как ветер в пустыне. Потом тиски его рук разжались...

Амнон размыкает объятья.

Но она даже не шевельнулась. Окаменела... от ужаса, от изумления. Он поднял ее, как пушинку, и перенес на ложе — так священник кладет на алтарь драгоценный свиток, перед тем как его раскрыть. Опустившись перед ней с благоговением, доселе не виданным...

Амнон опускает ее на подушки, а сам становится на колени в изножье постели.

...он громко произнес слова, которые прежде она слышала только в храме, через решетку для молящихся женщин.

Амнон. Свят! Свят! Свят!

Он прижимается лицом к ее стопам, и это выводит ее из оцепенения. Она успевает отпрянуть, но он на коленях медленно приближается к ней. Внезапно срывает с себя одежды. Фамарь не в силах отвести взгляд.

Фамарь. Амнон, посмотри на меня. Это я, Фамарь... твоя сестра...

Амнон. Моя сестра, которую я люблю. *(Он стоит перед ней нагой, спиной к зрителям. Рука его потянулась к висящему над кроватью шнуру.)*

Ионадав. И вдруг, словно повинуясь внутреннему голосу, он потянул за шнур, и занавеси упали, прямо перед моим носом!

Закрепленные деревянными кольцами легкие занавеси обрушиваются белым каскадом и скрывают ложе от посторонних глаз.

(Взбешен.) Почему?! Тупой бык! Который ни разу в жизни не опускал полог! *(Исступленно.)* Проклятье! Тысяча проклятий! *(Зрителям.)* Я едва удержался, чтобы не сорвать эти тряпки! Все мои планы, все мои интриги в один миг перечеркнуты... Чем?.. **Занавесками**! Какая злая шутка! Неужто он сам до этого додумался?

Неожиданная догадка заставляет его поднять взор к небу. За пологом вскрикивает Фамарь.

Фамарь. Не надо!.. Амнон, ты слышишь!

Амнон. Да, Фамарь. Да... Так надо!

Ионадав *(с горечью)*. Не так! Нет! Нет! *(Громче вскрик. Ионадав закрывает глаза ладонями.)* Не этого я хотел, клянусь! "Будь с ней нежен" — вот что я сказал ему.

Вступает музыка, варварская, зловещая. На занавесях, в свете факелов, пляшут гигантские тени.

Но кончилось *этим*, так что смотри! Довольствуйся тенями! Смотри же, Ионадав!

Все более отчетливые, пляшут на занавесях черные, изломанные тени, похожие на таинственные иероглифы.

(Зрителям.) Я вижу это как вчера: тени! — более ужасные, чем сами тела. Тени рук и ног на занавесях — какие-то гротескные буквы, изобретенные задолго до письменности. Там, на пологе иерусалимского ложа, сами собой выписывались — словно в насмешку над нашим ивритским алфавитом — гигантские буквы из древнейшей Книги Похоти. В ужасе я наблюдал, как два тела пытались слиться в разные слова; однако вся эта каллиграфия, с ее петлями и горбами, в конечном счете была способна выразить лишь одно: **Отчаянье**... нарастающее, разбухающее, гибельное, неотвратимое **Отчаянье**. Смотрите, смотрите сами! Петлеобразные извивы корчащейся жертвы. Сгорбленный, скачущий верхом охотник, заплутавший в чащобе своей ярости, где все тропинки ведут назад, к пустому прогалу! Изгибы, в которых читается боль — причиняемая и претерпеваемая. **Ее** силы иссякают — эта оцепенелая покорность сродни смерти. А **он** еще больше неистовствует, пытаясь прорваться сквозь нее к свободе. Ища блаженства, которое бы покончило с тоской по этому блаженству! Дальше, дальше, за все мыслимые пределы!

Горловой крик Амнона.

Кто он? Самец, берущий женщину в попытке дотянуться до несуществующего Бога? Или марионетка, пляшущая на незримой нити в руках этого Бога?.. Самое древнее кукольное представление на свете...

Бледнеют отсветы факелов, спокойнее становится голос.

Дальше, дальше, за все мыслимые пределы! Пока желание себя не исчерпает. Или нить не оборвется. Или — или. И тогда он без памяти рухнет... и снова окажется в камере-одиночке — в себе самом.

Амнон издает вопль, словно в предсмертной агонии, и его тень падает на постель. Пауза.

(Горько.) Говоря по-простому, это был обыкновенный трах!

Неожиданно рассвело.

Это не мое, это его слово! Да! Все закончилось на рассвете безобразной истерикой Амнона, как будто это над ним надругались!

Амнон. Трах?! **И это все?! Это — все?!** *(Рванул белые занавеси, они вместе с деревянными кольцами падают на пол.)*

На подушках лежит нагая Фамарь. Факелы погасли.

Обыкновенный трах — и ради этого стоило городить огород?! *(Угрожающе.)* Ты приворожила меня? Признайся! Околдовала, да?

Молчишь, ведьма? *(Отшвыривает ее. Она лежит как мертвая.)* Встань, уйди! Или мне позвать слуг? Ты не первая шлюха, которую они вышвырнут на улицу! Ну!

Он стоит над ней, тяжело дыша. Фамарь медленно встает и, не зная, чем прикрыть наготу, поднимает с пола занавесь.

Фамарь *(тихо)*. Это зло больше первого, которое ты сделал со мною.

Амнон заносит руку для удара, да так и застывает, только в горле клокочет бессильная ярость. В конце концов он плюет ей в лицо и убегает. Оставшись одна, Фамарь заворачивается в белую занавесь, которая стелется за ней шлейфом, этакая пародия на подвенечное платье. Она переходит на внешний круг и там застывает. Внутренний круг погружается в темноту, полог уплывает вверх. Всхлипнул тихий аккорд.

Сцена восьмая

Улицы Иерусалима. Светает. Фамарь медленно бредет по внешнему кругу. За ней по пятам на почтительном расстоянии следует Ионадав.

Ионадав *(зрителям)*. Я выскользнул за ней как тень. Утро было зябким. Мы сразу попали в лабиринт кривых улиц, улочек и переулков, которых она, затворница, совершенно не знала. Но шла она так, будто видела конечную цель. Невероятно! Хрупкая девочка, в этой стелющейся белой занавеске похожая на невесту, идет через незнакомый город с абсолютной уверенностью!

Вступает музыка.

Проходы, один другого у́же. Лавки еще заперты, ставни закрыты. Она двигалась как слепая, точно знающая свой ежедневный маршрут. Вперед, вперед! И за ней я — соглядатай, марионетка, которую потянуло за собой это ошеломляющее событие... Вдруг она остановилась.

Над внутренним кругом опускается зубчатая башня.

Знаете, куда привели ее ноги? К дому любимого брата Авессалома! Но как могла это знать она? Чья незримая рука привела ее к этой двери? Не для того ли, чтобы вся правда выплыла наружу? Сердце мое сжалось. Сейчас она постучит и...

Фамарь запрокидывает голову в беззвучном крике.

Хуже! Она разбудит своим криком весь город! Она хочет, чтобы о ее позоре узнали все! Остановись, Фамарь, пока не поздно! Иди домой, Фамарь. Ты можешь сказать все, что тебе взбредет на ум. Все, что угодно, кроме правды! Подумай о браке! О своем будущем! Еще ничего не потеряно. Только молчи! Ни слова правды!

Девушка опускается на колени.

Дурочка. Сама себя губишь. Ох уж эти дети Давида, эти идеалисты! Почему в любом, самом заурядном событии им надо искать какой-то высший смысл?!

Ее рот снова открылся...

Что ж, давай! Тебя ведь не остановишь!

...и закрылся. В руках пригоршни земли.

Ах да, сначала ритуал. Посыпать голову пеплом — это святое!

Пантомима: посыпание главы пеплом.

Хорошо. Теперь ты готова. Приговори себя публично. Дай обет безбрачия. Ну? Что же ты?

Раздается слабый крик.

(Безжалостно.) Нет, так дело не пойдет! Ты ведь хочешь докричаться до потомков? Стать легендой? Так набери в легкие побольше воздуха! Уж кричать так кричать!

Крик звучит громче. Появляется ГОРОЖАНИН, смотрит на нее.

Уже лучше. А если еще поддать! Давай, милая, у тебя получится!

Еще громче крик. Показалась ГОРОЖАНКА.

Громче, Фамарь! Громче! Твой крик будет всегда звучать у нас в ушах! Отныне и вовеки!

ФАМАРЬ *(поднявшись и запрокинув голову).* Аааааааааааааааааа!!!

ИОНАДАВ. Да! Да! Расскажи об этом всему миру!

Еще ДВОЕ ПЕРЕПУГАННЫХ ГОРОЖАН выбежали поглазеть на происходящее.

ФАМАРЬ. Я дочь царя, Фамарь! Мой брат Амнон надругался надо мной и выгнал на улицу!

По зрительному залу прокатывается вздох ужаса.

Я дочь царя, Фамарь! Мой брат Амнон надругался надо мной и выгнал на улицу!

Снова вздох ужаса — уже громче. Появляются еще ДВА ГОРОЖАНИНА. В зале динамики разносят голоса: "Что она говорит? Слыханное ли дело?" Фамарь, как заведенная, повторяет все те же две фразы. Лица горожан изображают ужас и возмущение. Шум усиливается. Лучи солнца подбираются к внутреннему кругу, и мы видим спящего Авессалома. Люди настойчиво выкрикивают его имя. Он встает, набрасывает плащ и выходит к толпе, которая падает ниц перед своим любимцем. Увидев сестру, он застывает в замешательстве, затем направляется к ней и укутывает своим плащом, Фамарь падает в его объятия. В толпе прокатился ропот одобрения.

АВЕССАЛОМ *(мрачно).* Да свершится правый суд! Сэла́!

Толпа подхватывает его слова, а он уводит сестру со сцены.

ИОНАДАВ *(зрителям).* Конец "дому Давидову"! Позор всему его роду! А чьих рук дело? Ионадава, человека-невидимки. "С нами Бог!" Где Он, ваш Бог? Или вам мало доказательств Его блистательного отсутствия? Если бы был **Он**, не было бы **меня**! Массовый психоз. Всеобщая иллюзия. Вы поклоняетесь пустому месту, милые мои. Это я, Ионадав, открыл вам глаза! *(Выходит вперед, один в луче света. Остальные покидают сцену.)* Кажется, я должен был бы от радости прыгать козликом, но нет. Радости я не испытывал. Ни радости, ни триумфа. Скандальная молва уже облетела город, потрясла самые его устои, а у меня из головы все не шел этот крик Бычка.

Освещается внутренний круг, на нем АМНОН — рука занесена для удара, рот изрыгает неслышимую брань.

Крик отчаяния в предрассветной мгле. Вопль Божьей твари, вдруг не обнаружившей Творца.

Внутренний круг погружается в темноту.

А почему, собственно, это меня так задело за живое? Разве я ожидал чего-то другого? Женщина, подмятая мужчиной... пустые небеса... вот и вся музыка. Уж я-то знаю. Тогда на что я надеялся, стоя за деревом, как истукан, всю ночь напролет, завороженный этими живыми картинками? Что после этого скотства случится маленькое чудо? Что в результате заурядного совокупления двух заурядных людей родится новый Бог? Ионадав, прожженный циник, вдруг поверил в бессмертие? Ха! Нет конечно. При том, что в каждом из нас живет росток веры, веры в последнее, спасительное чудо, — нет! Я не надеялся на чудо. Нет. Нет. Нет. И еще раз нет. *(Долго, печально смотрит в зрительный зал.)* Да.

Часть вторая

Сцена первая

На внутреннем круге трон, на нем сидит Давид, закрыв лицо талесом (молитвенным покрывалом). Ниже тронного возвышения сидят перепуганные сыновья — Адония, Ифреам, Сафатия и Совав. Младший, Авессалом, стоит перед царем в вызывающей позе, за его спиной телохранители с посохами. На полу лежит скомканная занавесь, в которую заворачивалась Фамарь. На внешнем круге в луче яркого света Ионадав.

Ионадав *(зрителям)*. Мне кажется, что моя история — это история двух демонов. Один, демон мщения, искушает презираемых и униженных. Другой, демон простодушия, подстерегает прожженных циников. Так уж получилось, что они проснулись во мне одновременно. Первый разобрался с моим другом; второй уничтожил меня... Стыдно в этом признаться, но в ту ночь, когда бацилла суеверия поразила дом Амнона, я тоже стал ее жертвой. Под толстым панцирем моего аналитического ума — далеко опережавшего, как вы могли заметить, не только свое время, но отчасти и ваше — зашевелилась надежда столь иррациональная, что оставалось только диву даваться, как она могла возникнуть в моей голове. Из самой бессмысленности моей жизни должен был родиться смысл! Две посредственности, видите ли, ни с того ни с сего обретут бессмертие, а заодно и мне уделят его толику!.. Какому здравомыслящему человеку могла прийти на ум подобная глупость, даже если он жил в эпоху дремучего невежества, когда все казалось возможным? Когда мне все же удалось, как вы нынче выражаетесь, взять голову в руки, я впервые осознал свою примитивность и ограниченность — и ужаснулся. Я был слишком честен перед собой, чтобы отрицать правду, зато я постарался загнать ее поглубже, чтобы она не мозолила мне глаза. Пускай мои соплеменники верят во всякие пустышки, но только не я!

Пауза.

Разумеется, я отлично понимал, почему я увлекся этой глупой фантазией... и вы тоже понимаете. Вы, такие современные, такие

продвинутые, с вашими компьютерами и калькуляторами, что бы вы предпочли? Вознестись к звездам, распространиться во вселенной — или оставаться здесь, на земле, но не порабощенными, а делаясь с каждым днем все более мудрыми, преисполненными восхищения, не страдающими от собственных и чужих недугов? Чтобы не просто тянуть лямку, опорожняя кишечник, изливая яд, бормоча свои бессвязные рассказы о прошлом перед такими же развалинами — жалкими насекомыми, которые барахтаются на булавке Всеобщей Бессмысленности и медленно погружаются в пучину депрессии... Если вы выбираете второе, что ж, постарайтесь понять близкого к отчаянию сына Палестины, жившего за три тысячи лет до вас, несчастного, которого не коснулись чудеса прогресса... А если вы скажете: ну хорошо, красивая фантазия, немного увлекся, но как ты мог хотя бы мысленно соединить ее с такой заурядной парочкой: один — болван с повышенным содержанием тестостерона, другая — этакая невинная кошечка с задранным хвостом? Отвечу вопросом на вопрос: а на кого, по-вашему, должен был пасть Божественный выбор? То, что **эта парочка** не заслужила быть отмеченной небесами, мы с вами отлично знаем. Не так ли?..

Пауза.

Тогда, может, чем хуже, тем лучше? Выберем самых недостойных? Грубых, бесталанных, завистливых, жалких... жаждущих перерождения... вроде нас с вами. Пошли дальше?

Ионадав переходит на внутренний круг, который в этот момент освещается.

Авессалом *(кричит)*. Я требую справедливости!

Ионадав *(зрителям)*. Тот же день. Город как на вулкане. У меня в голове одна мысль — унести ноги.

Авессалом. Видит Бог, душа моя противится тому, чтобы требовать смерти брата. Но ради Закона, повиновение которому только и отличает нас от скотов, ради Фамари, моей возлюбленной сестры, коей было причинено зло, я требую смерти для Амнона!

Одобрительный стук посохов.

Ионадав *(зрителям)*. И так битый час! Мне бы его красноречие!

Авессалом *(братьям)*. Что вы как воды в рот набрали? Речь идет о вашей сестре!

Братья молча опускают головы.

Почему вы молчите?

Давид (*с надменным видом покрывает лицо талесом*). Наверно, они ждут, чтобы решение принял тот, кто облечен такой властью.

Ионадав *(зрителям)*. Ну, наконец! За все это время царь не проронил ни слова. Каким он себя покажет на этот раз, справедливым судьей или своевольным тираном? Выбор тот еще!

Давид. Скажи, — без крика, если можно, — где сейчас Фамарь?

Авессалом. В моем доме.

Давид. Почему она не пришла ко мне?

Авессалом. Я подобрал ее на улице, отец.

Давид. Почему вы не пришли ко мне вместе?

Авессалом. Она предпочитает не выходить из дома. Ее можно понять.

Давид. Она сомневается в моей справедливости? Боится, что я не смогу ее защитить? Рука дрогнет, да? Совсем одряхлел?

Авессалом. Ну что ты!

Давид. Я понял... ей с тобой **лучше**. Что я! Всего лишь отец, выполняющий любую ее прихоть! Но **лучше** держаться поближе к тебе. Или это была твоя идея? Что ты ей сказал? "Царь слишком слаб, я сам буду вершить суд". Да?

Авессалом. Пусть я ослепну, если сказал что-либо подобное!

Давид. Так это ее почин? "Мой брат, герой, будет мне щитом! Чего можно ждать от слабого царя?"

Авессалом. Величайший из отцов, клянусь, это чистая случайность! Она не искала встречи со мной!

Давид *(взрывается)*. Она меня опозорила! В глазах всего народа! Все наверняка шушукаются за моей спиной: "Вот идет царь Давид, которым пренебрегла его собственная дочь! Пусть возвращается к своим овцам!"

Авессалом *(в отчаянии)*. Ей стыдно пройти по улице, неужели непонятно!

Давид. "Козлы и овцы, больше он ни на что не годен! Мээ-эээ! Мээ-эээ!"

Авессалом. При чем тут ты? Это ее опозорили! Ты все выворачиваешь наизнанку, вместо того чтобы видеть вещи как они есть!

Давид. Я же говорю — старость.

Авессалом. Так послушай, что тебе говорят молодые!

По комнате пробежал шепоток ужаса.

(Спохватившись.) Прости меня, великий царь.

Давид. Ничего, продолжай.

Авессалом. Зло, причиненное тебе, отец, несравнимо с тем, что причинили ей. Вот все, что я хотел сказать.

Давид. Тебя избрали новым судьей над Израилем?

Авессалом. Я человек! Чтобы увидеть беззаконие, не нужно быть судьей или царем.

На него зашикали братья.

Давид. А ты сегодня невоздержан на язык.

Авессалом. Совершено злодейство, оно должно быть наказано! Судить по закону — твоя прямая обязанность!

Давид *(в ярости)*. Что ты сказал?

Авессалом. Почему подданные должны исполнять закон, когда царь его не исполняет? Если ты не чтишь закон, то и тебя...

Давид. Ну? Что меня?

Авессалом. Не будут чтить!

Братья в ужасе прикрывают себе рты.

Давид. Пока я царь, в Израиле правит любовь, а не страх. Но царь здесь я, а не ты. *(Переступив через занавесь, подходит к нему вплотную.)* Амнон мой сын, я сам решу его судьбу. Поклянись, что ни один волос не упадет с его головы. Клянись своими волосами.

Оробевший юноша бормочет клятву. Пауза. Авессалом, вздрогнув, дотрагивается рукой до лба.

Нет — клянись своими **волосами**!

Авессалом *(трогая свои роскошные кудри)*. Клянусь.

Смерив его холодным взглядом, Давид выходит.

(Братьям.) Амнон никогда не взойдет на трон Израиля, помяните мое слово! И вы тоже, жалкие трусы! Презираю!

Царевичи быстро ретируются, прихватив с собой трон. Ионадав тоже хочет улизнуть, но не тут-то было.

(Ему вслед.) Ионадав!

Ионадав. Да, мой царевич?

Авессалом. Пойдем ко мне, поговорим.

Ионадав. Я очень сожалею, но сейчас не могу. Неотложные семейные дела...

Авессалом хлопает в ладоши. Двое рослых телохранителей подходят к Ионадаву и становятся по бокам от него, как бы невзначай показывая ему свои заостренные посохи.

А впрочем, дела могут подождать.

Его ведут к внутреннему кругу, над которым опускается зубчатая башня. Авессалома встречает Фамарь, ее лицо скрыто покрывалом. Он нежно берет ее за руку. Перемена света.

Сцена вторая

Дом Авессалома.

Фамарь *(нетерпеливо)*. Ну? Что он сказал?

Авессалом *(смущен)*. Не здесь. Потом.

Фамарь. Нет, сейчас!

Авессалом *(показывая на Ионадава)*. Иди в дом. Поговорим позже.

Фамарь. По крайней мере, отец обещал наказать его? Что ты молчишь?

Авессалом *(с болью)*. Я сказал, потом! Иди в дом, Фамарь. Я приказываю! *(Она, испуганная, подчиняется. Ионадаву.)* Ну? Выкладывай!

Ионадав. Ты о чем?

Авессалом. Твоя роль в этом деле?

ИОНАДАВ. Моя... роль?

АВЕССАЛОМ. Ты был с Амноном прошлой ночью.

ИОНАДАВ. Я ушел сразу, как пришла царевна. Спроси у слуг.

Авессалом хлопает в ладоши. Входят еще ДВА ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ.

АВЕССАЛОМ. Всю правду, Ионадав!

ИОНАДАВ *(струхнул)*. Он заболел. Твоя сестра пришла помочь. Это все, что я знаю.

По кивку хозяина один из телохранителей обрушивает удар на Ионадава. Тот с криком падает.

АВЕССАЛОМ. Я сказал, всю правду.

ИОНАДАВ. Это правда!.. Теперь я понимаю, что болезнь была только предлогом, но я ничего не знал о его планах!

Удар.

Ааа! Я клянусь!

Удар.

Не надо... я ни в чем не виноват... Ааа!.. пожалуйста...

Следуют новые удары, пока хозяин не дает сигнал остановиться.

АВЕССАЛОМ *(склоняясь над Ионадавом)*. Я все равно узнаю правду. *(Телохранителям.)* Вышвырните его на улицу. *(Уходит.)*

Все происходит как в кошмарном видении Ионадава: та же музыка, те же оскорбительные выкрики толпы. Ионадав, поднявшись, бежит по внешнему кругу, уворачиваясь от камней. Перемена света. Гул толпы стихает.

ИОНАДАВ *(зрителям)*. Пока добежал до дома, успел получить свою порцию камней и ослиного помета. Остался жив, и на том спасибо. Но унижение! В конце концов, я родственник царя, пускай дальний. Бросить меня в канаву на радость псам и нищим! Одно меня утешало. Обратили внимание? В том видении, когда мне явился разгневанный Авессалом, его слуги вот так же бросили меня в канаву. Не иначе природа наделила меня пророческим даром! Вы люди современные и во все это не верите. Тогда как вы это объясните?

Снова шум толпы, на этот раз приглушенный. Башня уплывает вверх. На внутренний круг, спотыкаясь, ступает пьяный АМНОН с кувшином вина в руке и растягивается на полу. Сверху опускается навес.

Неделю я не высовывал на улицу носа, а в это время толпа, осаждавшая дом Амнона, кричала: "Побить его камнями!" У нас все проблемы решались этим проверенным способом. Кончилось тем, что Давид послал солдат.

Солдаты разгоняют толпу и берут дом под охрану.

Только после этого я рискнул проведать моего несчастного друга. *(Прокрадывается к дому Амнона. Солдаты его пропускают.)* Н-да... Сказать "несчастный" – значит ничего не сказать!

Сцена третья

Луч света падает на пьяного, дрожащего Амнона.

Ионадав. Амнон?.. Дорогой...

Амнон. А?

Ионадав. Ты в порядке?

Амнон *(желчно)*. А, отсиделся в своей норе? Хорош друг!

Ионадав. Видел бы ты, как меня избили по приказу твоего братца.

Амнон. Избили, большое дело. Меня толпа чуть не растерзала!

Ионадав. Отец не допустит. Здесь ты в безопасности.

Амнон. Надолго ли?

Ионадав. На твоем месте я бы прямо сейчас пошел к царю, упал к его ногам и не вставал, пока он не простит. Простит, никуда не денется. Ты ему нужен. Слава Авессалома не дает ему покоя.

Амнон. Не могу!

Ионадав. Ерунда. Покричит для порядка и объявит: "Бог простил, и я прощаю".

Амнон. Ты не понимаешь. Это судьба!

Ионадав. Судьба?

Амнон. Я думал, ты умнее, а ты дальше носа своего не видишь.

Ионадав. Так объясни, сделай милость.

Амнон. Одни мостят дорогу, другие по ней ходят. Понимаешь?

Ионадав. Видимо, ты прав: обделил меня умом Господь.

Амнон. Скажи, где сейчас эти голубки, мои брат и сестра?

Ионадав. В доме Авессалома.

Амнон. И что они там делают?

Ионадав. Откуда мне знать...

Амнон. Так я тебе скажу. *(Таинственно.)* Сидят в яйце!

Ионадав. Не понял?

Амнон. Когда скорлупа треснет, птички выпорхнут наружу. Два золотых орла. А когда они умрут, то полетят прямиком на небо.

Ионадав. Красиво, но непонятно.

Амнон. Ты вспомни, как они всегда переглядывались! Как держались за руки! А я-то губы раскатал! Нет, это **они**! Речь всегда шла о **них**!

Ионадав. "Они", "о них"... по-моему, ты малость перебрал.

Амнон *(вдруг совершенно трезво)*. Авессалом и Фамарь — Божьи избранники. Я могу это доказать. Есть неопровержимые знаки.

Ионадав. Ах, знаки? Ну, тогда я молчу!

Амнон. Ты сначала послушай...

Ионадав. Байку для старух и деревенских дурачков? Нет уж, уволь. *(Хочет уйти.)*

Амнон. Куда?! Ишь ты, прыткий! Постоишь чуток. Небось не растаешь.

Ионадав. Хорошо. Я тебя внимательно слушаю. Какие знаки?

Амнон принимает позу пророка и застывает. Зрителям.

И он начал вещать. Что эти двое рождены стать богами. Что у них на лбу написано: "Бессмертие". У вас еще будет возможность послушать этот бред сумасшедшего. А сейчас вы не возражаете, если мы его опустим?

Амнон *(оживает)*. Ну, что ты на все это скажешь?

Ионадав. Да... Впечатляет.

Амнон. Мне страшно, Йонни. Меня мучают кошмары.

Ионадав *(поежившись)*. Не тебя одного.

Амнон. Они приходят за мной, Фамарь и Авессалом, в золотых коронах! По их приказу меня связывают веревками и выводят на улицу... От их пальцев исходит золотое сияние...

Ионадав. Амнон, довольно!

Амнон. Давид бежит из города, а они восходят на престол. Венценосные супруги. И всех, кто стоял у них на пути...

Ионадав. Всё! Я пошел. Твои слуги донесут, а на меня потом всех собак повесят!

Амнон. Сходи к Авессалому.

Ионадав. Что?!

Амнон. Я сделаю все, что он скажет. Съесть землю, по которой она прошла? Я съем! Дать ей на меня помочиться? Изволь! Нет, это уже слишком. Посоветуй что-нибудь! Это ведь по твоей части!

Ионадав. Ума не приложу.

Амнон. Скажи, что я от стыда слег в горячке...

Ионадав. По-моему, это уже было.

Амнон. Так придумай что-нибудь! Хватит скалиться!

Ионадав. К нему я не пойду! И не проси!

Амнон. Зачем просить? Достаточно, если он, а заодно и Давид узнают, кто заварил эту кашу.

Ионадав *(после паузы)*. Ты этого не сделаешь.

Амнон. Ну, разумеется! Я пошутил. Сам знаешь, юмор у меня грубоватый. Я просто тебя прошу. Как друга. Не бросишь же ты меня в такую минуту! Йонни, лучший из друзей со дня сотворения мира! *(Подполз, прижался к его ногам.)*

Ионадав. Амнон, не надо...

Амнон. Ты видишь, царевич у твоих ног. Неужели ты откажешь?

Ионадав *(с брезгливостью)*. Хорошо.

Амнон. Спасибо! Спасибо, Йонни! Господь тебе этого не забудет, а уж я и подавно!

ИОНАДАВ. Прощай. *(Переходит на внешний круг.)*

Амнон, оставшийся в темноте, прикладывается к кувшину. СОЛДАТЫ уходят.

(Зрителям.) Я пообещал, лишь бы от него отвязаться. А впрочем... почему не попробовать? Помириться с Авессаломом — это было бы куда как кстати. Мне нужен был новый покровитель. Вы видели Бычка... тряпка для ног! Я спрятал свой страх подальше и отправился к нашему красавчику.

Сцена четвертая

Опускается зубчатая башня. В дверях, на внешнем круге, ДВА ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ, перед ними ИОНАДАВ. В дом входит АВЕССАЛОМ за руку с ФАМАРЬЮ, чье лицо по-прежнему закрыто покрывалом. Их сопровождают еще ДВА ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ.

ИОНАДАВ *(телохранителям у двери)*. Я должен видеть царевича. Меня послал Амнон.

АВЕССАЛОМ. Пусть войдет.

Телохранители, впустив Ионадава, становятся у него за спиной. Он нервно озирается, кланяется.

Что скажешь?

ИОНАДАВ. Твой брат просит, чтобы ты назначил ему любое наказание, но сохранил жизнь.

АВЕССАЛОМ *(насмешливо)*. Наш смельчак! Сестра, что ты на это скажешь?

ФАМАРЬ. Тебе решать.

АВЕССАЛОМ. Тогда я говорю "нет". Так своему дружку и передай.

ИОНАДАВ. Он мне не друг.

АВЕССАЛОМ. Вот как?

ИОНАДАВ. Он вызывает у меня отвращение.

ФАМАРЬ. Неужели что-то может вызвать отвращение у Ионадава?

АВЕССАЛОМ. Не опускайся до разговора с ним. Служить чудовищу может только такое же чудовище.

ИОНАДАВ. Я — это не он!

ФАМАРЬ *(подходит ближе)*. Вот как? Нельзя ли поподробнее?

АВЕССАЛОМ. Фамарь! Я, кажется, предупредил. Возвращайся в дом.

ФАМАРЬ *(с напускным смирением)*. Да, брат мой. *(Открывает лицо.)*

ИОНАДАВ *(зрителям)*. Я остолбенел. За неделю она изменилась до неузнаваемости! Вместо смазливого юного личика — само совершенство, которое могло поспорить с красотой ее брата. Взошло еще одно солнце. Царевна, ты прекрасна!

АВЕССАЛОМ *(телохранителям)*. Проводите ее в дом!

ФАМАРЬ. Я знаю дорогу.

Не удержавшись, Ионадав целует ей руку. Она закрывает лицо и уходит. Он провожает ее восхищенным взглядом. Взбешенный Авессалом подходит и с размаху бьет его по лицу.

Авессалом. Больше ты с ней не заговоришь! *(Схватив за волосы, запрокидывает его голову.)* Я зарежу тебя, как барана! Думаешь, тебе это так сойдет с рук? Я узнаю всю правду!

Ионадав. А-а!

Авессалом. По-твоему, я болван. Такой же, как мой брат. Так вот, Ионадав, нет для меня большей радости, чем выпустить тебе кишки! Ты понял?

Ионадав *(вырвался; с не меньшей яростью)*. Отлично! Валяй! Ты такой же, как они все: еще один дикарь из "дома Давида"!

Они стоят друг против друга, как два бойцовых петуха.

Режь, что же ты? Мне моя жизнь не дорога. И тебя — Господи, тебя! — он считает Избранным! *(Хохочет, срываясь на фальцет.)* Авессалом — князь мира!!!

Авессалом *(после паузы)*. Ты о чем?

Ионадав. Ни о чем. Это даже не смешно!

Авессалом застывает.

(Зрителям.) Что дало мне смелость так с ним разговаривать? Отчаяние, милые мои. Я ведь сказал чистую правду: мне моя жизнь не дорога.

Авессалом. Что значит Избранный?

Ионадав. Амнон считал, что, познав сестру, он станет божеством.

Авессалом. Она мне сказала. Богомерзкая ересь!

Ионадав. А теперь считает, что не он, а ты.

Авессалом. Не понял?

Ионадав. Не он, а ты станешь божеством, если совершишь известный ритуал. Интересный поворот, не правда ли? Он даже перечислил мне все знаки.

Авессалом *(брезгливо)*. Какие еще знаки?

Ионадав. Не все ли равно. Человек не в себе, что с него возьмешь.

Авессалом. Я должен знать, что у него на уме.

Ионадав. Сплошные бредни. А сейчас, извини, я должен идти.

Авессалом *(резко хватает его за плечо)*. Ты уйдешь, когда я тебя отпущу!

Телохранители угрожающе поднимают свои посохи.

Ионадав *(глядя ему в глаза)*. Я твой двоюродный брат, а не твоя шавка, Авессалом. Если хочешь что-то узнать, будь со мной повежливей.

Авессалом в ярости кусает губы, но убирает руку с его плеча.

Пожалуйста, оставьте нас одних!

Авессалом хлопком отпускает телохранителей, которые неохотно покидают сцену.

Авессалом. Итак, знаки?

Ионадав. Не относись к этому всерьез. Это всего лишь... Ну, хорошо. Три знака. Первый — твои волосы.

Авессалом. Что?

Ионадав. Единственные и неповторимые.

Авессалом. Шутить со мной изволишь?

Ионадав. Нисколько. Люди избранные отличаются особой внешностью.

На внешнем круге ярче высвечивается Амнон. Он говорит, стоя в той же позе пророка, что и в предыдущей сцене с Ионадавом. Прошлое и настоящее разворачиваются одновременно.

Амнон *(с пьяным напором)*. Подумай сам! Даже у Самсона, Божьего избранника, не было таких волос! И это только первый знак!

Авессалом *(с сарказмом)*. Потрясающе. Какой же второй?

Амнон *(предъявляет козырную карту)*. Как она нашла его дом? А? То-то! Она миновала лабиринт улиц, ни разу не сбившись, и это при том, что она вообще не знает города!

Авессалом. Ей подсказали, только и всего.

Ионадав. Если бы...

Амнон. Ионадав, ее направляла невидимая рука!

Авессалом *(издевательски)*. Ну, разумеется. Как я сразу не догадался!

Амнон. Ты пойми, это задумано не нами! Я выставляю ее на улицу, он забирает ее к себе. Меня убивают, они воцаряются. Как по писаному! Самая красивая пара во всем Израиле! Брат и сестра... не сводные... настоящие! Вот тебе и подтверждение старинной легенды. Царство Мира, которым правит красота... двое влюбленных, связанных кровными узами! Бог и Богиня!

Авессалом. И это говорит сын царя Давида! Невероятно!

Ионадав. Когда человеком овладевает навязчивая идея, его не остановишь.

Авессалом. Продолжай.

Ионадав. Может, не стоит? Ты же во все это не веришь.

Авессалом. Не важно. Третий знак?

Амнон. Самый главный! Избранник должен быть **чистым**, это же ясно как день. На что я рассчитывал? Я, погрязший в блуде? Иное дело он! Ты когда-нибудь видел Авессалома рядом с девушкой? Вот тебе и знак! Молод, красив, женщины по нему с ума сходят... и до сих пор девственник!

Авессалом. Что-что?

Ионадав. Я не хотел говорить. Ты сам из меня вытянул.

Авессалом *(с горьким смехом)*. Глупо! Как это глупо! А главное — неправда!

Ионадав. Я ему так и сказал.

Авессалом. Наглая, беспардонная ложь!

Ионадав. "Чтобы красавец царевич, — сказал я ему, — которому каждая израильтянка готова отдаться, только пальцем помани, до двадцати двух лет оставался девственником!"

Авессалом. А он?

Ионадав. Стоит на своем.

Авессалом *(не слушает, глаза горят).* Это задумано не нами! Не нами, да!

Ионадав. Я же говорю, если человеком овладевает навязчивая идея, его уже не...

Авессалом *(грубо перебивает).* Оставь меня. И больше не появляйся.

Ионадав. Совсем?

Авессалом. Совсем.

Ионадав. Я бы хотел сюда вернуться.

Авессалом. Зачем?

Ионадав. Чтобы служить тебе, если ты позволишь.

Авессалом. Тебе все равно, кому служить.

Ионадав. Ты меня не знаешь.

Авессалом. И не желаю знать. Свободен! *(Махнул рукой.)*

Ионадав *(с поклоном).* Да будут тучны твои дни. *(Отходит, но недалеко. Авессалом в рассеянности теребит волосы. Зрителям.)* Странно, да? Шел, дрожал, а тут вдруг не захотел уходить. Когда-то таким передо мной предстал его отец, а сейчас он — сияющий сквозь плоть дух! Не испытывая больше страха, я подглядывал за ним, стоя за дверью, и вот...

Музыка. Авессалом распускает волосы, и они обрушиваются сверкающим водопадом.

Упала еще одна завеса... На сей раз не для того, чтобы что-то **скрыть**... а чтобы **показать**!

Авессалом перебирает пряди, словно демонстрируя редчайшую красоту.

Я никогда не видел их распущенными. Не будь я закоренелым циником, я бы наверняка сам счел это Божьим знаком. Вот и сейчас я, говорящий с вами в вечности, вижу как вчера эту картину: Авессалом, с гордостью демонстрирующий свою черную "мантию"... и его обольстительная сестра...

Входит Фамарь и останавливается в шаге от брата. Он потянулся к ней, она с улыбкой убежала, он спешит за ней следом. Уплыла вверх зубчатая башня. Ионадав переходит на внешний круг, где сидит Амнон.

Амнон. Что он сказал?

Ионадав. Он отказывается тебя простить.

Амнон. Все правильно. Боги этого не желают. Я должен умереть, чтобы он жил вечно.

Ионадав. Амнон, ты только послушай, что ты несешь!

Амнон. Это задумано не нами! *(Уходит нетвердой походкой.)*

Свет делается приглушенным.

Сцена пятая

Ионадав *(зрителям)*. На какое-то время наступило полное затишье. Все разошлись по своим норкам. Амнон вел безумные разговоры сам с собой. Авессалом и Фамарь наслаждались обществом друг друга.

На внутреннем круге появился Давид.

А царь Давид метался по дворцу, вознося мольбы к небу. Однажды я засек его за этим занятием... ну да, с детства моя любимая игра — "подглядки". И вновь судьба подарила мне удивительное зрелище. Знаете, я всегда думал, что он обращается к Богу высокопарным слогом. Все эти "доколе" и "поелику". Ничего подобного! Он разговаривал с Ним, как честный работник со сволочным хозяином.

Давид. Знак! Это все, чего я прошу. Один-единственный знак! Неужели это так много? Да, я обделил ее теплом. Я виноват. Но к кому она пришла искать тепла? Ты все видел! Не ко мне — **к нему**! На виду у всего города! Это как, по-Твоему? А может, это была **Твоя** идея? Может, Ты ей внушил: "Иди к Авессалому, Давид человек конченый". Ты от меня отвернулся, так надо понимать? Или это все из-за Вирсавии? Отнял нашего первенца, теперь это. Неужели человека, который **один раз** оступился, Ты наказываешь снова и снова? Господи, а может, **все это** — Твоих рук дело? Может, это **Ты** внушил Амнону слепую страсть к сестре? Нет, не верю! Неужели Ты способен на такую низость? *(Спохватившись, прикрывает себе рот.)* Прости, Господи. Что мы можем знать о путях Всевышнего? *(С надеждой.)* Ты только дай мне знак! Я хочу понять, чего Ты от меня хочешь. Милосердия или справедливости? Если помилую сына, то этим оскорблю мою девочку. А если стану на сторону закона, то должен буду убить моего первенца. Я, конечно, это сделаю. Я первый швырну в него камень. Я обмакну ладонь в его кровь и не стану смывать ее как драгоценный елей. *(Вздохнул.)* Но если Ты еще не окончательно решил со мной расстаться, скажи: "Милосердие". Раз в жизни поступись справедливостью. Оставь мне моего Бычка. *(Помолчал.)* Конечно, Тебе решать. Да будет так, как Ты хочешь. Аминь.

Затемнение.

Сцена шестая

Ионадав *(зрителям)*. Я поспешил домой и запер все двери. Не рано ли я успокоился? Вдруг небеса ответят: "Это сделал Ионадав! Справедливость требует, чтобы ты убил Ионадава!"

Странная музыка. Он ложится на пол на внешнем круге.

Три ночи подряд я видел один и тот же сон — из тех, когда кажется, что можешь всех потрогать.

Громче музыка. На внутреннем круге, вся в золоте, царская процессия: над головами служителей, словно верхом на лошадях, медленно движутся брат и сестра, улыбающиеся, с простертыми к народу руками.

Авессалом и Фамарь, привстав на стременах, скачут в Иерусалим — золотые короны, золотые плащи, из ладоней струится золотой свет. Я приветствую их, стоя на коленях, и они в ответ кивают. Они улыбаются. Языки их

тоже из чистого золота, и, как звон колоколов, разносится над пустыней золотое слово...

Два голоса, мужской и женский, заполняют зал: МИР ВАМ!.. Один из телохранителей Авессалома ударяет в землю посохом, и воцаряется тишина. Меняется свет. Всадники исчезли. Ионадав поднимается с земли.

Чего тебе надо?

Телохранитель показывает посохом на зубчатую башню, которая как раз опускается над внутренним кругом.

Авессалом хочет меня видеть?

Телохранитель кивает. Двое служителей приносят факелы.

Среди ночи? Что бы это могло значить? *(Следует за телохранителем.)*

Входит Авессалом, чем-то сильно озабоченный.

Сцена седьмая

Ионадав. Мой царевич! Чем могу служить?

Авессалом. Богохульство — вот что мы ему предъявим!

Ионадав *(встревоженно)*. Ты о чем?

Авессалом. Царь обязан осудить его. Ты выступишь свидетелем.

Ионадав. Я не могу!

Авессалом. Ты, кажется, изъявлял желание служить мне.

Ионадав. Да.

Авессалом. Так служи.

Ионадав. Амнон был моим другом.

Авессалом. Амнон бросил вызов Богу. Это тягчайшее преступление.

Ионадав. Которое заслуживает смерти?

Авессалом. Закон говорит: "Не поклоняйся иному богу, кроме Господа".

Ионадав. И весь народ скажет: "Аминь".

Авессалом. Да.

Ионадав. А чего еще ждать от народа? Саул убил тысячи, Давид — десятки тысяч. Сколько убьешь ты, когда придет твой черед?

Авессалом. Я не ищу для себя выгоды. Закон есть закон.

Ионадав *(твердо)*. Повторяю: я не могу обречь его на смерть.

Авессалом. Он возжелал стать богом! И земным царем!

Ионадав. Уже не желает.

Авессалом. Что ты хочешь сказать?

Ионадав. Не будем играть в прятки. Тебе не хуже меня известно, кто унаследует трон.

Авессалом. Молчи! Это решит величайший из отцов.

Ионадав. Это решит народ, и ты догадываешься, в чью пользу.

Авессалом. Ни слова более! За такие речи мне следует предать тебя суду...

Ионадав *(дерзко)*. И душа моя истреблена будет из народа моего. Аминь! *(Под суровым взглядом Авессалома.)* Прости. Я забылся. Мне лучше уйти.

Авессалом. И чем скорее, тем лучше. Чего же ты ждешь? Иди!

Ионадав, поклонившись, направляется к выходу.

Постой!.. Ты это серьезно?.. Насчет возможного наследника?

Ионадав. Возможного? Все ясно как день. Я даже видел это во сне.

Авессалом. Вот как?

Ионадав. Хотя, может, ты из тех, кто в сны не верит.

Авессалом. Я тебя слушаю.

Ионадав. Право, не стоит. Ты подымешь меня на смех. "Что еще за бабьи сказки!"

Авессалом. Расскажи. Ну, я тебя прошу. Авессалом просит оказать ему милость.

Ионадав. Изволь. Я готов. *(Авессалом застывает. Зрителям.)* Еще бы! Царевич Солнце просит меня об одолжении! Когда я удостаивался такой чести? Я пересказал ему свой сон в ярчайших подробностях. Он слушал не перебивая. Точно в трансе.

Авессалом *(оживая)*. Из наших ладоней струился свет?

Ионадав. Золотой свет.

Авессалом. И мы раз за разом повторяли слово "мир"? Ты не ошибся?

Ионадав. Здесь не так часто слышишь это слово, чтобы можно было ошибиться.

Авессалом. Может, когда-нибудь оно будет звучать чаще, чем "война".

Ионадав *(удивился)*. Ты бы этого хотел?

Авессалом. Да. Всем сердцем.

Ионадав. Твой отец — настоящий воин.

Авессалом. И величайший из людей. Как знать, может, в чем-то я даже сумею его превзойти! Говоришь, ты видел этот сон трижды? Это ведь не случайно?

Ионадав. Толкователи снов придают цифре три сакральный смысл. Кроме того — не знаю, говорить ли? — однажды я уже видел тебя во сне, а потом это случилось наяву, точь-в-точь так же. Вот у меня и шрамы остались на память.

Авессалом. Это после того случая? Когда я приказал вышвырнуть тебя на улицу?

Ионадав. Сначала я увидел это во сне. Во всех подробностях.

Авессалом. Не может быть!

Ионадав. Я не считаю себя пророком, но что было, то было.

Авессалом. Что ты за человек, Ионадав? Ты для меня загадка.

Ионадав. Ты для меня — тоже.

Входит Фамарь. Авессалом никак не придет в себя после услышанного.

Фамарь. Я приготовила лепешки, как ты просил. И стол накрыла в башне.

Авессалом. Да-да... хорошо... *(Ионадаву.)* Приходи завтра. В это же время.

Ионадав. Как тебе будет угодно, мой господин. *(Отвешивает изысканный поклон.)*

Фамарь *(одаривает его улыбкой)*. Ионадав.

Авессалом *(резко хлопает в ладоши)*. Мы желаем остаться вдвоем.

Ионадав. Прошу прощения. Я ухожу. *(Переходит на внешний круг. Зрителям.)* Но разве я мог уйти! В такую минуту! Он явно что-то задумал. А она... ее улыбка! Что бы это могло значить? Инстинкт соглядатая сработал безошибочно. В башню, скорей! Я взлетел по лестнице быстрее мысли. *(Он перепрыгивает на внутренний круг.)*

Тихая музыка. Двое служителей приносят вешалку с роскошными плащами, среди них и тот, в который Авессалом закутал Фамарь в финале первой части. Третий служитель вносит блюдо с лепешками.

Я оказался в маленькой комнатке. В углу был альков — там висели его плащи. Я шмыгнул под них, и сразу голова закружилась от пряных ароматов. Какой контраст со звериным логовом Амнона! Сердце мое колотилось так, что казалось — они его услышат!

Сцена восьмая

Входят Авессалом и Фамарь.

Ионадав *(зрителям)*. Сейчас вы увидите, как все было на самом деле. Я вам показываю Историю без купюр. Не выборочные события в библейском пересказе, а **механизм сцепления** этих событий. Я, единственный свидетель, впервые рассказываю об этом. Вам, милые вы мои. Так вот, я проклинаю свое любопытство, из-за которого в тот день оказался на башне. Каким же надо было быть глупцом! Не понимать, к чему все идет... к чему **она** все ведет! Увы, инстинкт соглядатая — это все, чем я могу похвастаться. В серьезных делах я был сущий ребенок. Я видел внешнюю канву, но не изнанку! А как ее увидишь? Кто ее видит? Может, вы мне скажете?

Авессалом садится, Ионадав выглядывает из укрытия.

Авессалом. Знаменитые лепешки Фамари...

Фамарь. Если бы твои люди узнали, они выкинули бы их в окно. Вместе со мной.

Авессалом. Неправда.

Фамарь. Для них я ведьма.

Авессалом. Ведьмы уродливы.

Фамарь. Так и слышу, как они говорят между собой: "Амнон, бедняга. Она дала ему свои колдовские лепешки. После этого чего вы от него хотите!"

Авессалом. Невежды.

Фамарь. Смотри! А то поешь моих лепешек и станешь как твой брат.

Авессалом *(с нервным смешком)*. Я хочу попробовать.

Фамарь *(подносит ему блюдо)*. Попробуй.

Авессалом. С руки.

Фамарь *(протягивает ему лепешку на ладони)*. Сначала помолись.

Авессалом *(протестующе)*. Фамарь!

Фамарь. Помолись!

Авессалом. Хвала Царю Небесному, который дает нам хлеб из рук красивых женщин.

Фамарь. Не богохульствуй.

Авессалом. Прости меня.

Фамарь. Сегодня ты какой-то озабоченный.

Авессалом. Разве?

Фамарь. Прошлой ночью я слышала, как ты ходил взад-вперед. Это из-за него?

Авессалом. Ты ему улыбнулась.

Фамарь. Разве?

Авессалом. Ты улыбаешься другу Амнона?

Фамарь. Амнон ему больше не друг, ты сам слышал.

Авессалом. А в прошлый раз ты перед ним открыла лицо. Почему?

Фамарь. А ты его ударил. Думаешь, я не видела? Почему?

Авессалом. Мне казалось, ты его ненавидишь.

Фамарь. Было за что.

Авессалом. А теперь?

Фамарь. Сама не знаю. Он мне снится. Странно, да? Всегда один и тот же сон.

Авессалом. Плохой?

Фамарь. Замечательный!

Авессалом *(встревоженно)*. Да? И что же в нем?

Фамарь. Сон удивительный. Мы едем верхом, ты и я, а лошади из золота! Всё из золота! Короны, плащи... даже языки у нас золотые! И разносят они, как колокольный звон, одно слово. Много, много раз!

Авессалом. "Мир".

Фамарь. Да! Откуда ты знаешь?

Авессалом. Продолжай.

Фамарь. Ты не можешь этого знать!

Авессалом. А что Ионадав?

ФАМАРЬ. Он встречает нас на коленях у городских ворот, лицо его светится счастьем! В нем нет ничего от того скользкого червя, которого мы знаем!

АВЕССАЛОМ. И мы ему киваем в ответ.

ФАМАРЬ. Да! Невероятно! Откуда тебе все это известно?!

АВЕССАЛОМ. Тебе и ему снился один и тот же сон.

ФАМАРЬ. Но это невозможно!

АВЕССАЛОМ. Он мне его пересказал. Все совпадает, до последней детали! Он видел этот сон три ночи подряд. Если ты мне не веришь, спроси у него завтра сама.

Они молча смотрят друг на друга. Ионадав застыл в изумлении.

ФАМАРЬ. Что все это значит?

АВЕССАЛОМ. Ответь мне на один вопрос. В то утро, когда ты пришла к моему дому, ты знала дорогу?

У нее вырывается вздох.

Или тебе кто-то подсказал?

Она отворачивается.

Фамарь, ответь мне. Это очень важно.

Пауза.

Фамарь! Почему ты молчишь?

ФАМАРЬ. Я не говорила, потому что... боялась, что ты поднимешь меня на смех...

АВЕССАЛОМ. Продолжай.

ФАМАРЬ. В то утро... оказавшись на улице... я знала только одно — я должна найти твой дом. Я не знала, куда идти, просто шла, и все. Меня словно кто-то вел. Так странно. Как будто кто-то тащил меня за руку. Но не грубо. А я только послушно переставляла ноги. Или даже не я. Ноги были как будто не мои.

Пауза.

А почему ты именно сейчас про это спросил?

Авессалом находится в каком-то оцепенении. На Ионадава ее рассказ тоже произвел сильное впечатление.

Авессалом? В чем дело? Это плохой знак?

АВЕССАЛОМ. Я... мне тоже надо кое-что тебе рассказать...

ФАМАРЬ *(встревоженная не на шутку)*. Что-то не так? Я что-то не то сказала?

АВЕССАЛОМ. Поклянись, что сохранишь это в секрете.

ФАМАРЬ. Да... Разумеется.

АВЕССАЛОМ. Поклянись по-настоящему.

Она подносит пальцы ко лбу. Авессалом в сильнейшем волнении расхаживает по комнате. Наконец с трудом начинает говорить.

Раньше... до того ужасного дня, когда ты пришла ко мне... я никогда не искал встреч с женщинами. Но в тот день... когда я увидел тебя... растерзанную... во мне тоже как будто... сломали какую-то печать... и я словно ждал этого. *(Глядя ей в глаза.)* Случилось невероятное... такого еще не было. Некая сила привела тебя ко мне, чтобы я тебе помог... А я ждал тебя, чтобы мне помогла ты.

Фамарь. Я не понимаю.

Авессалом. Фамарь, ты только не пугайся. Мне кажется, мы — избранные.

Фамарь. Избранные?

Авессалом. Я тоже вижу сны... один ужасный сон. Амнон в своей спальне... швыряет тебя на постель... а я ничего не могу сделать! Я кричу тебе: "Беги!", но ты не слышишь. Я кричу: "Иди ко мне. Войди в мой дом... хозяйкой!" И с этим криком просыпаюсь.

Фамарь. Я слышала, как ты кричал, но не разбирала слов. *(Помедлив.)* Ты можешь это повторить? Наяву?

Авессалом. Иди ко мне. Войди в мой дом хозяйкой.

Фамарь *(делает шаг навстречу)*. Я пришла.

Авессалом. Я люблю тебя.

Фамарь. Я тоже. Я должна была прятать это так глубоко, чтобы никто, даже я сама, не догадался. Это судьба, я знаю. Нам это предначертано.

Авессалом. Любить?

Фамарь. И править! Вдвоем!

Авессалом. И даже больше! Да, да!

Фамарь. Что может быть больше?

Авессалом. Я не решаюсь сказать об этом вслух! Это выше человеческого разумения!

Фамарь. Авессалом...

Авессалом. Фамарь, любимая, да будет так!

Он жадно целует ее, она отвечает на его страсть. Музыка. Потрясенный Ионадав выходит из своего укрытия, в руке у него плащ Авессалома.

Ионадав *(зрителям)*. Я смотрел на них, словно в трансе. Впервые в жизни, перед этой двоящейся, как в зеркале, красотой я творил молитву. Из груди, хоть рот мой был закрыт, рвалась мольба: "Да будет так!" Я знаю, боги не ходят по земле, но — да будет так! Я знаю, двое любящих не смягчат жестокие нравы своей любовью, но — да будет так! Пусть придет конец этому миру кровожадных верований, а заодно и моему миру, в котором не осталось места для веры!.. **Дай мне это увидеть!** Измени мой застывший в неподвижности мир! Наполни смыслом жизнь старого пройдохи!.. **Иначе зачем во мне эта тяга к свету — и нежелание сделать хотя бы шаг к нему?..** Представляете? Я — я! — сметливый потомок туповатых номадов, изголодавшийся по красивым картинкам в этом погрязшем в серости Иерусалиме, заклинаю двух юнцов, как

если бы они были идолами или давно здесь отвергнутыми статуями: "Да будет так! Да будет так! Верните мне веру!"... Я так размяк, что даже зарылся лицом в плащ, которым он в тот злосчастный день окутал ее, как молитвенным покрывалом. Осушал этим плащом свои слезы как драгоценным талесом. А!

Двое оборачиваются на крик.

Простите, если можете. Я все слышал!

Авессалом. Так это правда? Мы избранные, как те двое из легенды?

Ионадав. Не знаю!.. Но, похоже, какая-то великая мистерия творится через вас обоих... Я верю, что вы избранные — по крайней мере, в том смысле, в каком Самуил избрал вашего отца.

Авессалом. Что ж, значит, ты — **наш** Самуил.

Ионадав. Нет.

Авессалом. Ты наш добрый вестник.

Ионадав. Нет.

Авессалом. Да! Ты пришел ко мне, как и она, сам не зная зачем. Тебе приснился тот же сон, что и ей, и ты рассказал его мне. Ты открыл мне все знаки — слишком много знаков, чтобы от них можно было отмахнуться.

Ионадав. Возможно... но только не я. Этим человеком не мог быть я.

Авессалом. Почему?

Ионадав *(вопль отчаяния)*. Потому что я — Ионадав! Я — никто!

Авессалом. Если мы — избранные, значит, и ты — избранный.

Брат и сестра кланяются Ионадаву. Он, как во сне, опускается перед ними на колени и, соединив их руки, прижимается к ним лицом.

Да, мы — избранные, это ясно. Мы должны теперь принять царство и принести в него мир. Мы утвердим Царство Мира. Я ощущаю, как внутри меня растет... способность властвовать... Это чувство вот-вот разорвет мою грудь. Я хочу кричать о нем с башенных стен!

Ионадав. Умоляю тебя, не делай этого.

Авессалом. Не делать?

Ионадав. При всей любви к тебе... народ может тебя не понять.

Фамарь. Он прав.

Авессалом. Что же мне делать? Дай совет.

Фамарь. Дай нам совет, Ионадав.

Ионадав. Обратиться к людям — это правильно, но не сейчас. Еще не время.

Фамарь. Когда же?

Авессалом. После смерти отца. *(Ионадаву.)* Да?

Фамарь. Мы должны его убить?

Авессалом. Зачем? Дни Давида сочтены. Когда мы въедем в Иерусалим, как в том сне, Давид **падет**! Боги сами пошлют ему смерть! Да, Ионадав? Боги расчистят нам путь?

Ионадав *(уклончиво)*. Да... то есть не сразу...

Авессалом. Как он может устоять, если все знаки против него! *(Сестре.)* Но сначала мы должны исполнить предначертанное. Сначала — наша любовь.

Фамарь. Нет.

Авессалом. Как — нет?

Фамарь. Сначала возмездие, потом любовь. Амнон должен умереть. От твоих рук.

Авессалом. Фамарь!

Фамарь. Престол — для справедливых. Народ должен ясно увидеть твою справедливость.

Авессалом. Он и так видит. За это меня и любят!

Фамарь. Пока они видят твою слабость. Даже слуги шепчутся за твоей спиной: "Когда он покажет себя настоящим мужчиной?"

Авессалом. Неправда!

Фамарь. Пока ты не свершишь правый суд, ты не будешь царем в глазах народа.

Авессалом. Я дал клятву, ты забыла?

Фамарь. Помню — клятву, которая бесчестит тебя.

Авессалом. Что?!

Фамарь. Да! Именно этого желал отец.

Авессалом. Фамарь...

Фамарь. Он связал тебя по рукам и ногам. Ты стал всеобщим посмешищем.

Авессалом. Довольно...

Фамарь. Его шутом!

Авессалом. Замолчи!

Фамарь. Скажи ему, Ионадав!

Ионодав *(осторожно)*. Она права. Давида сменит тот, кто проявит волю.

Фамарь. Ты слышал?

Авессалом. Я дал клятву и не нарушу ее!

Фамарь *(резко)*. Что ж, я тоже не нарушу своей клятвы. Смотри: я клянусь! *(Подносит пальцы ко лбу.)* Ты не познаешь меня, пока Амнон жив. Сэла́!

Пауза.

(Смягчаясь.) Одна жертва — это все, о чем я прошу.

Авессалом. По-твоему, я могу не сдержать обещания? Чего стоит царь, который не держит слова?

Фамарь. Настоящему царю это ни к чему. Люди последуют за ним, куда бы он их ни повел. Сила — вот чего от него ждут. Для всего на свете потребна сила. Даже для того, чтобы утвердить мир. Скажи ему, Ионадав!

Напряженное молчание.

Авессалом *(Ионадаву)*. Что я должен делать? Убить твоего друга, вы этого хотите? Отвечай!

Фамарь. Иначе ничего не будет. Я свое слово сдержу, можешь не сомневаться.

Авессалом *(как раненое животное)*. И это — мир?! Это вы называете миром?! *(В бессильной ярости убегает.)*

Пауза.

Фамарь. Ты должен убедить его.

Ионадав *(вздрогнул)*. Я?

Фамарь. Он поверил в тебя. Как и я... Мы с тобой видели один и тот же сон. Это объединяет нас.

Ионадав. В нашем сне не было крови.

Фамарь. Пока Амнон жив, нам не на что надеяться. Он придет к власти и уничтожит нас, избранных. Тебя тоже.

Ионадав. Почему ты так...

Фамарь *(обрывает его)*. Он тебе не поверит, после того как ты присягнул его брату. Он убьет нас всех: ему больше ничего не остается.

Пауза.

Одна жертва, которая все изменит. Миром будет править любовь. Ты сделаешься главным советником. *(Нащупала слабое место.)* Ты станешь для Авессалома его Самуилом... ты возведешь его на трон... об этом ты мог только мечтать.

Ионадав. Как ты переменилась.

Фамарь. Разве?

Ионадав. Не прошло и двух недель. Какая-то мистерия творится через тебя — это несомненно.

Фамарь. Я принесу еще одну клятву — тебе. Если уговоришь его, ты тоже станешь моим братом. *(Кончиками пальцев трогает свой лоб, а затем прикасается ими к губам Ионадава.)* Слово царевны.

Ионадав *(зрителям)*. Голова у меня закружилась! В этот миг я был готов на все! В один день, хорошие мои, Ионадав стал пророком Самуилом... в миниатюре. Ионадав-пророк, устами которого глаголет истина! Оказалось, что это не так уж трудно для того, кто всегда жаждал обратить на себя внимание. Все, что требуется, — это вкус к актерству и умение придать своему голосу легкую вибрацию.

Сцена девятая

Входит Авессалом в сопровождении вооруженной охраны.

Ионадав *(простирая к нему руки)*. Я говорю тебе: все на земле начинается с крови! Жизнь человека и жизнь твари. Не только война, но и мир замешан на крови! Амнон — олицетворение насилия, которое ты должен осудить. На тебя смотрит Израиль. На тебя смотрю я, его бывший друг. Человек жаждет справедливости. Благословен будет тот, кто утолит эту жажду!

Телохранители одобрительно стучат посохами.

Последняя казнь. Последний убитый во имя грядущего Царства Мира. Только один раз подними свой карающий меч — и потом навсегда опусти его!

Фамарь аплодирует. Вдруг все застыли.

(Зрителям.) Эффектно, да? Последний удар — и наступит рай земной. Последняя пуля... последняя бомба... последний экзорцист и последняя жертва...

Фамарь. Слушай его, Авессалом! Он знает, что говорит!

Авессалом. Я слышу! Слышу!

Фамарь. Вот он, выход!

Авессалом. Какой выход? Отец окружил дом Амнона тройным кольцом охраны. Ты предлагаешь мне устроить резню? В священном городе?

Ионадав. Так сделай это за его стенами.

Авессалом. Легко сказать! Он давно уже не выходит из дома.

Ионадав. Пойди к царю и попроси у него прощения. А в доказательство своей искренности пригласи его к себе в Ваал-Гацор, на праздник стрижения овец.

Авессалом. Он, как всегда, откажется!

Ионадав. А ты скажешь: по крайней мере, пусть навестят меня мои братья. Я давно хочу помириться с Амноном.

Авессалом. Он мне не поверит.

Ионадав. Он мечтает положить конец этой истории. Он будет только рад.

Авессалом. Никогда.

Ионадав. Послушай меня. Уж я-то знаю.

Авессалом. Но ведь это ложь! Вот так, открыто обмануть его!

Ионадав. Твой отец частенько говаривал: "Ради правого дела и обмануть не грех".

Фамарь. Верно. Я сама слышала.

Ионадав *(в сторону)*. Одному Богу известно, как далеко завела его эта философия... Авессалом, все будет хорошо. Он молится о спасении своего Бычка. Он пойдет тебе навстречу.

Авессалом *(после раздумья; охране, решительно)*. Мы идем во дворец!

Охранники в ответ радостно застучали посохами.

Фамарь. Нет! Ты пойдешь один. Покажи отцу, что твоя охрана — это закон Израиля.

Ионадав. Она права. Охрана может испугать его.

Фамарь *(подходит к брату, ласково)*. Ты только добейся разрешения, остальное предоставь Ионадаву... и мне. *(Целует его в губы, он жадно отвечает.)*

Охрана в оторопи.

Ионадав *(шепотом)*. Вы забываетесь.

Фамарь *(отстранилась)*. Могу я у тебя кое-что попросить?

Авессалом. Все что угодно!

Фамарь. Когда все будет позади, откажись от этих телохранителей. Пусть народ видит, что ты пришел с миром.

Охрана замерла в тревожном ожидании его ответа.

Авессалом *(Ионадаву)*. А ты что скажешь?

Ионадав. Это был бы красноречивый жест.

Фамарь. Пусть охраняют меня. Не расставаться же с такими молодцами!

Авессалом *(охране)*. Она права. *(Фамари.)* Твои страдания сделали тебя мудрой не по годам.

Ионадав. Боль — самое действенное средство от глупости, мой царевич.

Авессалом. Ты, Фамарь, будешь учить нас всех. А мы — учиться у тебя. Обещаю!.. *(Охране.)* В день смерти Амнона вы перейдете в распоряжение царевны. Вы будете ее личной охраной.

Общий ропот.

Молчать! Вы хотели голову Амнона, вы ее получите, чего вам еще?

Яростно застучали посохи.

Бунтовать? За собственные головы не страшно? Поклянитесь, что будете служить царевне верой и правдой.

Охрана колеблется.

Я жду!

Они совершают ритуальный жест клятвы — прикасаются пальцами ко лбу.

Ну, то-то. Бог покарает того, кто нарушит клятву!

Сестра берет его руки в свои.

Все. Больше я не буду гневаться. Я не Давид, но сын Давида. Израиль увидит нового, доброго царя.

Фамарь. Так!

Авессалом *(охране)*. Берегите ее как зеницу ока. Куда она, туда и вы. Это мой приказ, вступающий в силу с сегодняшнего дня.

Он хлопает в ладоши. Телохранители с видимой неохотой уходят за Фамарью. Уплывает вверх башня. Перемена света. Ионадав отходит в сторону. Авессалом остается в одиночестве посреди внутреннего круга.

Сцена десятая

Дворец. Музыка. Авессалом падает ниц перед невидимой дверью одного из дворцовых покоев и лежит, распростертый, на полу.

Ионадав *(зрителям)*. Полдня Авессалом пролежал под дверью отцовской спальни. По его лицу бежали слезы. Не могли удержаться от слез и свидетели этого зрелища.

Появляется Давид. Он протягивает руку к сыну.

И возликовал Давид, увидев раскаявшегося грешника.

Давид. Знак! Вот знак, которого я так долго ждал! Гордый юноша, поверженный любовью! Переполненный состраданием к обидчику, проливающий слезы раскаяния! Как же я могу видеть это и в свою очередь не простить? Господи, Ты указал мне путь! *(Авессалому.)* Пришел ли ты просить о милосердии к брату твоему — заблудшей душе?

Авессалом. Да, возлюбленный отец.

Давид. Быть посему! Человек жив не только справедливостью, что так больно ранит, но и милосердием, врачующим наши раны. Встань, сын мой. *(Кричит.)* Эй, мальчики! *(Он помогает сыну подняться и прижимает его к груди.)* Авессалом, возлюбленный сын мой!

Входят четыре служителя, изображающие теперь братьев: Адонию, Ифреама, Сафатию и Совава.

Скажи своим братьям, что Амнон прощен! Его преступление очищено любовью. Вы все отправитесь к Авессалому на праздник. И Амнон тоже. Будьте с ним поласковее. Бог устами младшего брата отпустил ему великий грех. *(Авессалому.)* Тебя всегда отличало доброе сердце. Кто, как не ты, должен был заговорить о милосердии! Прими их у себя в Ваал-Гацоре. Накорми их, напои. А после приведи ко мне моего Бычка, чтобы я тоже его простил. Идите с Богом! Благословляю всех, и первым — наше солнышко, Авессалома!

Все принимают благословение и уходят в одну сторону, а Давид, вне себя от счастья, в другую.

Сцена одиннадцатая

На внешний круг нетвердой походкой ступает Амнон.

Ионадав. Ты бы видел, каким счастьем светилось лицо Давида!

Амнон *(мрачно)*. Я не поеду.

Ионадав. То есть как?!

Амнон. Не верю я ему.

Ионадав. Но это чистая правда!

Амнон. Здесь что-то не так. Носом чую подвох.

Ионадав *(едва сдерживаясь)*. Дело твое. Сиди здесь до самой смерти, мне-то что!

Амнон *(колеблется)*. Он меня простил? Без всяких оговорок?

Ионадав. А я тебе о чем!

Амнон. Отчего же он не пришел сам? Как брат к брату?

Ионадав. Потому что я вызвался! Ты просил замолвить за тебя словечко, я замолвил. И вот решил сам тебя обрадовать... это такое преступление?

Амнон *(пристально на него смотрит)*. Ты лучший друг со дня сотворения мира.

Ионадав. Дружба, насколько я помню, не входила в замысел Божьего творения. "Сотворил Бог мужчину и женщину". Про друзей там ничего не сказано.

Амнон. Когда я стану царем, я осыплю тебя благодеяниями. Увидимся в Ваал-Гацоре?

Ионадав. Нет.

Амнон. Почему?

Ионадав. Приглашены царевичи. Я там буду не ко двору.

Амнон. Ах, Йонни, Йонни... ты всегда ко двору. *(Идет к выходу.)*

Ионадав. Знаешь...

Амнон. Да?

Ионадав. В ту ночь, когда ты был с Фамарью... я наблюдал за вами.

Амнон *(после паузы)*. Большое дело!

Ионадав. Я, в сущности, ничего не видел. Ты опустил полог.

Амнон неопределенно хмыкает.

Зачем ты это сделал?

Амнон *(после паузы)*. Вроде как храм... Маленький храм. *(Уходит на нетвердых ногах.)*

Ионадав *(зрителям)*. Что мне вам сказать? Когда я только **мечтал** о вере, я его предал... не без усилия над собой. Сейчас, когда я, кажется, **поверил**, сделать это оказалось еще проще.

Пауза.

Вот так и вышло, что царевич Амнон отправился на праздник к брату своему в Ваал-Гацор.

Сцена двенадцатая

Ваал-Гацор. Тихие музыкальные переборы. На внутреннем круге слуги раскатывают огромный шерстяной ковер с изображением звезды Давида. На него ступает Амнон, а ему навстречу – Авессалом в золототканом плаще. Они заключают друг друга в объятия. Амнон обнимает и других братьев. Все садятся. Входят еще двое слуг с большим кувшином вина и разливной чашей, наполняют бокалы. Амнон с Авессаломом произносят молитву: "Хвала Царю Небесному, который дает нам вино для веселья!" Амнон осушает бокал. Авессалом тоже осушает бокал. Слуги выражают одобрение.

Под звуки буйной музыки слуги начинают пританцовывать, подбадривая себя выкриками. Авессалом поднимается со своего места и помогает подняться Амнону. Слуги уходят, а эти двое самозабвенно танцуют. Вдруг мелодия обрывается. Появляется Фамарь, тоже в золототканом плаще. Рядом телохранители — на их посохах появились острые железные наконечники. Двое служителей, которые изображают царевичей, в ужасе убегают. Глухая барабанная дробь. Амнон затравленно озирается. Фамарь указывает на него рукой. По ее знаку охранники набрасываются на Амнона, используя посохи как копья. Амнон мечется по сцене и наконец, обессилев, залезает под ковер. Здесь его и настигают безжалостные копья. В центре звезды Давида проступает кровавое пятно. Авессалом и Фамарь обнимаются на радостях.

Внутренний круг погружается в темноту. Ковер уносят. В зрительном зале звучат крики, доносящиеся из динамиков: "Убиты! Зарезаны! Измена!" На внешнем круге в луче света Ионадав. Мимо него пробегают двое служителей, изображающих запыхавшихся Вестников. Крики смолкают.

Ионадав *(зрителям)*. Страшный слух полетел из Ваал-Гацора в Иерусалим: не только Амнон — все сыновья Давида перебиты! Адония, Ифреам, Сафатия и Совав... и даже самый младший, Соломон! Весь город содрогнулся. И слух этот достиг ушей старого царя...

Сцена тринадцатая

На внутреннем круге в позе отчаяния застыл Давид. Слуги и двое вестников, простершись у его ног, оплакивают погибших. Этот многоголосый хор усиливают все нарастающие стенания, звучащие в зале.

Ионадав *(пытаясь перекричать хор)*. Царь! Не слушай их! Неправда это!

Его не слышат. Давид тоже опускается на колени и, следуя предписанному ритуалу, разрывает на себе одежды. Ионадав, приблизившись к царю, хватает его за плечо, поворачивает к себе, кричит ему что-то прямо в лицо. Эта неслыханная дерзость заставляет хор умолкнуть. Слуги шипят, как гуси. Ионадав изо всех сил пытается говорить спокойно.

Пусть не думает господин мой, что всех отроков, царских сыновей, умертвили. Живы твои сыновья. Я это знаю наверное.

Давид. Что ты сказал?

Ионадав. Твои сыновья живы. Все, кроме одного.

Давид. Живы? *(Повисает у него на шее.)* Говори... говори... говори!

Ионадав *(зрителям)*. Оцените картину: царь Израиля беспомощно висит у меня на шее, а царевы слуги жадно ловят каждое мое слово.

Давид. Что же ты замолчал?

Ионадав. Господин мой царь, здесь много посторонних ушей.

Давид. Все прочь! Прочь, кому я сказал!

Все уходят. В глазах царя надежда.

Ионадав. Твои сыновья живы. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Так он и сделал. А все другие живы. Ты их скоро увидишь. Вот, я клянусь.

Давид *(отстраняясь, ледяным тоном)*. Дальше?

Ионадав. Что, мой господин?

Давид. Откуда тебе это известно?

Пауза.

Ты знал, что готовится убийство? А может, это твоих рук дело?

Ионадав. Мой господин!

Давид. Ну да. Как я раньше-то не догадался! Я ведь давно чувствую на себе этот взгляд. Ты, кто ж еще. Рано или поздно ты должен был воткнуть мне нож в спину.

Ионадав *(струхнул)*. Мой господин, я к нему не прикоснулся! Клянусь Богом! Мои руки чисты!

Давид. А помыслы? Ты ведь живешь по принципу "все делаю чужими руками"?

Ионадав отворачивается.

У тебя, Ионадав, есть дети?

Ионадав. Сам знаешь, что нет.

Давид. Поэтому можно отнять моих? Ты отнял моего первенца, которого Господь послал мне в знак особой милости. Кого еще? Кого еще ты у меня отнял? Фамарь? Уж не ты ли виновник ее бесчестья?

Ионадав. Не я.

Давид. Ты. Теперь я вижу.

Ионадав. Нет!

Давид. Я прочел это в твоих глазах. Какую смерть ты заслужил? Скажи сам.

Ионадав *(с неожиданным вызовом)*. За что? За совершенное тобой преступление? Да, да! Не смотри на меня так! Это ты виноват! Не я!

Давид. Что ты этим хочешь сказать?

Ионадав. Кто послал свою дочь к Амнону? Кто отправил сыновей в Ваал-Гацор? *(Благочестивым тоном.)* "Отправляйтесь, дети мои! Благословляю всех!" Кто, я это сказал? Великий Давид! Великий **слепец** Давид.

Царь молчит.

Да! Твою семью погубил я, Ионадав. Но где были твои глаза? Твой всевидящий, всепроницающий взгляд?

Молчание.

Бесчестие Фамари, убийство Амнона — все это моих рук дело, но разве ты меня остановил? Разве твой Бог меня остановил? Тебя Он поразил слепотой, а мне развязал руки! Теперь ты понял?

Потрясенный Давид тихо оседает на землю. Ионадав выкрикивает с горечью и болью.

Царь Давид, щит Израиля! Какой же ты щит, если не способен защитить даже собственных детей!.. А сколько спеси! Сколько амбиций! Все это можно было бы стерпеть, будь ты взаправду пома-

занником Божьим. Тем, кто стоит между нами и Им. Кто ходатайствует перед Ним за нас, грешных. Но ты ничем не отличаешься от любого из нас! *(Чуть не плача.)* Почему ты меня не остановил? Не поразил на месте? **Не доказал мне, что Он ЕСТЬ!**

После паузы Давид зашевелился. Отвергнув помощь Ионадава, он сам встает. И простирает руку над Ионадавом в жесте проклятия.

Давид. Проклинаю тебя. Не положит Господь предела страданиям твоим, и пребудешь ты на земле тем, чем был, — вечным Соглядатаем. Будешь видеть и не чувствовать, ходить среди живых и не согреваться их теплом. Как будто отделенный от всех прозрачным занавесом. И пусть моя дочь, которую ты заставил испить чашу горечи, сделает твою жизнь горше, чем смерть! *(Направляется к выходу.)*

Ионадав *(с издевкой)*. Гром и молния! Я превратился в горстку пепла! Великий Давид сказал, и Ионадав, пылинка, исчез с лица земли! А какой смерти, скажи, ты пожелаешь себе, беспомощному слепому правителю?

Давид уходит. Ионадав разражается хохотом.

(Зрителям.) Старичок-то, а? Главное — красиво уйти! Ему бы в театре работать. Я стоял словно пьяный. Я "сделал" его, как мальчишку! Вы сами все видели. Я не лгу. Призраки не лгут, сладкие вы мои. Я "сделал" самого царя Давида! Нет страха. Я не червь пресмыкающийся! Я поднялся! Скоро взойдет ярчайшая звезда Израиля. Царь любви и милосердия. Больше, чем царь! Руки, сжимавшие камни, радостно поднимут оливковые ветви. Вот, бог и богиня! Ионадав, что ты делаешь в этом мрачном дворце? Встречай новую зарю! Для тебя нет ничего невозможного! *(Радостно ступает на внешний круг.)*

Перемена света.

Я шел по улицам, с лица не сходила улыбка. Я вышел за городские ворота. Дорога на Ваал-Гацор была как перст Божий. Все указывало на близкую цель. И кто вас вел по этой дороге? Кто низвергал одних и возвышал других? Ваш покорный слуга, готовый ко второму рождению! Все знаки указывали на это! Теперь я увижу въяве мой сон: жених и невеста, золотой блеск и слово "мир", летящее над пустыней! Да будет так! Пусть из семени, брошенного в навоз сладострастия, вырастет наконец цветок любви! *(Опускается на колени.)*

За его спиной, двигаясь по внутреннему кругу, медленно приближается процессия — телохранители Авессалома несут черный траурный паланкин.

Вот, кажется, и всё. Кому ты хотел поклониться? Золотому тельцу, созданному твоим же воображением? Жизнь еще гаже, чем ты думал, и не тебе ее изменить! Вот и лежи в дорожной пыли... плохие вести не заставят себя долго ждать.

Сцена четырнадцатая

Телохранители останавливаются и ставят паланкин на землю. Раздвигаются занавески, и мы видим сидящую в нем Фамарь.

Ионадав *(встревоженно)*. А где он? *(По знаку Фамари телохранители помогают ей сойти на землю.)* Где Авессалом?

Фамарь. Бежал.

Ионадав. Как? Куда?

Фамарь. После того как с Амноном было покончено, он пришел ко мне.

Ионадав. Да? И что?

Входит забрызганный кровью, но улыбающийся Авессалом. Вновь встречаются прошлое и настоящее. Диалог Авессалома и Фамари происходит "в прошлом". Ионадав остается в настоящем.

Авессалом. Я пришел, любовь моя! Моя сестра и возлюбленная! Моя царица!

Она выставляет перед собой руку. Превратно истолковав этот жест, он хватает ее и рывком прижимает к себе. Она остается безучастной, как изваяние. Сбитый с толку, он выпускает ее из объятий.

В чем дело?

Фамарь *(спокойно)*. Все кончено.

Авессалом. Ты хочешь сказать...

Фамарь. Между нами. Все кончено, Авессалом.

Авессалом. То есть как это?

Фамарь. Ты нарушил клятву, ты убил человека. Отныне ты проклят.

Авессалом. Что?..

Фамарь. Беги в пустыню, пока не поздно.

Авессалом. Я нарушил клятву из-за тебя!

Фамарь. Это ничего не меняет.

Авессалом. Ради тебя!

Фамарь. И стал преступником.

Авессалом. Ничего не понимаю...

Фамарь. У тебя есть выбор. Жизнь в изгнании или смерть здесь и сейчас.

Авессалом *(не веря своим ушам)*. Здесь и сейчас...

Фамарь. Ты взял клятву с моей охраны, что они выполнят любой мой приказ.

Авессалом *(с нежностью)*. Я понял. Пролитая кровь не дает тебе покоя. Боль в сердце помутила твой разум. Я излечу тебя, Фамарь!

Фамарь. Ты сказал "боль"? В моем сердце — боль? *(Хохочет.)* Я не ослышалась?

Авессалом *(срывается)*. В чем дело?! Я сделал то, о чем ты просила! Что нам мешает теперь осуществить наш план?!

Фамарь. План?

Авессалом. Как подсказывают знаки...

Фамарь. Какие знаки?

Авессалом. Сестра, не играй со мной! Вспомни свой сон. Твой путь ко мне, вслепую, через весь город. На свет любви!

Фамарь. Башня.

Авессалом. Что?

Фамарь. Над твоим домом, Авессалом, есть башня. Освещенная башня.

Входит Милха.

Милха. Видишь, госпожа? Самая высокая башня в Иерусалиме!

Фамарь. Моя служанка показала мне ее из паланкина, когда мы направлялись к Амнону.

Милха. Это дом Авессалома. Подаренный ему царем. Красивый, да?

Фамарь *(с улыбкой)*. Под стать хозяину.

Милха. Это точно! Другой такой башни не сыскать.

Фамарь *(брату, язвительно)*. Найти единственный в городе дом с башней — большое дело! Прямо-таки мистерия... *(Издевательски.)* Но разве мужчину, готового поверить в любую глупость, остановишь!

Авессалом *(вздрогнул)*. Мистерия... как тебе взбрело на ум это слово? Ты все слышала! Ты подслушала мой разговор с Ионадавом!

Фамарь. Разумеется. От слова до слова. Я стояла за занавесями. *(Ионадав вскрикивает. Она смотрит на него с презрением.)* Это ведь твой конек — подслушивать и подсматривать. Я оказалась хорошей ученицей?

Авессалом *(с отчаянием)*. А как же сон, его сон? Ты что же, и это подслушала? Сама ты его не видела?

Фамарь *(жестко)*. Мне давно не снятся сны.

Ионадав издает тихий стон, затыкая себе рот краем плаща. Милха выходит.

(Авессалому, с вызовом.) И ты мог подумать, что я поверю в эту ересь? Мы с тобой — БОГИ? **БОГИ** — ты только вдумайся... Бог един! *(Помолчала.)* С каким отвращением я это выслушивала. Улыбалась. Целовала тебя в губы.

Авессалом. Замолчи!

Фамарь. Лишь бы ты ничего не заподозрил. Господь меня простит — я исполняла Его волю.

Авессалом. Его волю! Что ты говоришь?

Фамарь. Я должна была сделать то, на что другим не хватило духу. Отцу. Тебе. Твоим братьям.

Авессалом. Уничтожить Амнона.

Фамарь. Да.

Авессалом. Используя меня.

Фамарь. Да.

Ионадав *(срывается на крик)*. А меня?! Как она **меня** использовала!!

Фамарь *(брезгливо)*. Всех. Всех и каждого.

Авессалом. Фамарь... Фамарь...

ФАМАРЬ *(гневно)*. Ты укутал меня своим плащом, и какими были твои первые слова? "Да свершится правый суд!" Прошла неделя, другая... ты бездействовал. И тогда я услышала глас Господень: "Не должен Мой народ ходить кривыми путями. Ты, Фамарь, исполнишь волю Мою. **Ты** будешь Моим мечом!"

Ионадав стонет.

Его слова были как удары колокола: "Очисть от скверны Мой народ!"

ИОНАДАВ *(бормочет с горечью)*. Да... конечно... дочь своего отца... А я-то, болван!.. И этот тоже, влюбленный дурень... Ах, как же он тебя любил!

ФАМАРЬ. Не больше, чем я его.

ИОНАДАВ. Ты?! Ты его любила?!

ФАМАРЬ. Я **боготворила землю, по которой он ступал**!

Все молчат.

(Фамарь, глубоко опечаленная, продолжает свое мучительное признание.) Ты хочешь услышать, чего мне это стоило? Не было ночи, чтобы я не рыдала, умоляя Всевышнего: "Не я! Поручи это другому!" Он был неумолим, но Он мне помог. Он превратил мое сердце в камень. Он открыл мне глаза. Я увидела: разницы нет. Что тот брат, что этот. Бычок, Красавчик, тупая животная сила или одухотворенная красота – никакой разницы. *(Обходит вокруг неподвижного Авессалома.)* Все эти годы я не могла нарадоваться ему. Его любовь ко мне была чиста, как лик ангела. А потом он увидел меня растерзанную, и все изменилось. Я это прочла в его глазах. В них была похоть. *(Авессалому.)* Ты учуял запах крови и возжелал меня. В тот миг твое лицо ничем не отличалось от его лица. Красавчик превратился в Бычка. Передо мной снова стоял бык!

Авессалом отводит взгляд.

Беги. Я не хочу быть твоим убийцей, но рука моя не дрогнет. Беги, Авессалом. Прошу тебя.

Авессалом стоит, как пригвожденный к месту.

(Охране.) Копья наперевес!

Ее команду неохотно выполняют.

АВЕССАЛОМ. Опустить копья! Я вам приказываю! *(Охрана колеблется.)*

ФАМАРЬ *(охранникам)*. Вам напомнить? "Бог покарает того, кто нарушит клятву!" Вы не боитесь Бога?

Копья нацеливаются на жертву.

(Авессалому.) Ну?

Кажется, он все еще не верит в происходящее.

Беги!!!

И он бежит, а она в отчаянии простирает руки ему вслед.

ИОНАДАВ. Ты не женщина. Ты чудовище.

ФАМАРЬ *(охране)*. Идите! Доставьте мне мертвое тело.

Ионадав. Нет!

Фамарь. Тело царевича Амнона. Живо!

Она хлопает в ладоши, телохранители бросаются выполнять ее приказ.

Ионадав *(успокоившись)*. Авессалом единственный из вас пытался быть милосердным. Он был нашей последней надеждой.

Фамарь *(холодно)*. Человек — это безнадежно.

Ионадав поворачивается к ней, пристально смотрит в глаза.

Я знала его лучше, чем ты, Ионадав. По большому счету у Авессалома была только одна страсть — царский трон.

Ионадав. Это не так!

Фамарь. Поэтому он и потребовал от отца смерти Амнона. Не из-за меня, нет. Одним соперником меньше...

Ионадав. Я тебе не верю!

Фамарь. Ты вспомни, как блестели его глаза! "Дни Давида сочтены. Когда мы въедем в Иерусалим, Давид падет! Боги сами пошлют ему смерть!" При чем тут я? Ну, познал бы он меня — что дальше? Он бы дал Израилю мир, как мне — свой плащ? Его безумной любви хватило бы на месяц. А то и на одну ночь — как у Амнона. Потом тоже выгнал бы на улицу... как шлюху, которой попользовались оба брата! *(Буднично.)* В то утро башня была моим ориентиром, но вела меня рука Господня. Вела, чтобы очистить от скверны народ Израиля. И я очистила!

По внешнему кругу телохранители несут Амнона, окровавленный голый труп, положенный на посохи как на носилки. Тело опускают на землю. Ионадав отворачивается.

Что ж ты не смотришь? Весь город сбежался сегодня поглазеть на него: лихач на ишаке! Сидит задом наперед, да еще норовит ишаку в зад заглянуть! "Смотрите! — говорила я им. — Вот что сделала с Амноном, сыном царя, Фамарь, царская дочь и раба Бога Справедливости! Как он меня растерзал, так его растерзали. Вот, его зубы отбивают чечетку о задние копыта ишака. Вы можете не вспомнить, как вас зовут, но этот день вы не забудете никогда". Справедливость вернулась на Землю Обетованную. Я, Фамарь, вернула ее! *(Охране.)* Идите и поведайте всему городу, что сегодня случилось в Ваал-Гацоре. Идите, я отпускаю вас. Расскажите всем, кого встретите: Фамарь исцелила Израиль. Она вновь сделала эту страну сладостной для ноздрей Господа!.. Скажите, что я к ним иду. Пусть встречают меня с гуслями и тимпанами. Я сложу для них новую песню, достойную Создателя. Идите и скажите людям, что они очищены от скверны! Что они вновь достойны быть богоизбранным народом и что впредь Господь не оставит зло безнаказанным!.. Идите же! Идите! Идите!

Выхватив копье у одного из телохранителей, она угрожающе размахивает им, и охрана в панике бежит, бросив мертвое тело. Фамарь, издав победный вопль, торжествующе топчет землю и высоко вздымает копье. Это танец опьяненной экстатическими видениями жрицы-воительницы. Ионадав взирает на это безумие с благоговейным ужасом. Наконец она отбрасывает копье и усаживается на землю в центре внутреннего круга.

Входит Милха с седым париком и бубном, который она протягивает своей госпоже.

Ионадав. Наслаждайся, наслаждайся, Фамарь, своим торжеством. Прижимай к себе слова, как возлюбленных! Слагай в голове своей Песнь Праведности. Стань вровень с пророчицей Мариам и пророчицей Деборой!.. "И взяла Фамарь-пророчица в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием!"

Фамарь *(повторяет как эхо)*. ...и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием!

Ионадав. Дальше!

Фамарь *(не вставая с земли)*. Повержен Амнон! Мертвым ртом глотал он дорожную пыль.

Ионадав. Так!

Фамарь. Даже камни отторгали его хладное тело.

Ионадав. Ты нашла верный тон! Дальше! Дальше!

Фамарь. Трусил ишак с ненавистной поклажей... сестра танцевала, ударяя в тимпан...

Ионадав. Завтра это будет распевать весь город!

Фамарь *(ударяя в бубен, постаревшим голосом)*. Трусил ишак с ненавистной поклажей... сестра танцевала, ударяя в тимпан!

Ионадав. С каждым повтором – все чище легенда! Все ярче ореол!

Милха надевает на свою госпожу седой парик.

Фамарь *(теперь уже старуха)*. Трусил ишак с ненавистной поклажей! Сестра танцевала, ударяя в тимпан! *(Она бормочет все тише и тише, раскачиваясь взад-вперед.)*

Входят женщины и садятся в кружок вокруг нее.

Ионадав *(зрителям)*. Богиня! Хотя и самозванка. Из самых дальних мест приходили женщины, чтобы прикоснуться к ее одеждам. Не покидая дворца, окруженная толпами восторженных паломниц, со временем она поняла: в страдании заключен великий смысл. Я же, для кого мир съежился до Богом забытого, захолустного имения, не видел смысла ни в чем! Один миг надежды – и потом мрак навсегда. Оскорбления, разочарования, иллюзии были мне неведомы. Я был свободен. *(Горько.)* Абсолютно свободен. Какие песни могли звучать в **моей** голове во славу этой ничтожной свободы?

Фамарь *(голосом старой пророчицы)*. Трусил ишак с ненавистной поклажей... Сестра танцевала, ударяя в тимпан... Сэла́!

Тихая музыка. Опускается труп Авессалома, зацепившийся за что-то длинными черными волосами.

Ионадав *(зрителям)*. Авессалом все пытался сколотить войско против царя, но терпел одно поражение за другим. Однажды, спасаясь на муле от отцовского гнева, он запутался своими длинными волосами в ветвях дуба и повис между небом и землей. Так и висел, пока не подоспели преследователи. И смерть принял от подлой стрелы.

Появляется Давид, его лицо закрыто молитвенным покрывалом. Женщины уходят.

О старшем сыне не сокрушался царь так, как плакал и рыдал он об Авессаломе. Сердце его разрывалось от боли и тоски.

Давид воздевает руки к небу.

Я же видел все несчастья, ниспосланные на "дом Давидов"... и будто ничего не видел. Между ними и мной всегда был этот занавес...

Давид. Сын мой, Авессалом! Сын мой, сын мой, Авессалом!

Ионадав. Надо мной тяготело вечное проклятье Давида – все видеть и ничего не чувствовать! Движения души, как и голос плоти, оставляли меня одинаково равнодушным. Они были всего лишь значками для обозначения согласных, не внушающих особого доверия. И никогда – буквами для обозначения гласных, несущих в себе подлинный, живой смысл. Так, может, все же есть Бог, если Его верховный жрец сотворил такое?

Давид. О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!

Все застыли.

Ионадав. Ты отмщен, Давид, сын Иессея! Ты и твой Господь. И Фамарь, твоя безумная дочь, которая счастью матери предпочла торжество убийцы. Как я ее презирал... и как я ей **завидовал**! Ненавижу всех, от кого попахивает верой, а у самих руки по локоть в крови. Религиозных фанатиков всех рангов и мастей. Убийц-антисемитов, и убийц-мусульман, и убийц-ирландцев, и убийц-иранцев... Но еще больше ненавижу себя и всех нас – бездушных, **пустых**... живых мертвецов, над которыми тяготеет проклятье Давида! Тех, кому не на что опереться, кроме как на самих себя.

Свет начинает меркнуть. Входят служители.

Да что же это за выбор? Между фанатичкой с ее пламенной ограниченностью и скептиком с его изощренным, но холодным умом? Всюду, куда ни глянь, торжествует вера – и как же страшны опустошения, во имя нее совершенные. Во мне нет веры, но я тоже опустошен. Так что же это, я вас спрашиваю, за выбор, между Верой и Безверием, когда и то, и другое самоубийственно?..

Пауза.

Ионадав повис между небом и землей на Древе Безразличия, запутавшись в его ветвях. Кто перережет путы?

Пока сцена погружается в темноту, шестеро служителей медленно окружают Ионадава и почтительно уводят его со сцены.

Занавес

Ван Мэн

Микрорассказы

Перевод с китайского Ольги Мазо

Вступление Ильи Смирнова

В 1981 году, впервые после почти двадцатилетнего перерыва, на страницах "ИЛ" появилась подборка рассказов китайских писателей. Понять, что происходило тогда в Китае после всех политических катаклизмов 60—70-х годов было нелегко: информация строго фильтровалась и дозировалась. По существу, рассказы в "Иностранке" для большинства читателей явились подлинным открытием — не только новых писательских имен: с журнальных страниц, словно бы в чуть притворенное окно, глянула иная жизнь, угадывался поворот огромной страны к чему-то новому, свежему, обнадеживающему.

Ту подборку составлял Л. З. Эйдлин (1910—1985), великолепно знавший китайскую словесность разных эпох, сам много переводивший, в том числе и современных писателей, а главное, неподдельно любивший Китай. В самые мрачные годы разлада между нашими странами он сумел промолчать, не подпеть мощному хору партийных хулителей, и для него первая небольшая публикация в журнале была настоящим праздником. Передавая мне для перевода газетный разворот с рассказом, он, как всегда, когда говорил о чем-то очень ему понравившемся, слегка причмокнул губами: "Прекрасный писатель, не пожалеете!"

Рассказ, называвшийся "Глаз ночи", и в самом деле оказался примечательным. В нем была тонкость, искренность, даже наивность. В главном герое, литераторе, который, пережив многолетнюю ссылку, впервые оказывается в большом городе и после сельского захолустья буквально потрясен бурлением жизни, без труда угадывался сам автор. Тогда-то наш читатель и встретился впервые с Ван Мэном, одним из самых известных писателей современного Китая. Он еще ходил в молодых — литературу создавали "сорокалетние". Теперь он мэтр, успевший

© Илья Смирнов. Вступление, 2006
© Ольга Мазо. Перевод, 2006
Редакция благодарит Ван Мэна, члена нашего Международного совета, за присланную рукопись и за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации микрорассказов на страницах журнала.

за минувшие десятилетия выпустить на родине и за границей множество книг, побывавший даже министром культуры Китая.

В 2004 году Ван Мэн приезжал в Москву, встречался с сотрудниками "ИЛ", а спустя какое-то время прислал в журнал свои новые произведения. Теперь они перед читателями. Поскольку для русской словесности проза малой формы — жанр не слишком привычный, скажем несколько слов об этой линии в китайской литературе, такой древней, что в ней поистине "ничто не ново", а связь с уже бывшим — не хула, а высокая похвала.

Как и во многих других культурах древности, проза в Китае появилась гораздо позже поэзии. Поначалу это были сочинения мудрецов, исторические записи, описания "гор и вод", то есть начатки географии. Собственно беллетристика возникла уже сравнительно поздно, в первые века новой эры, и несла родовые черты исторических жизнеописаний, философских диалогов, притч, повествований о чудесах. Особенное пристрастие питали древние авторы к всевозможным курьезам, забавным случаям. Потому-то и форма ранних прозаических опытов, как правило, — короткие рассказики с незамысловатой фабулой, поучительные, наставительные, просто занятные. Ближе всего к ним в европейской традиции стоит, пожалуй, анекдот, по Далю — "короткий по содержанию и сжатый в изложении рассказ о замечательном или забавном случае".

Старинные анекдоты дошли до нас в виде авторских сборников, таких, скажем, как прославленные собрания V в. "Ходячие толки в новом изложении" Лю И-цина и "Лес улыбок" Ханьдань Шуня. Составившие их рассказы лаконичны, насыщены диалогами, меткими суждениями. Каждый в отдельности может показаться не бог весть каким средоточием мудрости, но в единстве из них, как из фрагментов мозаики, складывается определенный взгляд на жизнь, на взаимоотношения людей, даже своеобразная житейская философия.

Что до лаконизма, то китайская традиция вообще весьма склонна к малым формам, будь то четверостишия в поэзии или философская притча в несколько строк. Не случайно Китай не знал эпоса, а повесть и тем более роман возникли только много веков спустя после зарождения прозаической беллетристики. Такова особенность китайского сознания: умение увидеть "великое в малом" ценится куда больше пространных рассуждений. Кстати, даже традиционный китайский сад, "величиной с горчичное зерно", устроен таким образом, что взору гуляющих за каждым поворотом тропинки открываются поистине "тысячеверстые дали".

Не стану с уверенностью утверждать, что именно старинными анекдотами вдохновлялся Ван Мэн, сочиняя свои рассказы. Но помнить о некоторых традиционных особенностях китайской прозы, думаю, читателю небесполезно, тем более что сходство иных произведений нашей подборки с классическими образцами прямо-таки разительное. В них та же ненавязчивая мудрость, незамысловатый сюжет, никаких стилевых изысков — все просто, "пресно", как с похвалой говаривали китайцы в старину. Вчитайтесь в эти короткие рассказы — уверен, вы узнаете о Китае и китайцах много нового, неожиданного, важного. А заодно, быть может, и о себе.

Годы

Несколько старых однокашников собрались в воскресенье и стали жаловаться. Первый сказал:

— Мой дом такой маленький, три человека ютятся на двадцати квадратных метрах. Посмотрите, я весь поседел от тоски.

Второй сказал:

– Вот уже столько лет я занимаюсь нелюбимым делом, кроме того, у меня плохие отношения с начальником. От злости я потерял все зубы.

Третий сказал:

– Маленький дом, плохие отношения с начальством... Как они влияют на здоровье? Я вот долгие годы только и делал, что женился и разводился. Каждый новый развод делал меня старше. Посмотрите, моя спина не разгибается, я превратился в горбуна.

Четвертая сказала:

– Вы все намного счастливее меня. В прошлом году у меня умерла дочь, в этом году – муж. У меня больное сердце, желудок, печень, почки. Кроме того, по женской части тоже проблемы. Мое лицо уже все в морщинах.

Лао Ван сказал:

– Я самый счастливый. Я все время жил в просторном доме, у меня идеальная работа, хорошие отношения с начальством, с женой тоже все отлично, все мои домочадцы здоровы. Я не печалюсь, не злюсь, не волнуюсь. Но посмотрите, я стар, как и вы.

Посмотреть

Лао Ван, осматривая живописные места, вежливо отказался от услуг красивой девушки-экскурсовода, сказав:

– Не надо рассказывать, я приехал только посмотреть.

Лао Ван пошел в музей и попросил специалиста, научного сотрудника музея:

– Не утруждайте себя объяснениями, я пришел всего лишь посмотреть.

Лао Ван пришел в большой универмаг. Девушка-продавщица стала любезно рассказывать ему о товарах, но он сказал:

– Не надо, я пришел только посмотреть.

Для себя он сделал надпись: "Десять тысяч вещей. Спокойно созерцая, обладаешь ими". Все говорили, что написано хорошо, а содержание еще лучше.

Однажды он пришел в ресторан. Девушка-официантка узнала его и спросила:

– Вы пришли поесть или посмотреть?

Он сказал:

– Буду есть и смотреть. Поменьше поем, побольше посмотрю. Но вначале не буду есть, только посмотрю. Закончу есть, опять посмотрю. А может, не буду есть, а буду смотреть.

Сочинение стихов

Лао Ван вдруг решил писать стихи. Он подумал: "Поэт тоже человек. Что в этом такого особенного? Ты можешь стать поэтом, я, вероятно, тоже могу. Разве стихи – это не набор иероглифов? Хорошенько напишу иероглифы, и все получится".

С тех пор он приобрел привычки и нрав поэтов. Стал часто плакать. Часто бродил под деревьями при свете луны. Часто в одиночестве бор-

мотал что-то себе под нос. Часто делал колкие замечания. Часто обзывал окружающих идиотами. Во время еды требовал вина, ел курицу и рыбу. Когда не пил вина, то изображал вдрызг пьяного.

В конце концов он написал сотню стихотворений. Его друзья, ученики, бывшие подчиненные — все пришли выразить свое восхищение. Один связался с издательством, другой — с прессой. Телевидение решило после выхода сборника его стихов сделать о нем специальный репортаж. Редакция журнала приняла решение один выпуск целиком посвятить его стихам. Даже заранее был снят зал для презентации первого сборника стихов.

За пятнадцать минут до презентации Лао Ван еще раз внимательно перечитал то, что написал, и решил все сжечь. Друзья, подчиненные, ученики — все одобрили такое строгое отношение к собственному творчеству.

Лао Ван и сам был рад. Он подумал: "Сжечь стихи — разве это не поэтичнее, чем написать их?"

И тогда он вспомнил о Линь Дайюй[1].

Приземление

ЛАО Вану приснился сон, будто он управляет самолетом. Сидя за штурвалом реактивного лайнера, он летел сквозь облака, прорывался сквозь туман, парил в небе в свое удовольствие. Лао Ван был абсолютно свободен и счастлив. После пробуждения его просто распирало от ликования.

Но через десять минут Лао Ван вдруг обнаружил, что во сне он только летел на самолете, но так и не посадил его. Это же очень страшно и опасно, если самолет все время парит в воздухе и не приземляется!

Лао Ван каждый день надеялся, что ему снова приснится, как он управляет самолетом. Тогда уж он точно совершит безопасную посадку. Решил, и словно камень с души свалился.

Но Лао Вану по-прежнему снилось, как он летит на самолете, но ни разу не приснилось, как он его сажает. Он очень переживал, не мог ни пить, ни есть, исхудал.

Через год Лао Вану приснилось, что он ремонтирует аэропорт, носит на плечах мешки с цементом, вставляет арматуру. Когда проснулся, обрадовался. Лао Ван наконец понял: как же можно посадить самолет, пока не отремонтированы взлетная полоса и диспетчерская?

Плавание

ЛАО Ван любил плавать в море. Многие спрашивали его:

— Как далеко ты можешь заплыть?

Он отвечал:

— Ну, уж больше километра проплыву, это точно.

Друзья кивали головами, но не особенно хвалили его.

1. Линь Дайюй — героиня романа Сао Сюэциня "Сон в красном тереме", красивая молодая девушка, обладающая незаурядным литературным дарованием. Узнав, что ее возлюбленный женится на другой, она сожгла все свои стихи. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Тогда Лао Ван решил испытать себя. Плыл, плыл, но сил было еще достаточно. Тогда Лао Ван подумал: "Я уже не молод, зачем строить из себя героя. Главное – знать меру".

Он развернулся и поплыл к берегу. Лао Ван испытывал себя несколько раз, и каждый раз поворачивал обратно, хотя силы еще оставались. Так он и не узнал, насколько же далеко он может заплыть.

Друзья опять спрашивали его при встрече:

– Как далеко ты можешь заплыть в море?

Лао Ван отвечал:

– Сам не знаю. Я плаваю несколько десятков лет и никак не почувствую тот момент, когда я уже окончательно выбился из сил. Короче говоря, когда я наконец узнаю, как же далеко я могу заплыть, я уже не смогу вам этого сообщить.

Здоровье

ЛАО Ван с детства выработал у себя привычку каждый день бегать. Каждый день рано утром он пробегал по два-три километра. Так продолжалось больше пятидесяти лет.

Один врач сказал ему: утверждение, будто бег укрепляет здоровье, не имеет под собой научного обоснования. Распространенные в обществе всевозможные методы сохранения здоровья – заблуждения. Рождение, старость, болезнь, смерть – это все законы природы, которые ни один человек не может контролировать или повернуть вспять. Если в таком возрасте, как у Лао Вана, слишком много бегать, то можно достичь прямо противоположного результата. Наставляя Лао Вана, он назвал имена нескольких скоропостижно скончавшихся бегунов на длинные дистанции.

Лао Ван всю жизнь доверял науке и после этих слов перестал бегать по утрам.

Лао Ван с детства привык есть яйца, и каждый день, за исключением трех тяжелых лет, он ел одно-два яйца.

Врач сказал, что в желтке содержится много холестерина, поэтому пожилым людям вредно есть много яиц. Тогда Лао Ван перестал есть яйца.

Он перестал бегать, не ел яйца и почувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. Все ему стало не в радость.

Тогда врач сказал, что немного бегать и есть немного яиц все-таки полезно. Лао Ван, услышав это, очень обрадовался и снова стал бегать и есть яйца. Он решил поделиться с врачом своими соображениями. Конечно, врач все говорит правильно, но, однако, не следует постоянно рассказывать больным о том, от чего они непременно должны умереть.

Чтение

КОГДА Лао Ван был молод, у него было только несколько книг, которые он без конца перечитывал.

Во время "культурной революции" книг не было, но он уже привык читать по ночам и теперь зачитывал до дыр газету "Жэньминь

жибао". В результате он помнил списки всех руководителей, которые в те времена присутствовали на больших приемах. В служебных поездках не было даже газет, тогда Лао Ван читал инструкции для пассажиров, суммы компенсаций за порчу имущества и телефонные книги.

Сегодня его книги не умещаются в семи комнатах. Он перелистывает их, возьмет одну книгу в руки, а сам думает, что другая, наверно, интереснее; возьмет третью книгу и снова думает: а не лучше ли вначале прочесть четвертую?

Когда у Лао Вана не было еще столько книг, он помнил все, что прочитал. Когда же у него появился большой выбор, он даже не помнит, какую книгу читал весь день.

Угнали машину

СЫН Лао Вана купил машину и вместе с женой и сыном приехал навестить отца. Жена Лао Вана приготовила много вкусных блюд. Все радостно сидели за столом, как вдруг с улицы раздался крик: "Машину угнали!" Сын Лао Вана изменился в лице, бросил палочки и выбежал во двор. Так как они жили на первом этаже, то выбежал он очень быстро и успел заметить, что зеленый "фольксваген-джетта" как раз выезжает на улицу. Сын очень разозлился, не помня себя, побежал за машиной. Хотя в школе у него и было второе место в беге на четыреста метров, но машина совместного китайско-немецкого производства все же оказалась быстрее. Отплевываясь, сын Лао Вана в изнеможении упал на дорогу. Было решено отнести его домой, но и в полубессознательном состоянии он продолжал твердить:

— Вызовите полицию, вызовите полицию!

Лао Ван спросил:

— А где стояла твоя машина?

Сын назвал место. Он оставил ее в трехстах метрах от дома, так как ближе не было удобных мест для парковки. Лао Ван пошел туда и обнаружил, что машина сына стоит на месте, а сын бежал за машиной соседа.

Не обращай внимания

ЛАО Ван навестил младшую двоюродную сестру. Сестра сказала:

— Тут есть бездомная собака, она на всех наводит страх, то и дело ворует кур.

Лао Ван сказал:

— Не обращай на нее внимания.

Прошло два дня. Сестра сказала:

— Это что-то невозможное. Собака не только ворует кур, но и покусала наших баранов.

Лао Ван сказал:

— Не обращай на нее внимания.

Прошло еще несколько дней. Сестра сказала:

— Ужас! Вчера бездомная собака забралась в дом и испортила мебель.

Лао Ван сказал:

– Не обращай на нее внимания.

Сестра сказала:

– Тебе ни до чего нет дела, ничего сказать толком не можешь, только и твердишь: "Не обращай на нее внимания".

В тот день Лао Ван с сестрой шли по полю. Вдруг подлетела собака и разинула пасть, собираясь укусить сестру. Та испугалась и громко закричала. Лао Ван размахнулся и ударил собаку ногой прямо в живот. Собака, истошно взвизгнув, бросилась наутек.

Лао Ван помог подняться упавшей от страха сестре и сказал:

– Не обращай на нее внимания.

Хобби

КОГДА Лао Ван ел жаренную в сое лапшу, он говорил, что больше всего любит есть жаренную в сое лапшу. Когда ел пельмени с луком пореем, говорил, что больше всего любит есть пельмени с луком пореем. Когда ел баранину, говорил, что больше всего любит есть баранину. Когда ел сухожилия, говорил, что больше всего любит есть сухожилия.

Тогда его спросили:

– Лао Ван, так что ты, в конце концов, больше всего любишь есть?

Он ответил:

– Что люблю, то и ем, что ем, то и люблю. Все, что ем, все люблю, все, что люблю, все ем.

Ему с одобрением сказали:

– Да-а-а.

Встреча

ЛАО Ван договорился с одним старым другом встретиться пятнадцатого числа за городом в парке. Они давно не виделись, и Лао Ван был очень взволнован предстоящей встречей. В результате он перепутал даты и вместо пятнадцатого числа решил, что их встреча состоится четырнадцатого. Четырнадцатого числа, на день раньше, он прибежал в парк и ждал час, ждал полдня, а друг так и не пришел. Рассердившись, Лао Ван вернулся домой. Придя к себе, он полистал ежедневник и, обнаружив, что перепутал день встречи, посетовал, вздохнув, на свою бестолковость.

Потом он стал сомневаться, идти ему завтра или нет? Снова бежать, потратить несколько часов – это как-то уж слишком. Хотя встретиться со старым другом важно, но нет никакой необходимости два раза бегать в пригород. Ведь встреча людей – это не более чем выражение добрых чувств друг к другу. Ну, так он уже проявил свои дружеские чувства, только на день раньше, а снова нестись в парк – это уже ни к чему. Если же совсем не пойти, тоже будет абсурдно. Ведь прийти не в то время и из-за этого не пойти тогда, когда надо, – нелогично.

Так пойдет он или нет?

Белые гуси

ЛАО Ван ездил зимой за город к озеру. Был не сезон, поэтому редко кого можно встретить на берегу. Лао Ван гулял в полном одиночестве и думал о том, что часы летят, сезоны следуют своим чередом, годы бегут, не останавливаясь, радость и горе сменяют друг друга.

Однажды после сильного снегопада он увидел пару прекрасных белых гусей, стоящих рядом на берегу, и очень растрогался. Он подумал: "Два этих гуся — что бы это значило? Они наслаждаются зимним пейзажем? Они хотят показать, что не боятся мороза? Это пара влюбленных? Они хотят убедить всех, что огонь любви никогда не погаснет? А, может, они там заледенели, им плохо и некому им помочь?"

На следующий день Лао Ван обнаружил, что гуси по-прежнему были там, по-прежнему стояли рядом, по-прежнему белоснежные, по-прежнему безмолвные, по-прежнему удивительно прекрасные.

И на третий день гуси по-прежнему были там.

Лао Ван потерял покой, он проделал долгий путь, шел по тонкому льду, рискуя провалиться в воду. Он даже стал сомневаться, а настоящие ли это гуси или недавно поставленные скульптуры. Когда он подошел поближе, белые гуси взлетели, словно решили скрыться от него. Обратно они так и не вернулись.

Красота

КОГДА Лао Ван бывал на приграничной реке, смотрел на ее бурный поток, крутые берега, мутные воды, то ему казалось, что эта река прекрасна.

Когда Лао Ван бывал в лесу, глядел на темно-зеленые кроны деревьев, на листья, многослойным ковром устилавшие землю, то ему казалось, что этот лес прекрасен.

Когда Лао Ван приезжал на море, смотрел на клокочущий прилив, на белые волны, вздымающиеся к небу, видел, как солнце садится в море, а луна из него поднимается, то ему казалось, что море прекрасно.

Когда Лао Ван бывал в городах Европы, видел статуи и фонтаны, крепости и дворцы, то ему казалось, что эти города прекрасны.

Лао Ван постарел и уже никуда не ездил. Глядел на старые фотографии, думал об ушедшем времени, и ему казалось, что все это было прекрасно.

Красота (продолжение)

ЛАО Ван обнаружил, что некоторые места, которые он любил посещать в юности, просто невозможно узнать. Например, лапшичная, куда он любил заходить. Ее вывеска, двери — все было неповторимым. А сейчас там высится пятизвездочная гостиница. Или взять, к примеру, прежние ярмарки у храмов, свадьбы, аквариумы с лотосами и золотыми рыбками, летних светлячков, старые трамваи.

Лао Ван подумал, что, хотя и нет фотографий, на которых это запечатлено, но все это было прекрасно. Когда он обернулся и снова посмотрел на высотные здания, неоновые огни, новые постройки, ему показалось, что и они хороши.

Луна

ИНОГДА Лао Вану бывало грустно, и тогда он смотрел на луну. Иногда он очень уставал, и тогда он смотрел на луну. Иногда он вдруг чувствовал себя потерянным, и тогда он смотрел на луну. Иногда, разбив по неосторожности драгоценный фарфор, он смотрел на луну.

Лао Ван обнаружил, что луна все время разная. Иногда заходит рано, а иногда поздно. Иногда это тоненький серп. Иногда она пробивается сквозь облака и туман, а иногда светит на много верст вокруг. Иногда заставляет людей горевать, а иногда вызывает приятные, сладостные чувства. Иногда свет луны не давал ему уснуть, а иногда под присмотром ее лучей он засыпал особенно крепко. И это все была одна и та же луна.

И тогда Лао Ван поверил, что независимо от того, смотрит он на нее или нет, независимо от обстоятельств, в которых он находится, независимо от того, какие чувства пробуждает в нем луна, даже независимо от того, есть он или нет его на этом свете, по-прежнему будет сиять одна и та же луна.

Древний город

ЛАО Ван вместе с группой профессоров и специалистов отправился осматривать сохранивший свой первоначальный облик небольшой городок эпохи Сун, который совсем недавно был причислен ООН к числу важнейших культурных памятников. Все восхищенно вздыхали: "Прекрасно, изумительно, это имеет национальный колорит, тут чувствуется история, здесь так ощущается культура!"

Потом все обрушились с критикой на современные здания, мол, древний, изначальный облик городов полностью разрушен, национальный колорит исчез. Если так будет продолжаться, то Китай станет самым бескультурным местом в мире.

Похвалив городок, побывав на банкете, организованном местными чиновниками, и оставив каллиграфические надписи, типа "национальное достояние", "лучшее в мире", "уникальное", "испытывая глубокие чувства, думаю о древности", "жить в веках", все вернулись обратно в уродливые города, уродливые рестораны и уродливые гостиницы.

Лунные лепешки

ВО время праздника середины осени дети Лао Вана сказали:

— В этом году во время праздника мы не будем есть лунные лепешки. Они сладкие и жирные, чего в них вкусного?

Отмечали Новый год, и дети Лао Вана сказали:

— В этом году на Новый год не надо лепить пельмени. Что в них такого вкусного? В Америке их считают бросовой едой.

Во время праздника фонарей дети Лао Вана сказали:

— В этом году в пятнадцатый день первого месяца мы не будем есть юаньсяо[1], чего в них хорошего? В них нет ни грамма животного белка и витамина С.

1. Шарики из рисовой муки с начинкой.

Во время празднования середины лета дети Лао Вана сказали:

— В этом году в пятый день пятого месяца не надо есть цзунцзы, чего в них хорошего? Клейкий рис, маленькие финики, это все традиционная еда, не лучше ли есть креветки?

Лао Ван сказал:

— И что хорошего в этих креветках? Не лучше ли вовсе ничего не есть и не справлять ни один праздник? Тогда и сэкономишь, и похудеешь.

У врача (1)

ЛАО Ван приболел, но решив, что с ним ничего серьезного не приключилось, все время оттягивал визит к врачу. Через несколько дней ему стало гораздо лучше. Домашние и друзья говорили ему, что у него плохой цвет лица, уговаривали показаться врачу. Лао Ван не хотел идти, заявил, что сейчас уже все в порядке, хотя несколько дней назад ему действительно нездоровилось. Но домашние и друзья настаивали, что лучше бы он все же сходил разок в больницу.

Тогда Лао Ван стал думать: а чем я, собственно говоря, болел? Я все-таки выздоровел или нет? Он пошел в больницу, где ему выписали лекарства. Вернувшись домой, он их принял, и ему сразу стало намного лучше. Родные, друзья, да и сам Лао Ван говорили:

— Если заболел, лучше вовремя показаться врачу. Все же есть разница между тем, сходил ты в больницу или нет.

У врача (2)

ЖЕНА, дети и внуки Лао Вана заболели гриппом. Поскольку Лао Ван имел лучшее в семье бесплатное медицинское обслуживание, то обратились к нему с просьбой достать лекарство.

Лао Ван в последнее время тоже чувствовал себя неважно. Он пошел в больницу и, частично приврав, описал свои симптомы гриппа. Ему прописали лекарства, он их купил и принес домой.

Дома и старые, и малые стали принимать это лекарство. Тогда Лао Ван подумал: "Но это же мои лекарства, поэтому, хочешь не хочешь, мне их тоже надо попробовать".

Лао Ван принял лекарства, как велел врач, выпил кипятка и лег на кровать отдыхать. И тут он обнаружил, что в самом деле заболел.

Новый дом

ЛАО Ван переехал. Увидев его новое жилище, друзья пришли в недоумение. Новая квартира была меньше прежней, дальше от центра города, да и окружающая обстановка была несравнимо хуже.

Но Лао Ван молчал и не объяснял причину переезда. Наконец он изрек:

— Я уже стар. Если не перееду сейчас, то уже не перееду никогда.

Обещание

ОДНАЖДЫ на одном мероприятии Лао Ван встретился с одним Большим Начальником. Увидев Лао Вана, тот ужасно обрадовался, дружески похлопал его по плечу и сказал:

– Товарищ Лао Чжао, сколько лет, сколько зим. Понимаешь, я давно хотел с тобой встретиться, но все время занят. Сделаем вот как. В следующем месяце я обязательно приглашу тебя, встретимся, посидим по-простому, без церемоний.

Лао Ван немного растерялся: как это он стал Лао Чжао? Кроме того, с этим Большим Начальником он до этого и виделся-то всего один раз, поэтому ни о какой старой дружбе не могло быть и речи. С чего это вдруг тот решил встретиться? Может, он обознался?

Однако дальнейшие слова Большого Начальника свидетельствовали о том, что тот не обознался. Он действительно говорил про Лао Вана, только по-прежнему называл его Лао Чжао. Лао Ван пропищал как комар "Я Лао Ван", но Большой Начальник не услышал его и продолжал бодро болтать с Лао Чжао.

Лао Ван обрадованный вернулся домой и рассказал все жене, добавив, что скоро Большой Начальник пригласит его по-дружески отобедать. Жена тоже обрадовалась.

Лао Ван не сказал, что его называли Лао Чжао. Разве фамилия так уж важна? Если разобраться, то фамилии – это в конечном итоге оковы, которые человечество само на себя накладывает. Однако мало-помалу Лао Ван понял, что все то, что Большой Начальник говорил о нем, подходило и к Лао Чжао, и к Лао Чжану, Лао Ли, Лао Лю, Лао N.

Лао Ван несколько лет ждал приглашения, но, хотя его до сих пор так и не дождался, он все равно счастлив. Вспоминая об этом, считает за честь, что его хотели пригласить, и часто говорит друзьям:

– Этот Большой Начальник очень прост в обращении и хорошо относится к простым людям. Он хотел пригласить и меня посидеть с ним по-дружески, без церемоний.

Отказ

ДРУЗЬЯ установили дома кондиционер, а Лао Ван отказался устанавливать, заявив, что человек по природе своей может приспосабливаться к колебаниям температуры. С появлением кондиционера способность к адаптации, естественно, ослабнет и люди будут все более и более изнеженными. Что же в этом хорошего?

Друзья установили компьютер, а Лао Ван не захотел, сказав:

– Пока я не впал в старческий маразм и достаточно хорошо соображаю. Зачем мне компьютер? Если много им пользоваться, станешь его рабом.

Друзья купили мобильные телефоны, а Лао Ван отказался, сказав:

– Только самый недалекий нувориш может позволить себе такую игрушку. Даже крупнейшие современные европейские специалисты говорят, что мобильные телефоны придуманы для бабников и для тех, кто уклоняется от налогов. Посмотрите, кто из тех, кто занимает долж-

ность выше заместителя начальника или выше помощника профессора, пользуется мобильниками?

Друзья купили телевизоры, а Лао Ван отказался, сказав:

— Существует много доказательств тому, что у человека появляется зависимость от телевизора, что из-за него можно утратить индивидуальность, что телевизор — это духовный наркотик. Мне такие игрушки ни к чему.

Друзья стали говорить, что Лао Ван великий человек.

Прошло несколько лет, и выяснилось, что у Лао Вана есть и кондиционер, и телевизор, и телефоны, мобильный и станционарный, что у него есть все товары, которые представляли опасность для человеческого духа.

Лао Ван объяснил:

— Чем они удобнее, тем большую опасность представляют для души. Разве мы становимся счастливее, приобретя компьютер? Если вы купили телевизор, значит ли это, что теперь у вас есть любовь? Приобретая кондиционер, приобретаем ли мы дружбу? Если появился достаток, означает ли это, что у вас гармоничная семья? Приводит ли модернизация к торжеству истины, справедливости, равенства и добродетели? По правде говоря, мне они опротивели, но я все же всем этим пользуюсь. Разве не в этом заключается трагедия человеческого рода? Разве мы приходим в этот мир ради разных игрушек?

Тогда все почувствовали, что Лао Ван не только велик, но и мудр, что он, по крайней мере, один из самых мудрых людей этого столетия.

Допрос

ВНУК Лао Вана спросил его:

— Дед, что ты пишешь целый день?

Лао Ван ответил:

— Я пишу письма.

Внук спросил:

— А зачем ты пишешь письма?

Лао Ван объяснил:

— Хочу кое-что рассказать.

Внук спросил:

— А зачем ты хочешь им что-то рассказать?

Лао Ван ответил:

— Хочу, чтобы люди знали о некоторых моих мыслях, понимали и разделяли их.

Внук спросил:

— А зачем ты хочешь, чтобы люди понимали тебя, сочувствовали, знали о тебе?

Лао Ван сказал:

— Если никто о тебе не знает, не понимает тебя и не сочувствует, то тогда очень тоскуешь.

Внук спросил:

— А зачем тебе тосковать?

Лао Ван спросил:

— А разве одному весело?

Внук спросил:

— Зачем ты говоришь, что одному? Всюду же есть люди.

Лао Ван объяснил:

— Хоть и говорят, что всюду есть люди, но у нас разные интересы.

Внук спросил:

— А зачем вам иметь одинаковые интересы?

Лао Ван подумал, что внук, видимо, только что выучил новое слово "зачем" и учится употреблять его, составляя разные предложения.

Тип характера

ЛАО Ван решил определить характер своих друзей, задавая им один вопрос: "Как вы относитесь к тому, что у вас занимают деньги и что вы занимаете деньги? Одинаковое ли у вас к этому отношение?"

Лао Ли сказал:

— Я часто забываю о деньгах, взятых в долг, но все время держу в голове суммы, которые в долг дал.

Лао Ван сказал:

— Ты эгоист и пессимист, ты можешь заболеть раком.

Лао Чжао сказал:

— Я хорошо помню свои долги, возвращаю их как можно раньше, а о тех деньгах, которые брали у меня, часто забываю.

Лао Ван сказал:

— Ты все время боишься опозориться. Ты очень осторожный и строго выполняешь свои обязанности. Но возможно, что все-таки ты хороший человек.

Лао Юэ сказал:

— О долгах, как своих, так и чужих, я обычно забываю.

Лао Ван сказал:

— Ты оптимист. Возможно, ты сможешь стать бессмертным и постичь дао, но, похоже, что ты идиот.

Лао Не сказал:

— Я твердо помню обо всех долгах.

Лао Ван сказал:

— Ты догматик. У тебя нет больших перспектив в этой жизни, но и больших глупостей ты наделать не сможешь.

Лао Ма сказал:

— За всю свою жизнь я ни разу никому не дал в долг и никогда ни у кого не занимал.

Лао Ван сказал:

— О тебе... о тебе... мне нечего сказать.

Опавшие листья

БОЛЬШЕ всего Лао Ван любил наблюдать за опавшими листьями на берегу озера. Листья желтели, краснели, летели по ветру.

— Воистину прекрасно, — сказал, очарованный этим зрелищем, Лао Ван.

Он бродил по ковру из листьев, и его переполняла поэзия. Он растроганно сказал:

— Опавшие листья — это стихи.

С каждым днем становилось все холоднее, опавшие листья совсем засохли. Подул северный ветер и смел их. Лао Вана охватило грустное чувство. Печаль человеческой жизни вечна, подумал он. Жизни людей подобны листьям, облетающим на осеннем ветру. Он вспомнил умерших в последние годы друзей и учителей и ощутил безграничную тоску.

Наступило самое холодное время (19-й день зимы). На озере остался только лед, снег и голые деревья. Гуляя по льду и снегу, Лао Ван воспрял духом. Глядя на голые деревья, он подумал, что жизнь листьев и в самом деле коротка, но деревья живут долго. Хоть листья на этом дереве и не такие же, как на том, тем не менее листья того дерева все-таки сравнимы с листьями этого дерева. Жизнь отдельного человека хоть и коротка, но древо жизни по-прежнему может сохранять свою листву зеленой. Лао Вану стало намного легче.

Лишнее

ЛАО Ван разбирал вещи и обнаружил, что из купленных книг он просмотрел меньше половины и только десятую их часть прочитал внимательно. И все же он продолжал покупать книги.

Отложив книги, он перебрал одежду. Некоторую Лао Ван давно не носил, она уже заплесневела. Некоторые чемоданы он не открывал уже многие годы. В них была одежда, о которой он уже и сам забыл.

Были еще сувениры. Когда он покупал их, они казались интересными. Но Лао Ван привез их уже три года назад, а пакет с ними так и не открыл.

С тех пор как у него появился холодильник, количество продуктов в нем стало постоянно увеличиваться. Количество продуктов, о которых он забывал, тоже росло с каждым днем. Другими словами, количество испорченных продуктов становилось все больше и больше.

Лао Ван признавал, что его жизнь стала лучше. Он понял, что некоторые вещи покупают не ради того, чтобы их использовать, а чтобы испытать мгновенную радость от их приобретения.

Смерть

НА одном мероприятии Лао Ван высказал свой взгляд на смерть. Он сказал:

— Когда мне было двадцать лет, я ужасно боялся смерти. В тридцать я о ней забыл. В сорок почувствовал ее приближение и очень огорчился. В пятьдесят изо всех сил стал принимать лекарства и заниматься гимнастикой цигун. В шестьдесят лет, вспоминая о смерти, я тихонько вздыхал. В семьдесят лет, думая о финале, который ждет каждого, я смеялся. А после ста лет я уж точно ни о чем не буду задумываться.

Один из друзей Лао Вана, который считался известным мудрецом, сказал:

— Что за вздор.

Ошибка

ЛАО Вану позвонил его старый друг Лао Пэн, живущий в другом городе. Он сказал:

– Я послал тебе одну замечательную книгу, которую недавно прочел.

Лао Ван поблагодарил его и стал ждать посылки. Прошел месяц, а книги все не было. Через месяц друг позвонил снова:

– Лао Ван? Ты прочел книгу? Ну, как она тебе?

Лао Ван ответил, что книги еще не получил. Тогда Лао Пэн сказал:

– Подожди еще несколько дней. Если не получишь, скажи мне, я вышлю снова.

Прошел еще месяц, а книги Лао Ван так и не получил. Когда позвонил Лао Пэн, Лао Ван еще раз объяснил, что никакой книги он не получал. Лао Пэн расстроился:

– Я же говорил тебе, если не получишь, позвони, почему же ты не позвонил?

Лао Ван пробормотал "да-да" и извинился. Лао Пэн сказал, что вскоре снова вышлет Лао Вану книгу, и уточнил его адрес и индекс.

Прошел еще месяц, а книга так и не пришла. Лао Ван ходил узнавать на почту, но все безрезультатно. Он перестал спать, все ему было не в радость, он не знал, как быть. Он стал думать, что же сказать Лао Пэну, когда тот опять позвонит. Если сказать, что не получил книгу, его будут подозревать в том, что он нарочно создает другу трудности. Если сказать, что получил, можно избежать лишних разговоров, но тогда получится, что он соврал. Чтобы этого не произошло, Лао Ван поспешил в магазин и купил эту книгу, но по-прежнему так и не решил, как ответить на вопрос друга.

Тогда Лао Ван просто не стал больше звонить Лао Пэну. Он чувствовал себя виноватым перед старым другом за то, что сделал.

Поболтали

ОДНАЖДЫ в субботу поздно ночью в квартире Лао Вана раздался телефонный звонок и женский голос произнес в трубку:

– А, однокашник, угадай, это кто?

Лао Ван не имел никакого представления о том, кто бы это мог быть, однако ласковый тон говорившей не позволил ему сразу в этом признаться. Поэтому он сказал:

– А, это... это...

Собеседница сказала:

– Нет, так не пойдет! Как, ты забыл даже меня? Я же Сяо N!

Лао Ван не расслышал, но как-то неловко было переспрашивать, поэтому он сказал:

– А, добрый вечер!

– Чего доброго-то, мы все уже на пенсии, ни звания, ни чина.

Они проговорили так около часа. Обсудили работу, отношения между людьми, нравы в обществе, борьбу с коррупцией, детей, высокое давление, диабет, квартиру, покупку машины. Однако до конца разговора Лао Ван так и не понял, с кем же он говорил.

Верблюды

Из всех животных самое большое впечатление на Лао Вана произвели верблюды. Они огромны. Они ко всему безучастны. Они вытягивают свои шеи. Они безмолвны и одиноки. Если в пустынной степи стоят только два верблюда и стоят там с утра до ночи, они никогда не общаются между собой. Наверно, две собаки, две кошки или две птицы вели бы себя по-другому.

Лао Ван подумал, что верблюды — это великаны, это мыслители, это наблюдатели, это просветители. Они — особый мир, это символ, это воля и мудрость, это образец для подражания и это сказка.

Лао Ван вспомнил множество достоинств верблюдов, которые он знал с детства: преданность, выносливость, стойкость, основательность, безропотное выполнение тяжелой работы и т. д.

Они такие хорошие, что у Лао Вана от умиления полились слезы.

Верблюды (продолжение первое)

И тогда дух спросил Лао Вана:

— Так ты хочешь стать верблюдом?

— Нет, — ответил тот. — Стать верблюдом — это значит только размышлять, но не высказывать своих мыслей, есть только траву, но не есть мясо. Это только одиночество, и верблюды никогда не получают никаких званий. Вряд ли это будет правильное решение.

— А кем ты тогда хочешь стать? Моего волшебства хватит на то, чтобы превратить тебя в поп-звезду, в большого чиновника, в богача, в плейбоя, в мафиози и так далее. Скажи, кем ты хочешь быть?

— Я... я... я не могу придумать, пусть я лучше буду самим собой.

Верблюды (продолжение второе)

ОДНАЖДЫ в сумерках верблюд, который очень редко подавал голос, вдруг издал странный звук. Лао Ван был страшно потрясен. Что бы это значило? В чем его скрытый смысл и в чем его общая идея? Где здесь форма и где содержание? На что он указывает и на что может указывать? В чем его загадка?

Возможно, это предсказание землетрясения, наводнения, появления еретических учений, группы наркоторговцев, новой разновидности СПИДа? А может, это призыв, вызов, предостережение, то, что заставит нас опомниться, серьезное предупреждение? Может, он бьет не в бровь, а в глаз; обладает такой силой, что может смести тысячу армий?

Или это способ самовыражения, стремление добиться любви, попытка странным криком всех обмануть, шутка, позерство, паника, единственное, на что он способен, самый простой путь получить признание?

Как и следовало ожидать, объяснение биологов было слишком простым и пошлым. Лао Ван им не поверил. Он скорее умрет, чем поверит. Оказывается, если верблюд, такое огромное, одинокое, молчаливое,

мудрое создание, внезапно издает странный крик – это всего лишь означает, что настало время ему найти подругу.

Золотые рыбки

ЛАО Ван купил большой аквариум с автоматическими системами очистки и смены воды, а также регулировки количества кислорода. Затем он купил несколько золотых рыбок. Почитав книгу или утомившись от домашних дел, Лао Ван наблюдал за рыбками и завидовал их веселью.

Когда приходили друзья, то главной темой разговора были золотые рыбки, а сама беседа сводилась к тому, что рыбки – веселые создания, а в большом и современном аквариуме Лао Вана им живется еще веселее. Не ведая забот и печалей, они свободно плавают туда-сюда, такие изящные, такие юркие. Один друг даже сказал, что в следующей жизни хотел бы родиться рыбой. Тогда Лао Ван произнес:

– Ты мой лучший друг. Если ты будешь рыбой, тогда я в следующей жизни хотел бы разводить рыб. Чтобы ты не попал в руки мальчишек или плохих людей, я помещу тебя в мой самый лучший аквариум.

На это его друг сказал:

– Что за чушь.

Корзина цветов

НА свое семидесятилетие Лао Ван получил большую корзину цветов. Там красовались и розы, и орхидеи, и агава, и лотосы, и большие лилии. Корзина была великолепна.

Цветы прислали по почте, а подписано было "От друга Вана". Лао Ван долго ломал себе голову, кто бы это мог быть, но так ничего и не придумал. Может, это Лао Ли, он старый друг и учились они вместе? А может, и Лао Лю, ведь между ними еще в годы "культурной революции" завязалась крепкая дружба? А может, это Сяо Чжао? Они с Лао Ваном друзья, несмотря на разницу в возрасте. А может, и Да Чжоу, ведь он самый верный друг и строже всех соблюдает правила поведения.

Но, встретясь с друзьями, Лао Ван обнаружил, что никто из них не присылал эту прекрасную корзину цветов. Более того, ее не прислал ни А, ни В, ни С. Одним словом, ее не прислал ни один из хороших друзей и знакомых Лао Вана.

"Интересно, – подумал он, – я получил прекрасную корзину цветов и не знаю, от кого она. Человек – удивительное создание".

За эту корзину цветов и за человеческую непостижимость Лао Ван благодарит всех знакомых и не знакомых ему людей.

Старая песня

ОДИН одноклассник Лао Вана сказал ему:

– Лао Ван, поскорей помоги мне вспомнить, как поется та песня, которую мы больше всего любили петь в юности?

Лао Ван спросил:

— О какой песне ты говоришь?

Одноклассник ответил:

— Я забыл.

— А как она называется? — спросил Лао Ван.

— О-хо-хо, у меня такая плохая память, это я тоже забыл.

— Наверно, ты можешь ее напеть? Хотя бы начало, середину или конец.

— Я... я... я забыл.

— Это советская песня? Народная песня севера Шэньси? Ее написал N? Это неаполитанская песенка? Это эстрадная песня? Это ария из оперы?

— Забыл. Забыл. Забыл.

— Так как же я могу помочь тебе ее вспомнить?

И тут одноклассник вдруг завопил, что вспомнил. Он дождался, когда Лао Ван снова задаст ему вопрос, но в ответ не издал ни звука.

Этой публикацией "Иностранная литература" открывает новую рубрику. Называется она так, поскольку в ней мы стремимся показать поэзию, достаточно непривычную нашему читателю, выпавшую из поля зрения наших специалистов и издателей. Слово "Антология" присутствует в названии рубрики потому, что это — попытка дать "картографию" другого поэтического пейзажа в целом и представить того или иного поэта как своеобразное "геологическое явление", серьезно меняющее ландшафт современной поэзии.

Роберт Крили

Стихи

Переводы с английского.
Вступление Антона Нестерова

Несколько слов о Роберте Крили

В апреле 2005 года в техасском городке, чье название — Одесса — русскоязычному читателю напомнит совсем другой город, в возрасте 78 лет умер от воспаления легких поэт Роберт Крили. Еще за несколько дней до смерти он выступал в Шарлотсвилле (Виргиния) с чтением своих стихов — периодически прикладываясь к небольшому баллону с кислородом и пошучивая по этому поводу: "Ну чем не бутылка шампанского — размеры один в один!" В тот последний свой

© Robert Creely, 1967, 1969, 1987, 1996, 1998, 1999, 2002
© Антон Нестеров. Перевод, вступление, 2006
© Аркадий Драгомощенко. Перевод, 2006
© Ирина Машинская. Перевод, 2006
© Григорий Стариковский. Перевод, 2006
© Александр Стесин. Перевод, 2006

публичный вечер он настойчиво говорил о вещах простых — тех, которые единственно важны: "Ушедший век — в нем было столько войн, столько боли... И теперь мы должны учиться тому, что такое доброта, но именно доброта, только она, делает нас людьми".

Он был одним из самых сложных и достаточно жестких поэтов, писавших по-английски в ушедшем столетии. Он сделал с поэтическим синтаксисом почти то же самое, что кубисты сделали с фигуративной живописью. Пикассо и его последователи раскололи объект на серию восприятий, позволяющих видеть предмет одновременно с разных точек зрения. Крили точно так же расколол линейное развертывание предложения, разорвав его между несколькими поэтическими строками не там, где проходят границы логического деления смыслов, а там, где из разрывов рождаются новые смыслы. Добавьте к этому стремление к минимализму, когда со словом происходит то же самое, что с материей, захваченной "черной дырой", — слово наливается почти немыслимой тяжестью, вбирая в себя массу аллюзий, а короткая цепочка из двух-трех слов может служить отсылкой к целой поэме — к Донну, Мильтону, чрезвычайно ценимому Крили Генри Воэну или к Паунду, Уильяму Карлосу Уильямсу... "Я взываю к словам — только в них мое спасение, и как человека, и как поэта", — сказал он в одном из интервью.

Славу Крили, его опыт описания мира, его открытия, пытались объявить "своими" две серьезнейшие поэтические школы, под знаком которых прошла американская поэзия 60-х: "Блэк маунтин скул" и битники. "Блэк маунтин скул", "черногорцы", получившие свое имя от названия одноименного колледжа, во главе которого стоял поэт и критик Чарльз Олсон, — это Дениз Левертов и Роберт Данкен — имена, без которых немыслима любая антология американской поэзии XX века. Битники — это Гинзберг, Керуак, Ферлингетти... И все же Крили выбивался из рамок любой школы, он был больше, интереснее, чем то или иное движение... Один из знакомых Крили, директор артпрограмм университета Брауна Питер Гай Нельсон сказал о нем: "Большой поэт — редкость, еще большая редкость — Личность, а Крили был и тем, и другим. Но... он был больше, чем это, — рядом с ним вы физически ощущали присутствие Настоящего". Заметим: директора программ поддержки искусства — как правило, люди несентиментальные... А друг Крили, английский поэт Том Пикард как-то заметил: "Вряд ли можно чем-то помочь этому миру, но не любить мир, в котором может появиться такой, как Роберт Крили, — нельзя..."

Роберт Крили родился в 1926 году в Арлингтоне — типичном американском городе средней руки, где его отец был одним из самых уважаемых врачей. Семья, живущая в достатке. Если бы не несчастья... Когда Роберту было два года, родители везли его на машине — та потеряла управление. Столкновение — и мальчик на всю жизнь ослеп на один глаз. А еще через пару лет умер отец — воспаление легких с тяжелым осложнением. Мать пошла работать сиделкой, на полную ставку. Но тут разразилась Великая депрессия, в городе совсем не стало работы. Семье пришлось переехать жить на ферму, перейти на полное самообеспечение...

Все это наложило на Роберта свой отпечаток — он вырос суровым, неуступчивым юношей, предпочитающим скорее выйти из игры, чем согласиться на компромисс. В 1943 году он поступил в Гарвард — но вскоре, когда выяснилось, что ему не дают "заниматься" исключительно Хартом Крейном и Уолтом Уитменом, стал чаще появляться в джазовых клубах, где слушал Чарли Паркера и Телониуса Монка, чем на лекциях. В конце концов он решил отправиться добровольцем на войну — но так как в армию его не взяли из-за проблем со зрением, то он стал водителем санитарного батальона Американской полевой службы — сперва в Индии, потом в Бирме. Попал в несколько серьезных переделок — настолько серьезных, что удостоился двух медалей, а волонтеров вспомогательных служб награждают редко...

После войны он вернулся в Гарвард, но так и не закончил курс. Одной из причин, по которой Крили оставил университет, была женитьба: жизнь вдвоем требовала денег, пришлось предпочесть работу учебе (ситуация довольно типичная для многих писателей в этом поколении). Молодожены переезжают в Нью-Гемпшир, где, среди прочего, Крили пытается издавать поэтический журнал. Крили списывается с Эзрой Паундом (находящимся на правах узника в госпитале св. Елизаветы), Уильямом Карлосом Уильямсом, Луи Зуковским, Чарльзом Олсоном и просит их прислать тексты для публикации... Выбор этих четырех имен говорит о многом. По сути, эти четыре поэта — своего рода "кардинальный крест", определяющий американскую авангардную поэзию тех лет. Все четверо ответили согласием, но проект так и не состоялся... Зато состоялась дружба Крили с этими людьми. А в 1954 году Чарльз Олсон приглашает молодого поэта в "Блэк маунтин колледж" в качестве преподавателя литературы и редактора литературного журнала. Олсон был ректором этого удивительного учебного заведения, существовавшего на частные пожертвования. В совет директоров "Блэк маунтин" входили Альберт Эйнштейн и Уильям Карлос Уильямс.

Олсону удалось привлечь к работе в колледже, кроме упоминавшихся уже поэтов, художников Франца Клайна и Роберта Раушенберга[1], композитора Джона Кейджа, хореографа Мерса Каннингема[2]... То была своего рода американская Касталия.

Сам Олсон был талантливым поэтом и создателем теории "стиха-проекции" (projective verse). Согласно Олсону, такой стих существует как открытая форма, как наложение силовых полей смыслов, структура же строк определяется не метром, а дыханием поэта.

Стих-проекция Олсена повлиял на многих, кто с ним общался. Повлиял не как догма, а как толчок к поискам, к размышлениям. В одном из поздних интервью, с Аланом Райхом, Крили говорил о страсти, с которой американские поэты пытались как-то формализовать свой опыт: "Помню, друзья-англичане пеняли мне: 'Что вы, американцы, все талдычите о теории, просодии и прочей ерунде! У вас что, поэзии нет? Нет традиции?.. Что вы так переживаете, как вы там пишете? Просто паранойя какая-то... Нравится вам какое-то стихотворение — так чего еще вам надо? А все эти теории, проекции...' Я же отвечал: может, мы слишком склонны оправдываться, но... нам приходится объяснять, что мы такое, тем, кто нас совсем не знает..."

И все же, истоки поэзии Крили связаны не столько с американским модернизмом, сколько с поэзией английских метафизиков — он сам признается, что Уильмс, Стайн, Хильда Дулитл "поздно, очень, очень поздно вошли в мой быт как писателя. Стайн — чуть раньше, чем Хильда Дулитл. А к Уитмену я пришел позже... *Прочел* я его лишь лет в тридцать... А несколько поэтов, которых я вправду любил, в колледже, или еще раньше... Я любил Геррика... Любил якобитов... Ну, Донн, конечно... Но скорее — Крэшо... Воэна, Генри Воэна особенно любил. Ну, и Кольридж повлиял на меня... Еще Харт Крейн — его я любил. И Гарди..."

К моменту приезда Крили в "Блэк маунтин" колледж уже шел к закату — фонды были истрачены, новых пожертвований почти не поступало. Колледж все

1. Франц Клайн (1910 – 1962) – американский художник, один из лидеров абстрактного экспрессионизма; Роберт Раушенберг (р. 1925) – американский художник, один из пионеров поп-арта, работал в основном в технике коллажа и редимейда.
2. Мерс Каннингем (р. 1915) – выдающийся американский хореограф, положивший в основу своей хореографии импровизацию и принцип случайности: для определения порядка движений танцоры бросали кости, монетки, тянули карты. В 1953 г. создал "Merce Cunningham Dance Company". Известен своим сотрудничеством с Джоном Кейджем. Оформителями хореографических постановок Каннингема в разные годы выступали Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс, Эндрю Уорхолл. В 2003 г., по инициативе Каннингема, шоу возрожденного "Merce Cunningham Dance Company" открывала группа "Radiohead".

же просуществовал до 1956 года, а последний номер "Блэк маунтин ревью" вышел в 1957 году.

К этому времени у Крили было опубликовано уже четыре сборника стихов: "Что-то вроде (любви)...." ("The Kind of Act of", 1953), "Все, что есть славного в человеке" ("All That is Lovely in Men", 1955), "Если ты..." ("If You", 1956), "Плеть" ("The Whip", 1957). Выходили они в маленьких издательствах, очень небольшими тиражами: какая на Майорке, какая в Англии, в Ворчестере... Маленькие сборнички на 15—40 страниц...

Крили переезжает в Нью-Йорк, потом в Сан-Франциско — город битников (с Алленом Гинзбергом он был знаком задолго до этого, неоднократно печатая его в "Блэк маунтин ревью"). В Сан-Франциско Крили издает две книги прозы: сборник рассказов "Золотоискатели" и роман "Остров". Книги неплохо расходятся — и издательство "Скрибнерз" дает Крили возможность в качестве третьей книги напечатать избранное из своих стихов. Так в 1962 году появляется сборник "Любви ради: стихи 1950—1960" ("For love: poems 1950—1960"). По сути, это было признание Крили одним из поэтических лидеров поколения: избранное в одном из крупнейших американских издательств, занятых серьезной литературой.

В чем было открытие Крили?

"Who pays any attention / to the syntax of things" — "Тот, кто внимателен/ к синтаксису бытия" — эти строчки Эдварда Эстлина Каммингса могут служить лучшим определением современной поэзии. Она имеет дело с соотношением смыслов и связей мира, и это — одна из причин ее повышенного внимания к грамматике. Грамматические категории фиксируют самые общие и абстрактные отношения явлений: соотнесенность во времени, взаимосвязь субъекта и объекта. Внимание к грамматике есть внимание к первоосновам бытия.

Именно с грамматикой прежде всего и "работал" Крили в 50—60-е годы, заставляя ее обнажать свои смыслы и из каркаса, несущего речь, превращаться в само наполнение этой речи, в ее смыслы:

В первый раз —
это
в первый
раз. Во
второй раз над
этим
подумай.

В этом первом стансе стихотворения, прочитываемого как достаточно трагическая история любовных отношений, разрывы строк, проходящие "по живому мясу" синтагм, заставляют смыслы множиться. Эту строфу можно переписать/пояснить как: "Первое узнавание / Присутствие как бытие / Оторопь удивления / Его единичность / Повтор дает отстранение / Это присваивается как знакомое / Становясь толчком к рефлексиии" — и это лишь одна из возможных интерпретаций этой строфы.

При этом стихи Крили пронизаны массой культурных аллюзий. Иногда эти аллюзии явлены воочию — как название стихотворения "Музыка на воде", отсылающее к знаменитой сюите Генделя, написанной для увеселения короля Георга и его двора во время водной прогулки по Темзе из Уайтхолла в Лаймхауз. Стихотворение "Память", написанное после смерти Аллена Гинзберга, в своем подтексте отсылает к поэме "Каддиш" того же Гинзберга, посвященной памяти его матери. Иногда такие отсылки менее явны — только дочитав стихотворение "Песнь" до третьей строфы и

встретив формулу "а мы с тобой / живы молитвой", читатель поймет, что перед ним — вариация на библейские псалмы, многие из которых и в библейском каноне обозначены именно как "песнь" (псалмы 29: 65—67 и т. д.). При этом Крили еще и отсылает читателя к переложениям псалмов, сделанных Мильтоном, — сказалось пристрастие Крили к английской поэзии XVII века. С другой стороны, в этом стихотворении присутствует и отсылка к "Песни песней", где, среди прочего, есть стихи, которым вторит ситуация, описанная у Крили: "Знамя его надо мною — любовь! Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая — обнимает меня..." (Песн. 2: 4—6). Но при этом "Песнь" Крили — еще и спор с канонической молитвой, молитва иного века, — века, в котором Бог превратился в жалкого, немощного старика, живущего в трущобах, всеми забытого, как в упоминавшемся уже стихотворении "Память"...

К середине 80-х годов Крили стал уже абсолютным классиком. В 1988 году его приглашают в Американскую академию и вручают медаль Роберта Фроста, в следующем — избирают поэтом-лауреатом штата Нью-Йорк... В 1999 году Крили получает Боллингеновскую премию, стипендию Гуггенхайма... Интересно, что его стихи этих лет гораздо ближе классической поэзии — их синтаксис становится более ровным, в них появляется рифма...

И в заключение хотелось бы сказать несколько слов о переводчиках Крили, представленных в этом номере. Аркадий Драгомощенко — один из самых ярких поэтов-экспериментаторов, пишущих сегодня по-русски. Без Ирины Машинской невозможно представить русскоязычную поэзию Америки. У Григория Стариковского в прошлом году вышла в Нью-Йорке книга стихов... Стихи живущего в США Александра Стесина много печатались в "Знамени", "Новой Юности", нью-йоркском "Новом журнале", вошли в антологии "Девять измерений" и "Освобожденный Улисс".

***

Заметки, приведенные ниже — не просто размышления переводчиков о поэте, стихи которого они переводили. А. Драгомощенко и И. Машинская не раз с Робертом Крили встречались, а А. Стесин учился у него в университете Буффало. Поэтому данные заметки — живая память о том, каким Крили был.

Аркадий Драгомощенко. В своем on-line "ежедневнике поэта" (как далеко еще было в ту пору до LJ!) в 1997 году Крили пишет: мол, приехала телевизионная команда из Лондона, чтобы расспросить об Аллене Гинзберге, вернее "о чем писал" Гинзберг. И далее — *хотелось сказать, что все мы в ту пору писали для пары-другой "золотых ушей", но и теперь, наверное, тоже...*

Мне думается, мостовые отнюдь не вымощены золотом слуха, а если оно рассыпано в воздухе, то лишь благодаря нескончаемому поэтическому труду таких, как Роберт Крили.

Его слух был безупречен. В каждый последующий миг, превращаясь в высказывание, его слух становился предвосхищением некоего знания, которого — и это было в самом деле реальное ощущение — тебе недоставало в этот самый момент. Более того, он тотчас разделял это знание, как бы снова вслушиваясь, но уже вместе с тобой.

Ирина Машинская. Если бы я не видела, как он выглядел, я бы описала свои ощущения от стихов Крили примерно так: солдат, пришедший с войны, напряженный, сдержанный, рыжая земля на солдатской форме, ржавый звук, он не узнает языка — все изменилось, пока он был в другом мире, и тогда он создает новый

язык из обломков того, прежнего, *до* немоты, звук наступает на звук, образ на образ, стихи звучат ржаво и резко, как в би-бопе. Грустно, как Чет Бейкер, и сбивчиво, как Чарли Паркер. Вообще, *птичий* язык. Но я видела его выступление: спокойный, *профессорский* (по-американски) голос, естественная, остроумная и открытая речь. А закрою глаза — опять: ржаво, резко, труба, прерываемая саксофоном.

Александр Стесин. Крили часто цитировал известный лозунг Уильяма Карлоса Уильямса "No ideas but in things", то есть никаких идей, кроме того, что осязаемо. Думается, в отличие от самого Уильямса, Крили имел в виду не столько осязаемость посредством подробностей (перечислений), сколько осязаемость самой речи, ее тщательно выверенной и абсолютно подлинной фактуры. Поэтическая речь Роберта Крили поражает сочетанием двух, казалось бы, взаимоисключающих качеств: причудливость и разговорность. Причудливость, потому что его эллиптические обороты зачастую приводят в недоумение: по-английски так не говорят. Разговорность, потому что при всей ломанности этой речи свойственна синтаксическая непрерывность. И действительно: те, кому доводилось общаться с поэтом, отмечали, что его необычная манера излагать свои мысли вслух мало чем отличалась от того, что проступало на бумаге. При этом у собеседника не возникало ощущения искусственности или "оригинальничанья". Напротив, это был совершенно естественный язык Роберта Крили, и в нем была та самая всепроницающая осязаемость, которая, согласно Уильямсу, должна определять поэзию как идею.

Григорий Стариковский. В стихах Крили — сила простого, сказанного без придыхания, слова. Слова связаны в пунктирную линию, которая никогда не срастается в сплошную, они живут намеками, недосказанностями и внутренней правотой отдельно взятой боли. Они — тихая молитва человека. В этих стихах есть протестантское просветление, незагроможденность библейского горизонта.

Мера

Ни вперед
Ни назад
Не двинуться.
Пойман

временем
его же мерой.
Что думаем
о том, что думаем о —

безо всяких причин
думаем, чтобы
думать и только —
для себя, в себе.

Лишь любовь
как любовь есть. Эти
смыслы воссоздают
собственное определение –

в горсти предпосылки
руки. Глазам – вся красота,
которую они сокрывают.

Продолжи. Таким образом,
голос вновь, *эти смыслы*
воссоздают странные предпосылки
чувства, снова чувство.

Я слышу. Слышу,
как захлопывается рассудок,
голос вне его очертаний,
руки открыты.

Сколь тесно сжимают
друг друга, пустоту
подобного ощущения.
Слышать, где эхо
громче, отчетливей
ощущения звука

касания и исключения
более не любви
только, намерений рассудка,
взгляда, рук охраняющих –
разбитых в эхо, *эти*
смыслы воссоздают
собственное определение.
Я слышу, как
захлопывается рассудок.

Язык

Помести *я люблю*
тебя где-
то в

зубах и
глазах, впейся
в это, но осторожно,
не повреди,

ты хочешь всего —
ничего. В словах
весь ответ.

Я
люблю тебя
опять,

вот, для чего
пустота. Чтобы

ее наполнять,
полнить.

Я слышал слова,
и они, полны дыр,
саднили. Речь —
это рот.

1987

Перевод Аркадия Драгомощенко

Снова

Еще с одним покончено,
а он
был днем.

Он начался, и он
закончился, вперед
бежал, назад
прокручивался, быстро
а то замедленно,
сияло, облака,

там в высоте
я был с другими, а потом сошел
на землю снова.

Безлунна ночь. Гостиница,
окно — начать
сначала.

1969

Из цикла Жизнь и смерть

Долгая дорога этого всего

А долгая дорога этого всего
есть эхо,
растущий — звук ли, образ,
рамки — раскладываясь, свертываясь — вверх,
одна, за ней другая,
все мы суть
мысль восходящая
и падающая, взрыв
пустоты, забытой быстро.

Когда оно приходит

Когда оно приходит,
стираются края,
и ничего вокруг,
ни этих мест,
лишь только ветерок нездешний,
и — в реку весь,
она течет себе —
и в белооблако,
и все, и нет ее.

1998

Перевод Ирины Машинской

Поворот

В каждую сторону
поворота предчувствуй вывих,
только что
была здесь, а теперь

нет её, уходящей, но,
уходя, действительно ли
прошла
перед тем,

как исчезнуть. Дерево
не умеет ходить, только силой
заставишь
ходить его. Корни

прислушиваются к зубцам пилы
и кричат. За обедом
даже лист салата
вопит беспомощно.

Желаем одно,
получаем другое.
Увидев однажды,
уверены, что снова увидим?

Нет, никогда. Движась,
продолжим
движение, а потом —
все, конец.

Окно

Точка зрения находится там,
где её оставили,
вот, к примеру,

большой пруд,
посеребренный, с белой
церковью неподалеку,

ты возвысил все это
ради чего? Громоздкий
замедленный

мир,
разложенный
по местам. Кто-то

проходит рядом
с машиной, стоящей
на крутом склоне,

лист, окрашенный
в желтое,
скоро

слетит, все
опадает
на свои места. Мое

лицо сдавлено
зрением,
глаза крошатся.

Песнь

Тяжесть обета
гнетет меня.
Не в стыде, пойми,
не в нем дело.

Ночь наступает. Спим.
Говори, если есть
что сказать, не притворяйся
спящей, открой глаза.

Врагам, им к лицу
обличья,
а мы с тобой
живы молитвой.

Немощному,
что проку в словах мне.
Скажи, если хочешь,
что я тебе.

Ты превзошла всех женщин
мудростью,
всех превзошла
верностью.

Но судьба, о любовь, —
она злобы исполнена.
Тяжесть обета
гнетет меня.

Они

Что стало
со струнами
после музыки,

за которой
они тянулись,
в себя уходя,

вне партитуры,
в согласии
с ней? Они

наполняют собой мир,
не уловить их плеск,
вне времени,

со временем в такт,
каждая — свою молчит песню:
вечное притяжение.

Перевод Григория Стариковского

E*n famille*

Я, одинок, как облако, блуждал,
Казалось, я из виду потерял
тех, с кем пришел. Отец и мать, сестра
и братья. Плоть от плоти.

И вот не стало рядом никого.
Лишь в зеркале мое лицо.
Единственное на крючке пальто.
Кровать застелена. Куда они ушли?

*

В одиночку тебе
не уйти далеко. Там темно.
Слишком долго идти.
Любая собака знает.

Это он, тот, кто любит нас больше всех.
Или думается, что любит. В потемках души.
Поспокойнее. Осторожней езжай, не спеши.
Так держать. Мы вовсе не сбились с курса.

*

Мы здесь, куда же нам еще идти?
Мы принимаем все оно, как есть.
Нам сказано — мы знаем. Все пути
ведут сюда, всем хватит места здесь.

Нельзя отстать, нельзя уйти вперед.
Мы уступаем место в свой черед.
Нам снится небо лестницей в веках.
Мы видим звезды, мысля, где и как.

*

Рассказали ли мы тебе все, что хотел ты знать?
Неужели так скоро пора уже уходить?
Было ли что-то, чего ты не смог забыть?
Разве того, что ты понял, хватит на всех?

Неужели мудрость – только пустое слово,
а старость – просто выпавшее звено?
Самоценна ли человеческая основа?
Счастье. Вот здесь – оно?

1999

Память

Где-то сейчас Аллен Гинзберг
вспоминает: однажды матери
приснился Бог, *старик*, говорит она,
*живет за рекой в Нью-Джерси
в городке Палисейдс*, забытый, побитый,
в какой-то хибаре, еле сводя концы
с концами. Мать спрашивает старика:
*как ты мог позволить, чтобы наш мир
дошел до такого*, и все, что он может
ей ответить, – *я старался, как мог.
Он выглядит неухоженным*, говорит она Аллену,
ходит в зассанном нижнем белье. Больно
слышать, что Бог справляется не лучше, чем
любой из нас, – просто еще один
безымянный старик где-нибудь на скамейке или
в кресле-качалке. Помню, один уролог
объяснял мне, как, поссавши, стряхнуть мочу:
надавить двумя пальцами сначала в паху,
в области предстательной железы, потом ближе
к кончику члена, чтобы последние капли
угодили в толчок, а не на одежду.
Все же трудно назвать это идеальным
решеньем. Как быть в общественном туалете?
Примут за рукоблудие. С другой стороны,
что же делать, чтобы не выползать
оттуда, расставив ноги, с позорным пятном,
проступающим под ширинкой? Не надо
убеждать меня, будто старость может быть легкой
для кого бы то ни было. *На золотом пруду*[1] –
идиллический образ: озеро, пенсионеры
в штате Нью-Гемпшир, но это неправда, все
это неправда. Прошу, не ссылайте тех,
кто вам дорог, в Дома престарелых. Они
умрут. Там только болеют. Иначе
зачем бы им там находиться? Я
не знаю, что будет дальше, что может
со мной случиться... Обломки того,
что казалось мной, выглядят все мрачнее,

1. "На золотом пруду" (On Golden Pond, 1981) – фильм режиссера Марка Риделя по сценарию Эрнеста Томпсона. Главный герой фильма – престарелый профессор, проводящий лето с семьей в коттедже в Нью-Гемпшире (*прим. перев.*).

как вершины гор, которые видел когда-то,
едва различимы в сгущающемся тумане.
Надо как-то встряхнуться, может быть, надо
несколько раз отжаться, выйти из дома,
заглянуть к соседям, которых не видел годами.

2002

Перевод Александра Стесина

***

В первый раз —
это
в первый
раз. Во
второй раз над
этим
подумай

*

Там была
ты,
раз
за разом

*

Это
не в силах
вернуть

*

Твое было там
а ты здесь
но было
хоть это

Музыка на воде

Слова — прекрасная музыка.
Слова — канут, как в воду.

Музыка на воде,
громко, так чтобы не

слышать лодок,
птиц, эту листву.

Все что им нужно –
место: присесть и пожрать –

ни значенья,
ни цели.

1967

Ноль

Марку Петерсу

Не то, чтоб совсем уж не,
Не то, чтобы – нет ответа,
Не то, чтобы оторопь, или
Совсем уже нечем крыть.

Это как *Прошлое никогда
не похоже на настоящее. С нами
покончено.
Выхода нет, не ищите...*

Боже мой! Это как
Я хотел бы собаку.
Боже мой.
Собака была, но сбежала.

Пес по имени Ноль –
нечто, за которым нет ничего!
Как вам собачьи галеты?
Заполните бланк.

На *прощание*

Теперь-то я понял:
мне всегда выпадало
быть чем-то вроде
фотокамеры

на автоспуске,
трубы водосточной,
по которой вода –
так и хлещет,

чем-то вроде цыпленка,
которому шею
свернут к обеду,
чем-то, наподобие

плана в голове мертвеца.
Любое из названных определений
подходит, когда вспоминаешь,
а как оно все началось?

Об этом — Зуковски:
“Родился слишком юным
в мир, что стар, слишком стар...”
Век шел полным ходом,

когда я явился,
теперь он подходит к концу,
и я понимаю:
недолго осталось.

Но как говорила мама:
А по-другому неужто нельзя?
Почему было нужно
убить все и вся, почему

правота обернулась ошибкой?
Я знаю: тело нетерпеливо.
Я знаю: голос мой слаб, разум так себе.
И все же: я любил, я люблю.

Не хочу сантиментов.
Просто хочу знать — здесь я дома.

1996

Перевод Антона Нестерова

Салим Баши

Пёс *Одиссея*

Роман

Перевод с французского и вступление Е. Ляминой

Первое произведение Салима Баши имело оглушительный успех — роман "Пёс Одиссея", вышедший в знаменитой белой серии французского издательства "Галлимар", собрал целый букет престижных премий 2001 года: Гонкуровскую премию в номинации "Первый роман", премию "Призвание" фонда Марселя Блештейн-Бланше, стипендию "Открытие" фонда имени принцессы Грейс Монакской. Тридцатилетний Баши, в то время уже живший в Париже и работавший над диссертацией о творчестве Андре Мальро, после столь яркого литературного дебюта без сожаления оставил свой научный труд и всецело отдался писательству.

Уроженец города Аннаба на востоке Алжира, Салим Баши (р. 1971) учился в столице — сначала во французском лицее, потом на филологическом факультете университета. Годы 1995—1996-й он провел во Франции, а в 1997-м перебрался туда на постоянное жительство.

Баши хорошо известен во Франции и вообще в Европе: его перу принадлежат романы "Кахина" (2003), "Убейте их всех" (2006), книга эссе "Автопортрет с Гранадой: Фантазии путешественника" (2005). Романы Баши переведены на немецкий и английский языки, он выступает по телевидению, радио, принимает участие в различных форумах и конференциях; о написанном им вышло уже несколько научных работ. В Алжире его знают гораздо меньше — и потому, что он уехал оттуда молодым, и потому, что, переселившись в Европу, решительно разорвал связи с родиной, в чем немалую роль сыграла и публикация романа "Пёс Одиссея" — книги обвинения, отчаяния и беспредельной усталости.

© Éditions Gallimard, 2001
© Е. Лямина. Перевод, вступление, 2006

В 2001 году, отвечая на вопросы журнала "Нувель обсерватёр", Баши без обиняков сказал: "Я больше не верю в Алжир... Жить в Алжире невозможно. Жизнь и Алжир — вещи несовместимые. В университете нет книг. Нет возможности делать ксерокопии. Я не понимаю, как там вообще что-то преподают. Когда я вернулся туда в 1996 году, после пребывания здесь [во Франции], мне было невыносимо тяжело".

Конечно, дело не только в бедности университетской библиотеки. Баши — писатель, мыслящий не холодно-отстраненно, а страстно и глубоко. И непосредственные впечатления, порой по-детски фрагментарные, оказываются не менее важны, чем зрелая мощь художественных и историко-философских обобщений.

Именно так он смотрит на насилие, которое стало повседневностью в Алжире 1990-х, оказавшемся между жерновами военной диктатуры и исламского фундаментализма. Для Баши это логическое следствие всей истории страны. "Две тысячи лет непрерывных войн", — обреченно говорит в романе "Пёс Одиссея" журналист Хамид Каим, один из любимых героев автора, осознающий прошлое и настоящее Алжира как напластование множества слоев насилия и предательства, которые не отменяют, но лишь подогревают друг друга, "тяжким грузом наваливаются на память".

Исторические отсылки и аллюзии в тексте Баши не просто многочисленны — вкупе с аллюзиями литературными они создают каркас произведения и прошивают его множеством связей и параллелей.

Действие "Пса Одиссея" происходит в городе, который является одним из главных персонажей романа. Автор именует его Циртой (Cyrtha), но в современном Алжире такого города нет. Цирта — это карфагенская колония, возникшая в период с середины 5 до середины 3 в. до н. э. на земле, которую исконно населяли нумидийцы, и со временем превратившаяся в крупный город. Ему суждено было сыграть существенную роль в Третьей Пунической войне.

И для Карфагена, и для Рима был остро необходим военный союз с нумидийцами — кочевниками, а значит, искусными конными воинами. Сама же Нумидия в ту эпоху состояла из двух враждовавших друг с другом царств. Перипетии этой междоусобной войны и того, как Рим и Карфаген использовали ее каждый в своих целях, составляют хотя и второплановый, но важный и полный драматизма сюжет XXIV—XXX книг "Истории" Тита Ливия; некоторых ее персонажей упоминает в своем романе Баши.

Царь Западной Нумидии Сифак был союзником карфагенян, но союзником ненадежным: он дважды в продолжение войны переходил на сторону Рима и дважды восстанавливал союз с Карфагеном. В 213 году до н. э. Сифак, несмотря на поддержку римлян, был разбит соединенными войсками карфагенян и молодого царевича Масиниссы, наследника престола Восточной Нумидии. В 205 году до н. э. Сифак низложил Масиниссу и изгнал его из родовых владений, но вскоре влюбился в карфагенянку Софонисбу, племянницу Ганнибала ("среди варваров нет племени более чувствительного к женской красоте, чем нумидийцы", замечает по этому поводу Ливий), вновь стал на сторону Карфагена и тем самым подписал себе смертный приговор.

Весной 204 года до н. э. римляне высадились на побережье Северной Африки, где их с нетерпением поджидал ревностный союзник — Масинисса. Уже на следующий год Сифак был взят в плен и в цепях приведен под стены Цирты, задолго до того ставшей его столицей. Это зрелище, рассказывает Ливий, "всех ужаснуло, поднялся плач; некоторые в страхе ушли со стен, другие, рассчитывая на милость победителя, открыли ему ворота. Масинисса расставил караулы у всех ворот, а где это было нужно, еще и у стен, чтобы закрыть врагам все пути к

бегству, а сам поскакал занять царский дворец"[1]. Так пала Цирта, а Масинисса стал господином обеих Нумидий[2]. В 202 г. до н. э. вопрос о средиземноморском господстве был окончательно решен в пользу Рима. И превращение Нумидии в одну из провинций империи не заставило себя ждать: менее чем через сто лет (в 105 году до н. э.) внук Масиниссы, Югурта, был разбит римлянами.

Во II—III вв. в Нумидии, как и на всей территории Римской империи, стало распространяться христианство; в V в. Нумидия была опустошена вандалами. В 533 году она вернулась под власть наследницы Рима — Византии, но уже в конце VII в. сюда пришли арабы, что резко изменило судьбу страны: Нумидия стала Алжиром, а христианство сменил ислам. Сопротивление нумидийцев-берберов арабам шло много веков подряд и по сию пору ощущается в межкультурном противостоянии. Население Алжира преимущественно арабоязычно, но жители горных областей (Кабилия и Орес) говорят на берберском — языке Масиниссы и Югурты.

Изгнав арабов с Пиренейского полуострова в 1492 году, испанцы захватили некоторые порты алжирского побережья, сильно стеснив мореплавание и торговлю. В 1518 году горожане Алжира, и сами небезуспешно промышлявшие пиратством, призвали на помощь турецких корсаров, те провели ряд успешных операций против испанцев, в результате чего страна вскоре оказалась под властью Османской империи.

В 1830 году Алжир был захвачен Францией и оставался ее колонией более ста тридцати лет: лишь 3 июля 1962 года, после восьмилетней национально-освободительной войны, была провозглашена Алжирская Народная Демократическая Республика.

Собственно, дальнейшие тридцать четыре года истории Алжира и есть тот временной промежуток, в котором разворачивается основное действие романа. Рамкой и одновременно стержнем текста является один бесконечный день 29 июня 1996 года, но в него, как в воронку, втянута масса иных событий, которые ему предшествовали, то есть, по логике Баши, сделали этот день таким, каким он в романе описан. Отсюда развитие сразу нескольких сюжетных линий, сходящихся в последней части романа.

Одна из них — политическая. Герои постоянно вспоминают недавнее прошлое Алжира. По их репликам и монологам, поясненным в примечаниях переводчика, читатель составит представление о смене у власти генеральских группировок, об отходе Алжира от социалистической ориентации, о кровавых событиях октября 1988 года, о нарастании исламского фундаментализма. Пытавшийся ему противодействовать президент Мохаммед Будиаф не пробыл на своем посту и полугода: он был убит 29 июня 1992 года (герои романа помнят об этой мрачной дате и пытаются осмыслить события четырех лет, истекших со дня его смерти). Жертвами фундаменталистского террора стали многие представители интеллигенции, журналисты, иностранцы. В стране развернулась борьба ушедших в подполье исламских радикалов с армией и силами безопасности, причем к массовым расправам с гражданским населением, убийствам и казням нелояльных прибегали обе стороны: за эти годы погибли от 100 до 200 тысяч алжирцев. Такова обстановка, в которой живут герои романа. Таков Алжир, из которого уехал Салим Баши.

1. Тит Ливий. История Рима от основания города. Т. II / Перев. М. Е. Сергеенко. – М., 1991. – С. 410

2. Стоит отметить, что изложенная Ливием история любви Масиниссы к Софонисбе, происходящей в нем борьбы между страстью и долгом союзника Рима, гибели прекрасной карфагенянки, – сюжет одной из хрестоматийных пьес французского классицизма, трагедии Пьера Корнеля "Софонисба" (1663).

А что же Цирта?

Разоренная в начале IV в., она возродилась при Константине Великом. В знак благодарности жители переименовали город в Константину. Сейчас его населяют более полумиллиона жителей, а с предместьями, "спальными" районами, — не менее семисот тысяч.

Многое из запечатленного в романе существует на самом деле. Ансамбль университетских зданий, возведенных известным бразильским архитектором-футуристом О. Нимейером в 1969 году, действительно расположен в некотором отдалении от города; здесь учится 20 тысяч студентов. Реален знаменитый, описанный во всех справочниках и путеводителях и в 1998 году включенный в перечень объектов национального наследия старый арабский город, *медина,* — одновременно крепость, выдержавшая без малого сотню осад, и средоточие торговли (здесь около трех тысяч торговых точек). Он стоит на громадном выступе кремово-белой известняковой породы и отрезан от лежащей вокруг долины единственным в своем роде защитным сооружением. Четыре пятых его периметра составляют скалы, круто обрывающиеся в ущелья, через которые переброшено около десятка мостов. Высота утесов постепенно понижается, и черепичные крыши старого города как бы парят над окрестностями, поэтому он и называется с незапамятных времен Скалой (le Rocher).

В Константине-Цирте есть и госпиталь, где умирает сестра одного из героев (умирает потому, что в Алжире середины 1980-х годов, как и пишет Баши, служба скорой помощи после восьми вечера не функционировала), и не имеющие ни начала, ни конца клубки переулков. Есть большой бульвар, плывущая над улицами жара, вечное трепетание света в листьях эвкалиптов. Нет только одного — моря, подвижной, текучей стихии, в романе вечно осаждающей город. Константину отделяет от побережья более семидесяти километров. Видимо, в том, что под этой поражающей воображение скалистой громадой нет водного простора, волн, прибоя, действительно кроется какая-то щемящая странность. Во всяком случае, на это обратил внимание еще Альбер Камю; уроженец Алжира, он превосходно чувствовал эту страну. Сравнив Константину, "громоздящуюся над ущельями, где течет [река] Руммель", с Толедо, он отметил в записной книжке: "Отсюда до моря сотни километров, и существам, которых здесь встречаешь, чего-то, быть может, недостает".

Придвигая свою Цирту к морю, Баши убирает знак равенства между ней и древней нумидийской крепостью, сливает ее с Алжиром-столицей в один город-фантом, совокупный образ всей страны во все эпохи ее существования. Кроме того, оказываясь на побережье, Цирта превращается в одну из точек Средиземноморского ареала. Поэтому так естественно появление на ее улицах и в видениях героев странника Одиссея, чей корабль в поисках Итаки неутомимо разрезает морские волны. Помнящему гомеровский эпос читателю, вероятно, будет небезынтересно сопоставить сцену, в которой Хамид Каим приходит в гости к своему другу Али Хану и его жене, с пребыванием Одиссея у Алкиноя; посещение Хосином публичного дома — с тем, как Одиссей и его спутники оказались на острове Эя у волшебницы Кирки; визит Хосина в ночной клуб — с приходом Одиссея к властителю подземного царства Аиду и вопрошением теней. Не оставит его равнодушным и заглавие романа.

Перечисленное — лишь малая часть рассыпанных по роману реминисценций. Они касаются не только поэм Гомера и различных интерпретаций мифа об Улиссе. Автор-интеллектуал называет своим литературным наставником Джойса, и уже этим можно объяснить его любовь к закрученным, как раковины, фразам, к самой логике построения романа, заманивающей читателя все дальше, вглубь, и неожиданно выталкивающей его на поверхность.

К ученичеству Баши, впрочем, не сводим. Он естественным образом включен в мозаичное панно французских сочинений об Алжире, многие из которых стали классикой не просто ориенталистики, но и вообще литературы. Среди них "Сахара и Сахель" Эжена Фромантена, "Путешествие на Восток" Теофиля Готье, "Посторонний" и "Чума" Альбера Камю. В то же время критики отмечают кровную связь Баши с традицией алжирского романа с его узнаваемым стилем, называя такие имена, как Мохаммед Диб, Рашид Мимуни, Буалем Сансаль.

"Пёс Одиссея" восхитил французских читателей, искушенных литературных гурманов, пронзительной красотой слога, прихотливым и в то же время выверенным ритмом повествования, "длинным дыханием", несущим на себе сложную конструкцию романа. И еще — выстраданностью авторской точки зрения. В эпоху глобализации Баши стремится остаться патриотом своей страны, ее "капсульной" истории и культуры. Но разрыв с ними неизбежен. Еще не уехав из Алжира, автор, как и его герой Хосин, уже стал эмигрантом, переселившись в свои сны и видения. Хосин не в силах запретить себе размышлять о Цирте (читай — о прошлом, памяти и истории), а та, становясь не просто живым существом, но некоей глубинной, хтонической силой, врывающейся в измученный мозг героя, подобно Мыслящему океану в "Солярисе" Лема, и не оставляет ему выбора: жить в Цирте — значит обрекать себя на смерть. "Пёс Одиссея" — это прежде всего "антироман воспитания". С одной стороны, в нем говорится о взрослении героя, о завязывающихся и распадающихся узлах любовных связей и дружб; с другой — социализация оборачивается разрывом с некогда родной средой, социальным и культурным изгойством. И лишь во вторую очередь автор размышляет о механизмах гражданской войны.

Алжир, добившийся независимости в результате едва ли не самой кровавой антиколониальной борьбы в странах Магриба, стал заложником этой волны партизанского насилия. "Старый партизан", отец Хосина, многие годы ведет свою войну, только теперь уже с фундаменталистами. Надо думать, и среди фундаменталистов немало тех, кто еще в период борьбы за независимость взял в руки оружие. В книге его так много, что даже не всякий ствол обязан выстрелить: одно упоминание о нем сковывает руки и порабощает разум героев. Его власть иррациональна и потому безгранична: об этом история Сеифа, студента-полицейского. По свидетельству автора, она основана на реальных фактах, как и весь событийный слой романа, касающийся новейшей истории Алжира.

Баши взыскателен к себе: покинув страну, он не считает себя вправе писать о том, что происходило там после его отъезда, называя условия своего существования в эмиграции "благоприятными и недоступными для многих моих друзей". Ведь они остались в Цирте, а кому как не Салиму Баши известно, какова хватка у этой жестокой и коварной богини.

Оливье Тодду

I

КРЕПОСТЬ, ощетинившаяся шаткими домами, острыми краями крыш, где колышутся огромные белые, красные, голубые, алые куски ткани, то растворяясь в небе, то вырисовываясь на фоне облаков, пестрая ветошь непокоренного, несломленного города, строящегося и в то же время лежащего в руинах, — Цирта сияет, господствуя над бескрайними просторами суши и моря.

Под лучами солнца, льющимися сквозь шерсть и лен, сбегают вниз багрово-красные брусчатые террасы, исхоженные не одним поколением крикливых женщин, легкомысленных жен, а еще тех, кого отвергли мужья, и они не знают, что ждет их впереди, вдов, которым не дает покоя плоть, чахнущая у них между ног, девушек, нежно проводящих рукой по юной груди, наливающейся под взглядами самцов, уставших подплывать то к одному заду, то к другому, будто к корме корабля, без всякой надежды взять его на абордаж, разве что в тумане их влажных сновидений, мужчин, напоминающих галеры, — их посадка на мель страшна до озноба, они тащатся боком, по-крабьи, засунув руки в карманы, где пусто, как и у них в головах, по мощеным улицам Цирты, мрачные, словно пещеры, смотрящие на океан снов — последнюю надежду рода людского, истязающего себя своими же бичами. Здесь еще помнят о великой чуме, занесенной испанскими пленниками, и о тифе, носители которого, вши-храбрецы, во время второй великой бойни столетия отправились сражаться на дорогах Европы.

Одно только море позволяет узникам города уповать на то, что когда-нибудь они избавятся от трехтысячелетнего кошмара, порожденного тяжкими раздорами. Вторжения иноземцев, опустошения, восстания и погромы пометили красным историческую память народа, который сделался так боязлив, что украдкой следит за расположением созвездий, пытаясь узнать по ним о грядущих бедах. Даль и ширь, щедрый дар аквамариновых масс, завораживают, словно заклинатель змей; покорные, они расползаются в иные пределы — неведомые земли, новые миры, представление о которых не затеряется ни на поверхности, ни в глубинах сознания — в той темной области души, где сплелись узы родства, первые встречи, античные ценности и где закон отцов не был начертан клинописью.

В Цирте с ее длинной и печальной славой, в моем — да, моем — городе копошится род людской, чье прошлое тяжким грузом навалилось на память. Здесь взад-вперед ходят продавцы ковров, и под пестрыми грудами их товара вот-вот исчезнут три квартала, два проспекта, парк. Здесь поет племя бродяг, грязных детей, задорных вояк, которые выпрашивают дневное пропитание, облегчают, в буквальном смысле и любыми способами, кошельки людей зажиточных, чтобы потом отнести поживу сутенерам Нижней Цирты, что знаменита своими гетерами, дочерьми всех племен и народов, правнучками берберских, турецких, монгольских пленниц, хранительницами — с незапамятных времен — бледной спирохеты с ее губительным, свирепым и разжигающим страсти воздействием на мужское население города, — ну, кажется, меня понесло, — знаменита она и своими благородными разбойниками, гордыми гомункулусами с косыми гноящимися глазами: они сверкают длинными ножами, с ног до головы щетинятся оружием, не ведают морали, благодаря чему на протяжении многих веков поставляли в ряды мятежников лучших солдат, сочетали ремесло сутенера с мученичеством весело и легко, ибо, прямодушные, обращались в ангелов бестелесных с воздушной грацией прыгуна в воду, идущего на олимпийскую медаль. Всем известно, что идеалы ублюдков, этих платоников-фундаменталистов, — красота и справедливость.

Цирта, которую ни я, ни Мурад не видели встающей из волн, Цирта, несущая в своем чреве все злодеяния, произвол палачей, легавых, террористов, продажных до мозга костей чиновников, стукачей из тайной полиции, агент которой, майор Смард, никак от нас не отстанет — неймет-

ся ему, видно, навербовать новых сотрудников, — Цирта со всеми своими улочками, этой каменной рекой, ночью, смрадными водопадами врывается в мой тесный мозг; прошу извинить, уже поздно, меня клонит в сон; четыре часа утра, я слышу скрип садовой калитки, возвращается мой отец, старый партизан, мой пес лает, дверь дома приоткрывается...

Цирта отбрасывает свою тень на все уголки этой неблагодарной земли, на узкие расселины со звучными именами древних воителей, застигнутых безумием отшельников, андалусских поэтов, чье пение еще звучит над известняковыми откосами, над бегущими водами и плещущимися волнами и даже, когда поднимается сильный ветер — мы не объясняем себе этот феномен, — над взволнованным, бурливым морем. Множество мостов связывают расселины друг с другом, сплетая бесконечную ткань над жителями Скалы, над пленниками, замурованными в лабиринте улиц, зарывшимися в потроха переулков.

Каждое утро мы с Мурадом, оцепенев, созерцаем упирающийся в небо город. Часто мы бродим по берегу в поисках какого-то иного пространства. Темноволосый, кудрявый, Мурад шагает по песку и, немного рисуясь, выпячивает грудь. Зимой, застегнув толстые куртки с капюшонами, засунув руки в карманы, мы стараемся разглядеть за волнами темные очертания некоего нового материка, земли, сохранившей свободу. Прежде чем умереть, мы уедем отсюда, клянемся мы, глядя, как массы воды взбегают на скучившиеся в архипелаг рифы. Мы сосредоточенно слушаем пение сирен, а Бегемот[1] тем временем поднимает войска и вооружает легионы.

На холмах Цирты-Бельфегор[2], там, где улицы свиваются в концентрические окружности, живут богатые коммерсанты, вельможи прогнившего режима, любители роскоши, скряги, лицемеры, трусы, гордецы, предатели. Гостиница "Хашхаш", где я работаю по вечерам, стоит на одной из таких окружностей.

Где-нибудь в другом месте светлые волосы, светло-карие глаза, приятное лицо наверняка обеспечили бы мне благосклонность женщин. В Цирте они втиснуты в брак, словно в клетку. Я не из робких. Терзаемый многочисленным семейством, я из кожи вон лезу, прокладывая себе дорогу. Посреди страданий я ищу покоя и тишины. Напрасные поиски. Мысли грудного младенца не идут дальше очередного глотка молока или опорожнения кишечника. Я злюсь на мать — на отца тоже, — зачем она нарожала нас в таком количестве? Мурад завидует, что я старший среди множества других. Мурад — единственный сын, самый что ни на есть единственный, а это в нашем чудесном краю просто ересь. Чудесном? Да, черт возьми.

Порой я позволяю себе кое в чем отступить от безупречно правильной речи. Попробуйте-ка сохранять благовоспитанность, когда ваш трехлетний брат пытается, впиваясь в вас ногтями, вскарабкаться по вашей ноге, как по отвесной скале, когда пятнадцатилетняя сестра торчит перед телевизором, не в силах оторваться от экранных забав немолодой египетской парочки, когда мать осыпает вас проклятьями, потому

1. Бегемот — одно из имен дьявола. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Бельфегор (Ваал-Фегор) — в средневековой демонологии один из десяти архидемонов, покровитель разврата, войн и оружия.

что, послушать ее, так на вас уходят все деньги, вы ведь не едите, а жрете, как троглодит. Обдумайте все это. И если вам так велит сердце, бросьте в меня камень, плесните воду из купальни и сравните с женщиной, уличенной в прелюбодеянии.

Ночью, пока не вернулся отец, я часто включаю телевизор. Как индеец на тропе войны, я иду на всевозможные ухищрения, чтобы не шуметь и не разбудить брата. Мы спим в гостиной на шерстяных матрасах. Если мне это удается, я с бьющимся сердцем наблюдаю за плотскими утехами — до чего же грустна эта телесность! — актеров на экране, словно усевшихся верхом на лошадь, оседлавших, иначе не скажешь, субтильных дам с плавным изгибом крупа.

Если мой брат каким-то чудом не проснется, если мать, которой вдруг захотелось шоколада (она опять беременна), не бросится в гостиную за драгоценным продуктом, если сестра-лунатичка не полезет на шкаф, издавая крики, как самка хорька в период течки, — если, пока я украдкой смотрю фильм, не произойдет ни одно из этих заурядных событий, то восхитительная эрекция приподнимет покрывающую меня белую простыню. Тогда мне придется вооружиться терпением и пустить в ход поистине шакалью изворотливость, чтобы в темноте пробраться по коридору, который приведет меня в рай: там я спущу свое семя.

Неделю назад по пути в туалет я свалил отцовское снаряжение. Разумеется, все в доме вскочили по тревоге; я в жалком виде валялся на полу, подмятый ручным пулеметом, автоматом, запасными магазинами и монументальной эрекцией.

— Мерзавец! — завопила мать; она была на грани истерики.

Отец с достоинством удалился в спальню. Братья и сестры, прыская, изучали мою анатомию. В гостиной стрекотал телевизор. С поникшим членом я пошел обратно, по дороге с досады двинув ногой по экрану. Молодая женщина взглянула на меня, постанывая от наслаждения.

На рассвете, когда отец возвращается в лоно семейства, переулки Цирты принимают полную свежих сил детвору: грязные дети катают отполированные столетиями морские камешки, за ними появляются женщины под белыми покрывалами, сквозь которые проступают контуры полных разной снеди корзин.

Мне некуда деться от ароматов, проникших в дом вместе со старым партизаном, от образов, возникших, пока я спал, — растревоженные, они начинают заполнять часы моего бодрствования.

Силой какого-то чародейства Цирта воскрешает свое прошлое, возводит башенки, прокладывает улочки, обустраивает лавчонки-мастерские, где занимают свои места легионы стариков; поджав под себя ноги, они усаживаются на циновки или бараньи шкуры и принимаются стучать молотками по меди, полировать куски дерева, мять кожи. Но ведь уже много десятилетий прошло с тех пор, как медники закрыли свои лавки, кожевенники перестали сушить кожи на солнце, старики, побелевшие от ядовитых испарений серебра, умерли, обращены городом в ничто, стали пыльным хламом на его чердаках.

А мы по-прежнему пробуждаемся, так и не прервав сна, не в силах подняться на поверхность воды, к негасимой звезде, что могла бы поддерживать в нас жизнь.

Что и говорить, мы, пусть совсем слабо, различаем ее свет, наперегонки устремляемся к ее сиянию, чтобы избежать ловушек безумия, забывая, что всякое тело тяготеет к земле, что дрема сковывает чувства и выпускает на волю сны. Изнемогши в борьбе с ангелом, люди Цирты обреченно падают обратно в липкую топь, парализованные, раздавленные ужасом несостоявшейся встречи с небом, уверенные, что именно у них на глазах был окончательно сдернут покров и они на миг увидели рай и его гурий.

Мой отец, старый партизан, узловатый, как масличное дерево, со смуглым, продубленным лицом, снимает амуницию и проворно идет к уснувшей жене; их комната в конце коридора, рядом с кухней. Спальня моих сестер за стеной. Я слышу их смех. О чем они там говорят? Болтают всякий вздор. Рассказывают друг другу вчерашний египетский фильм и разговаривают о любви. Навряд ли они вкусят ее вне брака. И все же, я уверен, у кого-то из них есть поклонник, и против его смелости и хитрости бессильна бдительность моих домашних, соседей, зевак, кумушек-инквизиторш, мешающих нам жить. Бледный юноша ждет где-нибудь во дворе лицея, уж это точно...

Мне все не удается увидеть тот фильм. Мои домашние смотрят передачи только на одном канале. Знают, как меня побесить после недавнего ночного происшествия. Отец, мать, сестры – братья вечерами бродят по Цирте – врастают в пол перед телевизором и не двигаются с места. Когда они наконец покидают гостиную, дамы в том фильме уже находятся в горизонтальном положении. Последние пять минут я жадно вглядываюсь в экран. Мельком вижу чьи-то ягодицы, волосы на лобке, и вот уже побежали титры. Остается утешаться воображаемым кино. Вот уж гимнастика! В темноте вставать с постели, красться по коридору, стараясь не шуметь, обходить инвентарь старого партизана, запираться в туалете...

По дороге туда я иногда слышу приглушенное хихиканье. Сестры... В моем-то возрасте опускаться до мастурбации!

И все-таки позавчера была Неджма. Девушка, которую я встретил в гостинице "Хашхаш".

Сегодня утром мы, то есть Мурад и я, приглашены на чашку кофе к Али Хану. Преподаватель компаративистики, наш широкоплечий исповедник, очень к нам привязан. Мурад в ответ с ума сходит по его жене Амель, брюнетке, чьи волосы волнами струятся по спине.

Мурад сочиняет стихи и думает, что в один прекрасный день станет великим писателем. Похваляется тем, что читал Стендаля и Флобера. Такой литературы я больше пяти страниц подряд никогда не мог осилить. "Тонко! Забавно!" – по его отзывам. Чтобы попугать приятелей, этот дурачок во все горло декламировал свои произведения.

Жизнь, дорогой Мурад, нельзя изучить по книгам, окунувшись в пену страниц. Жизнь – это жизнь. Повтор, тавтология. Тавтология литературе противопоказана, не устает повторять мой друг. Тав-то-ло-ги-я. Круглое слово, я как раз такие люблю. Я совсем пьян. Мать, увидев меня как-то в таком состоянии, чуть в обморок не упала.

– Нечестивец!

Она плюнула на землю, величественно поведя чревом женщины на сносях.

Верить в Бога. Почему бы и нет? Это никому не мешает. Я верую сердцем — так я объяснил Мураду. Он возразил мне, что я верую скорее потому, что верует моя мать. Он считает, что к восприятию некоторых истин я еще не готов. На том наш спор и кончился. Да, я часто выпиваю. Люблю женщин, и не только умозрительно, как Мурад. С тех пор как мы с ним познакомились, я не соблюдаю пост. Во время рамадана мы вместе обедаем на факультете. Компанию нам составляют Рашид Хшиша и Рыба, два старых коммуниста.

— Ты — как старый партизан, — зудит мать каждый вечер, ставя передо мной мою порцию еды. — Ты нас разоришь.

Старый партизан, мой отец, выбил себе все льготы, положенные ему за заслуги перед государством — этим борделем, где хозяйничают сутенеры в золотых погонах. Собрав уйму справок и удостоверений, он открыл свою строительную фирму.

О том, как он прогорел, помнить будут долго.

Мать считает, что его погубило великодушие. Он дарил работавшим у него каменщикам кровельный материал, в полдень приносил им обед, а по выходным водил их отрываться к шлюхам — о чем его жена не знает или делает вид, что не знает.

— Хосин! Просыпайся! На работу пора! Нечего валяться у нас под ногами! — вопит мать, дергая мой матрас.

Я только-только уснул после возвращения старого партизана.

— Требуется пятьдесят динаров, — говорю я матери, потягиваясь под простыней.

— С ума сошел? Думаешь, ты здесь на полном пансионе? Ну-ка, живо поднимайся!

Хмурый, я встаю под веселые крики собирающихся в школу малышей. Старый партизан спит.

Девять утра, 29 июня 1996 года. Мурад, наверное, уже ждет меня у вокзала. Опять я опаздываю. Может, такси взять? Не на что.

— Черт бы все побрал!

— Да сохранит нас Господь... — несколько раз шепотом произносит мать и лишь потом швыряет в меня старым ботинком.

С наступлением дня Цирта теряет свой блеск. Королева в звездном бархате ночи под палящими лучами солнца превращается в замарашку из сказки. Я живу на окраине, в одном из тех безликих предместий, которыми опоясаны все алжирские агломерации. Город наших снов, этот готовый к подвигу воин в доспехах, соприкоснувшись с реальностью, разлетается на куски: он гол и хрупок. А может, это я, разбуженный, бесцеремонно выставленный из дома, даже, пожалуй, изгнанный — я, как всегда, преувеличиваю, — обозлившись, не нахожу очарования в городе, что нависает над равниной и грозными водами, сегодня спокойными, гладкими, как огромное зеркало нашего отчаяния, мерно накатывающими на песчаную отмель — единственную дорогу, которой можно попасть на крепостные стены и проникнуть в одни из ворот древней Цирты.

Подъезжает, раскачиваясь из стороны в сторону, автобус. Работая локтями, я влезаю на подножку. Водитель закрывает двери у меня за спиной. Мы трогаемся. Мурад ждет у вокзала, чья башня с часами похожа на минарет. Вокзал — сердце и легкие Цирты, но находятся они не в центре, а на отшибе, возле порта.

Из-за людского безумия Цирта выстроена на сахарной голове скалы, на морском берегу и на равнине разом: тут сам черт ногу сломит. Например, чтобы выйти к морю, нужно — я не очень уверен, все так быстро меняется, — пройти по мостам, соединяющим Скалу с тремя холмами, северным, восточным и южным, затем спуститься с холмов по бесчисленным улицам и лестницам. Так, петляя и кружа, жители Верхней Цирты добираются до порта.

Обитателей равнины, расположенной ниже уровня моря, связывает с городом прибрежное шоссе длиной километров десять, по которому я нынче утром еду в автобусе, за отсутствием денег на такси. И это при том, что по милости суровой матери мне трижды в неделю приходится подрабатывать ночным портье.

Гостиница "Хашхаш", принадлежащая братьям Тобруку и Мабруку, смахивает на бакалейную лавку. Хозяева-хаджи, кроме всего прочего, примериваются к торговле текстилем, у входа свалены тюки с одеждой — изволь перешагивать. Висящая на стене, напротив лестницы, сура с цветными миниатюрами защищает гостиницу от дурного глаза. К суре прицеплен еще и амулет "рука Фатимы" из желтой верблюжьей шерсти.

Бетонный пол покрыт облезлым красным ковром.

В изгибе узкого коридорчика, идущего вдоль лестницы, приютилась стойка портье — мой, так сказать, насест. Человечеству нужен сон. Спят все, от возвратившейся к себе шлюхи до измученного путешественника. Спит, набродившись по ресторанам и кабакам, коммивояжер. Один я священнодействую, словно жрец в храме покоя. Ты заснешь. Ты умрешь. В пропитанной запахами постели.

— Хосин, сын мой, никогда не сели сюда одиноких женщин, — обдает меня зловонным шепотом Мабрук-хаджи. — Эти женщины ведут дурную жизнь. Порядочная женщина не ночует одна в гостинице.

Понятно. Я им всем выдам ключи. К некоторым, чтобы познакомиться поближе, даже загляну в номер. Прямо в постель, полную легких запахов.

— Истинная правда, — прибавляет Тобрук-хаджи. — Им уготован ад.

Я соглашаюсь, с опаской поглядывая на его смрадный рот.

Массивные, жирные, со зловещими фесками на головах, хаджи, сменяясь, держат гостиницу под неусыпным наблюдением. Они только и делают, что подозревают да проверяют меня, оценивают каждое мое действие, взвешивают любое, самое ничтожное мое движение или жест, время от времени спрашивая себя: а правильно ли они сделали, что взяли меня на работу? — и неизменно отвечая отрицательно. Они вышвырнут меня при первой же возможности. Ко всему прочему эти черные вороны никогда не моются.

Позавчера заходит к нам хорошенькая девушка, одна.

— У нас нет мест, — говорю я.

— Верно, сын мой, — хором отвечают хаджи.

Только они на что-то отвлеклись, я побежал за ней вдогонку.

— Возвращайся. Вечером найдется для тебя комната. И для меня, — говорю, засмеявшись. — Как тебя зовут?

Она улыбается.

— Неджма, — отвечает.

Она вернется.

Хаджи, с воодушевлением:

— Мы сейчас прокручиваем одно дело, сын мой.

– Одно дело, сын мой.
– Сотни миллионов, сын мой.
– Сотни миллионов.
– Можно поставить миллиард против пятисот миллионов франков.
– Недурное дельце!
Я, простодушно:
– Значит, вы сможете прибавить мне жалованье?
Они, тонкими голосами:
– Ты принимаешь нас за богачей, сын мой.
– У нас только и есть что эта гостиница.
– Гостиница – больше ничего.

Братья-хаджи в семидесятые сделали состояние на лимонаде. Пейте лимонад "Хашхаш"! До последней капли. При помощи одного-единственного фальшивого ветеранского удостоверения построили целую империю. Теперь они занялись спекуляциями с валютой. Собираются купить полмиллиона франков нового образца – на динары, конечно. Алжирский динар и так уже ничего не стоит, а с такими вот типами – имя им легион – скоро и вовсе отдаст концы.

Два жулика уходят домой. Час ночи. Замороченный род людской понемногу засыпает. Коридор гостиницы пуст. Я полновластный хозяин этого корабля. Взбираюсь по источенным жучком ступенькам. Четвертый этаж. Стучу в дверь. В комнате слышно какое-то движение. Дверь открывается. Неджма ждет меня на пороге. Начинается моя рабочая ночь.

Неджма. Красивое имя для девушки, с которой познакомился в гостиничном коридоре. Больше всего она боялась лишиться девственности. Славная крошка. Тогда я подошел к делу с иной стороны. Тесны врата в царство небесное. Я раздел ее. Она покраснела, когда я снял с нее трусики. Я, в свою очередь, тоже сбросил одежду. Она не осмеливалась взглянуть на мой член. И, однако, грациозно склонившись ко мне и закрыв глаза, взяла его в рот. Блаженство! Она прилежно сосала меня. Вода капала на нас сверху. Мы стояли в душевой кабине, о братья мои. Оба вонючих хаджи спали сном неправедников. Мы растянулись на эмалированном днище, я раздвинул ей ноги. Темное руно. Вытянув губы, я нырнул в нее. Она шире раздвинула ноги. Сколько же воды я проглотил, сколько воды, братья мои!

Хосин, да ты же чертов сукин сын!

Знаю, братья мои, знаю. Последние станут первыми. Я ласкал Неджму там, где нельзя, и она снова и снова просила меня: "Еще!" Я люблю Неджму за совершенство форм. За форму ягодиц. За груди, похожие на робких птиц. За оперение, за щебет. За все те ночи, что я вкалывал, как каторжный, в этой омерзительной гостинице. За моих братьев, которые не прикасаются к женщине и требуют, чтобы и я этого не делал. Ради любви к миру, любви к Богу и творениям Его. Да, братья мои, я не знаю большего упоения, чем то, что сулит нам страстная женщина. Мне неведома свобода вне хоженых-перехоженых троп, вне путей в Дамаск, Эль-Кудс, к Каабе[1], тех путей, которые женщины открывают нам и куда они пускают нас, стоит им увидеть в наших глазах истинный отблеск нашей веры.

1. Перечислены символические и сакральные географические пункты: на пути в Дамаск гонитель христиан Савл уверовал во Христа и стал апостолом Павлом; Эль-Кудс – арабское название Иерусалима; храм Кааба в Мекке – главная святыня ислама.

За окнами автобуса проплывают однотипные приземистые дома — квадратные, прямоугольные, белые, желтые, серые коробки, пустыри, по которым бродят дети и подростки, и главное — море, бесконечное, пенистое; оно обдает брызгами стёкла, влюбленно рисует узоры на песке цвета охры, между желтыми фукусами и лишайниками. Берег исполосован длинными лассо сухих водорослей.

Плотно, как сельди в бочке, стиснутые в салоне автобуса, мы судорожно оттопыриваем жабры, орошаем друг друга слюной, мечтая нырнуть в море и всем телом ощутить трепетание воды. Шофера зовут сиди Карун, гласит табличка на приборной панели. По-гречески — г-н Харон. Милое предзнаменование! Уплатить ему обол. Черт бы побрал этот автобус! Кренясь то на один, то на другой бок, он ползет по извилистой дороге, хлипкий, как попавший в бурю челнок. Изнуренные оси агонизирующей машины стонут и охают, точно старики, которые, скрипя коленными суставами и еле двигая бедренными, спорят, кого из них сильнее донимает ревматизм.

Солнце лупит по крыше автобуса с деликатностью барабанщика, играющего hard-rock. В переводе: "неприступная скала". Похожая на Цирту, которая издалека с презрением смотрит на нас и будто радуется, видя, что стремящиеся к ней вот-вот умрут от удушья. Прячется, плутовка, — гурия, вспугнутая грешниками, что из ада тянут свои пальцы с грязными ногтями к ее непорочно белому наряду. Ее пронзаемые солнцем белокаменные стены, рвущиеся на штурм небес, плывут перед нашими вылезающими из орбит глазами. Там деревья гнутся под тяжестью золотых плодов, сады утопают в пьянящих ароматах, разбегаются прочь нагие молодые женщины, грациозно, как газели, покачивая бедрами. Под командованием полковника Харона мы идем на Чипанго[1]. Да будет наш путь долгим, да будет он приятным. Да возвратимся мы полными опыта и мудрости...

Полицейский рядом со мной теребит свой "калашников". У старого партизана тоже имеется арсенал: помповое ружье, "макаров", "калашников", пистолет-пулемет Томсона. А, забыл: еще пистолет "беретта". Его просто из рук выпускать не хочется, так он хорош. Ничего общего с "макаровым", маленьким русским пистолетом, чьи пули плевать хотели на все правила приличия. У этой дряни нет предохранителя. Одно неловкое движение — и можно остаться без яиц. Поскользнулся — и коленная чашечка отлетает в два счета. Я бы не советовал едва возмужавшим подросткам ласкать свои "макаровы" слишком часто.

Старый партизан перед каждой молитвой показывает мне и братьям, как разбирать, чистить и собирать этих зверушек. Как-то мне даже удалось выпустить несколько пуль — между двумя преклонениями колен. Одна застряла в потолке гостиной. Мать чуть не родила.

Отец считает, что нам такая подготовка необходима на случай внезапного нападения террористов. Ведь они, может статься, нагрянут, когда он будет на задании. Я уполномочен взять на себя защиту домочадцев. Сомневаюсь, что мне это по силам. Но я вожусь с этими железками ради спокойствия старика.

Старый партизан участвовал в Освободительной войне. Он был совсем молод. Связной в горах. Удивляюсь, как это он уцелел в зачистках, которые устраивала французская армия. Его вместе с другими ветеранами,

1. Чипанго — старинное европейское название Японии.

живущими в нашем микрорайоне, используют вновь — в антитеррористических операциях. Отряд "Патриоты". Вроде американских "пэтриот", крошивших в капусту иракцев. Но, сдается мне, это воинственное название не имеет ничего общего с той бурей в стакане воды, что встряхнула Ближний Восток. Опыт партизанской войны не мог не располагать их к такой работе. Кроме того, они либо делят между собой захваченные у горных людоедов трофеи, которые на черном рынке, бывает, уходят за несколько миллионов динаров, либо получают премии за поимку каких-нибудь особо кровожадных убийц, разыскиваемых службами безопасности.

На деле отец, помимо того, что полагается ему как ветерану, имеет трудовую пенсию (он двадцать лет отслужил в национальной жандармерии) плюс доходы от своей ночной деятельности. При этом мы вовсе не богаты. Попробуй-ка прокорми одиннадцать душ в период кризиса. Как бы там ни было, мой отец — болван. У него с языка не сходит ФНО[1]. Для него эта шайка разбойников — единственный и неоспоримый авторитет, хотя у нас все партии одинаково ужасны. Сколько я ни объясняю ему, что мы в такой заднице именно из-за этих его друзей, он меня не слушает. Его гормональный механизм разладился в 1962 году, когда Алжир стал независимым. Сейчас все его функции сводятся к биологическим и военным. Он целыми днями сидит в кафе, возвращается домой, чтобы поесть и обрюхатить мою мать, а с наступлением ночи идет на охоту со своими приятелями. Политического мышления у него не больше, чем у воробья.

Обычно, когда приходит моя очередь нести караул, я сижу во дворе дома, под лимонным деревом, зажав между ногами пистолет-пулемет, глажу своего старого пса и смотрю на звезды. Ганимед, Кассиопея и Орион. Пес опускает голову, ложится на спину. Моя рука скользит по его шерсти, черной, блестящей, облитой лунным светом, я чувствую, как медленно, ровно постукивает сердце в его теле, где вместе со светлой кровью плавно течет жизнь...

За нашим маленьким квадратным домом, за слепленной из чего попало оградой, которую частично закрывает гигантский эвкалипт, бодрствует Цирта.

Автобус подъезжает к вокзалу. Взметнувшейся в небо башней отмечен центр города, имеющий форму полумесяца: две каменные стены обхватывают кобальтовое море.

Я замечаю Мурада. Он меня пока не видит.

Узкоплечий Мурад достает из кармана щепотку табака, кладет в углубление ладони. Свободной рукой ныряет в другой карман. Роется, ищет, перебирает — находит то, что искал. Гордо извлекает кусочек коричневатого вещества. Отправляет его в рот, слюнит, потом выплевывает обратно. Забыл самое главное. "Бумагу-то". Тут же начинает все заново. "Ну вот! Есть, готово". Он усмехается, глядя на часы — большие, висящие в воздухе у него над головой. "Опаздывает. Это уж как пить дать, — вероятно, думает Мурад. — Девять десять, а Хосина не видно. Поезд отходит в девять пятнадцать. Или двадцать. Да, в девять двадцать. Пора бы".

Вокзальная башня, неумолимо устремленная ввысь, указующим перстом тычет в небеса. Пролетает самолет. "Видят ли они нас сверху? На-

1. Фронт национального освобождения — политическое движение, созданное в 1954 г.; в 1962–1989 гг. — единственная политическая партия в Алжире.

верное, нет. Стрелки движутся по часовой... Тавтология". Он любит слово "тавтология". Тав-то-ло-ги-я. Танец птиц, вроде бы голубей, над стрелой башни. Точно, она похожа на мечеть без имама и без муэдзина. Но не такая зловещая. Солнце — циферблат. На лучах — римские цифры. Наследие античности. "Свернем-ка покурить".

Мурад выкладывает табак на измятую бумажку и присыпает его веществом, которое теперь крошится в пальцах. Сворачивает коротенькую папироску, оглядывается по сторонам. "Фараонов нет, хорошо". Зажимает ее губами и закуривает. Башня с часами теперь похожа на колокольню. Мурад напрягает слух, ожидая звона колоколов. Он смеется над своим видением. "Линии стираются, улицы раздвигаются в направлении моря". Его взгляд, как мяч, катится-прыгает вниз, к порту, где полощется рыболовное судно. На набережной чайки дерутся с кошками за остатки рыбы, брошенные рыбаками.

Он поднимает глаза на нищего с протянутой рукой. "Пальцы грязные, — замечает он. — Ногти в трауре". Великодушно протягивает ему динар. Слышит в ответ благословения. Ковыляя, нищий бредет прочь, к следующей жертве.

Прохожий, заметив его папироску:

— Дай прикурить.

Мурад вынимает коробок спичек. Тот берет его, чиркает головкой по боковой стенке. Мурад вздрагивает от резкого звука. Сколько ощущений! Мурад получает коробок назад.

— Да сохранит тебя Господь.

"Языки пламени. Адские молнии".

Мурад, машинально:

— Да сохранит Он и тебя.

Сначала он чувствует легкость, потом его движения делаются вязкими, мысли тоже. Стрелки часов неподвижны. Мурад, как в пропасть, проваливается в грезу. "Жена Али Хана, нашего преподавателя литературы, наставника и друга. Его жена". Мысленно Мурад набрасывает ее очертания, снимает покров с ее прелестей. Его сердце несется вскачь. Он зарывается лицом в ее волосы. Длинные, благоуханные, шелковистые пряди, он пропускает их сквозь пальцы, крутит, проводит ими по губам. Пробует их на вкус. Пробегает губами ее лицо, губы, ухо, дотрагивается до него кончиком языка. Она нежно постанывает.

Он чувствует на своей шее ее дыхание, как волну. Прилив достиг высшей точки, и он следует за ним до самого отлива. Он целует ее затылок, медленно скользит рукой по спине, до того места, где начинаются ягодицы, круглые, тяжелые, и здесь его пальцы судорожно сжимаются. Она запрокидывает голову, ее грудь поднимается. Он втягивает в рот ее правый сосок и чувствует, как он твердеет, потом, оставив его, ведет губами по изгибу, ведущему к ее животу. Он торчит посреди площади, как вокзальная башня. Голубь роняет помет ему на голову.

— Это к счастью, — говорю ему я.

— Вот дерьмо, — отвечает мой друг.

— Верно сказано.

— Иди ты знаешь куда! Я тебя тут уже час жду.

Мурад вытирает волосы тыльной стороной руки, тщетно пытается найти клочок бумаги. Я протягиваю ему бумажный платок.

— У меня тут были проблемы с матерью, — роняю я в извинение.

— Какие еще?

— Не хотела отстегивать мне пятьдесят динаров.

— А не жирно ли? — начинает заводиться Мурад. — Вас у нее девять. Если она каждому будет выдавать в день по полсотни, вам скоро жрать нечего станет.

— Ну и плевать.

— Эгоист.

— Бездельник.

— Мне никогда ничего не дают. Я довольствуюсь стипендией.

— Ты вообще довольствуешься малым. Дай-ка затянуться.

Мурад передает мне совсем уже крошечный окурок.

— Недурно, — говорю я. — Совсем недурно. Пошли, если не поднажмем, на поезд опоздаем.

Вокзал в Цирте, просторное помещение с высоченным потолком, украшенным живописным панно: шахтеры и металлурги трудятся с улыбкой на устах. Несоразмерно большие руки толкают вагонетки с углем, орудуют огромными стальными лопатами, кирками. Ни капли пота. Буйство ярких красок, квадратные лица тружеников усопшего социализма. Счастье, радость, беспредельная вера в будущее. Удивительно, как исламистская мэрия этого не тронула. Ей бы следовало понять намек. Их всех поразогнали, этих кретинов из мэрии[1]. Подумать только, они победили на выборах в законодательное собрание в декабре 1991 года, уже пять лет прошло. В университете они стали косо на нас поглядывать. Еще бы: мы неверующие, неверные. Чуть позже надо будет выгнать нас, восстановить порядок и нравственность мусульманской нации. Убожество и бескультурье.

Они поломали столы, разбили доски, разорили аудитории, протестуя таким образом против отмены результатов голосования в январе 1992 года. Нам, чтобы в свою очередь протестовать, потребовалось все привести в порядок. Порядок и беспорядок — два равно страшных слова, альтернатива без выбора. А ведь все могло бы быть так просто.

Пассажиры, направляющиеся в Алжир, разместились на трех неудобных сиденьях — такими же уставлен весь зал. Перед ними громоздятся чемоданы, сумки и огромные тюки — их больше всего, — набитые ослепительно яркими тряпками. Младенец криком подает о себе весть. Его пытаются успокоить, покачивая коляску. Дети постарше играют в салочки между рядами сидений. Самый маленький, с вечной соплей на верхней губе, с размаху шлепается на холодные плиты пола. Поднимается, не издав ни звука, голые колени в пыли. Снова бросается в погоню, время от времени оглашая зал воинственными индейскими воплями. Переделывать мир. Зачем? Мы идем к кассе за билетами. Перед нами в очереди стоят студенты. До университета — пять динаров. "Два, пжалста".

— Пятерки как не бывало.

— Смотри! — толкает меня Мурад. — Это Рашид Хшиша.

Странно видеть нашего однокурсника здесь в этот утренний час. Я окликаю его сквозь толпу баранов в студенческой форме.

1. 11 января 1992 г. президент Алжира Шадли Бенджедит ушел в отставку, распустив парламент; фактически это был спланированный захват власти армейским руководством. Во главе страны встал Мохаммед Будиаф, который 9 февраля объявил чрезвычайное положение, в марте распустил ультрарадикальную партию "Исламский фронт спасения" и местные органы власти, где по итогам выборов в декабре 1991 г. большинство получили исламисты.

— Ты что тут делаешь?

— Авария, — отвечает мне эта скотина.

— У тебя же нет машины, — говорит Мурад.

— У меня нет конопли индийской, — ученым тоном изрекает Хшиша. — Авария с травкой, если тебе так больше нравится.

Я простодушно настаиваю:

— И как, нашел?

— Царство небесное открыто постоянно, — говорит Хшиша. — Там работают в три смены.

— Ты что, специально приехал с факультета? — спрашивает Мурад.

— Прибыл на такси, из мира знаний и науки — просто в мир. Так малые ручейки сливаются...

— Ладно, хватит! — говорю я, выведенный из себя.

— Похоже, наш друг изволил встать не с той ноги. С той ноги встать — далеко видать. Намотайте это себе на ус.

— А пошел ты к черту!

— Это уж по вашей части. Я политикой не занимаюсь.

Мурад согнулся пополам. Его любая чепуха может рассмешить. Рашид Хшиша и его приятель, Рыба, достают меня все сильней. Еще немного, и я им все выскажу в лицо. Таких паразитов поискать. Присасываются ко всем без разбора. Кто их последняя жертва? Сеиф. Сеиф раньше был студентом, а теперь работает в главном комиссариате Цирты. У него мускулы атлета, рыжие волосы; насилие вошло в его плоть и кровь. Он с наслаждением рассказывает о своих военных подвигах.

Рашид Хшиша и Рыба поселили этого убийцу у себя в комнате. Взамен Циртийский Палач — такое у него прозвище — отдавал им часть своего заработка, мгновенно разлетавшуюся. Но два месяца назад они разругались. Сеиф видеть больше не мог, с какой ненасытностью они заглатывают его деньги. Потом у Сеифа вышел тот случай, и дружки помирились, заключили новое соглашение о modus vivendi.

— Свернешь мне? — спрашивает Мурад, покончив со своим окурком.

— Ваши желания — закон, — отвечает этот подонок.

Ростом чуть выше среднего, Хшиша тянется вверх, как стебель, как мыслящий тростник. У него сухое, морщинистое лицо: по лбу пролегли глубокие борозды. Смуглая кожа придает ему диковатый вид. Рашид Хшиша и Рыба позорят Циртийский университет уже лет пятнадцать. Они еще помнят те времена, когда можно было обниматься с подружкой в главном дворе корпуса "А". В общей сложности они прослушали никак не меньше полудюжины полных учебных курсов. На самом же деле больше двух лет они ни одной дисциплиной не занимались.

На своем бесконечном пути они изучали биологию, археологию, физику и математику, квантовую механику, астрологию, таро, игру в белот, историю, классический французский театр и елизаветинский театр, пластические искусства, музыку, пение, богословие, схоластику и в довершение всего французскую литературу. Они расширили свои познания в области марксизма-ленинизма и, особо к этому не стремясь, стали заклятыми врагами исламистски настроенных студентов и набитого консерваторами ректората. В двух всеобщих забастовках они участвовали, еще три организовали, положив конец деятельности пяти ректоров. В конце восьмидесятых, после десяти лет усердной и добросовестной службы, новый ректор вышвырнул их из университета.

Они приближались к рубежу тридцатилетия, и в карманах у них не было ни одного мало-мальски стоящего диплома. Подняв паруса, они взяли курс на Европу. Они покинули сумрачные берега Африки в белоснежной борозде пены за кормой парохода. Запах сухой земли, благоухание цветущих смоковниц, легкий аромат мимоз растаяли в дымке над морем.

В Марселе они сели на поезд до Лозанны. Гельвеция, где они рассчитывали обрести состояние и всевозможные блага, приняла их холодно. Чтобы как-то прожить, они занимались попрошайничеством, затем пошли и вовсе сомнительные ночные дела на окраинах больших парков, куда в поисках запретных утех приходили странные господа. Как рассказывал мне Рашид Хшиша в присутствии Мурада, они были молоды, у них не было ни гроша, и значит — либо *это*, либо подыхай с голоду. Став, несомненно, богаче, они перевалили через Альпы.

Германия широко распахнула им двери своих атомных станций. После пяти месяцев тяжкого труда их зубы стали испускать желтоватый свет, как циферблаты некоторых часов. В Италии они собирали помидоры для промышленного производства болонского соуса. Устав каждый день есть макароны, они решили возвратиться с повинной. Корабль. Море. Африка. Мимозы. Они умолили ректора дать им еще один шанс. Ректор взял с них письменное обязательство не устраивать общественных беспорядков и отправил обратно в аудиторию.

— Я должен вам кое о чем сказать, друзья мои, — роняет Рашид Хшиша, в чьих пальцах зажат белый прозрачный листок.

Сгорбившись, Рашид Хшиша расправляет норовящую выпорхнуть бумагу и раскладывает на ней табак. Мы тем временем идем к платформе. Он может соорудить папиросу на ходу. И при этом разговаривать. Он протягивает свое изделие Мураду, тот, чиркнув спичкой, делает затяжку и передает его мне. Я присасываюсь к папиросе, наполняю легкие дымом и возвращаю ее Мураду. Поезд уже стоит. Мы забираемся в вагон.

— Думаю, он хочет нас завербовать, — говорит Хшиша, балансируя на подножке.

— Откуда ты знаешь? — спрашивает Мурад, чуть не наступая ему на пятку.

— А с чего бы ему вечно вертеться у нас под ногами?

— Может, поэзией интересуется, — говорю я.

В сентябре Мурад собирается устраивать свой поэтический вечер. С тех пор как начались репетиции, Смард, майор госбезопасности, преследует нас неотступно.

Рашид Хшиша, презренный торгаш:

— Пятнадцать тысяч динаров — это только базовая ставка. А еще он нам преподавательские места подыщет.

Мурад, профессорским тоном:

— Не такая уж высокая цена, если продаешь душу.

Глаза Рашида вот-вот выскочат из орбит:

— Пятнадцать штук в месяц!

Поезд трогается.

Мягкий, бархатистый свет льется на стены купе, на распоротые кресла. Цирта переходит в пригород, в далеко отстоящие друг от друга ряды ба-

раков с крышами из гофрированного железа, потом в деревню, зеленую и охристую.

– Какой ему в нас интерес? – спрашиваю я, не отрывая глаз от пейзажа за окном.

– Он нас знает, – отвечает Рашид Хшиша. – Он знает, что мы против исламистов.

– А сам-то он против? – спрашивает Мурад, сидящий напротив меня; его лицо в тени, волос почти не видно.

– Надо полагать, – уверенно говорит Хшиша. – Он будет у нас в комнате сегодня во второй половине дня, в четыре. Приходите.

Мы обещаем.

Я опять бросаю взгляд в окно. Прокаленный, словно в печи, пейзаж, ощетинившийся сухим кустарником и редкими чахлыми деревьями, проплывает у меня перед глазами. Кроваво-красная земля. Голубовато-зеленое, с легким фисташковым оттенком, небо. Запах горящей соломы. Маки на ветру. Этот несчастный поезд. Знай себе ползет по сельской местности. Ползет как червяк. У этого состава есть своя история. Он старый. Начала восьмидесятых. Хотя не такой уж и старый. Повидал студенческие волнения. Кому-то пришлось несладко. Стычки исламистов с коммунистами.

Надо же, у Хшиши, этого здорового болвана, были идеалы. Что-то не верится. Разве что идеалы раздолбайства. Завел себе бабу. Не так давно. Из буржуазной семьи, живет неподалеку от нас. Уродина. Водила меня за нос. Мне едва не обломилось. Но нет. Ну и ладно. Он ей вставлял куда надо, а она подкидывала ему деньжат. Редкая страхолюдина. Теперь он использует Мурада, затеял этот поэтический вечер и извлечет из него выгоду, уж я-то знаю. Мурад дурью мается. Он напечатал новеллу в какой-то французской газете. Талант. Ему бы писать, а не терять время с этими придурками.

От травки меня начинает забирать. Не могу связать трех фраз на нормальном французском. Я теперь думаю по-французски. Даже сны вижу на нем. "Он потерял свой язык", – без конца твердит мать. Сестры насмехаются надо мной. Отец со своими историями о террористах, о партизанской войне, о ночных прочесываниях местности. Они делят между собой захваченное у боевиков. В последний раз было пять миллионов. Они богаты. Это талант. Еще немного упорства – и этот поезд придет-таки куда нужно. Зальется пронзительным свистком, сбавляя ход перед эвкалиптами, с чьих ветвей свет, как слезы, стекает в жару и солнце. И выплюнет дневную порцию студентов.

А Мурад, казалось, впал в медитацию. На самом же деле он впитывал в себя охристые и желтые тона земли, свет и небесную лазурь, дикие запахи природы, чье цветение, подходя к своему пределу, рождало последний вздох, последнюю песнь белого огневого томления, песнь духа. Его взгляд бежал по бороздам, исчертившим поля, по процессии небольших холмов, точнее – пригорков, невозделанных, красных. То там то сям человек в голубом, обутый в сандалии, смотрел на проходящий поезд.

Мурад спрашивал себя, какими могут быть жизнь и мысли этого темного человека, которого солнце словно приваривало к принадлежащей ему земле. Сколько у него детей? Где и в чем он живет? Может, в одной из хижин, что выстроены на бугре между посевами люцерны и клевера?

Инстинктом он сумел ощутить даже хрупкость сухой травы под ногами крестьянина, запах соломенной шляпы, защищавшей его голову от солнца. Мягкий трепет удовлетворения прошел по его телу. Ему бы хотелось поменяться с ним местами и жить так, как должны жить люди, думал он, окунувшись в запах земли, под устремленными на них лучами солнца.

II

Циртийский университет, построенный в начале семидесятых годов, раскинулся на территории в два десятка гектаров в восточной части города. В нем насчитывалось двадцать тысяч студентов самых разных специализаций. Линия железной дороги — по ней мы ездили каждое утро — была проложена для того, чтобы доставлять студентов в этот мир знаний и науки, задвинутый куда-то к черту на рога, зато недосягаемый для завистливых взглядов, для невежественных, закоснелых эманаций жителей Цирты.

Нужно было защитить наши неокрепшие головы от дурного глаза: он мог навлечь ужаснейшие беды на неосторожных и прекрасных молодых людей, достигших вершин красноречия, зенита (арабское слово!) интеллекта, акме (не знаю, греческое, что ли) умственного развития. Злые языки шептали, что целью этого замысла было прежде всего убрать подальше студентов, взбудораженных чуждыми культуре наших предков идеями, напичканных словами на "изм", а то и с эгалитаристскими замашками — чтобы не осквернять заразой мирно спящий вот уже три тысячи лет город. Я, Хосин Благонареченный, в сей двадцать девятый день июня лета Господня 1996-го вместе с поездом угрожающе накреняюсь ко второй из этих двух гипотез.

Для вящей уверенности и, видимо, для профилактики правители страны сочли за благо сделать прививку противоядия, схоластики, дабы надежнее задушить всякий прогресс в куриной заднице. В течение двадцати лет, урожайных, как те семь тощих египетских коров, раздавалось карканье новых докторов правоведения — людей, пожалуй, добродетельных; они долго спорили о природе пола у мужчин и пришли к справедливому заключению: разумнее будет их кастрировать. Что же касается женщин, то они, по мнению наших добрых врачевателей душ, потихоньку исчезнут сами собой. Как ни странно, эти великолепные идеи, по-видимому в зародыше пребывавшие в умах большинства наших сограждан, встретили широкое одобрение. И теперь все почем зря режут яйца друг у друга, восхваляя Аллаха и его благодеяния.

В Циртийском университете есть свой вокзал. Примерно без четверти десять Али Хан, наш преподаватель литературы, увидел, как поезд подошел к платформе. Он выронил напечатанный на машинке листок. Лекция или заметки к какому-то роману. Какая разница! "Ничего не выжмешь из этой неуклюжей прозы", — подумал он. Наклонившись, поднял с пола страницу и убрал ее в папку. Прошелся по маленькой комнате, которая служила ему кабинетом. У стены на козлах стоял верстак, заваленный книгами — раскрытыми, отложенными в сторону корешками вверх, стоявшими, раздвинув страницы, на обрезе, верхом одна на другой, стиснувшими друг друга в объятьях и не умеющими слиться. На полу в шахматную клетку по прихоти некоей спонтанной геометрии бы-

ли разбросаны папки, карточки и конверты, однако в уме Али Хана они стояли прямо, как вехи, указывавшие ему путь через лес знаков, слов, большей частью зачеркнутых, недописанных фраз. Легким и точным движением он перешагнул через бумаги, обогнул какую-то рукопись, в которой не хватало страниц, и направился к свету. Большие деревья качали ветвями, и ровный шелест листьев почти заглушал чириканье воробьев. Из окна он увидел, как старый локомотив, тащивший три вагона, со скрежетом остановился.

Он и его жена Амель уже три года жили в этой служебной квартире. Али Хан думал о той, что делила с ним жизнь, о "сестре его души"... Они ведь были точно такими же, как те, кто сейчас толпился в этой странного вида машине. Три вагона! Смех, да и только. И уж конечно без стекол. Высунется какой-нибудь бедолага слишком далеко... раз! и поминай как звали, исчез, будто кролик. В большой шляпе, черной-пречерной. Он позволял себе ребячиться. Часто виделся с ними. Они совсем не понимают, что происходит вокруг. За исключением Мурада и его долговязого приятеля, Хосина, путешественника. Из Мурада будет толк. А может, и нет. Интересно, сотрет его в порошок эта страна людоедов?

Двери открылись. Паломники, направлявшиеся в храм знаний, по одному вышли на перрон. Девушки — они текли отдельным ручейком — мягко, чуть вразвалочку ступали в прозрачном утреннем свете.

— Какая прелесть вчерашний египетский фильм! — обронила одна. — Особенно когда новобрачная убегает с другим мужчиной, а в конце концов выходит замуж за его брата.

— Это так романтично! — воскликнула другая.

— А свекровь, ну и гадина же. Кстати, Уарда, у меня есть знакомая девушка, которая разговаривает в точности как главная героиня. Египтянка.

— Да ты что! Вот здорово!

— А младший брат такой хорошенький! Если бы Рашид был хоть капельку на него похож! Последний раз он все норовил запустить руку знаешь куда...

Листок, легко кружась в воздухе, опускался на землю. Посаженные двумя рядами эвкалипты окружали вокзал, отбрасывая тень на часть железнодорожного полотна, вагонное купе, лица девушек.

— Надеюсь, ты ему не позволила.

— Ты с ума сошла.

— Мне, знаешь ли, просто пришлось влепить Туфику пощечину. Кажется, Хайят занимается этим с Муниром.

— Не может быть!

— Мо-о-о-жет.

— Какой позор! А ты...

— Ты с ума сошла или как?

Если бы они посмотрели вперед, туда, где стоят пять многоквартирных домов, которых не различить даже по цвету, они наверняка заметили бы некоего мужчину: это был Али Хан, наблюдавший за ними с кротким и спокойным выражением лица.

Али Хан, наш преподаватель, стоял прямо, опершись на металлический подоконник, а его жена Амель принимала ванну. Он слышал плеск льющейся из кранов воды. Она только что приехала из Цирты, торопи-

ливо разделась и, ни слова не сказав, заперлась в ванной комнате. Как раз перед этим Али Хан прочитал текст, написанный им в бытность совсем молодым человеком, отрывок из дневника, и направился к окну. Он увидел, как подъехал поезд, и его прибытие напомнило ему иные прибытия и отправления. Он вновь увидел себя на берегу моря, на пляже, в августе. Ему только что минуло пятнадцать лет. Море искрилось под лучами солнца. С ним была его шестилетняя сестра.

Он слышал, как Амель двигалась в ванной комнате...

"Он меня разглядывает, настойчиво, дразняще, но ведь я для него первая и единственная женщина на свете", — думала Амель, положив ладонь на эмалированный бортик ванны и плавно поднимаясь из воды.

Она взяла голубое полотенце и медленно вытерлась: сначала руки, нежные, тонкие, потом ноги, тщательно обводя контур бедер, белую плоть, полную внутренней страсти, плоский живот, слегка промокая под грудью.

"Я могла бы быть его матерью или сестрой, старшей сестрой. Я замужем и счастлива. А он молод. Ему бы следовало научиться смотреть на нас, не... Видеть нас, словно не видя. Нет опыта. Хотя все просто: нам не нравится, когда нас анатомируют. И все-таки восхищение, льющееся из его глаз, стоит всех комплиментов на свете. Я будто вновь становлюсь девушкой, чьи маленькие груди натягивают прозрачное платье".

Она опять провела полотенцем по груди.

"И они так тверды, так тверды, потому что их еще никто не кусал. А то утро! Моя первая кровь. Как все это далеко! Обнять его крепко-крепко, удержать. Прильнув к нему, чувствовать, как струится его гордая кровь, вливается в меня, орошает меня. Как горный поток, как водопад, как река. Я замужем и люблю его. Человека, который первым держал меня в объятьях. Только недавно он сказал мне, что не переставая думал обо мне, грезил обо мне. Умеют ли все они говорить так, как он? Я склонилась перед ним. Я отдалась ему. Перетекла в него. Отодвинуть их всех, похоронить. Мы были молоды. Я узнаю эту юность, это прошлое без единой тени, еще не разграбленное детство. Он сводит меня с ума. Всегда, и потом, и с тех пор, и давно. Мои груди тверды, так тверды; они натягивают платье.

Али должно быть ждет меня в одиночестве кружит по кабинету ворошит смутные мысли бесчисленные мысли о своей жизни о детстве о младшей сестре. О своем друге Каиме журналисте о своем беспросветном отчаянии и мои груди так тверды и он смотрит на меня у вокзала и курит и протягивает монетку нищему и смотрит на меня и мои груди тверды так тверды ведь никто еще...

Хайят, его шестилетняя сестра, плескалась в пене, — рассказывал он мне ночью, после любви, — лежа на животе в неглубокой воде, ладошками поднимала мелкие волны, и они прыгали по ее телу. Она смеялась, звала его:

— Али! Али! Смотри, я плыву!

Али хлопал в ладоши, подходил к ней, переворачивал на спину, взбивал руками пену и брызгал на нее. Она кричала, вырывалась, удирала от него по песку. Отбежав подальше, останавливалась, запыхавшись, и улыбалась. Он ловил ее, поднимал на руки, нес к кромке прибоя; она опять визжала. Они медленно входили в соленую беспокойную воду.

Море вбирало их в себя. Он и его сестра, одни в целом мире. Инстинктивно она прижималась к нему, крепко, всем телом, обхваченным его гордыми руками, и чувствовала, как пульсирует его кровь. Несмотря на то, что внешне Хайят была ну просто мальчишка, она боялась.

Долгими ночами ей снились сны. Какое-то чудовище поднималось из воды, хватало ее и уносило прочь от родных, — рассказывал он, и глаза его наполнились солеными слезами. — И море менялось. Оно становилось грязным, бурливым, холодным. Тысячи водорослей, коричневых, длинных, как лассо, обматывались вокруг ее талии, лезли, цепляясь, на плоскую грудь".

Амель уронила голубое полотенце... Волосы упали ей на плечи, соскользнули по спине до поясницы и улеглись в ложбинке вдоль позвоночника. Она подняла голову и увидела себя нагой в зеркале. Молодое, высеченное из пронизанного жилками мрамора, загорелое тело трепетало, словно птица в клетке. Возраст еще не властен над ним. И все же.

"Она съеживалась, сморщивалась, как старое яблоко, — вспоминала Амель. — Али со всех сторон окружала вода, в руках у него теперь был лишь мешок с прахом. Они принимают нас за хранителей жизни и смерти. И не прощают нам этого. Одно только время, время на гребне волн, никому не покорное время, всегда восстанавливает истинную меру, точную меру наших дел, нашей жизни, и разрушает иллюзии, что позволяют нам дышать, находясь в полном сознании. Время уравнивает все. В день, для кого-то бесконечно далекий, мы встретимся лицом к лицу с самими собой, постаревшими, лишенными плоти. И в довершение убожества нас будет невозможно отличить друг от друга. Мужчиноженщины, а в ладонях — ужасающая пустота, осязаемый мрак. Кто тогда вспомнит о дне своего рождения, о своей первой заре, о первом поцелуе в струях света или ночью? Кто тогда вспомнит, мужчина он или женщина, если плоть его — лишь морщины и складки, а дух — клочья, следы, наброски? Я соединяю в себе молодую женщину, которой являюсь, девушку, которой была, пожилую даму, которой стану. Я соединяю все нити, небо и землю, прошедшее и будущее, жизнь и смерть. Я держу в руках клубок наших судеб".

Она развернула шелковистые трусики, растянула их на хрупких пальцах и начала надевать, глядя на свое отражение в зеркале. Она увидела свои бедра, плавно скругленные, как лютня, еще не покрытые тканью, и улыбнулась. Счастливая, она отвернулась.

"Родители смотрели, как дочь лежит в постели и стонет. Они старались как-то облегчить ее страдания, — шептал Али, устремив взгляд во тьму, легко касаясь меня ладонью. — Али молился. Он верил в то, что его молитвы всемогущи. Ведь Бог существует, а значит, Он спасет ее. Она скоро поправится. Ее лицо вновь станет таким, как прежде. Ее лицо. Но мучения ее все ужаснее. Она вся в поту. Она еще узнаёт их. Ее нужно везти в больницу. У них нет машины, а 'скорая помощь' никогда не ездит по вызовам ночью. Водители используют автомобили для своих целей. Али молился. Отец. Он занимался ремонтом квартиры. Капли краски застряли в волосках на его подбородке и щеках. Он все не мог ни на что решиться. Мать смотрела на них.

Они набирают номер... Никто не снимает трубку. Больницы закрываются в восемь вечера. Мы в Алжире. 1971 год. Бог есть. Бог спасет ее. Али смотрит на сестру и молится. Ему только что исполнилось пятнад-

цать лет. Большой умный мальчик. И все же он молится. Пять раз в день. По пятницам они вместе с дедом идут в мечеть. Бог велик. Бог велик. Моя сестра еще маленькая девочка. Бог велик. Бог велик. Женщины для меня... Бог велик. Бог велик. Она стонет на своем ложе страданий. Она синяя, как небо. В дверь звонят..."

Амель застегивала лифчик. Она отвела назад плечи, поправила бретельку, провела пальцами под чашечками. Передумала. Расстегнула. Овальное большое зеркало на ножках вернуло ей отражение груди прекрасной формы, хоть и тяжеловатой. За ее спиной виднелся белый стенной шкаф, высокий, приоткрытый, втиснутый между ванной и дверью. Перед ней — две упругие груди, твердые от холода, с темными припухшими сосками. Она подняла голову, выпятив подбородок, и погладила их. Ощутила смутное удовольствие.

"Они думают, что могут влиять на ход событий. Они ошибаются. Родить ему ребенка и больше не слушать его разглагольствований о том, что, да как, да почему в этом мире. Довольствоваться жизнью, да, да, повседневной жизнью, вставать по утрам, это уже трудно, брать корзину, прохаживаться между прилавками, ощущать наплывающий запах свежей мяты, растертой в пальцах петрушки, забываться в летучем благоухании зеленых лимонов и жасмина, в пряных ароматах тмина и кориандра, наконец, вспоминать о том времени, когда мы с мамой прогуливались среди кричащих торговцев, заслушиваясь песнями канареек и малиновок, двигаясь в потоке завсегдатаев рынка в тюрбанах, неряшливых женщин, за которыми хвостом тянулась стайка чумазых до неразличимости ребятишек, предаваться ощущению времени и цвета, времени и удовольствия жить в мире, что лежит за тысячу миль от здешних петушиных боев.

Он, должно быть, опять ворошит свои черные мысли. Самый беспокойный из известных мне людей. Другого такого, наверное, нет. Мне достаточно знать, что чувство, побуждающее их жить... Я сама не знаю, что говорю. Обрести его вновь, обрести его тело и член. Сжать ладонями его хрупкую голову, и взъерошить ему волосы, и услышать, как он стонет, если какой-нибудь приятель вдруг нагрянет в гости. У него есть машина. Его отец берет Хайят на руки. Али мчится за ними по лестнице.

На улице их ждет ржавый старичок "пежо-503". Друг их семьи, человек с пергаментным лицом, приоткрыв дверцу, проскальзывает в машину. Начинает заводить мотор".

Февраль 1971 года. Хайят дышит с трудом. Отец опускает стекло. Мы едем уже пять минут. По ночам Цирта пустынна. Только тонкие, словно скрученные из нитей, коты исполняют сложный танец, прерываемый грубым, яростным мяуканьем, от которого лопается тишина над мертвым городом. Я вижу, как они дерутся на тротуарах из-за куска рыбы. Я вижу, как моя сестра бьется за кусок воздуха. Отец достает сигарету. Я проклинаю его.

Машина скользит в темноте, пересекает часть города, поднимается по извилистой дороге, ведущей к постройке с висячими арками на восточном склоне холма, который притискивает Цирту к берегу, почти сталкивает ее в море. Почва здесь рыхлая, ее удерживают жалкие оливы, раздетые ясени: клочок сельской местности, обособленный, вырванный, как листок из школьной тетрадки, где между линейками приютились хилые деревья, пародия на растительность, и крепостные стены.

Мотор взревывает в последний раз, и "пежо-503" останавливается у больших въездных ворот госпиталя Скалы. Крепость, врезанная в утес, заперта меж массивных стен из тесаного камня. Холодно. Сестренку бьет дрожь. Кроме скрипа башмаков по гравию и последнего хлопка дверцы, не слышно ни звука. Огромные ворота нагло, с издевкой пялятся на нас. Отец колотит ногой по черному металлу. Ничего. Он бьет с удвоенной яростью. Наш друг со сморщенным лицом опять садится в машину и нажимает на клаксон. Долгое электрическое улюлюканье, сначала прихотливое, затем мерное: два коротких сигнала чередуются с двумя длинными, и так на протяжении пяти минут.

Моя сестричка уже и не стонет. Она слушает... Я слушаю... Я забыл свои молитвы. Я слушаю молитву сестры. Ее дыхание. Дыхание сестры теперь едва различимо. Что-то словно кипит, булькает у нее в груди. Ворота медленно приоткрываются. "Она не умрет", — твержу я про себя, пока машина движется к приемному покою Скорой помощи.

Звезды, светящиеся безжизненные дырочки, усеяли небо. Ганимед, Кассиопея и Орион. Я не испытываю никаких чувств, созерцая это величественное зрелище: громадность больше не страшит меня. Я гляжу на ненужный яркий свет, загоняющий тень за купы деревьев, отблесками забирающийся в машину, где моя сестричка Хайят на руках у отца борется за жизнь.

Я гляжу на отца: он спрашивает себя, почему сердце, прижатое к его сердцу, должно вот-вот разорваться, оставить все, бросить его на волю волн, одного с сыном и женой, затерянного в квартире, слишком просторной для трех человек; но она ведь не умрет, говорит он себе, а с ним спорит хрип, он постепенно вплывает в его сознание и заставляет его все сильнее прижимать к груди тяжелое тело агонизирующей девочки.

Прилив и отлив души — это как море. Скорее бы.

В приемном покое у стены стоит каталка. Хайят кладут на нее. Наш друг, ушедший искать врача, возвращается с русским ординатором. Человек с прилипшей ко лбу прядью светлых волос не понимает ни слова из того, что ему говорят. Он суетится, указывая то на каталку, то на девочку, то на отца. Хайят задыхается на глазах у ординатора. Отец наклоняется над ней, прижимается ртом к ее губам. Он пытается вдохнуть ей в легкие воздух. Ее лицо искажается. Она взрывается криком, раздирающим наши барабанные перепонки.

"Пламя дня высвечивает его склоненную фигуру: он читает, отметила Амель. Переливаются опаловыми бликами слезы. Его гладкие, продолговатые щеки придают резкость чертам лица, его лица, которое я не смогла бы выбросить из памяти. Я подхожу и обнимаю его. Он дрожит. Его волосы пьяны. Я беру его ладонь в свою и сжимаю ее, боясь выпустить. Он роняет страницы, испещренные знаками, непонятными, искаженными, слова скользят сквозь свет и тень и падают на пол, чтобы умереть. Утро кончается. Время останавливает ход.

Я вспоминаю свою мать. Она лежит на смертном одре. Жасмины и лилии приподнимают мое хлопчатобумажное платье, белое или голубое, уже не помню. Ее дыхание слабеет, невидящие глаза безостановочно блуждают. Я выйду за него замуж и никогда не буду одна, никогда не умру одна, на убогом ложе, как мать, чья рука цепляется за мрак. Я целую его, он закрывает глаза, как женщина. Его язык вливается в меня и воспламеняет меня. Я снова вижу Мурада под часами. Он подает нищему монетку. Он курит. Мои груди прижимаются к его груди и твердеют.

Я приникаю к нему животом и открываюсь ему. Он обхватывает меня руками. Знаки, непонятные, истерзанные, скользят в забвение. Дикий виноград и листья в печали. Они скоро придут. Я вбираю его в себя и храню в себе. Я его сестра и жена".

Руки Али Хана обвивали Амель. Вырвавшись из ванной с обернутым вокруг груди купальным полотенцем, с влажными ногами, она движется в его объятьях, и живет, и меняется, и умирает. Девчушка, с которой давным-давно повстречался его друг Хамид Каим, очень выросла.

Когда Амель была маленькой, она заблудилась в переплетении циртийских улиц. Город превращался в лабиринт, опасный для ребенка и чужестранца. Хамид Каим, тогда еще студент, подарил ей двух дорад[1] и отвел домой, сообразив, что они живут поблизости, в двух-трех кварталах от него. В знак благодарности мать девочки пригласила его к чаю. Они с Амель жили одни. Уехав работать во Францию, ее муж так никогда и не вернулся, оставив их в вечно строящейся Цирте.

Хамид Каим много раз приходил выпить чаю. Мать Амель облегчила его страдания. Самира, молодая женщина, с которой он познакомился в университете, исчезла, ее увезли люди из спецслужб. Из-за этого Хамид Каим испытывал безграничное чувство вины. Он и Али Хан ускользнули от агентов госбезопасности. Один из его дядюшек, генерал некоей опереточной армии, даже помог племяннику и его другу восстановиться в университете и закончить обучение. А Самира была мертва.

Присутствие другой женщины, реальной, живой, утишило — хотя и не заглушило совсем — боль от бесплотного присутствия в душе молодого человека Самиры, вознесенной на пьедестал недавним мученичеством. Между женщинами возникла тайная борьба. Борьба, в которой мать Амель отступила. Ее устрашала абсурдность этого поединка — и потом, Хамид Каим был так молод. Не то чтобы разница в возрасте была столь уж велика, самое большее лет десять, но гордая женщина, к тому же мать десятилетней девочки, воспринимала свою власть над Каимом как проявление малодушия. И что самое главное, Хамид Каим не забывал Самиру. Даже захоти он, ему бы это не удалось. И она позволила ему уйти, оставив его наедине с его тоской. Она уже ощущала первые симптомы болезни, которая в скором времени свела ее в могилу. У нее был рак груди.

Подрастая, Амель часто виделась с обоими друзьями. Они составляли престранное трио: два молодых человека в сопровождении девчонки вступали в бурную эпоху. Она разделяла их тревоги, следила за тем, как складывалась у каждого карьера, вмешивалась в их любовные истории и наконец в возрасте двадцати лет оказалась в объятиях того, кто был более достижим, то есть Али Хана. Хамид Каим же плыл сквозь годы словно капитан на капитанском мостике — в полном одиночестве.

Амель напряглась. Он знал. Ей не удалось скрыть от него свое замешательство. Покончить с этим. Как можно скорее.

Али Хан торопливо заговорил вновь:

— Втроем мы сели в ту же машину. Следовало бы сказать "вчетвером".

Отец по-прежнему прижимал ее к груди, стараясь до конца ощутить реальность ее смерти. Все стремилось к одному финалу. Тело дочери, прикрытое длинным голубым полотенцем, лежало у него на руках и от-

1. Морская рыба из семейства окуневых.

сылало к последней реальности. И от этого ему нечем было заслониться. Али Хан все еще бормотал лишенные смысла молитвы.

Али Хан поцеловал жену, она нежно ответила ему. Голубое полотенце, легкое и теплое, упало, как парус. Он отдался ее рукам, пробегавшим по его телу, потом сам ласкал ее, медленно, как если бы перед ними распростерлась вечность.

Снаружи ветер раскачивал ветви эвкалиптов, выстроившихся неподалеку от вокзала. Их длинные листья скручивались в яростном свете летнего утра. Вскоре должен был появиться Хамид Каим. Они вспомнят кое-что из своей молодости. Затем, словно эти листья, растворенные в пламени лета, они будут говорить о том, что не дает им покоя, и их голоса тоже заглушит яростный шелест деревьев с белыми, словно от снега, стволами. Рядом будут Хосин и Мурад, и маленькая квартирка станет свидетельницей их ребячески громких ссор, взрывов смеха.

Прижимая жену к закаленной, как металл, груди, Али Хан думал о чудовищных летних пожарах: наступало их время, и целые недели борьбы не могли укротить их гнева. Он видел, как с неба падает черный дождь, дождь из пепла. Над горными тропами, деревнями, городами лил он, частый, черный. Он закутывал в тяжелые одежды мужчин, женщин и детей этой страны. Он скапливался в душах ее жителей, в каждом закоулке, погребая под собой слабых и сильных, смельчаков и трусов — всех, скопом устремившихся к бездне, к кладбищам, к могиле.

Мне все не удавалось отвлечься от тлетворных эманаций, которые испускала Цирта. Поезд остановился у перрона. Мурад, Рашид и я окунулись в свет, профильтрованный эвкалиптами, что стояли перед нами, точно коралловый риф. Их длинные листья, эти зеленые языки пламени, жгли нам глаза в слитном потоке пылающего солнца и хрупкой тени, рисуя на лицах моих друзей — и на моем, вероятно, тоже — решето из косых линий; оно протягивалось по нашим телам, по просторным цветным одеждам Мурада, по шелковистой куртке и джинсам Рашида Хшиши, по моим брюкам из бежевого холста и кожаным ботинкам с синеватым отливом.

Царапины света превращали нас в зебр. Рашид расстался с нами на насыпи и отправился на занятия. Его похожее на запятую тело было уже далеко; он взбирался на черный земляной откос с проворством кошки. Этому простаку не дают покоя миллионы, обещанные Смардом, мерзким типом, который пролез в наши жизни, еще не ведавшие, что такое тлен. Толстячок с лицом мальчика из церковного хора сулил нам невероятные воздушные — нет, эфирные — замки, лампы и Аладдина в придачу, и все это в глазах Рашида было именно теми благодеяниями, на которые он давно уповал, о которых, наверное, мечтал, утратив на жизненном пути столько иллюзий; я знаю, что увлекаюсь, но солнце наводит на меня меланхолию, а молчание Мурада, идущего рядом, дает полную свободу богатому воображению.

Вот тут надо сделать прыжок и не споткнуться о корень. Оп! Мурад чуть не растянулся. Вернемся к нашим мыслям. Тварь из тайной полиции хочет захомутать нас и узаконить полигамный брак, однако ничто и никогда не оправдает сделку между сторонами, чьи интересы направлены в разные стороны, как глаза у моей первой шлюхи. Ну и помойка!

Мало что уцелело от университетского рая и от того, что было здесь в наши юные годы, – я знаю, о чем говорю, – и хорошего, и плохого, и все же я сам... А Мурад все грезит о госпоже Хан, чьи волосы ниспадают каскадом, как Ниагарский водопад.

– Это где же?

– На Ниагаре... – насмешливо отвечает Мурад.

Мои познания в географии не простираются далее Цирты, мира, замкнутого в собственном бытии, мира, принадлежащего всем нам. Это море чувств ценно тем, что удаляет его от соблазнов. Ненавистное всем религиям плотское влечение есть все-таки разновидность отказа, пусть даже отказа довольно-таки смешного и странного. Кажется, из нас троих Мурад лучше всех защищен от посулов майора Смарда. Эти двое терпеть друг друга не могут. Догадывается ли агент о колебаниях моего однокурсника и друга? Не исключено. Мурад поделился этим с Али Ханом, пригласившим нас к себе на сегодняшнее утро. Преподаватель литературы собирается представить нас Хамиду Каиму, тот должен приехать из Алжира. Али Хан, Хамид Каим: инициалы отчасти совпадают.

– Это что, примета? – спрашиваю я.

– Суевер несчастный! – отвечает Мурад.

– По мне, так он прелесть.

– Кто?

– Смард.

– Само очарование! Вылитый василиск.

Не наступить на эту колючую ветку. Еще одна. Лес из эвкалиптов, сумрачный лес. Мы на полпути. Я слишком углубился в свои мысли. Пойду-ка я за другом-поэтом, он похож на оленя, когда перепрыгивает через колючки. Проворство и грация.

Перед нами пять многоэтажек, выкрашенных в серый цвет и потому неразличимых.

Мурад поднимает руку и показывает:

– Нам нужна третья справа.

– Окна выходят на вокзал. Наверное, он нас видел.

На лестнице, ведущей к квартире нашего преподавателя, мой дух смутило странное видение. Цирта вновь взяла меня в свои тиски. Опять из волн поднялся ощетинившийся пушками город. На его изогнутых полумесяцем стенах замерли вооруженные люди. Они стояли в карауле, с ружьями через плечо. Длинные пестрые шарфы плыли по ветру. Пунцовые флаги падали со стен, как языки пламени, ложились на поверхность моря и слизывали зеленоватую пену. Прогремел первый пушечный залп. Белая полоска испачкала небо. Десятка два не соблюдавших строя кораблей появились на гладком, уходившем в бесконечную даль океане.

Слышались радостные крики женщин, праздничный барабанный бой, ружейные выстрелы. Цирта с воодушевлением готовилась к осаде. Галионы шли, выбиваясь из сил; их квадратные паруса с крестами надувались, едва удерживаемые рангоутом; молодые мужчины пожирали город глазами; на палубе, среди такелажа, суетились артиллеристы и стрелки; светлые сабельные клинки Цирты пучками тянулись к небесам.

Приближение боя заставляло Цирту трепетать, как женщину от ласк любовника. Галиоты[1] один за другим покидали гавань. Люди на крепостных стенах приветствовали воинов Аллаха, а те, облепив, как обезьяны, носы кораблей, казалось, не обращали внимания на происходящее. Война и кровь доводили их до неистовства, которое на протяжении многих веков заставляло их вспенивать море, питаться плотью неверных, во всем подобных им, ибо неверные тоже бороздили великие моря Запада, объедались Америками, истребляли их жителей ради золота и заселяли их вновь – уже рабами, неграми и индейцами. Так мир из века в век рождался заново.

Амель Хан подбежала к окну и открыла его. Свет хлынул в гостиную, пятнами лег на кресла, на низкий столик, где стояли четыре фарфоровые чашки, коснулся ее красивых ног. Мурад изнемогал. Стараясь преодолеть смущение, он курил в два раза больше, чем обычно.

– Они используют религию исключительно для достижения своих целей, – сказал Мурад.

– Фундаменталисты? – уточнил я.

Мурад ответил, выпуская табачный дым:

– Главным образом те, кто ими руководит.

Дым окутал его лицо.

– Они получили образование в шестидесятые и семидесятые годы в университетах ненавистного им Запада, – заметил Али Хан. – Не иначе как в промежутке между чтениями Корана они изучали столь же священные сочинения Макиавелли.

– Вы полагаете, что стремление к власти отвратило их от Бога? – спросил я г-на Хана.

– Ты и вправду думаешь, что такое стремление у них было? – задал вопрос Мурад.

Амель Хан:

– Религиозные партии – это прежде всего продукт системы, утвердившейся после обретения страной независимости; они никак не связаны со всей этой фантасмагорией о Боге и людях, бизнесе и политике.

Слушая ее, Мурад таял, и это уже становилось неприличным. Мне хотелось дать ему пинка, привести в чувство.

В дверь позвонили. Г-жа Хан поднялась. Али Хан замолчал.

В комнату вошел человек высокого роста. На нем была рубашка с короткими рукавами, светло-голубые джинсы и серые туфли.

– Я прервал вашу беседу, – сказал Хамид Каим. – Мой самолет вылетел с опозданием. А приземлиться в этой крепости – дело непростое.

– Мы говорили о всплеске фундаментализма в Алжире, – подытожил Мурад.

– Все наши концепции были разработаны ФНО, – вступил в разговор Хамид Каим.

– Вы арабы и арабами останетесь! – произнес Али Хан, поднимаясь и раскрывая объятия, счастливый, что наконец свиделся с другом.

– Вы мусульмане и останетесь мусульманами, – сказал Мурад, в свою очередь вставая с места, чтобы пожать журналисту руку.

1. Галиоты – небольшие быстроходные галеры, распространенные у североафриканских и османских пиратов Средиземноморья.

— Вы окажетесь в дураках, а мы сделаемся богачами! — смеясь, подлила масла в огонь Амель Хан.

Мурад вскочил на низкий столик и принялся лихо отплясывать на нем. Фарфоровая посуда полетела на пол. Амель Хан едва не задохнулась от смеха. Мурад протянул вперед руку и из сжатого кулака выбросил в сторону пришедшего обвинительный перст:

— Только не он, о достойный сын Югурты[1]!

— Уж не течет ли в его жилах нечистая кровь? — не удержался и я.

Они покатились со смеху: до того комичной показалась им точная копия бывшего министра нефти и газа, который, натужно вопя, кормил их благоглупостями о вечных ценностях алжирского народа.

— Каюсь, — сказал Хамид Каим отнюдь не покаянным голосом. — По матери я не кабил[2].

— Вот, я же вам говорил... Я же вам говорил! — орал Мурад, вращая глазами. — Сделайте его арабом, дабы наверняка его уничтожить, писал Ибн Хальдун[3].

— Еретики! — воскликнул журналист.

Сраженная приступом хохота, Амель Хан откинулась назад. Ее юбка поползла вверх, приоткрыв бедра. Из этого зрелища мы с Мурадом не упустили ничего. Она заметила хищный взгляд Мурада и села прямо. Покраснела. Странно.

Когда все успокоились, Али Хан спросил:

— Помните похороны Бумедьена?

— Все плакали, — сказал Каим, вспоминая огромную толпу, провожавшую вождя к его последнему земному пристанищу.

Как могло произойти, чтобы человек, всем в стране заткнувший рот, неустанно пресекавший любые попытки ему сопротивляться, был оплакан именно теми, кто сполна испытал все это на собственной шкуре? Бог-отец оставил свое стадо. Да будет так. Утешившись, они вручили свои судьбы испорченным детям: орел произвел на свет целый выводок прожорливых птенцов.

— Преисполнившись отвращения, мы стали путешествовать, — слукавил Али Хан.

— По всему миру, — произнес Хамид Каим.

III

В первый раз за этот день я почувствовал себя в безопасности здесь, в квартире Ханов. Цирта ушла из моего сознания. Может быть, ее испугала тяжесть пробужденных во мне воспоминаний, сила инерции, которая могла парализовать меня, мое тело и душу, так что в моей памяти не осталось бы места для нее — для ее мощи, ее славы? Она отступила с поля битвы вовсе не для того, чтобы, перегруппировавшись, снова ринуться

1. В оригинале игра слов: FIS (Front islamique du salut) — "Исламский фронт спасения" и "fils" [fis] — сын. Здесь издевательски обыгрывается националистическая фразеология, к которой прибегал Шадли Бенджедит, президент страны в 1979–1992 гг. Югурта (160–104 гг. до н. э.) — последний царь независимой Нумидии.
2. Кабилы — берберы (неарабское население Алжира).
3. Ибн Хальдун (Абд аль-Рахман; 1332–1406) — исламский социолог, историк, философ истории.

на противника — на меня, Хосина, но для того, чтобы дать мне возможность подняться из руин, отстроить новые площади, новые проспекты, куда покорные ей войска вновь устремятся, точно река, которая, сделав множество изгибов и петель, возвращается в каменное ложе. Цирта ждала своего часа, уверенная в победе. Однако я не испытывал страха; вероятно, присутствие друзей успокаивало меня настолько, что мне не было нужды прятаться в безумных легендах.

Мурад спорил с Амель Хан, освещенный дремлющим светом, который, падая из окон, оттенял очертания рассеянных по гостиной предметов: белые кресла, накренившийся под тяжестью печатных слов книжный шкаф, рваные корешки книг, пострадавших от излишне резкого обращения, репродукция с картины Гольбейна Младшего "Мертвый Христос" — все приобретало сверхъестественную рельефность, оказываясь на солнце, и тускнело, уходя в тень. Лежащий во гробе изможденный Христос теперь был совсем лишен света, казалось, ему суждено вечное заточение. Чудо никогда не свершится, свет отвратил свой лик от гроба.

Комната была невелика, но нам пятерым было в ней уютно. Али Хан и Хамид Каим продолжали говорить о террористическом насилии и репрессиях, которые, как правило, за ним следуют. Я слушал их. Али Хан заметил, что сегодня, 29 июня, очередная годовщина убийства Мохаммеда Будиафа.

— Четыре года, — сказал он.

— Целая вечность, — подтвердил Хамид Каим.

Хамид Каим поднял глаза на репродукцию.

— Ересь.

— Иконоборец! — пошутил Али Хан.

Он не сводил взгляда с мертвого человека, пленника собственной плоти. А ведь когда-то, залитый светом, он стоял высоко и прямо. Теперь же, простертый, с заострившимися чертами и выпирающими костями, он готовился к тлению. Луч света зажигал плавающие в воздухе пылинки. Мельчайшие частицы плясали на застывшем лице Христа, на его исхудалых руках, окоченевшем теле.

— Я мечтаю о новых путешествиях, — сказал Али Хан, глядя на друга и ища в его глазах одобрения, которое дало бы волю памяти.

Хамид Каим не отказал ему в этом.

В конце шестидесятых годов, преследуемые тайной полицией, Хамид Каим и Али Хан объехали Испанию, пройдя в Андалусии по следам Федерико Гарсиа Лорки. Ими владели любовь, революция, поэзия. Затем они повернули на север. Страна басков, порывистая и гостеприимная, очаровала их.

Они путешествовали три долгих месяца, на автобусе или автостопом, перемещаясь по прихоти тех, кто их подвозил.

Они бродили по Флоренции, музею под открытым небом, ночевали в молодежных гостиницах, выучили несколько итальянских слов, безуспешно пытались ухаживать за рослыми молодыми женщинами с пламенеющими волосами — женщины просачивались у них между пальцами, словно непригодная для питья волна.

Впервые в жизни они сели на корабль. Любовь, праздник, революция не покидали их. Они пристали к берегам Крита. Минотавр, пугающе таинственный, взирал на двух юношей. На острове с горными пей-

зажами они, влив в себя немалое количество вина, стали в присутствии нескольких крестьян говорить по-арабски. Их приняли за турок. Пожилые женщины в черном велели девушкам разойтись по домам. Мужчины окружили их, потрясая вилами. Начались переговоры. Им удалось все объяснить. Турки завоевали и их страну, давным-давно, задолго до того, как покорили Крит. Крестьяне усадили их за стол, причем Каим говорил, что крестьяне здесь похожи на кабилов. Под конец, захмелев, все принялись ругать турок. Они снова отправились в путь.

Минотавр шел за ними по пятам, а Ариадна бежала рысцой впереди, ведя за собою коз. Они прожарились на солнце. Соленый ветер изрыл морщинами их кожу. Они постарели на три тысячи лет. Каким далеким казалось им то время, когда чаровница Флоренция манила их своей величественной архитектурой, бесчисленными площадями, статуями из камня и бронзы. Море пьянило их, как варваров. Они вбирали в себя время, тягучее, словно водоросль на гребне волны; они слушали, как поет прибой, вечный, приходящий вновь и вновь, сколько помнит себя род людской. Бумедьен был мертв. Им это было совершенно безразлично. Несколько заблудших овец шли за траурной процессией и плакали. Они посмеялись, глядя на эти слезы. И отправились прочь, влекомые любовью, революцией, праздником.

На старом греческом танкере они переплыли Красное море, обогнули побережье Индии; Китай встретил их пением сирен. В погоне за знанием они высадились на берегах Янцзы.

Китайская ночь медленно оседала на набережные, где старые кули дымили сигаретами и сплевывали в воду. Их стариковские плевки со звучным плеском шлепались в реку. Моряки хотели пройтись по борделям и по-гречески божились, что нигде в мире нет таких красивых шлюх. Каим захотел пойти с ними. Али Хан насупился. Они взяли джонку и поплыли вверх по Желтой реке.

Ночь густела; слышно было, как форштевень разрезает воду и как поют кузнечики. Сигареты кули красноватыми точками мерцали во мраке. Мир принадлежит им, говорили они себе, созерцая далекие-далекие звезды. Ганимед, Кассиопея, Орион затевали танец на небесной тверди. Путники передавали друг другу трубку. Али Хан, с остекленевшими глазами, растянулся на дне джонки. Он пропел старинную андалусскую песню, где говорится о безнадежной любви, об обманутых любовниках, о женщинах, которых держат под замком.

Старики болтали, их слова смешивались с пением кузнечиков. Открывалась вода, все более и более свободная. Они проникали в тайны природы; опиум играл шутки с курильщиками; летучие рыбы сталкивались в парусах; греческие матросы танцевали, положив руки друг другу на плечи; ночь текла сквозь пальцы Хамида Каима, и вода, похожая на сон, вливалась в его душу, цепенила ее, как прелестная любовница. Он вновь подумал о той, с которой давно расстался, и заплакал. Али Хан смеялся и разговаривал о политике с кузнечиком. "Никто нам не поверит, — повторял Али Хан в темноте. — Нет, никто. Никогда мы не ездили в Китай. Добрый пророк просто пожурит нас", — и он снова засмеялся. Старые китайцы тоже смеялись. Арабы — самые искусные на свете моряки. Китайцы смеялись, греки тоже. Али Хан встал на ноги, едва не опрокинув джонку, и обратил-

ся к пустоте с горячим приветствием. "Это был Одиссей, — шепнул он мне на ухо. — Великий Одиссей". Я ему не поверил. Он часто врал.

На реке появился отец Хамида Каима, лодыжка его была в крови. В ночи раздался его голос, смешавшись с таинственными водами Янцзы.

— В наших жилах течет одна кровь, но никогда больше наши пути не пересекутся, и тень, которую ты видишь, — это лишь бледное отражение того, кто был твоим отцом. Твое время тоже придет. Ты умрешь, полный отваги.

— Я не понимаю, — прервал его Хамид Каим.

Отец продолжал:

— Твое время еще не настало. Лишь дух, который вложит оружие в твою десницу, одержит победу. Не мечтай и цени то лучшее, что сможешь сделать. Слишком поздно? Ничего еще не потеряно для того, кто не пребывает в нашем состоянии. Взгляни на меня: я изношен, как старое одеяло.

Хамид Каим перегнулся за борт и зачерпнул сомкнутыми ладонями холодную черную воду. Он подал ее отцу в кубке из плоти. Старик напился из его рук. Он умолк. Затем стал потихоньку удаляться; за ним следовала девочка, похожая на сестру Али Хана. Оба они уплыли по течению. Их тени влюбленно сливались. Али Хан проснулся и сказал Хамиду Каиму, что видел во сне сестру. Как того требовал обычай, он предложил ей воды, чтобы она удалилась с миром. Они закурили новую трубку. Старики-китайцы спали на дне суденышка.

Качаясь на темных водах Янцзы, во власти опиума, Хамид Каим увидел во сне чье-то детство — вероятно, собственное — и город. Он встал в джонке во весь рост и начал проповедовать перед темнотой. Огни вдали, подрагивание паруса, шепот форштевня, разрезающего течение, заменяли ему слушателей, а то и театр, где его голос терялся, точно недопетая песня...

"Каменный город, — вспоминал Хамид Каим. — Всегда, неизменно. Сколько себя помню. Первый глоток молока из груди моей матери не утолил бы жажды, что напала на меня, открывшего Цирту пяти лет от роду; тогда я впервые заблудился в улицах этого проклятья. Мы, десяток мальчишек, один грязнее другого, черноволосые, со свисающими соплями, с продранными на коленях штанами, пинали босыми ногами красный мячик. Я помню цвет того мячика. Кроваво-красный. Мак, сорванный поутру, и я подарил его ей, и она его взяла и оставила на моих губах поцелуй. Мне было двадцать лет. Д'Хилу, семилетний мальчик, классическим ударом отправил мячик в голубое небо.

Мое восхищение Д'Хилу росло по мере того, как мяч набирал высоту. Вскоре красный шар растаял в облачной дымке, а передо мной была точная копия кудрявого бога. Бог ростом метр пятьдесят, в коротких штанах. Это был первый удар, нанесенный образу отца, первая царапина. Быстроногий Д'Хилу. В качестве платы за обожание он, посмеиваясь исподтишка, предложил мне найти мяч. А поскольку предложения, исходящие от божества и к тому же упавшие с неба, отклонять не принято, я ушел искать и потерялся. Как описать смятение ребенка, раздавленного городом? Да что там! Улицы сплетались, как сейчас в моем мозгу курильщика опиума сплетаются воспоминания, и многоэтажные

жилые дома, уходя ввысь серыми недвижными фасадами, устало глядели на меня, а я трусил рысцой, надеясь отыскать красный мяч.

Цирта походила на ракушку, на раковину, длинную, состоящую из тысячи колец, вековечных спиралей: лавки торговцев коврами, сейчас исчезнувшие, улица кожевенных дел мастеров, где мои ноздри наполнялись запахом их покрытой язвами, гноящейся кожи, беспрерывный стук молотков, выводивших на меди сложные, затейливые узоры, которые, впрочем, напоминали улицы Цирты, словно кто-то захотел, чтобы сны многих поколений чеканщиков, материализуясь на поверхности металла, вобрали в себя тесный мирок этих жалких людей; город-лазарет — открытый океану, но при этом построенный так, чтобы каждая улица и каждое окно смотрели на улицу-двойняшку, на окно-близнеца, на мир, замкнутый в самом себе, на тюрьму в тюрьме.

Моя детская душа застывала в нем, и я плыл по течению, убаюканный монологом моря за парапетами, возведенными для защиты от вражеских вторжений; а захватчики не переводились, они разрушали мечту о полной изолированности, чары тысячелетней крепости; смотря влюбленными глазами, она, как одежды, срывала с себя окрестности, уже плененная Чужаком, а тот, осадив ее со всех сторон, потом, уходя, бросал ее в стародевической истоме — об этом я узнал позже, взрослея, в свою очередь оставленный женщиной-городом, цитаделью, то ли взятой врагом, то ли разрушающейся в огне, Карфагеном, угасающим в истории под тяжестью предательств...

Теперь все это далеко. Нынешний город помолодел. С улиц кожевенников исчезли, скрывшись под землей, их умиравшие заживо обитатели, и разлагающаяся плоть больше не благоухает, разве что в смертный час, когда черное тяжелое орудие убийцы наведено на узкий лоб жертвы. Итак, я, Хамид Каим, в будущем журналист, пяти лет от роду брел по бедным кварталам Цирты, без остатка растворяясь в ее объятиях. Я нашел красный мячик...

Но наступала ночь: один за другим гасли огни, запирались лавки, и последние зеваки исчезали в покосившихся домишках. Мне было пять лет. Мои родители, конечно, беспокоились. Великолепие Д'Хилу слегка потускнело. Зажатый под мышкой красный мяч уже не представлял интереса. Д'Хилу, полубог ростом метр пятьдесят, слился с мраком и плачет о потере мяча. Я представлял себе, как сидит он на берегу длинной черной реки, чьи беспокойные воды уносят прочь души других грешников, и оплакивает свою прежнюю жизнь, обещавшую так много жизнь футболиста.

Эта мысль обрадовала меня, и я начал обживать мир, который соткало мое воображение, насыщенное духом города, духом впитанной моим детским мозгом Цирты, чьи закрученные винтом улицы слагались в круги ада, изобретенного в наказание Д'Хилу, ада, на удивление похожего на ад Гомера, которого я прочту позже, запершись у себя в комнате, жадно припав к рассеченной, кровоточащей пяте Ахилла, упиваясь рассказом о путешествии Одиссея, вечном путешествии, над безысходностью которого я буду плакать в своей подростковой постели в промежутке между двумя мастурбациями..."

"Цирта выходила к морю, — продолжал Хамид Каим. — Вдали, под облаками, убегающий прочь горизонт. Мои детские волосы взъерошены гу-

ляющим на просторе ветром. Луна в пенных отблесках, в сгустках перламутра на изумрудной волне, то подплывала ближе, то снова удалялась, рассыпаясь на куски. Вонзив когти в камень и ил, город, как павлин, высился на своих парапетах. Освещенные окна были красками его оперения: геммы и драгоценные камни, муаровые шелка колыхались, точно знамя, играя с морем и ветром, нашептывая тихие жалобы, убаюкивавшие меня, — меня, дитя приливов, выбившееся из сил после долгой ходьбы.

Я скатился вниз по крутой улочке, чье название терялось в море, как на вокзальном перроне тонут в небытии смех и слезы пассажиров, их поцелуи и жесты, взмах руки какой-то женщины, что прощается с сыном, высунувшимся из окна последнего вагона, как навсегда расстаются родители и дети, разделенные временем, что течет, дробится, словно луна на кружеве волн. Казалось, Цирта и море стараются уничтожить друг друга взглядами. Камень все еще сопротивлялся водным массам в умозрительной и тщетной борьбе, будто армада, что в гордыне поражения вот-вот погрузится в бездну.

Я ощущал это состояние непрерывной войны. Ужасное состояние; знать о нем было невыносимо тяжело, и в то же время оно раскрывало передо мной суровую красоту дикого уголка земли, возникшего в далеком прошлом и пока нетронутого, свободного от какого бы то ни было описания, одним словом — красоту мира, но мира совсем юного. Отец наградил меня парой увесистых оплеух, а мать плакала, ведь она думала, что потеряла меня навсегда.

Сейчас мое сердце — выжженная земля. Мы с Самирой, двадцатилетние, гуляли по Садовому бульвару, в тени пиний".

"Море вновь и вновь шло на штурм циртийских стен. Густая, белая, шипящая пена стекала по черной скале с вкраплениями ракушек. Небо с розовыми перстами не желало сливаться с зеленовато-синей кромкой, отстранялось от глыб соленой воды.

Чайка упала клювом вниз. Утонула в подвижном беспросветном мраке. Несколько долгих минут она скручивалась спиралью, плавая среди волн, отдаваясь течениям, смешиваясь с текучими субстанциями. Вынырнула с окровавленной шеей. Резким, коротким усилием вырвалась из пены, грозившей ее поглотить, пролетела над кружившимися в водоворотах жидкими массами и вновь упала. Исчезла.

Солнце, окутавшись тайной, тоже погасло, чтобы никогда больше не вспыхнуть, не появиться над горизонтом. Оно тоже погрузилось в ледяную, покрасневшую от крови воду. Изумрудная волна порой оставляла на стенах Цирты водоросли: их длинные лассо жадно присасывались к камню. Движимые неведомой силой, водоросли угрожали захватить город, разрушить основания старого мира, накрыть его собой, задушить. Но это был лишь дурной сон. Сон ребенка, потерявшегося в облаках водяной пыли, на самой крайней точке мыса безнадежности.

Мой детский взгляд обнимал вселенную, палитру красок и ощущений. Ко мне поднимались ароматы океанских глубин, йод, растворенный прибоем, соль, высвобожденная водой. С крепостных стен лились на песчаный берег дыхание магнолии, легкое, с фруктовым оттенком, запах жасмина, который ночь принесла с поросших растительностью вершин к подножию утеса, спиртовой дух жимолости, до-

веденный до экстаза пламенем дня и теперь, под звездами, вылетающий наружу крылатым вихрем, где разные сущности смешаны, как цветные нити ковра. Мускус и полынь, цветы и фрукты переговаривались на ветру.

Снова появилась чайка. Она летала между небом и морем, держась на равном расстоянии от обеих стихий, опасаясь их роковой притягательности. Вода сделала бы ее оперение тяжелым; грозовая туча спалила бы ее. Она продолжала свой полет. Ловкая и осторожная, она иногда отваживалась нырнуть, задержавшись на миг, хватала добычу и вновь летела, мудро избегая и Цирты, чьи щупальца грозили путешественнику, летчику и капитану дальнего плавания. Крылья у меня, Хамида Каима, занимались пламенем. Цирта пожирала самое себя. И три тысячелетия истории обращались в пепел..."

"Давным-давно я увидел в мечтах ее падение и возрождение, – задумчиво произнес Хамид Каим. – Давно я оседлал коня, медно-рыжего, благородных кровей, и поехал отвоевывать захваченный город, гнал врагов прочь до самой их земли, потом возвратился домой, уставший от побед, пресытившийся собранной данью, нагруженный золотом и шелками; караван женщин двигался за мной; стоя на носу большого судна или хрупкого корсарского галиота, я вселял ужас и трепет в сердца английских торговцев вином и хлопком, и отправил на дно Непобедимую армаду, отбросил войска Карла X, высадился на скале Тарика[1], на слонах перевалил через Пиренеи, триумфально прошел по Риму, предотвратил гибель Карфагена.

Я мечтал. Не будучи ни Ганнибалом, ни Югуртой, я оставался ребенком, смотрящим на звезды. Я читал по ним, и в моем воображении возникали камни, крепостные стены, жилища патрициев. Даже больше: уже невозможно было вырваться из сна, взглянуть на мир прямо. Великолепие былых времен и пышные празднества прошлого никак не вязались с действительностью, раскапывание древних могил прекращалось, едва начавшись, мой скакун вставал на дыбы, фыркал и ни за что не желал везти меня к мысу Боабдила[2]. Стоя недвижно, как время, – грива точно неистовый океан, – он созерцал бьющееся в конвульсиях море, пучину с отливающими перламутром гребнями, и наши жизни, в сравнении с ней такие тусклые, пресные, мирные.

Листья эвкалиптов горели в ужасном, пронизывающем смраде, чей тлетворный хмель разъедал ноздри животного, опускавшего голову над сплетением циртийских улиц, хоженых-перехоженых, столько раз потерянных и обретенных, где время само себя кусало за хвост и играло с собой шутки, где столетия телескопически раздвигались, позволяя римлянам сражаться с нумидийцами, арабам водиться с франками, где полумесяц и крест, сливаясь, образовывали на редкость странную фигуру, некий каббалистический знак, ветви и полукружия которого с жуткой

1. То есть в Гибралтаре. Так в испанском произношении звучит название Джебель Тарик (Скала Тарика). Тарик ибн Зияд – арабский полководец; под его командованием в 711 г. началось завоевание Испании войсками халифата Омейядов.

2. Боабдил (искаженное Абу абд Алла), или Мухаммад XI, – последний эмир Гранадского эмирата, уничтоженного в 1492 г., когда мавританские государи были окончательно изгнаны с Пиренейского полуострова в результате Реконкисты.

точностью воспроизводили план города, воздвигнутого на пене и скале, ставшего мостом между двумя вселенными, непримиримыми и все-таки примиренными".

Дивился ли Хамид Каим видениям, возникавшим под действием опиума? Они все еще преследовали его, завладевали его сознанием, и он выпускал их, одно за другим, в безжизненный мир, взиравший на то, как они проходят мимо...

"Наступит время, когда люди вломятся к вам под покровом ночи и потребуют причитающийся им кусок плоти, — продолжал он. — В них не останется ничего человеческого; даже с виду они не будут отличаться от животных. Они будут ходить на задних лапах и потребуют от вас неукоснительного подчинения Слову, считая себя единственными его владельцами. Из их нечистых уст вылетит священный вопль. Как не слышать, как не уходить с головой в терпкую пену прилива? Как спастись от пения, эхо которого поднимется на поверхность, словно материк из глубин целого народа, швыряя слабейших на утесы Цирты, уводя глухих скитаться по дорогам мира в вечном изгнании, изгнании плененного, спрятанного, пожранного Слова? Они тоже назовут себя богами, пойдут по земле навстречу своим чудовищным двойникам и будут сеять отчаяние. И Цирта сгорит, как горят города — одержимость падением истребляет их, точно моровая язва".

Погрузившись в свои видения, Хамид Каим взывал к реке, думая, что это позволит ему удалиться в сторону от бледного ночного света, за которым теперь шла джонка. Слышал он, как летели ввысь, будто адские песнопения, крики его друзей? Он плотно закрыл уши руками. Тишина, головокружение. Сигнальный фонарик, укрепленный на носу джонки, бросал слабый отблеск на лицо его друга. Али Хан смеялся.

Фонарик выхватил из мрака мужчину зрелых лет. Белая льняная материя, скрепленная пряжкой на правом плече, частично прикрывала его торс и ниспадала на ляжки; на талии ее поддерживал сплетенный косичкой кожаный ремешок.

— Ко мне, пес! Ко мне, Аргус!

Из мрака возникла собака.

— Спокойно, красавец мой. Спокойно.

Человек гладил собаку как-то особенно бережно. И благодарное животное терлось мордой и широким черным боком о мускулистую икру хозяина.

Мужчина:

— Двадцать лет его не видел. Его уже и в живых не должно быть.

Хамид Каим:

— Двадцать лет?

Путешественник, гладя пса:

— Десять лет ужасной войны и еще десять лет непрерывных странствий. За это время мои волосы побелели, черты заострились. На лице запечатлелась история моей жизни. Достаточно вглядеться в линии вокруг глаз, рассмотреть морщины на лбу, чтобы прочесть в них одну из удивительнейших историй древности.

Али Хан:

— Расскажи.

Человек с изрытым складками лбом:

— Это история о женщине, которую отняли у родственников.

Хамид Каим вздрогнул.

Путешественник:

— Из-за нее они осадили город... Воздвигнутый над океаном снов, вросший когтями в скалу тысячелетний город, чья история потускнела в людской памяти — не потому, что такова сила забвения, а потому, что город, как корабль балластом, был перегружен страхом... Так гибнут самые тяжкие воспоминания... Кто помнит о столице бед? Воину лучше забыть о крови сражений, о желтых и охристых лугах, о маках, что выросли из плоти тех, кого не пощадила бесплодная, слезная жатва... Из-за женщины, завоеванной другим, молодые люди гибли без счета... А она прогуливалась по стенам крепости, бросая жадный взор на кольцо смерти у своих ног... Заставив поверить в то, что ее похитили, эта женщина открыла брешь, куда хлынуло людское безумие, которое потом, словно ураган, вырвалось на бескрайний простор земли и моря, заставляя друзей, любовников, отцов и детей обнажать друг против друга оружие, сея страшную распрю, которая принесла в наш лагерь смерть и позабавила наших врагов. Чтобы покончить с пожиравшими нас фуриями, я придумал одну хитрость... Город был взят и сожжен. За эту победу боги изгнали меня и обрекли на десятилетнее скитание по морям. Сюда, Аргус! Ко мне!

Собака подошла к хозяину, и они исчезли, поглощенные временем.

— Мне все снится детство, — сказал Али Хан, державший в пальцах сверчка.

Насекомое стрекотало. Хан запел. Арабские слова сплетались в смутный лепет. Каим слушал невнятное пение друга. Хан отпустил сверчка. Он прыгнул на палубу, рванулся к парусам, снова упал вниз, к их ногам, чтобы умереть.

— Интересно, есть ли у них душа? — проговорил Али Хан.

Звезды в небе обросли парусами и теперь двигались своим путем в густейшем мраке; даже река уснула, оставив им нечто вроде вечности без очертаний. Греческие матросы давно сбежали, бросив на них судно; потеряли сознание и кули; только их трубки для курения опиума покоились на дне джонки, как последние обломки давно минувшей эпохи. Они вновь очутились в каждом отрезке своего путешествия, ступили на каждую тропинку, побывали на каждой станции, что лежала на пути, приведшем их сюда. И не удержали ничего — так, какие-то клочки, обрывки, размытые образы, проплывавшие перед их открытыми глазами безо всякой связи, бесформенные, тяжелые, как небо, сейчас нависшее над ними, оставившее их скользить по этой луже, которая, как им казалось поначалу, вроде бы вела к достижимой дали, к конечной цели поисков. Им встретились одни только мертвые, мертвые говорили с ними, шептали что-то непонятное, чего они сейчас уже и не помнили, и пили из их рук остатки жизни, быть может, их жизни, кто знает? Кто знает, не пришло ли время поворачивать назад, возвращаться домой, а может, заблудиться, смешаться с мраком и никогда больше не помышлять о живых, ни разу за целую вечность не вспомнить ни о чем, ни о чем и еще раз ни о чем, и спать, возможно видеть сны, но главное — спать в ледяных струях реки, погрузившись в тень и рябь.

У Ханов Хамид Каим поведал нам, как он бросил свою невесту, Самиру.

Друзья предупредили его, что тайная полиция будет прочесывать университетский городок. Он убежал оттуда вместе с Али Ханом.

– В 1979 году, – сказал Хамид Каим.

– В июне, – уточнил Али Хан. – Потом мы путешествовали...

Хамид Каим думал, что Самира, придя домой, будет ждать его возвращения. Но она вечером поехала назад в университет, чтобы его найти. Городок был пуст. Самира поняла, что совершила ошибку. Какие-то люди насильно усадили ее в белую машину. Тронувшись с места, машина исчезла в ночи.

Плавные, выверенные движения делали Самиру похожей на преподавательницу. В сером жакете и прямых брюках она выглядела женщиной средних лет. Она не улыбалась. Очки в тонкой оправе придавали ей серьезность, поразившую Хамида Каима при первой же их встрече, в октябре 1978 года.

Он не стал с ней здороваться, когда вошел в комнату, служившую им штаб-квартирой. Боялся ее рассердить. Малейшее попятное движение навсегда отдалило бы его от нее. Она встала. Протянула ему руку. В растерянности он огляделся по сторонам, но она обращалась именно к нему. Он благодарно пожал ей руку, досадуя на себя за свой порыв. Испугался, что это ей не понравится, но она спокойно села на место и больше не обращала на него внимания.

Сбитый с толку, он подошел к друзьям, трудившимся над очередным номером их журнала. Они стояли в глубине комнаты, там, где под скатом крыши образовалось нечто вроде крошечного убежища. Чтобы в него войти, приходилось нагибаться. Он притворился, что интересуется их работой. Склонив сосредоточенное лицо над кучей бумаг, он перебирал листки, поправлял, а точнее, приводил в беспорядок те, что попадались ему под руку, напускал на себя важность, пыхтел, ворчал, кряхтел, как старая лошадь, и так усердствовал, что Али Хан прогнал его прочь.

– Иди-ка ты отсюда!

Покраснев, он вернулся к девушке.

Самира была похожа на богиню со своими длинными волнистыми волосами, темно-каштановыми, которые он вдруг представил у себя в руках, представил, как он их гладит, перебирает, кусает. Безумец, совсем безумец, он точно спятил, иначе почему он не в силах отвести от нее глаз? Она заметила это, выдержала его взгляд несколько бесконечно длинных мгновений, улыбнулась ему.

Он подошел к ней – с внутренней опаской, с напускной беззаботностью. Она была не одна, компанию ей составлял этот идиот Р. Не подавать виду. А может, как раз наоборот. Они говорили о кино. Р., сидевший за древней пишущей машинкой, силился сотворить объявление о предстоящем заседании киноклуба. "Рим". "Рим Феллини". Толстые дамы с мясистыми грудями. Нет, об этом не стоит. Плохой образ.

"Видите ли, апокалиптическая атмосфера, этот конец света, переданный образами, взрывается грозным богоявлением, да, именно это я и хотел сказать, грозным богоявлением, когда при строительстве метро находят древнеримские фрески, которые на сквозняке разлагаются, обращаются в пыль, пропадают, как фотопленка, открытая живому сиянию дня. Гибель художественного кино. Вот что хотел сказать этот великий режиссер, этот волшебник". Нет, это слишком занудно.

В итоге он сел на место Р. и столь усердно поработал на машинке правым указательным пальцем, что окончательно ее доломал. Затем он выдал блистательную импровизацию о старых машинках, которые, не будь они так хороши собой, во вкусе конца или начала века, — зависит от модели, — не стоили бы того железа, что на них пошло. Молодая женщина рассмеялась.

Занимался день. На улицах не было даже кошек. Хамид Каим недавно закончил университет. Преподаватели удостоили его труды оценки "очень хорошо". Он шел пешком в окутавшем город розоватом свете. Полгода проскитавшись по миру вместе с Али Ханом, он вернулся в университетскую аудиторию. Один его высокопоставленный родственник, имевший вес в Алжирской народной армии, отменил тяготевшее над ними обвинение в государственной измене. Хамид Каим не испытывал гордости. Когда он спросил у родственника, которого почти не знал, не известно ли ему хоть что-нибудь о Самире, пузатенький полковник поднялся с места и прошелся взад-вперед по казарменному помещению — пустой комнате, где на стене над металлическим письменным столом висел чей-то портрет, цветная фотография. Полковник воздел руки, бормоча что-то сквозь зубы, и тяжело опустился на стул.

— Она умерла, — объявил он Хамиду Каиму. — А тебе и твоему приятелю повезло — вы живы.

Он поднял глаза и взглянул на фотографию усопшего тирана. Человечек с тонкими жиденькими усами. Потом выжал из глаз несколько слезинок и провел рукой по крышке стола.

— С тех пор как его не стало, все уже не так, как прежде, — снова заговорил он. — Все меняется с невероятной быстротой. Трудные пришли времена. Каждый требует свой кусок пирога и дерется за него, оскалив клыки, как шакал.

Хамид Каим не осмелился спросить, чувствует ли он, как у него прорастают резцы. Времена не изменились. Времена никогда не изменятся. Сникший, он вышел из кабинета, сбежал по лестнице, пересек двор казармы, где строевым шагом ходили молодые солдаты, наполнявшие голубое небо воинственными песнями.

На улице он взял такси, которое отвезло его обратно в город. Лысый шофер мерно похлопывал ладонью по рулю, насвистывая старую песенку:

> Чем равнодушней ты, тем проще мне любить.
> Вернусь, вернусь, пройдя моря и страны,
> И, что со мной случилось, расскажу...

Маленькая девочка стояла на тротуаре и плакала. Хамид Каим подошел к ней, опустился на одно колено и заглянул ей в глаза. Глубокие беспокойные потоки, бурля, текли по ее холодным щекам и сливались на подбородке, как рукава реки. Девочка была худенькая и темноволосая. Черные жесткие пряди сбегали по ее затылку, а отдельные волоски, воздушные и текучие, парили, приподнятые утренним бризом.

Внизу порт перекатывал туда-сюда крики торговцев рыбой, скрип усталых подъемных кранов.

Хамид Каим порылся в кармане и вынул конфету. Девчушка схватила ее и в промежутке между двумя сдавленными всхлипами проворно сунула в рот. Он поднялся и пошел прочь. Сделав десяток шагов, остановился. Малышка шла за ним, посасывая конфету.

– Тебя как зовут?

– Амель.

Надежда детей. Просто надежда. Он вспомнил, что у него назначена встреча. Университет устраивал праздник по случаю вручения дипломов выпускникам.

– Амель, тебе надо идти домой.

Нет, покачала головой Амель.

– У тебя же много родных, они тебя ждут.

Он взял ее за руку, и они пошли дальше, направляясь к порту. Запах рыбы стал щекотать им ноздри.

– Плохо пахнет, – сказала Амель.

– Да, – сказал Хамид Каим. – Рыба не выносит жары. Она любит жить в воде.

Торговцы разложили сети-корзины на брусчатке набережной. Маленькая внутренняя гавань кишела зеваками. Старый траулер мягко покачивался на серой воде. Его со всех сторон окружали пятна мазута. Два высоких худых мальчишки развлекались, ныряя в грязную воду. Воинственные вопли оглашали воздух перед каждым прыжком и гасли во вздымавшемся фонтане морской воды.

Старик с усталым лицом держал в руках удочку; леска уходила в воду в нескольких метрах от него. Хлебные крошки качались на воде вокруг поплавка из красной пробки. Леска казалась сломанной в том месте, где она соприкасалась с водой. Что он надеялся здесь поймать? Наверное, совсем уж мелочь, прозрачную рыбью детвору. Не выносят они мазута. Амель, будто загипнотизированная, остановилась перед одним из торговцев.

– Нравятся? – спросил ее Хамид Каим.

Она кивнула, завороженно глядя на серебристых рыб с золотыми полукружиями над глазами.

– Это дорады. Я тебе их куплю, если ты скажешь мне, где живешь.

Девочка мотнула головой в знак согласия.

– Сколько?

– Десять динаров килограмм.

Он выбрал двух больших, со сверкающими глазами.

Амель прижала рыб к груди.

– Ты испачкаешь платье.

Ей было все равно. Она провела ладонью по гладким, нежным телам рыб, приподняла жаберные крышки и заглянула внутрь, зачарованная пурпурными спиралями.

За всем этим он забыл про диплом.

– В отличие от Али Хана, у меня было счастливое детство, – вновь заговорил Хамид Каим, смотревший на Амель, которая сидела рядом с мужем в сонном свете, по-прежнему лившемся в гостиную.

– Солнечный рай и блаженства-океана.

Хамид Каим еще помнил своего отца, да упокоит Господь его душу, и мать, сидевшую на далеко простиравшемся светло-желтом песке. Он рос один, в окружении книг. Книги читал его отец. "Илиада", где Ахилл

сражался и умирал, протащив за колесницей храброе, но уже мертвое тело Гектора. Рыцарь Печального Образа бросался в бой с последней мельницей. Отец Горио на смертном одре тщетно ждал прихода своих милых дочерей.

Когда ему было пятнадцать лет и умирала сестра Хана, он взялся за чтение "Улисса" и из-за плеча героя наблюдал, как живет и умирает Дублин. Значение имели только существа, запечатленные на бумаге. Они одни жили достойной и искренней жизнью. Еще он вспоминал о том, как они с отцом ходили ловить рыбу, как надо привязывать крючок, крепить грузило, оставлять на поверхности воды прикорм. Тогда он был хорошим пловцом, хорошим сыном, хорошим читателем. Бабушка не раз говорила, что ему следовало бы писать. Его отец умер от рака, как древний герой — от раны в лодыжку: в свое время его мать забыла о пятке сына.

По ночам бриз буграми вздымал воду у берега. Луна взрывалась тысячами бликов на гребне волны, леска его удочки натягивалась, отчего начинал звенеть колокольчик. Синдбад приставал к берегу, принцесса обнимала его. Он любил отца, Синдбада, Рыцаря Печального Образа и мать на песчаном гребне ночи. Детство смотрело на него, когда в тихие теплые утренние часы он под пение чаек садился за рабочий стол и начинал писать на бумаге, с которой уже исчезли близкие ему существа.

Задыхаясь, Каим прибавил:

— Бог во мне, глубоко внутри, мертв, обращен в ничто; мне остается только смотреть на мир — такой, каким он предстает предо мной. Я рискую ничего не увидеть, не отличить добро от зла — но зло здесь, рискую спутать несчастье со счастьем, жизнь со смертью. Умереть одному, примиренным или побежденным. Умереть оттого, что я слишком любил землю, по которой мы ступаем, народ, который нас больше не слышит. Я тот, по кому сны, как по мосту, переходят с края мира на край небытия.

Амель Хан сидела неподвижно. Мне показалось, что я видел слезы в ее черных глазах. Возможно, я ошибался. Мурад закурил еще одну сигарету.

— Значит, твое отчаяние еще глубже, чем мое, — сказал Али Хан. — Я почувствовал это, взглянув на тебя.

Хамид Каим ответил:

— Это не отчаяние. Это просветленность.

— Мы достигнем низшей точки нашей беды. А потом восстановим силы, как ныряльщик, поднявшийся на поверхность, — произнес Мурад.

Но сколько мы ни всплываем, поверхность воды отступает все дальше. Солнце там, в синеве за морем, все так же недосягаемо. Звезда, к которой нельзя прикоснуться, неутолимая жажда. Мы умрем от удушья, и ныряльщик никогда не увидит солнца. Веретенообразные полоски света рассекали комнату и лица. Я не видел своих друзей целиком и не знал о них всего. Вероятно, потому, что их тела частично оставались в тени.

Я подумал, что сегодня вечером отец отправится на охоту, а братья, взяв оружие, пойдут в дозор. Это и была наша жизнь, наша надежда. Опасение, что однажды, когда — неизвестно, все вдруг изменится к худшему. Да, к худшему. Во мне сидел затаившийся в потемках страх. Вот сестра плавает в крови. У брата отсечена голова. Оказаться в могиле из-за трусости. Я никогда не строил иллюзий и не считал себя смельчаком. Просто надеялся, что в последний миг вылетевшая откуда-то искорка

заставит меня сражаться за свою человечность, за достоинство в заранее проигранной партии — принадлежать к роду людскому; за то, чтобы, до последнего продолжая жить, ни разу не изменить себе.

IV

Улочки Цирты были пустынны. Красные кресты на домах говорили о карантине; к закрытым дверям были прибиты длинные железные пластины; уцелевшие с ужасом рассказывали, что вместе с больными там запирали здоровых, топили их в пучине заразы; дей[1] отдал войскам приказ остановить напасть; еще поговаривали, что сам он заперся в своих покоях и никого не принимает, ночью не навещает своих жен, и любимейшая из них чахнет в лихорадке, во власти жестокого недуга, еще более ужасного, чем чума, опустошающая город; юные любовники наложницы дея один за другим угасли, и теперь по ночам ее бока немели в тех местах, где когда-то просыпалось острие плоти и она, как факел, высоко поднимала его в ночное небо, в едва уловимые наплывы жасмина и амбры, а дей, эта черепаха, утолял голод языками пламени и пеплом; теперь же, усталая и сонная, она, как паук, ползала по своим покоям, сетуя, что еще жива, вновь и вновь свивая нить похоти, питаясь мертвецами, как Цирта, что каждый день заглатывала добрую тысячу бездельников и выплевывала их в переулки, над которыми уже не первый месяц висел нестерпимый смрад — трупы гнили на солнце; в порту ни малейшего движения; корабли показывались только на горизонте; порой какой-нибудь парусник отважно приближался ко входу в гавань, к тому месту, где стены вот уже две тысячи лет, с тех самых пор, как существует город, пытались сомкнуться, — но тщетно: хрупкое суденышко, словно мучимое угрызениями совести, упиралось, какое-то время позволяло волнам себя трепать, раздумывая, бросать ли ему якорь, затем поворачивалось к призрачному городу и гавани кормой; оно уходило под лучами бронзового солнца, форштевень рассекал зеленую пену, паруса летели прочь от чумного кошмара, от Цирты, которая своей моровой язвой наводила даже больший ужас, чем пиратством; еще рассказывали — но это были всего лишь слухи, — будто беда пришла с каравеллы, с одного из тех кораблей, что подверглись досмотру в открытом море; что взятые оттуда и заточенные в цитадель пленники умерли первыми, все до единого или почти все; что якобы уцелел какой-то поэт, и это поначалу едва не стоило ему жизни — на него смотрели как на посланца чумы, ее властелина, — но затем все же помогло обрести свободу; колдун превращался в целителя благодаря силе слова, ибо с равным искусством действовал им как саблей и как скальпелем; его призвал к себе дей, затем любимая наложница дея, и этот человек рассказывал двум владыкам о своих воинских подвигах, которые хотя и стоили ему потерянной в морском сражении руки, зато наделили чудесным, божественным красноречием, прибавляла наложница дея, дотрагиваясь до его культи и веря, что это откроет ей путь к величию; а дей соглашался, счастливый, что ему наконец-то удалось отвлечься от чумы, думая, вероятно, что

1. Титул пожизненного правителя Алжира в 1711–1830 гг.

присутствие пленника, говорившего громко и надменно, уберегает его от смерти.

– Потребление гашиша растет с головокружительной скоростью, – произнес майор Смард, глядя на меня – Хосина, выбирающегося из зачумленной Цирты.

Полноватый, среднего роста, с бегающими светлыми глазами под высоким, но полысевшим челом. Когда он говорил, его рот складывался в куриную гузку, что придавало ему вид отставного фельдфебеля. Он протянул мне свернутый Рашидом косяк. Я взял его. Судя по всему, только что перевалило за полдень. Мы уже расстались со старыми друзьями. Хамид Каим пообещал прийти в комнату Рашида в четыре часа. Он явно хотел познакомиться с майором Смардом. Почему – он не сказал. Его, вероятно, влекло какое-то воспоминание о богатой приключениями молодости, когда он вместе с другом старался улизнуть от тайной полиции.

Выйдя от Али Хана, мы с Мурадом направились в Студенческий комитет университета. Рашид Хшиша руководил этой организацией, не имеющей отношения к политике, а Мурад вместе с другими студентами готовил здесь свой поэтический вечер.

– Сегодня в моде частный рукотворный рай, – обронил Мурад фразу в духе Бодлера.

Помещение, выделенное комитету, раньше было обычной аудиторией. На полу остались следы от столов и стульев, линолеум понемногу ветшал и отклеивался, как все в университете, который при рождении сверкал, а теперь до неузнаваемости постарел, почти развалился, и это бросалось в глаза и внутри здания, и в некогда прекрасном парке; студенты прогуливались там после занятий под руку с молодыми женщинами, стремясь увлечь их под какой-нибудь эвкалипт.

Мурад и Рашид Хшиша сидели у окна с подъемной рамой. Свет лился дождем и смешивался с тишиной.

– Почему? – спросил майор Смард.

– Вам это известно лучше, чем мне, – ответил Мурад.

На что он намекал? На торговлю наркотиками, которой занималась тайная полиция, или на политическую обстановку? Видимо, и на то и на другое.

Мурад предусмотрительно встал и шагнул к окну. Смешанной природы свет вспыхнул у него перед глазами. Он отпрянул. Потом почувствовал, как его обхватили ветви дерева, игравшие с лучами солнца. И солнце тоже оказалось не одно, оно размножилось. Как жизнь, наверное. Как разветвления судьбы. Что он хотел этим сказать? Бесконечное множество вероятностей. Чувство, заставлявшее его вслушиваться в песнь мира. Земля под ногами крестьянина. Простота и величие.

Мурад услышал свой голос, задававший майору вопрос:

– Как обуздать буйство природы?

Да и нужно ли это?

– Невозможно, ответите вы, – продолжал Мурад. – Тут вы правы. Как обуздать пылкость народа, который на три четверти состоит из молодых людей? Сделать доступными самые разные удовольствия.

Мурад смотрел на майора.

– Любовь? У нас это немыслимо.

Держать ее волосы в ладонях, и пусть они текут, как свет по стеклу. Держать в руках ее струящееся тело, и пусть оно танцует, как лист на ветру.

Мурад отошел от окна. Шагая по аудитории, он рассуждал вслух.

— О сексе говорить не будем.

А для меня, подумал Мурад, секс не больше чем обещание — несбыточное, и ее ноги под платьем, дающие мне прилив сил — воображаемый; и услышать ее стон, ее дыхание на пике блаженства, забыться подле нее, утонуть в свете и смятении.

— Спиртное? Не по карману, — продолжал Мурад. — На стакан пива уходит дневной заработок. Вы скажете: что нам пиво!

Когда заканчивались занятия, она тихонько стучала в дверь комитета: два легких удара, потом два посильнее — так они условились; он открывал. Снаружи эвкалипты сжигали солнце и бросали пламя в комнату, мешкать было нельзя; только избегать взглядов друг друга, слушать, как стонут огненные деревья; раздавались гулкие шаги последних студентов, потом они затихали в отдалении, из университета уходили молодые силы, и эвкалипты пели о своем страдании на теплом ветру, который трепал росшую под окном бугенвиллею.

Мурад услышал, как он чужим голосом говорит:

— Итак, алкоголь, секс и любовь мы вычитаем. Что остается? Ничего. Планов нет. Работы нет. Денег нет. Нелегко себе в этом признаться.

Она обнимала его, она, о которой и подумать было нельзя, что она уступит, — никогда, никогда. "Никогда", — бросила она как-то давно, вечером, когда он в первый раз задержал ее здесь, в помещении комитета. Он всегда носил с собой запасные ключи, как талисман, и она приходила, они растягивались прямо на линолеуме, сначала она отказывалась, ее мучила совесть, она не могла больше смотреть в глаза мужу, а он, что он об этом думает? Он не думал, он зарывался лицом в ложбинку между ее бедрами. "Ты никому не скажешь?" — брала она с него слово. "Нет, никому", — повторял он. "Даже твоему другу?" — "Нет, никому". И он целовал ее в губы, еще полные горячих, влажных капель, что катились по его телу; она садилась на него верхом, с отрешенным лицом, с закатившимися глазами, — нет, никому, — и он любил ее; так зачем же делить? как ей сказать? сказать, чтобы она принадлежала только ему, ее напряженное лицо и ноги, ему, ему, в сумерках, которые, порозовев от бугенвиллеи, пробирались в комнату, скользили по зеленому линолеуму, погружали его в тень и рисовали на ее груди мягкие переливы дня, умиравшего вместе с ее дыханием и ароматом цветов.

Голос Мурада, доносившийся словно из металлической коробки:

— Общество порождает свои идеалы: экономический успех для одних, интеллектуальный — для других.

Не следует ли упомянуть и телесный успех?

— Но наше общество ничего не в состоянии породить, — продолжал Мурад. — Оно вырождается. Вы смеетесь. Право, здесь нечему смеяться. Посмотрите вокруг. Уличный торговец без лицензии на торговлю...

А еще любовник без лицензии на любовь.

— ... у такого торговца больше шансов чего-то добиться, чем у того, кто двадцать лет жизни потратил на учебу, — продолжал чужой голос.

— Так мир устроен, — сказал майор Смард.

Ты не умеешь на них смотреть, шептала она, женщины не любят, чтобы их анатомировали взглядом, мы же не насекомые, и ее стрекозиные ноги поясом обхватывали его талию, он носил в себе гордыню самца, которая покоряла ее и вливалась в ее сосуды, гордая кровь, совершенная кровь, и текла по ним, как пурпурный день по распечатанным, словно письма, квадратам линолеума. Нет, она никогда не будет принадлежать ему, — никогда, слышишь? — и она запрокидывала голову, распущенные волосы скользили по его бедрам, по животу, по груди, падали ему на колени.

— Мир плохо устроен, — поправил Мурад. — Если вам интересно мое мнение, то мир стоит того, чего он стоит. А что касается травки — сами понимаете... Теперь, когда границы стали прозрачнее, этому помешать невозможно.

Нас уже ничто не удерживает: ни смертный час, ни груди страшной старухи — ничто не остановит мгновения, готового разлететься в пыль, и все погибнет, и ты меня погубишь, твердила она, ты запятнаешь мое имя, и она плакала в его объятиях, сломленная страданием, клялась никогда больше сюда не приходить, и все-таки он ждал, сердце выскакивало у него из груди, щеки пылали, и она вновь стучалась в ту же дверь, открытую в последний раз, это так и было, сумерки могли бы рассказать об этом ночи.

Мурад замолчал. Его окутывал голубоватый свет. У него за спиной, на солнце, начинал посвистывать ветер. Шелестели деревья. Сегодня утром он ощутил укол совести. Но не отступил от роли образцового студента. Ложь. Этот человек его ценил, ее муж был к нему привязан, словно в плохих романах. Они делили между собой одну женщину, одно ложе, теперь осквернённое. Он его любил, он был в этом уверен, и они разговаривали, спорили, там были еще журналист и Хосин, который ничего не знал, до сих пор считал его... Но ни о чем ему не говорить, не компрометировать ее, нет, главное — молчать.

Мурад услышал, как голос отчетливо произнес:

— Лучший из миров был бы компромиссом между ульем и клубком гадюк.

Пожалуй, сам он стал бы трутнем. Или гадюкой. Он не избежал рокового притяжения и, как все они, склонялся в сторону зла, сейчас ничто не удерживало его от падения, и он мечтал об улье, где они исполняли бы заранее назначенные роли, где правила, установленные задолго до их появления на свет, соблюдались бы, хотя никто и не подозревал об их существовании и смысле; однако по ночам гадюки сползались в его кошмарные сны, тогда, весь в поту, он просыпался и набрасывался на лист бумаги, писал и писал, выпускал целые вереницы слов, как ему казалось, не связанных логически, однако, перечитывая написанное по прошествии многих дней, он находил в нем смысл, который задавали слова, сцепляясь друг с другом на странице помимо его желания, и листки накапливались по мере того, как из ночи в ночь сменяли друг друга кошмары, под диктовку женщины, которую подгоняло то ли время, то ли обманутый муж, решивший предать ее смерти на рассвете.

— Вы преувеличиваете! — воскликнул майор.

— Не так уж сильно, — парировал Мурад. — Приглядитесь-ка, чего они хотят.

— Кто?

— Воины Аллаха, — насмешливо сказал Мурад.

— И чего же они хотят? — спросил майор Смард, изобразив заинтересованность.

— Порядка, — обронил Мурад и снова подошел к окну.

Майор Смард, повернув голову, следил за ним глазами.

— Но поступают они совсем иначе.

— Так значит, вы ничего не поняли! — запальчиво выкрикнул Мурад. — Им не больше моего хочется, чтобы продавец сигарет стал властителем умов. Но только они тоже больны. Больны куда серьезнее, чем думают.

— Чума, — сказал я. — Древняя чума.

— Вы их, кажется, любите, — заметил майор Смард.

— Я их ненавижу, — ответил Мурад.

Я декламирую:

— Наш город, сам ты видишь, потрясен ужасной бурей и главы не в силах из бездны волн кровавых приподнять. Зачахли в почве молодые всходы, зачах и скот, и дети умирают в утробах матерей. Бог-огненосец — смертельный мор — постиг и мучит город. Пустеет Кадмов дом, Аид же мрачный опять тоской и воплями богат[1].

Все молчали. Снаружи солнце время от времени исчезало за трепещущими эвкалиптами. Комната качалась от света к мраку и от него — к полутьме.

— Крыло трагедии простерлось над нами, — сказал наконец Мурад.

— Вы ошибаетесь, — возразил майор тайной полиции. — Наше государство крепкое. Оно сопротивляется. Каждый день наши люди выходят на бой с опасностью и отражают ее атаки.

— Война — кривое зеркало, — ответил Мурад. — Мы сами похожи на то, с чем воюем.

— Неужели вы хотите сказать, что я ничем не лучше этих головорезов?!

Майор Смард казался оскорбленным.

— Понимайте как вам угодно.

— С высоты своих двадцати лет вы нас поучаете. Вы бы сначала жизнь прожили, молодой человек.

— Я прожил.

— Вы не знаете своих врагов. Неужели вы думаете, что они позволили бы вам так рассуждать?

Мурад не ответил.

— В таком случае, зачем все эти речи? — продолжал майор Смард.

— А зачем запрещать мне говорить? — спросил Мурад.

— Да я вам в жизни не... Ох уж эти высоколобые! Ну будьте же хоть когда-нибудь реалистами!

— А вот это не наша миссия, — сказал Мурад.

— В чем же вы видите свою миссию? — вопросил майор Смард, скрестив руки на груди.

— Заставлять дьявола и Господа Бога вести диалог.

— Хватит! Ничего из нашего разговора не выйдет. Я должен идти.

Майор Смард встал.

1. Софокл. Эдип-царь. Пролог. Перевод С. Н. Шервинского.

— Сегодня вечером, если не возражаете, встретимся в "Шемс Эль-Хамра".

— Без меня, — фыркнул Мурад.

Я, ничего не сказав Мураду, принял приглашение майора. Мы с ним увидимся в самом популярном ночном клубе Цирты. Мне интересны сомнительные заведения и люди, которые туда ходят. У меня обостренный вкус к приключениям: поиск новизны, граничащий с риском погубить душу. Майор вышел. Солнце ворвалось в комнату. Ветер снаружи стих. Мурад все стоял у окна. Над его головой небо, лицо тонет в серебристых лучах. Он смотрел на нас, раскачиваясь с пяток на носки и обратно. Он что-то бормотал. Сказанные шепотом неразличимые слова, потерянная навсегда песня.

От полудня до четырех часов мы с Мурадом праздно бродили по парку. Махнув рукой на занятия, по большей части бессмысленные, мы плыли в пене дней. Это выражение, конечно, ничего не значит, но в те часы безделья бег корабля, море и его кипящие волны вытеснили из моего сознания все прочие образы. Под небом Африки полуденные часы порой так тягучи, так томительны, что им подобает растекаться морскими метафорами. Молчание Мурада принуждало к сдержанности и меня. Мне не хотелось отвлекать его от грез. О чем он мечтал? О вихревращении света, изливавшегося на нас стеклянными блестками? Этот свет сокрушал нас всей тяжестью своей подлинности. Или о Цирте? Сейчас мне страшно было оставаться ее полновластным хозяином. Только для меня, мрачного, одинокого, сбрасывала туфельки ночная бабочка. Только для меня замарашка садилась в карету, мгновение назад бывшую тыквой. Сказка? Но тогда кто же записывал каждый шаг моего беспорядочного отступления? Мои колебания, сомнения?

— Никто, — сказал Мурад.

— Ой! — вздрогнул я.

— Ты говорил вслух, — пояснил он.

Мы лежали под эвкалиптом, среди корней, на черной земле. Ветви укрывали нас от ярости солнца. Мы находились в сумрачном лесу. Было, наверное, около двух.

— Ты бормотал во сне.

— Я устал. К тому же сегодня вечером я работаю.

Мурад не ответил. Ему это было безразлично. Я тоже умолк и стал разглядывать ветви, ниспадающие, сухие. Свету иногда удавалось пробиться сквозь плотный занавес из желтых перьев. Тогда, ослабев, он капал вниз. Стоявшее в зените солнце ничего не могло поделать с рассеивающей силой листьев. Порыв ветра пробегал по этому руну, и небо смешивалось с землей, погребая под своей лавой спасительную тень, грозя утащить нас к себе в пекло.

— Солнце и смерть не могут смотреть друг на друга, — изрек Мурад.

На этих мудрых словах я закрыл глаза и принял в объятья милого спутника — сон.

Мне снилось...

Я стоял на солнце и ждал. Верхушка флагштока таяла где-то очень высоко в небе. Две или три темно-зеленые палатки, разбитые среди камней и пыли, — подобие военного лагеря. И больше ничего. Форта

Лотфи не существовало. Этот пункт не был нанесен ни на одну карту генштаба. Казарма стояла в пустыне. Проволочное ограждение расплывалось в жарком мареве, таяло под безжалостными лучами.

Словно статуя с отбитыми руками, аджюдан[1] лет пятидесяти, кривой – с черной повязкой на правом глазу, – прохаживался перед выстроившимися на солнцепеке солдатами.

– Смирно! – прокричал аджюдан. И прибавил, меряя шагами бесконечность: – Стоять, пока майор Смард не закончит инспекторский смотр.

Из пустыни вынырнули два человека. Они несли мотки электрического кабеля, несколько металлических коробок и два громкоговорителя. Все это они сложили возле флагштока. Один, долговязый, худой, припорошенный песком, напоминал обломок источенной временем скалы – множество их, немых свидетелей пустоты и безмолвия, разбросано по Сахаре. Другой ничем не походил на первого. Коренастый, коротконогий, он плохо вписывался в окружающий пейзаж; его будто в спешке притащили сюда и бросили где пришлось.

Они лихорадочно взялись за работу. Одноглазый тем временем приглядывал за солдатами, пришедшими в возбуждение от преизбытка света. В чистом и жарком воздухе форта разнеслась музыка.

– Отсалютовать знамени! – пролаял аджюдан, ввинчиваясь в песок.

Солдаты подровнялись, согнули в локте правую руку, поднеся ребро ладони ко лбу, саму ладонь открыв небу.

Долговязый и коренастый развернули знамя и, прикрепив его к тросу, падавшему с флагштока, стали поднимать. Оно поползло вверх под отрывистые звуки алжирского национального гимна. Когда музыка смолкла, солдаты немного расслабились. Одни надели фуражки, другие о чем-то заговорили, предвкушая скорый отдых.

– Команды "вольно" не было! – завопил одноглазый.

Подразделение оцепенело в недоумении и страхе.

– Смирно! Дожидаетесь майора Смарда, поняли меня? Поняли? – крикнул он во второй раз. – Не слышу ответа!

– Так точно! – хором ответило подразделение.

– Так точно, господин аджюдан! – проорал кривой, топая ногами.

Удовлетворенный, он сделал рукой знак тем двум, что стояли возле флагштока. Музыка зазвучала снова, жесткая, воинственная. Знамя реяло в вышине.

Шли часы...

Майор Смард, получеловек-полуконь, в сопровождении других всадников странной наружности вихрем ворвался во двор казармы. Его глаза метали молнии. По правую руку от него лисья голова на человеческом теле усмехалась, видя, как мы плавимся на солнце. В полном восторге животное насмешливо поводило носом. Чуть дальше привставал на дыбы ослепленный светом Пан. Приложив к губам флейту, он в миллионный раз исполнял национальный гимн Алжира. Эти три персонажа составляли разнородную и подвижную, как непристойное видение, группу.

Появилась танцовщица.

1. Унтер-офицерское звание во французской армии.

Голубое платье сидело на ней как влитое, подчеркивало изгиб бедер, облегало талию и бока, тонкое, нежное, легкое. Еще выше ткань обхватывала полную грудь.

Она танцевала под солнцем.

Она сбросила одежду. Ее нагота ослепляла. Она танцевала для него. Волнообразно раскачивалась. Одной рукой ласкала свои груди, не сводя с него глаз, пощипывала соски, которые постепенно твердели, и вздыхала. Для него. Ее пальцы пробегали по животу – для него, скользили по ягодицам, пробирались между бедрами, назад, вперед, белые, легкие, от ягодиц к влагалищу и обратно. Она поднималась на носки под взглядами Смарда и его свиты.

Она легла на горячий камень Сахары.

Раздвинула ноги, открыв зияющее отверстие влагалища. Контраст с белизной ее кожи поразил меня до боли. Я следил глазами за рукой молодой женщины, чьи тонкие пальцы исследовали низ живота. Они выходили наружу влажными и горячими. Свет дробился на ее будто жидких ногтях.

Плоть, открытая, щедрая, гостеприимная, околдовывала меня. Я всецело сосредоточился на проворных пальцах танцовщицы – на последней реальности перед забытьем. Я пробрался в ее сокровенность, влажную, горячую, подвижную. Я трепетал в ней, вместе с ней, сливаясь с женщиной, охваченный безумием.

Пофыркивая, человек с лисьей головой подошел к танцовщице. Она убрала руку и замерла в ожидании; ноги раздвинуты, рот приоткрыт, губы пылают. Он сунул внутрь морду, потерся о нежную кожу. Мне показалось, что я узнал молодую женщину. Она смотрела на меня. Она говорила со мной.

Самира кричала от наслаждения, когда Мурад меня разбудил. Деревья простирали над нами спасительную полутень. В сравнении со сновидением мир показался мне бледным, почти бесплотным. Коварная сила сна вновь заявила о себе здесь, в этом сумрачном лесу, на половине пути; зато Цирта больше не преследовала меня.

Сахара, огромное пространство, где терялись линии, пропитывала мой мозг, изгоняла из мыслей город, стирая всякую реальность. И границы города исчезали, очертания расплывались: казалось, песчаный горизонт в любой миг готов уйти в небытие, стечь в русло нашей пересохшей памяти. Наши жизни часто теряли нить, тонкий пунктир, который, разграничивая два мира, истинный и ложный, создавал некое равновесие, и пусть равновесие это все время было под угрозой, чему мы являлись живым доказательством, оно все же строилось на спасительном фундаменте.

Поэтому мы могли не бояться, что, выбравшись из вихря сновидений, очутимся в тисках кошмара, станем скитающимися в потемках пленниками своих представлений, тенями, что отбрасывают на землю ветви деревьев, далекими отблесками истины, расцветшей в огне. А Цирта жаждала мешанины, которая действует как солнце на заблудившегося в пустыне человека. Я страстно хотел вырваться из-под власти Цирты, чьим мимолетным любовником я минутами становился, сам того не желая.

Сегодня утром, уснув, я снова позволил всему этому всплыть на поверхность; и угроза нарастала, как глубоко запрятанный клинок, гото-

вый вспороть мне живот. Когда усталость вытягивала из меня жилы, Цирта заявляла о своем присутствии, непоправимость крепла в ней и зловеще нависала над миром, где мне хотелось жить и впредь.

– Мы опаздываем, – сказал Мурад. – Хшиша уже ждет нас.

Я поднялся и вновь, второй раз за день, поплелся за угрюмым поэтом, почти бежавшим впереди.

Из записной книжки Хамида Каима

Люди взломали дверь. На стенах танцевали черные тени. Крик вылетел из их глоток. Тени приблизились, с каждым шагом уменьшаясь, ноги укоротились, туловища стали тоньше. Три огромные безобразные головы наклонились к моему ложу. Кровать в спальне служила мне еще и конторкой. Войдя, они сбросили на пол мои бумаги, расшвыряли наброски и планы. Они сгребли листки в кучки и ткнули их мне в лицо. Так они предъявляли мне доказательства моей вины. Листки были исписаны мной. Знаки, покрывавшие их, вышли их-под моего пера.

Самый рослый уселся у меня в ногах. Устав от разора, он сопел, как выхолощенный бык. Воздух входил в его раздутые ноздри и выходил, вырывался наружу, как река в половодье. Он приблизил свое лицо к моему и всхрюкнул. Я отпрянул к стене. В спину мне впился грубо отесанный камень. Две вражеские тени, стоя у кровати, презрительно смотрели на меня, покачивая головами. Они держали в руках оружие – длинноствольные пистолеты и остро отточенные ножи, серебристые отблески которых плясали на полу из черных и белых плиток, положенных в шахматном порядке, – словно исписанные и чистые страницы.

– Ты знаешь.

– Я ничего не знаю.

– Ты написал это. Ты знаешь.

Он говорил, пыхтя, слова вылетали из кузнечных мехов, пылающие, раскаленные. Непоправимое произошло раньше. Теперь я получал по заслугам. Виновен. Я смотрел на обломки моего творения, на лежащую в руинах Цирту. Они уничтожили ее. Ворвались под покровом ночи. Кропотливо, камень за камнем, слово за словом возведенные стены – все это сейчас разлетелось сверкающими осколками. Улицы погружались в воду, и опрокинутая Цирта смотрела, как ее стены оседают в алой пене. Пожары, бушевавшие то тут то там между каменными домами, съедали ночь, дырявили небо. Быстрее звука они бежали с крыши на крышу, перелетали из окна в окно. Стекла лопались в огне. Страницы скручивались.

– Сейчас ты умрешь.

Море подступало, набрякшее желчью, грозное, и на виду у огня неистовствовало в страшных ласках, лизало тысячелетний камень, лизало фундаменты домов. Пальцы пены скользили по воротам – Баб-эль-Мандеб, Баб-эль-Джедид, Баб-эль-Мут[1], приподнимали дерево, заставляли лопаться бронзовые петли створок.

– Я не виновен.

1. Древние городские ворота в Алжире (столице страны), в период колонизации разделявшие два города – верхний, арабский, и нижний, французский.

— Виновен.

Мне было двадцать лет. Сейчас мое сердце — выжженная земля. Мы с Самирой гуляли по Садовому бульвару, в тени пиний...

Четыре часа пополудни. Комната Хшиши и Рыбы вот уже лет пятьдесят как не подвергалась насилию со стороны половой тряпки. Пятнадцать квадратных метров грязи. Мерзость, в которой мы скучились, сидим друг у друга на головах. Растянувшись на одной из двухэтажных кроватей — в комнате их было две, — Мурад глядел в потолок и курил папиросу с анашой. Пришел Сеиф со своей пылающей шевелюрой. После трех месяцев холодной войны он вновь сблизился с прежними приятелями. Находясь между двумя мирами, комиссариатом и университетом, он тяготел ко второму. Но компас показывал неверно: миры эти весьма походили один на другой.

На пороге возник Хамид Каим.

— Очень приятно, — сказал майор Смард журналисту. — Много о вас слышал.

— Хотите вина? — предложил Рашид Хшиша.

Хамид Каим отстранил стакан, который протягивал ему Хшиша.

— Кофе.

Хшиша распрямил свой голенастый, птичий скелет.

— Их надо под самый корень извести, — уже доказывал Сеиф, торопясь включиться в разговор.

— Пропустив перед этим стаканчик, — шутливо прибавил майор Смард.

Его голубые глаза неотрывно смотрели на журналиста.

— Недурно, — сказал майор, смакуя вино, принесенное для того, чтобы развязать наши бедные ученые языки. — Отказываетесь от райского напитка, — заметил он.

— Я пью его только в подходящей компании, — ответил Хамид Каим.

— Вы хотите меня рассердить? — миролюбиво спросил майор.

— Я имел в виду гурий, — отрезал Хамид Каим. — Рай, вино и гурии. Тут не о чем спорить, так ведь?

Наживка, хотя и с трудом, была проглочена.

Мне стало весело. Эти двое явно задирали друг друга. Сейчас залп выпущен по майору.

Хамид Каим прибавил:

— По просьбе Мурада — а он у нас писатель — я позволил себе присоединиться к вам. Надеюсь, вы не будете возражать?

Журналист смотрел на майора, который без всякого удовольствия пил вино.

— Ничуть. Как видите, я очень рад. Осмелюсь спросить: как вы познакомились?

— Ни для кого не тайна — и в особенности для вас, любезнейший, — что этот молодой человек напечатал в одном французском ежемесячнике интереснейшую новеллу. Я написал о ней заметку. По счастливой случайности оказалось, что Мурад — один из студентов Али Хана, моего давнишнего друга. Так что все вышло как нельзя проще. Впрочем, у нас в стране это не редкость.

Глаза майора помрачнели. Роли переменились, и он впервые почувствовал себя обвиняемым. Я упивался тем, как резко упало у него настроение.

Майор Смард отставил стакан и взглянул на собеседника. Он, казалось, размышлял. Менял планы. Он чувствовал, что Каим – его противник. И принял это во внимание. Обычно перед ним пресмыкались, и это давало ему власть, которой он пользовался легко, как чем-то само собой разумеющимся. Змея ведь тоже использует свою власть, только когда видит глаза врага. Но на этот раз враг сам смотрел не мигая.

– Мне говорили, что вы вышли на пенсию. – Каим вогнал острие поглубже.

Майор Смард утвердительно кивнул.

– У этих молодых людей большое будущее, – продолжал Каим. – Так что возникает что-то вроде несовместимости, вы не находите?

– Почему же? Объясните.

– Ваше будущее осталось в прошлом, – обронил Хамид Каим.

Майор сощурил глаза. Выкрикнул:

– А вы, вы... Подумали бы лучше о своем будущем!

– Времена сейчас нелегкие, и в этой стране быстро отправляют на тот свет, – сказал журналист. – Но я вас не боюсь, вы же знаете.

– Я вижу, мне здесь больше делать нечего, – бросил нам майор, вставая.

– Я вас за язык не тянул. Возвращайтесь к своим делам. И не забудьте вино.

Майор Смард вышел, хлопнув дверью. Рашид Хшиша и Рыба сидели с вытянувшимися физиономиями. Миллионы-то тю-тю.

– Не будет больше нас доставать, – сказал Мурад, затягиваясь травкой.

Его черные вьющиеся волосы стояли торчком.

– Этот идиот действительно унес бутылки с вином, – заметил Хамид Каим. Сеиф расхохотался.

– Его и ему подобных тоже надо поубивать, – сказал он.

– Вам не кажется, что мертвецов уже предостаточно? – спросил Каим.

– Нет, – отрезал Сеиф.

Наш друг, с головой толстощекого юнца на теле атлета, ростом был никак не ниже метра девяноста. Его взгляд оставался непроницаемым.

– Эх, плакали наши денежки! – жалобно простонал Хшиша.

– Деньги – дело наживное, – сказал я.

– Сентенции здесь изрекать буду я! – заорал Хшиша.

Он встал и подошел к окну.

– Эй, вы все там, потише, – произнес Мурад, следя глазами за струйкой дыма. – "Роскошь, спокойствие и наслаждение".

– Мать твою... черт возьми! – выкрикнул Хшиша. – Ты, что ли, кормить меня будешь? Видеть вас всех больше не могу. К вам это не относится, – прибавил он, обращаясь к Хамиду Каиму. – Вы мне очень симпатичны.

– Ну, значит, теперь мы все довольны друг другом, – сказал Сеиф.

– Да.

– Угу.

– *Да.*

– О'кей.

...Тени возвращались каждое утро, при пробуждении. Огромные, они ложились на стены комнаты и растягивались, как в китайском театре. Три лица склонялись над кроватью. Густое смрадное дыхание било мне в ноздри. Пытаясь защититься, я поднимал руки и отползал назад. Тщетно. Мне было двадцать лет, и впереди у меня была книга — так я думал. Они вламывались на рассвете, крушили все на своем пути, швыряли на пол простыни и одеяла. Хватали меня за волосы, тащили по полу, по страницам, белым, черным, как плитки пола, выложенные в шахматном порядке. Я вырывался. Один из них бил меня. Я стонал.

— Это ты написал.

— Да, я.

Они читали, перебрасывались шуточками. Потом плевали на пол, бросали под ноги испещренные знаками листки, топтали их. Крепостные стены рушились. Тысячелетние камни отваливались друг от друга и летели в море, вздымая смерчи, белые, ненастоящие. Цирта, выстроенная моими руками, явившаяся на свет из моей головы, стремительно удалялась и умирала под сыпавшимися на нее ударами. Мощеные улицы исчезали из моего мозга. Дети тонули. Их крики врывались в мои растерзанные внутренности. Все гибло, как знаки на песке под порывами ветра.

— Ты скажешь. Ты слышишь меня. Ты скажешь.

Бычья голова обнажил саблю. Его дыхание обволакивало меня. Мне некуда было деться от змеиного шипения, вырывавшегося из его ноздрей. Я где-то обронил нить. Нить моих историй. Я не мог вернуться. Ночь обступила меня со всех сторон. Виден был только глаз палача, один-единственный сигнальный фонарь во мраке.

— Ты все нам скажешь.

Его лицо давило меня, как свинцовая плита.

— Мне нечего сказать.

Удары и оскорбления сыпались градом. Рушились уступы скалы. Из черного зева брызгало пламя. Оно клубами разлеталось в ночи. Кровавыми клубами. Пламя пожирало звезды, светящиеся безжизненные дырочки. Стекла взрывались. Их осколки разлетались во все концы света. Мосты погружались в пропасть. Деревья воспламенялись. Эвкалипты со своими длинными ланцетовидными листьями пылали, как краснеющие драгоценные геммы.

Мир подходил к последнему пределу. Его обитатели разбредались по земле, кто куда, надеясь спастись от чудовищной волны, набиравшей силу на севере. Цирту со всех сторон окружал песок. Красный песок — сколько хватало глаз. Море поднималось. В незапамятные времена назначенное хранителем, оно готовилось накрыть собой все, от заката до восхода.

— Скажешь!

Я заперся в осажденной водами Цирте. Я не хотел больше их слышать. Я слушал яростный шум жидких масс, строившихся в когорты. Я слышал поступь неисчислимых легионов, которые вот-вот должны были обрушиться на мир.

Слово обретало плоть — страшную плоть.

— Говори!

— Во имя кого?

Того, кто, потрясая воздух, родился от ночи. Того, кто назвал небо небом, а воды водами и разделил их. Того, кто шелковистыми фестонами развесил созвездия и оставил их шириться, расти. Почему же я не находил слов, что воздвигают и творят? Почему дар речи оставил меня в час распада? Крики. До ме-

ня долетали крики. Они подтачивали фундаменты, грозили заживо похоронить меня. Одни лишь крики сопутствовали мне.

Эти развалины, эти дома на изрезанной трещинами земле, эти сорванные мосты, эти страницы, нанизанные на клинок сабли, эти сыпавшиеся мне на голову удары – было ли записано в них пророчество о моем воскресении, моем зените? Восстану ли я, как феникс, из этого пущенного по ветру пепла, из распятого скелета, обрету ли прежнее лицо и тело? Возродится ли мой город? Способны ли слова воспеть первые проблески его грядущей славы?

Я путался. Мое произведение горело. Никогда больше не возьмусь я за перо. Никогда больше не стану складывать слова, чтобы проложить борозду, где зародится жизнь.

Только что Мурад и я ушли от Рашида Хшиши, прихватив с собой Хамида Каима. День клонился к вечеру, и свет понемногу терял резкость. Окуная листья в обжигающий ветер, большие эвкалипты кивали палево-голубому небу.

Шагая рядом, Хамид Каим рассказывал:

– В последние дни восстание оказалось во власти единственного реально существующего идеологического движения – исламизма.

5 октября 1988 года часть молодежи бросилась на улицы Алжира с неистовством вышедшей из берегов реки. Паводок захватил многие города – не осталась в стороне и Цирта, – грозя начисто смыть издыхающую политическую систему. Восстание было подавлено с чудовищной жестокостью. По улицам Алжира ездили забитые трупами грузовики. Причинами такой катастрофы стали молодость манифестантов, в большинстве своем почти детей, и отсутствие политического проекта.

Мирная манифестация, потопленная в крови, послужила политической трибуной для движения, которое теперь могло прятаться за мертвецами, за пропавшими без вести, за искалеченными детьми, за вдовами.

– Когда я писал свои первые статьи, я не мог не видеть этой истины, – произнес Хамид Каим. – Демократы-эмигранты напрасно придирались друг к другу в радиоэфире, прикидывали так и эдак, порицали, спорили о происходящем – они ничего не знали о том, чем жил изнемогающий, затравленный народ, отчаявшаяся молодежь.

Журналист смотрел на нас. Мурад кивнул в знак согласия. Худое лицо Хамида Каима морщилось от солнечного жара.

– И все же я думал, что еще возможно повернуть ход событий, вновь придать демократический импульс тому, что сбилось с пути истинного в безумной тяге к прошлому.

Эвкалипт опустил к нам свои листья. Мятное благоухание коснулось моих ноздрей, затем рассеялось, унесенное прочь множеством иных запахов этой земли – кроваво-красной, сумеречной и, как мне казалось, бесконечно усталой. Возможно, я ошибался. Неоспоримой истиной были лишь косые лучи света на наших лицах, пламя меж деревьев. Университетский городок в пять часов вечера был переполнен густыми благовониями юного лета.

После событий октября 1988 года, а может, и раньше Хамид Каим осознал жизнь как отсутствие, как громадное, ежедневно носимое одиноче-

ство, ставшее бременем, ярмом. Он обращал взгляд в будущее, которое, как говорили, принадлежало ему, и не мог различить в нем даже малейших признаков надежды. Некогда он жил, любил, но этого больше не было, и с этим следовало смириться. Теперь он довольствовался исполнением долга — чтобы, как он сформулировал для себя, избежать меланхолического безумия. По утрам он вставал, садился в поезд, который вез его в город, шел по улицам — позже они станут внушать ужас, пока же ходить по ним было страшно из-за грязи, — поднимался по лестницам в редакцию. Там, поздоровавшись со всеми, он садился за стол и начинал работать над новой статьей.

Часто он откладывал ручку, вставал, подходил к окну своего кабинета и смотрел на серый город, катившийся вниз, к морю. Улицы набегали друг на друга, образуя некое подобие шахматного поля, клетки которого были заполнены островками жилых домов, небольшими парками, где точили лясы редкие гуляющие, и огромными пустырями, что были усеяны холмиками отбросов. Свалки захватывали города.

Он подолгу останавливался взглядом на этих обширных пространствах, копался в каждой складке пустыря, вычислял, как геометр, малейший наклон почвы, вникал в едва ощутимые топографические различия: тогда он ощущал, как между ним и этим неровным пустырем, между ним и этим полумертвым городом рождалось некое согласие, столь зыбкое, что оно не выдерживало и малейшей попытки его проанализировать. Но Хамид Каим умел растворяться, исчезать, уплывать в просторные, темные, грязные глубины города и моря.

— Как-то июльским вечером 1989 года, — вновь заговорил журналист, — мне позвонил юноша лет двадцати. Октябрьские восстания уже заволакивались дымкой воспоминаний.

Из тех потрясений возникла независимая пресса, вылупились бесчисленные политические партии, однако эйфория, идущая рука об руку с отвоеванной в ходе восстания свободой, понемногу спадала: все возвращалось на круги своя. По невероятному стечению обстоятельств рядом с цветущей свободой распускался другой цветок — отвратительный, буйный, болезненный. Исламизм позорил наши города.

Власти с удовлетворением смотрели, как прорастают зерна бури. Неужто они хотели снять кровавый урожай? Теперь на этот счет не оставалось никаких сомнений. Ночной звонок подтвердил то, что Каим уже подозревал. Человек на другом конце провода говорил тихо, словно боялся, что его подслушивают. Он выследил того, кто его пытал, и хладнокровно убил его. Кем был убитый? Агентом госбезопасности. Перед смертью из него удалось вытрясти признание: за октябрьскими волнениями стояли определенные армейские структуры.

Каим начал со статей, направленных против пыток. После убийства президента Будиафа, в чье ближайшее окружение он входил, он с удвоенной отвагой и яростью стал нападать то на власти предержащие, то на исламистов.

Однажды утром Каим обнаружил за порогом своей квартиры белую простыню, из которой выскользнул кусочек мыла. Простыня — саван, мыло — для обмывания покойника. Так ему давали понять, что он приговорен к смерти. Он ничего не предпринял, просто закрыл дверь.

Странное дело: за четыре года, истекшие со дня смерти Будиафа, исчезли все, кто его окружал, — журналисты, писатели, социологи, по-

литики. По большей части они были убиты; некоторые умерли при невыясненных обстоятельствах. Сменявшие друг друга кабинеты министров возлагали ответственность за эти убийства на террористов. За исключением Хамида Каима, не осталось свидетелей того, как правил Будиаф.

"В день смерти Будиафа, 29 июня 1992 года, я понял, что ждать от этой обезумевшей страны больше нечего, – продолжал Хамид Каим, шагая по кампусу. – Я продолжал писать. Я так любил ее. Любил ее волосы. Но Самира покинула меня, оставила один на один с книгами. Больше я так никого и не полюбил. Я отступил от заповедей предков. Семь лет полной неожиданностей, непредсказуемой жизни. Пришло время научиться приподнимать шляпу и, сделав в воображении пируэт, на цыпочках удаляться, по примеру клоунов, на чьи представления меня водили в детстве. Тех, что выкатывались на сцену, спрашивали нас, в чем смысл всего этого балагана вокруг, жаловались на соседей, рассказывали о своих неприятностях с дирекцией, а затем, в конце представления, раскланивались. Отец и мать вставали с мест и аплодировали в темноте. Я словно вижу их вновь: молодые, гордые, полные иллюзий. Война кончилась совсем недавно. Многие годы их жизни прошли в тягостных ссорах. Я был с отцом, когда он умирал. Он взял мою руку и сказал:

– Жалею, что не подарил тебе братьев и сестер, но твоя жизнь точно будет интереснее моей. Может быть, легче.

Потом отец умер.

Он происходил из бедной многодетной семьи. Часто рассказывал о детстве, о своем отце, которого жизнь, высосав до капли, на два долгих года бросила парализованным на убогом чердаке. Онемевшего окружали дети, слишком маленькие, чтобы понять, почему их отец больше не говорит. Когда ему было тринадцать лет, он работал на известковых шахтах в Эльзасе. Призванный на кошмарную войну, он исчез на пять лет и вернулся домой, когда жена думала, что его уже нет в живых. Он сделал ей новых детей и ее же ругал за то, что она, мол, плодит нищету. Поколачивал ее, как проговорилась мне одна из тетушек. Мой отец держался за миф о своих предках. Не отступался от гордости рабочего человека с трудной судьбой.

– В нашей жизни было много героического, – бросил он мне както. – Мы выжили.

Да, они были героями. Мои дядья – я их не знал – погибли в партизанах; одного из них десантники во время сражения за Алжир пытали, а потом прикончили ударами топора. Моя бабка умерла через много лет после своего мужа. Больная старуха, разговаривавшая с дочерьми по-кабильски. Она никогда не упоминала о покойном муже, по-видимому тяготясь своим прошлым – прошлым женщины порабощенной и незамечаемой.

А теперь у нас опять век эпических поэм. По иронии Истории мы запустили новый цикл насилия. Две тысячи лет непрерывных войн. Из глубин нашего прошлого звучит призыв к крови и слезам, движется процессия вдов и сирот".

Мы гуляли неподалеку от все той же полыхающей аллеи эвкалиптов. Мурад курил сигарету, тридцать шестую за день. Я смотрел на ог-

ненное небо и слушал журналиста, которому уже совсем скоро нужно было уезжать. Тогда мы не знали, что это его последние дни. Для нас был важен только свет.

В тот день 29 июня 1996 года у нас были все основания думать, что смерть прошла мимо журналиста. Сам же он помнил о белой простыне и кусочке мыла. Тем вечером он возвращался в Алжир, Мурад шел домой, к родителям, а я — на работу в гостиницу "Хашхаш".

V

Нынче ночью прогулка по Цирте успокаивала меня. Непроницаемый город позволял мне идти туда, куда я хотел. Он больше не пытался ни соблазнить меня, ни напугать. Его улочки больше не разверзались у меня под ногами, убогие домишки оставались закрытыми. Торговцы мебелью, набиватели матрасов, медники не возникали из тьмы, не преследовали меня в часы моего бодрствования. Ни один поток прохожих не катился вниз по тропинкам моей памяти, ни одна женщина, отягощенная корзиной с овощами, не подгоняла перед собой кучку сопливых детей, окруженная, как ореолом, мерцающими запахами сорванных на заре петрушки и мяты. Зеленые лимоны не испускали свои летучие, похожие на маленькие смерчи ароматы, благоухание жасмина не цепенило мой ум. Конец рассказам о пиратах; хватит делать подонков героями сопротивления; мне опротивели безумные легенды, что родились из трех тысячелетий войн, слез, крови. Даже на террасах больше не было томных женщин, и за шерстяными тканями, складками драпировок, покрывалами из белого или кремового льна уже не перестаивала никакая плоть, не предавалась мечтаниям любимая наложница, лаская себе вульву, с пеной в углах рта, любители подглядывать больше не погружались в сон, пяля глаза на какую-нибудь сапфическую сцену, убаюканные пением слепого барда родом из Андалусии. Напевные жалобы давно минувшего времени не разносились над водой, над остриями пены. Да и море теперь не было страшно ни путешественнику в дальнем странствии, ни одинокому капитану, и самолеты легко садились в крепости. Еще шаг, и я представил себе, как исчезает война, вливавшая в нас свою ярость, как приходит конец терроризму, возвращаются гражданский мир, демократия, становятся свободными женщины, которых я любил. Я любил их всех, желал видеть их равными в радости, счастье, благополучии, да что там! Югурта мог сбросить доспехи, Сифак — заснуть беспробудным сном, Масинисса — оставить Карфаген в покое, Ганнибал — с головой нырнуть в капуанские наслаждения.

Я пересек западную равнину и вышел на берег. Морю снились голубоватые сны. Я забавлялся игрой с прибоем. Сосредоточенный шепот волн делал почти осязаемым течение времени, медленное и печальное. Оно плыло вслед за волнами. Мною овладело чувство вечности. Я растянулся на песке, обратил лицо к звездам и предался ощущению неукротимой и к тому же чужой жизни, чье упрямое биение протекало по моему телу, не оставляя никаких примет, еще менее постоянное, чем след ветерка на крыле бабочки. Я жил полной, уносящей меня от действительности жизнью — отданной ощущениям, по-

павшей в плен к песням ночи, затверженной волнами. Короткая жизнь. Новая жизнь.

Каим уехал. Самолет каждый вечер поднимался в воздух над Циртой, извилистым маршрутом пролетал над лентой побережья и наконец приземлялся в Алжире. Журналист вернется к своей жизни в той самой точке, где он прервал ее, в скромном кабинете. Выйдя из комнаты Хшиши и Рыбы, он взял меня и Мурада в наперсники и рассказал нам о себе. Почему он выбрал нас? Другие, Рашид или Рыба, тоже прекрасно бы подошли. Что касается Мурада, то причина здесь вполне очевидна. Говоря с нами, Хамид Каим обращался к следующему поколению, к потомкам. У Мурада тоже с уст не сходили слова "потомство", "вечность" и еще бог знает какие. Неуемное воображение пагубно воздействует на рассудок молодого человека. Мне об этом кое-что известно. Я, как мне казалось, уловил в словах Каима желание исповедаться. Этот человек освобождался от груза жизни. Между прочим, он рассказал нам гораздо больше, чем требовалось. Он даже частично поведал историю своих чувств. Историю любви, настоящей и очень скоро загубленной, к молодой женщине по имени Самира. Усиливающаяся хандра. Путешествия с другом, Али Ханом. Возвращение Одиссея. И в самом конце — ночь, небытие. В девять часов вечера, когда я шел в гостиницу, из слов Каима стал сочиться яд. Я почти уверен, что, не будь его истории, не случилось бы ни одного, даже самого незначительного из тех событий, что занесены в этот дневник.

Мабрук-хаджи, весь в слезах, поджидал меня на пороге гостиницы "Хашхаш".

— Сын мой, на наш дом обрушилось большое несчастье, — выговорил он хриплым от рыданий голосом. — Мой брат Тубрук-хаджи попал в больницу.

Он втащил меня в свой притон.

— Что такое?

— Большое несчастье, сын мой, большое несча-а-а-стье!

Он подвывал, простирая руки к небесам, потом ронял их, обхватывал голову ладонями, даже принялся рвать свои жидкие волосы.

— Тубрук-хаджи купил пятьсот миллионов франков и пошел в банк, — продолжал он, икая. — Там ему сказали, что эти деньги фальшивые. Все до одной купюры фальшивые, сын мой. Большое несча-а-а-а-астье, сын мой.

Он снова взвыл.

— Как чувствует себя хаджи?

— Миллиард, сын мой, миллиард!

— Ну а хаджи? Он в больнице?

— Испарился!

— Он умер?

— Как дым!

— Да примет Господь его душу.

— Да-да, пусть примет Господь его душу, сын мой. Пусть примет Господь его душу.

Клочья волос летели во все стороны.

— На какой день назначены похороны?

— Какие похороны?

— Похороны Тубрука-хаджи.

— Почему? Он умер? — спросил он, остолбенев.

— Да я не знаю. Вы же сами только что сказали, что он мертв.

— Удар, сын мой. Упал. Замертво! Как пришибленная муха. Но не умер. Миллиард, понимаешь, сын мой? Миллиард динаров! Лучше бы ему было умереть.

— Как вы думаете, у него есть шанс выкарабкаться?

Он задумался.

— После этого миллиарда? Сомневаюсь.

— Ну значит, — сказал я, — он умрет, сраженный случившимся.

— Нет.

— То есть как нет?

— Ты недобр, сын мой. Ты желаешь нашей погибели.

— Да нет, что вы!

— Желаешь. Ты нам обоим желаешь гибели, ты послан дьяволом!

Глаза вылезали у него из орбит.

— Иблис! Иблис! Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного! — забубнил он под лестницей. — Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет — пророк Его. Ты проклят, сын мой! Проклят! И потомство твое будет проклято! Это ты все так подстроил, что мы потеряли миллиард.

— Да никогда в жизни!

— Это все твой дурной глаз, ты завистливый пес!

Хаджи схватил "руку Фатимы", висевшую на стене, и стал натужно ее лобызать. Потом простер ее перед собой, крича:

— Изыди прочь, нечистый дух!

Он надвигался на меня, потрясая маленькой рукой из верблюжьей шерсти. Размахивал ею у меня перед носом, чертя в воздухе загадочные знаки. Несколько раз он чуть не заехал мне кулаком по физиономии.

— Уходи! Оставь тело несчастного Хосина, славного юноши! Покинь бренную оболочку этого доброго мусульманина! Это не твое жилище, Иблис! Иблис, Иблис, повелеваю, изыди!

Он протянул мне мое жалованье, в том числе неустойку за увольнение — не бог весть что.

То ли дьяволом, то ли славным парнем покинул я гостиницу "Хашхаш", решив идти домой.

Цирта изнемогала, исходила мукой. Густая ночь, как тяжелый занавес из темной парчи, покрывала улицы, дома, небо. На отяжелевших тротуарах возились коты. Они играли, запускали друг в друга когти, мяукали, дрались за кусок рыбы, за обрезок мяса, за отбросы. Последние ротозеи торопились по домам. Я представлял себе их жизнь, их квартиры, семьи, лестничные клетки, подъезд: с наступлением ночи, когда отовсюду подступало безмолвие, они бросались в него будто в пропасть, встречались с соседом — смельчак спускался по разбитым, чаще всего загаженным, обреченным на разрушение ступенькам. У выхода из подъезда он на мгновение останавливался и, собравшись с духом, выбегал в город. Станет ли он ходить часами, как я? Будет ли, как я, стучать каблуками по знакомой тени на натруженном асфальте, по неровной брусчатке нищеты? В этих узких улицах, на ушедших во тьму многоликих бульварах —

они оживали, окликали друг друга во мраке, выли от того, что не могут сползтись, стать клубком свившихся змей, — стряхнет ли он с плеч оседлавшую его дряблую судьбу? Биение, медленное, мерное, разрезало тишину, звучало в такт нашим шагам, нашим обезумевшим механизмам, абсолютной необходимости — мы ощущали ее как рабство — все двигаться и двигаться вперед. И драться за каждый шаг. И драться за каждый вздох. Как коты. На окраине мира, на углу какого-то переулка я повстречался с Ходом Времени. Он валялся на своем гноище. Его волосы были черны и засалены; он пил вино из горлышка бутылки.

— Как Господь назвал тебя?

— Никто, — ответил я. — Никто.

Его единственный глаз пристально оглядел меня. От крыши отвалилась черепица и вдребезги разлетелась перед нами. Он загородил бутылку, свой источник тепла и жизни. Теперь он стоял почти прямо и говорил мне:

— Не смейся надо мной; книги — что ж, я их прочел, все до одной прочел и впитал; книги, которые Бог наименовал, показал нам, вот как я тебе показываю эту бутылку, и повелел изучить: "Читай, читай", — так он мне говорил, и я пожалел о зыбком времени, когда жизнь — тогда еще она, — резвясь, играла на моем теле, ибо слова, это точно, навсегда отнимают у нас ее ласку; так не смейся же надо мной и дай мне несколько монет, ведь боги, как написано, скитаются по дорогам в сопровождении своих юных дочерей: моя бутылка, моя слава, и я, прежде чем воспеть твое путешествие, пью почти вслепую. Дай же, дай мне монеты, что отягощают твой карман.

Я порылся в карманах. Протянул ему три монеты, которые он пересчитал и лишь потом спрятал в складках своего рубища. Он разок подмигнул; напевая, поднял бутылку. Я отошел от него на другой тротуар. Море ожидало меня. Оно развлекалось, слушая собственный рокот. Казалось, Левиафан хочет поглотить Цирту, которая старалась убежать, выставляла оборону на флангах, откатывалась назад, съеживалась за крепостными стенами. Возвести высокие, надежные, грозные парапеты для защиты от океана наших снов, от мускулистого моря. Какой-то безумец, почти не шатаясь, шел по песчаному берегу, по той линии, где умирала волна, выбившаяся из сил, одурманенная сном.

— Не знаешь, который час?

Он просил сказать именно то, о чем я тщетно пытался забыть.

— Половина одиннадцатого.

— Холодно. Знаешь, где находится Итака?

Нет, я не знал. Он дрожал всем телом, чуть сознание не терял.

— Где Итака, знаешь?

— До нее еще довольно далеко, — ответил я, надеясь, что после такого ответа он отстанет от меня.

Над нами на дороге остановился "пежо-505". В тесном салоне сгрудились четверо мужчин. На коленях у них дремали "беретты".

— Вы, двое, что тут делаете? — спросил шофер.

— Я ищу Итаку! — завопил сумасшедший.

Трое мужчин вышли из машины. С оружием в руках обступили нас. Безумец продолжал вопить:

— Итака! Итака! Итака!

Они сняли предохранители. Машина урчала. Я тоже завопил.

– Итака, родина моя, Итака, песнь моя! – неистовствовал безумец.
– Быстро заткнись! – негромко обронил один из них.
– Родина моя! Песнь моя! – проорал сумасшедший.
Они открыли огонь.

Подгоняемые криками жителей, высыпавших на крепостные стены, фелуки[1] пробирались к галионам; корабли с прямоугольными парусами, перегруженные людьми, пушками, продовольствием, маневрировали тяжело и медленно, даря бесценное преимущество хрупким суденышкам, веером рассыпавшимся по морю; с высоких стен Цирты неслись вопли женщин, потрясавших младенцами; брызги сыпались на их юные тела, раскрасневшиеся от морского ветра; барабаны грохотали в такт проворным движениям матросов; пузырящиеся тюрбаны и штаны воинов хлопали на ветру, покрытые сгустками пены, разрезаемой острыми, как лезвие ножа, килями. Грузные корабли, точно сбитые с толку шмели, теперь пытались выстроиться в линию на темной, бившейся о них волне; с капитанских мостиков летели противоречивые команды; пушкари беспрерывно меняли цели, мушкеты то и дело перекладывались с плеча на плечо; исполняя приказ, люди устремлялись с одного борта на другой. Полвека грабежей и морского разбоя восстановили все католические нации против Скалы; Испания снарядила армаду – Непобедимую, – дабы покончить с анархией на море, уничтожить корсаров в самом их логове и, обложив со всех сторон Улей, разорить его; это дало бы ей контроль над южной частью Средиземного моря, великий Турок был бы загнан в угол, а мощь и слава Полумесяца сокрушены. Варварские песни неслись к небесам, им вторили барабаны, их перекатывали туда-сюда волны, раскаляла лихорадка сражения; фелуки со всех сторон окружили армаду испанского короля; строй кораблей сломался; отдельные каравеллы уже пытались спастись бегством – и застревали, по оплошности отрезав себе ветер; паруса сдувались, как лопнувшие пузыри; по чьему-то безумному приказанию был открыт огонь, и в самую гущу полетели снаряды; два корабля из королевской флотилии пошли ко дну; легкие суденышки разлетелись в стороны, как шершни; раскаленными докрасна ядрами они палили ниже ватерлинии, вспарывая животы самым большим и тяжелым судам; как знамена, поднимались на них пестро одетые, похожие на обезьян матросы, перекликавшиеся на столь же пестром наречии: сардинские слова мешались с арабскими, корсиканские – с турецкими, испанские – с берберскими; многоязычье этой гремучей смеси тоже сопротивлялось крестовому походу, жестокости народов; вскипевшее алой пеной, залитое кровью море хлынуло на берега мира, и в нашем мозгу до сих пор льется пенная песнь легенд, которые натравливают нас друг на друга и тем самым увековечивают владычество Цирты над нами, растаптывают наши судьбы, заглушают любой проблеск света, любую искру, ибо из поколения в поколение мы тешим себя рассказами о бесславной и в то же время воспеваемой и превозносимой победе, то и дело падая в сон. Сон – зеркало; наше зыбкое отражение в нем – это и модель, и портрет, и холодная мраморная статуя.

– Какого черта ты торчал на улице?

1. Небольшие парусные суда для плавания в прибрежных водах.

Мне показалось, что допрашивавший меня человек возник из черных волн, в которых плавали трупы испанских моряков; просторные одежды стали им саваном, а головы, как нимбом, были окружены коричневыми сгустками, похожими на водоросли. Цирта впитывалась в мою память.

– Я возвращался с работы.

Цирта начинала всасывать меня.

– В десять вечера? – спросил полицейский. – Смеешься, что ли?

Мне было все равно; еще немного, и я навеки останусь пленником сна. Невозможно прогнать его прочь. Невозможно разбить зеркало.

– Нет.

– То есть как это нет?

– Да вы не нервничайте.

– Здесь я отдаю приказы! Пидор несчастный!

– Очень приятно.

Полицейский изменился в лице.

В главном комиссариате Цирты происходило непрерывное копошение. Повсюду ползали усталые фараоны: по коридорам и кабинетам, между столами и стульями, куда ни взгляни.

– Очень приятно с вами познакомиться, – сказал я, чтобы успокоить полицейского. – Я работаю портье в гостинице "Хашхаш".

– А, у этого ворья! Сегодня утром мы одного забрали – пытался сбагрить в банке фальшивые деньги. А еще хаджи, тоже мне! Он в коме.

– Удар.

– Ну еще бы! Он как подумал, что сядет за спекуляции с наличностью... Но тебя это не касается. Поехали дальше. Ты почему ошивался на улице?

– Шел домой.

– Я так понял, бесовское отродье, – сказал он, – что ты ночной портье. Когда тебя взяли, ночь только что наступила. Значит – следи за моей мыслью, – что-то не сходится.

– Меня выгнали.

– За что?

– За бесовщину. Ну вроде как вы здесь.

Я получил сильнейшую затрещину, от которой у меня перехватило дыхание.

– Это тебя вразумит!

Думаю, все кончилось бы плохо, если бы в тот вечер наш приятель Сеиф, фараон-студент, не увидел бы, что я трепыхаюсь в сетях дежурного придурка.

– Какого черта ты тут делаешь? – спросил меня Сеиф.

Он повернулся к своему коллеге.

– По-моему, ты его с кем-то перепутал.

– Его взяли вместе с одним террористом, – сказал полицейский, делая вид, что старательно роется в бумагах.

– Ну как же, конечно, – сказал я, еще находясь под впечатлением недавней сцены. – С психом. Они его убили, кретины.

– Это еще что за история? – строго спросил Сеиф.

Полицейский, монотонно:

– Мы ликвидировали опасный элемент. Был готов напасть на четырех членов бригады по борьбе с бандитизмом. Орал как резаный: "В атаку! В атаку!"

— Итака! — заорал я в свою очередь: присутствие приятеля придало мне сил.

— Заткнись, — обронил полицейский, составлявший протокол.

— У нас есть особый вид психов, — вынес свое суждение Сеиф, который явно все понял.

— Он на грани исчезновения, — сказал я, уставший от нереальности ночи.

Когда я расскажу эту историю Мураду, он точно отдаст концы. Впрочем, никто не поверит, что человека могут застрелить за то, что он читал Гомера.

— Отпусти его, — приказал Сеиф, — это студент.

— Под твою ответственность, — сказал полицейский, который теперь смотрел на меня как на шутника. — Вы свободны, господин придурок.

Я встал со стула и отряхнул брюки от пыли.

Вокруг гудел комиссариат. Плохо выбритые, плохо одетые типы сновали взад-вперед, словно жертвы какой-то странной болезни. Законы механики, заставлявшие их перемещаться во всех направлениях, были для меня по-прежнему непостижимы. Казалось, они копировали то, что делают обычные люди. Работали. Что-то обсуждали. Допрашивали. Стучали на старых пишущих машинках. Они были в аду. Знали они об этом? А пчелы в ульях, беспрерывно занятые своим насекомьим делом, отличают жизнь от смерти? Понимают, что именно заставляет их танцевать?

Целый Стикс нечистот катился по бесчисленным коридорам недремлющего хлопотливого муравейника. Сточные воды хлестали в комиссариат. От едкой вони у нас перехватывало горло. Мы перешагнули издыхающую реку. В другом конце коридора, у выхода, мы смогли дышать. В открытых дверях кабинетов все так же бесцельно двигались огромные тени.

— Тебе крупно повезло, — сказал Сеиф. — Еще немного, и ты очутился бы в следственном кабинете.

Я содрогнулся.

Сеиф пригласил меня выпить кофе.

Ночь, словно морская волна, окутывала нас зеленовато-синим покрывалом. Несколько сотен метров от комиссариата до кафе мы с Сеифом прошли в молчании. Сейчас Цирта была совершенно безопасна. Присутствие другого человека плотиной перекрывало поток моего воображения. Я спрашивал себя, не пригрезилась ли мне казнь безумца и то, как он искал древний порт, Итаку, — в нашем пропитанном Историей городе такая эрудированность ох как подозрительна. Но нет: человек, уверенно и звучно шагавший рядом, своим присутствием удостоверял, что это было, скреплял печатью реальности эту историю — нашу историю, что разрасталась, как раковая опухоль, захватывала живое тело и создавала там город, мимо которого давным-давно проплыли тяжелые облака, забыв его накрыть.

В моем сознании боролись две гипотезы. Первая — чистой воды выдумка; в лучшем случае кошмар, в худшем — помешательство. Вторая — строгая истина, безупречная, выношенная, совершившаяся; мы были ее мелкими винтиками, частицами, высвобожденными неким магнитным полем, расщеплением атома. Какой-то враждебный народ некогда под-

верг нас бомбардировке из пункта X. Кроме шуток, я не думаю... я не находил иного объяснения. Может, я повредился в уме? Судите сами. Меня зовут Хосин, я студент Циртийского университета, до недавнего времени работал в гостиничном предприятии "Хашхаш", у вонючих мошенников и компании, на здоровье не жалуюсь, если не считать легкой склонности к паранойе. Друзья у меня такие: поэт по имени Мурад; майор спецслужб, поджидавший меня в одном из притонов Верхней Цирты; фараон, палач и друг животных; город — капризный, подлинный, фантасмагорический, юный, древний, мятежный, рабски покорный, красивый, безобразный одновременно... сбиваюсь... Ночь, ни на что не похожая, ее творец не иначе как наширялся колумбийским крэком... Господь собственной персоной, одетый славой, как карамель шоколадом, водопадом обрушивался на свое творение. Я богохульствую, моя мать об этом кое-что знает... я устал... мозг вытекает у меня через ноздри.

Кафе. Дошли наконец.

Официант поставил на стол две чашки. Старый бар, где теперь подавали лимонад и чай с мятой, служил местом встречи циртийских таксистов. Приехавшие из разных частей страны, бледные, изнуренные вечным недосыпанием люди вразвалку входили в заведение, садились на стулья и тяжело облокачивались на деревянные столешницы с пластиковым покрытием. Стоило появиться кому-нибудь из них, как подбегал официант и проводил грязной тряпкой по зеленой поверхности.

Пять или шесть столиков были расставлены вдоль стен, у больших окон, за которыми сновали прохожие — беспечно текущая река, то устремлявшаяся вперед, то изгибавшаяся петлями, поток, заключенный меж двух огромных гранитных шестигранников. Он разделял участь всех рек и ручьев Цирты: стиснутые камнем, они фонтанами выбивались из-под земли, но вскоре иссякали, задушенные узким скалистым входом в гавань. Так и циртийцы выходили из домов, подстегиваемые стихиями — жизнь в состоянии войны, — и с наступлением ночи возвращались в укрытие.

Дубовый прилавок был сделан в пятидесятые годы, задолго до победы лимонада над пивом. За ним, привязанный к кранам большой электрической кофеварки, священнодействовал хозяин, главный церемониймейстер мира мавританских кофеен.

Он знал своих постоянных клиентов: усталые таксисты, парни с соседних улиц, нелегальные торговцы, местный сумасшедший, потреблявший спиртное вприглядку, фараоны из главного комиссариата — сам большой начальник, полковник Мут, в окружении подчиненных приходил выпить кофейку. Один из них, Сеиф, сидевший спиной к стене, не сводил глаз с дверей. На его шее пульсировали вены.

— А сейчас я расскажу тебе, чем я занимался последние полгода, — сказал Сеиф. — Готов меня слушать?

— Вполне.

Сеиф провел ладонью по затылку.

— Я никогда не расстаюсь со своим автоматическим девятимиллиметровым пистолетом "беретта". Возможности у него неограниченные. Два магазина по четырнадцать патронов во внутренних карманах куртки — я сворачиваю ее в комок, когда мне нужна подушка, — да дополнительный патрон в стволе — вот мой дорожный несессер, карманный

справочник и спасательный круг. Красивое оружие, черное и тяжелое, оно как раз по моей ладони, широкой и массивной.

Сеиф вынул пистолет и положил перед собой.

— Два кофе! За счет заведения! — завопила обезьяна у кранов, указывая официанту на наш столик.

Передышка подходила к концу. Цирта готовилась прильнуть ко мне, своему строптивому любовнику, слушавшему, как разматывается, точно нить, история полицейского.

Сеиф бросил учебу ради службы в алжирской полиции. Страшное дело! Полгода он провел на стажировке в Блиде, пока его старшие коллеги гибли под пулями террористов. К ним свозили горы трупов: обезображенные, оскопленные мужчины, тела без голов и головы без тел. Попробуй-ка найди, что тут к чему, твердил им сержант-инструктор, да еще поди пойми, что стоит искать. Шесть кошмарных месяцев, а затем то, что составляло военную элиту Алжира, было куда-то переведено, распылено, пущено по ветру. Сеифу выпала удача оказаться в Цирте, городе, где он учился в университете, пока не перешел окончательно в полицию.

Этих, уже измотанных, новичков принял главный комиссариат. Их прибытие вызвало много горечи и злобы. Они были молоды, сильны, по большей части хорошо сложены и неистовы; старшим, более выдержанным, огромного труда стоило терпеть их рвение, направлять в нужное русло их пыл. Было сформировано специальное подразделение — бригада по борьбе с бандитизмом, прославленная ББВ. Обычный, не хуже прочих, способ отобрать тех, кто будет плечом к плечу сражаться с террористами. Главным у них был Махмуд, усатый, отталкивающей наружности великан. Его коньком было реквизировать какую-нибудь машину, проехаться по городу и замести первого встречного бородача. Они выскакивали из машины, хватали свою жертву и заталкивали в багажник. В комиссариате несчастного унижали как можно более изощренным способом, в то же время оставляя минимум следов. Ближе к ночи его отпускали, наполовину выбрив ему лицо. Махмуд мягко называл такое обращение "психологическим воздействием".

Циртийская ББВ провела первую крупную операцию уже через месяц после того, как Сеиф в нее вступил, в январе 1996 года. Квартал Короны был оцеплен с самого утра; по полученной информации, в низеньком доме с внутренним двориком засела группа террористов. Когда люди из бригады высыпали из машин, террористы уже убрались прочь по крышам. Остались две-три горластые старухи и несколько сопливых оборванных ребятишек.

Махмуд приступил к допросу старушенций; видя, в каком он бешенстве, те показали, куда ушли террористы.

— Я залез на крышу и начал свою первую погоню.

Снаружи Цирта слушала Сеифа. За большими окнами кафе я различал затаенное дыхание города.

Сеиф увидел человека, бежавшего по красной, обрамленной зеленым мхом, скользкой черепице. Вооруженный обрезом, он цеплялся за старые трубы, перепрыгивал с балкона на балкон, улепетывал с ловкостью эквилибриста. Сеиф уже решил отказаться от преследования, но вдруг понял, что тот может уйти одним-единственным путем.

Он спустился на землю, галопом помчался по Садовому бульвару, идущему вдоль крыш, по которым скакал "акробат", нашел еще один низенький дом, вышиб дверь и вновь увидел его на черепичной крыше.

— Я опередил того типа на несколько домов. Теперь мне оставалось только ждать.

Я представил себе двух мужчин на циртийских крышах. Один, с автоматом в руках, прислонился спиной к трубе, другой мчится на врага, на стороне которого — город. Равновесие сил нарушалось молчаливым соглашением между Сеифом и Скалой. Цирта признавала только равное себе — дикую энергию, которую не подобало сдерживать. Я не сомневался, что город моих кошмаров и человека, сидящего передо мной, соединяла глубинная, потаенная гармония.

— Он приближался, словно его влекла неизбежность. Странная тень, тень затравленного зверя, скрадывала его лицо.

Теперь в кафе слышался шум узнаваемых шагов, снаружи доносился рокот тротуаров — шуршанье рептилии, которая расправляла свое длинное тело, точно волна, и с влажным чавканьем вновь скрывалась в рифах. Дома, улицы шагом трогались с места.

Не подозревая о моей тревоге, пылая рыжей гривой, Сеиф вел свой рассказ. Я слушал молодого полицейского с кукольным личиком и чувствовал себя армадой, пустившейся в паническое бегство. В его чертах не было и намека на опыт; ни одна морщина не пролегла по лицу; странная непорочность производила впечатление фильтра, маски, наложенной на смерть. Я слушал его, мне было страшно, и я уже не мог понять, что именно меня пугало: то ли город, который с осторожностью хищника обводил меня вокруг пальца — легкий, подернутый дымкой, кружащийся, то ли слова полицейского: они не стыковались ни с чем, мне известным, были чуждыми жизни.

Под Циртой дремал целый материк — расположившийся в катакомбах морг. Его коридоры бежали под улицами, змеились между домами. Лабиринт уводил во времена младенчества Цирты. Сколько помнил себя человек, под Скалой всегда зияли бесчисленные галереи. Трудолюбивое море вымыло темные щели, которые пересекались по плану архитектора, не ведающего, что он творит. Отступив, океан снов оставил за собой это переплетение коридоров, сырых, черных, а люди приспособили их под тайники, под убежища, до которых так охочи История и войны. Нескольким умникам удалось извлечь из скалистого клубка какой-то смысл, план; они поймали его, отважно углубляясь в проходы, идя по следам течения, рисунок которого отпечатывался у них в мозгу, впивался в него, позволяя им не заблудиться, не смешаться с хаосом.

Исследовав крошечный кусочек территории и снискав немалую славу, эти смертные выбирались на свет, клянясь никогда больше не возвращаться под Скалу. Морг находился в той части лабиринта, где копошился муравьиный народец, чьей заботой было исключительно благообразие мертвецов. Бальзамировщики на скорую руку латали жертв бойни, этой огромной свалки плоти, чинили сломанные тела, заново соединяли ошметки людей, которые недавно ходили по земле, по светящемуся городу. Здесь, внизу, лежала в родах целая вселенная, из

чьего чрева вот-вот явится жуткая тварь: вновь сложенное из разрозненных частей, бессмертное чудовище.

— Уделали вы его, — кашлянув, сказал судмедэксперт.

Доктор опустил белую простыню и долгим взглядом посмотрел в глаза Сеифу.

— Я так вцепился в "калашников", точно это был спасательный круг в бушующем океане, — рассказывал Сеиф. — Мой автомат резал его на ломти. Он умирал тысячу раз.

Крепкий затылок Сеифа, его лицо все так же плавали в слабом свете, что падал с оштукатуренного под мрамор потолка. Старый сломанный вентилятор с увядшими лопастями глядел на нас с высоты былого величия. Сеиф отпивал глоток кофе, говорил, отпивал еще. В его голосе не чувствовалось ни малейшего волнения. События, о которых шла речь, терялись во времени, мельчали, отодвигаясь далеко назад, застывали там, где они когда-то происходили. Расстрел терял свою сущность, таял легкой дымкой — этого требовал возникший из привычки дикий парадокс, механизм, который управлял теперь его жизнью.

Судмедэксперт прибавил, опуская глаза:

— Долго придется его штопать.

Врач закурил сигарету.

Весь комиссариат много дней подряд обсуждал, как Сеиф завалил своего первого человека. С поздравлениями к нему подошел Махмуд, за ним капитан Хут. Полковник Мут пожал ему руку.

— Следующие несколько месяцев я провел в комиссариате, — продолжал свой рассказ Сеиф. — Мы рыли землю, как крысы. По ночам выезжали на операции. Прочесывали все вокруг. Прочесывали опять и опять, захватывая все новые территории. Никогда не снимали масок.

Они бороздили узкие улицы холодного города. Обстреливали окрестные деревни. Зажигали огромные костры в непроглядной ночи. Выгнать их из нор во что бы то ни стало. Они по-прежнему влияли на средства массовой информации.

Тех, кто попал им в руки живыми и не был уничтожен сразу после операции, они возили по городу. Таскали с места на место в больших белых внедорожниках, с наручниками на запястьях.

— Тогда они показывали нам логова такого же отродья, собаки.

Они выходили из своих больших машин, врывались в дома, уводили с собой ротозеев, которые имели несчастье слоняться поблизости.

— Крысиная у нас работа, никогда не устану это повторять. Крысиная.

Сеиф приобрел опыт. Зачерствел. Пожалуй, стал немного головорезом, что его коллегам не нравилось. Они дорого продавали свою шкуру, гады!

Сеиф не боялся ничего. Ему нечего было терять, и он не страшился смерти. Ведь это, в сущности, такая простая вещь. В сравнении со всеми пакостями, творящимися вокруг, с расчетливостью, что держит нас друг возле друга, смерть от пули казалась простой, а то и героической. Здесь только механика имела значение.

Сеиф играл своим молодым телом ошеломляюще непринужденно, ликуя. Более всего его пугало бездействие, миг, когда жизнь примет нормальное течение, утра станут спокойными, ночи — мирными.

— Даже Махмуд, великий силач Махмуд, вскоре стал поглядывать на меня с опаской, — сказал Сеиф. — Я все больше делался похож на него, на

отважного исполина Махмуда. Я становился кем-то большим, чем он. Я становился самим собой, и то, что получилось, не слишком-то радует глаз.

Тогда же, в феврале 1996 года, Сеиф познакомился с Рашидом Хшишой, который предложил ему дружбу и комнату в студенческом общежитии. Взамен Сеиф щедро поделился с ним окружавшей его жуткой славой. Хшиша потребовал еще.

Сеиф постоянно бывал в университете, гулял в его парках и в марте познакомился с Джамилой. Как и многие студентки, приехавшие из окрестных деревень, Джамила жила в университетском городке. Интерес, который пробуждали к себе резидентки — так мы их называли, — имел сексуальную природу. Уехав из деревни, где шагу нельзя ступить без сплетен и пересудов, живя вдали от своих семейств, они обнаруживали нравы вольные и не свойственные тем девушкам, что родились в Цирте. Резидентки трахались, да. Мало было скользить по поверхности вещей. С ними приходилось изучать, исследовать, углубляться.

Все половозрелые мужчины, включая преподавателей, искали общества резиденток. Те, как правило, поощряли наиболее состоятельных. Они пользовались машинами своих любовников, их квартирами и щедростью. У резиденток, которым матери дали карт-бланш, было несколько лет (время обучения в университете) для того, чтобы подыскать себе выгодную партию и вернуться домой в венке из академических и матримониальных пальмовых ветвей. Диплом и муж! "Дочь Унтеля сумела пробиться в жизни", — скажут в деревне.

Сеиф попросил руки Джамилы. Она ответила согласием. Через три дня один из приятелей Сеифа покончил с собой на собрании членов ББВ. Они готовили новую операцию. Коллега Сеифа, Суисси, позаимствовал пистолет у недавно пришедшей в бригаду девушки. Взвел курок...

В коридоре главного комиссариата Сеиф подошел к Махмуду. Сеиф хотел понять, что же произошло на самом деле.

— Иди своей дорогой, сопляк! — ответил ему Махмуд.

Он сопел, как бык.

— Ты же все смекнул, пидор, малявка. А?

До Сеифа никак не доходило.

— Ты все усек своими мозгами, молокосос? Вали, откуда пришел. Вали-вали, трахай в тепле студенточек и не доставай нас больше.

Сеиф двинул Махмуда кулаком по физиономии, после чего колено Махмуда врезалось ему между ног.

— Я повалился ничком. Он принялся пинать меня, фыркая, как лошадь. Башка у меня лопнула, как бомба. Он вздернул меня на ноги и прислонил к стене.

Кровь каплями стекала на холодный кафельный пол комиссариата. Махмуд, озираясь, удерживал Сеифа стоймя, смяв в кулаке окровавленный воротник его рубашки.

— Слушай, кретин малолетний: Суисси не покончил с собой, — проворчал Махмуд. — Кто-то влепил ему пулю в голову, потому что Суисси хотел его заложить. А если ты не заткнешь глотку, тебя тоже самоубьют. Самоубийство — это для наружного применения. Понял, да? Ну-ка скажи, что понял, педик!

Что бы там ни думал Махмуд, Сеиф соображал быстро. Он перестал бывать в главном комиссариате.

Когда того требовала обстановка, он вместе с другими принимал участие в ночных зачистках на окраинах города. Он старался не оказываться рядом с Махмудом. Теперь они питали друг к другу глубокую ненависть, передавшуюся от Махмуда остальным членам бригады. Сеиф не играл в их игры. Он не мешался в дела своих коллег, в дела, стоившие Суисси жизни, в дела, которыми кормилась большая часть личного состава главного комиссариата.

Коррупция расползалась по Цирте, как гангрена. Она захватывала и территорию города. Из-за ремонта или возведения новых зданий улицы Цирты делались лабиринтоподобными: одна стройка сменялась другой, что давало властям возможность урвать свой кусок у строителей, жадных до новых проломов, новых туннелей, словно истинной целью бесконечного рытья земли было посеять смуту, нагромоздить на стройплощадку целые горы грунта и расчетливо прибавить к первородному хаосу хаос рукотворный. И война была точно такой же неогороженной стройплощадкой, которую вот-вот завалит ее же собственными насыпями и отвалами почвы. Никто и никогда не отдаст распоряжения прекратить строительство. Никто никогда не расчистит площадку. В этом Сеиф был убежден.

Сеиф проводил время в обществе Джамилы, частенько расстегивавшей ему штаны. Университетские парки полнились безмятежным светом весны. Гигантские эвкалипты тянули вверх и в стороны свои ветви и рисовали на небе охристо-зеленые фигуры, изменчивые, как языки пламени; дубы и мастиковые деревья соперничали друг с другом в толщине и крепости, шелестели тягучей жалобой, напоенной ароматами амбры: по цветам с пестиками, упившимися жарой, отягощенными красновато-коричневой с золотистым отливом пыльцой, порхали бабочки. Шмели летели к поточным аудиториям, учебным комнатам, столовой.

Растянувшись на траве, Сеиф смотрел, как она завладевает его членом, как он исчезает у нее во рту. Апрельское небо было голубым и пустым. Они укрылись у подножия небольшого, поросшего травой холма, в том месте, где он образовывал угол со стеной, отделявшей мужскую часть кампуса от женской. Джамила собирала мед с его копья прилежно, как насекомое.

— Я не женюсь на Джамиле, — признался мне Сеиф. — Она пока не знает об этом.

Здесь, в кафе, или где-нибудь еще Цирта женится на мне, не сомневаюсь; ночь двигалась вперед и склонялась над нашими столиками; хозяин оставлял свои краны, готовый принять свою нареченную, окутанную тьмой. От наших браков родится смерть — моя, скорее всего, и их — тех, кого похитят у сна, тихо, без шума, без вспышки. Я надеялся, что буду драться, что меня не смогут так запросто вырвать из времени, словно ослепленного на скаку породистого коня, что встал на дыбы под пулями, пронзившими его у края пропасти. Город дожидался неверного шага; еще одна оплошность — и мы окажемся в его лапах; море, вечное море, струилось меж его рук, — крепостных стен, построенных так давно, что те времена сгинули в потемках памяти, — стекало по губам, ускользало от щупалец.

Сперма Сеифа брызнула ей на блузку. Он застегнул штаны и встал. Его коллега, Колбаска-Фри, шел к ним, ворча что-то себе под нос.

Прозвище Колбаска-Фри он получил из-за гастрономического пристрастия, приобретенного за время службы в главном комиссариате. Это был странный, непредсказуемый тип, волк-одиночка. Коллеги по комиссариату его раздражали; мало на кого полагаясь, он относился к ним с крайней недоверчивостью. В их дела он не лез. Смотрел, как они действуют, издалека, без осуждения, без интереса, чем обострял приправленное страхом любопытство членов бригады. По этим причинам Сеиф его очень любил.

Колбаска-Фри остановился над ними и сделал Сеифу знак.

— Еще один. Иди за мной.

Сеиф покинул Джамилу и парк.

Морг Цирты продолжал свою работу. Срок беременности подходил к концу. В ожидании этого человек в белой куртке курил сигарету. Лежавший за его спиной на носилках покойник, казалось, внимательно разглядывал потолок: облупившаяся краска грозила обрушиться кровавым дождем.

Судмедэксперт встал. Открыл свой чемоданчик и потянул к себе носилки. Приподнял белую простыню.

Верх черепа отсутствовал. На его месте зияла пустота, небытие иссеченной плоти. Ниже — кончик носа, пристегнутый к верхней губе. На ней — огромные усы. Махмуд спал сном неправедника.

Колбаска-Фри, монотонно:

— Сегодня утром. Он выходил из дома. Двое поджидали внизу, на лестничной клетке. Одного из них он ранил. Другой успел всадить ему в голову три пули и убраться. Своего подручного он не прикончил.

— Повезло.

— Н-да... — пробормотал Колбаска-Фри.

Сеиф не ощутил гнева. Он ведь ненавидел Махмуда, простертого перед ним. Но — сейчас имела значение только механика. Повздорив из-за денег с друзьями, Рашидом Хшишой и Рыбой, и потеряв их, он без колебаний скользнул в "хитроумный полицейский механизм", как любят писать журналисты. В конце концов, он выполнял свою работу. А значит, каждый вечер оказывался в кабинете изучения улик и вещественных доказательств, в тесной комнате, оборудованной в цокольном этаже комиссариата. За обитой железом дверью — четыре толстые черные стены.

Зыбкое, хрупкое молчание задыхалось меж серых плоскостей. Люди, опускавшиеся во чрево комиссариата, теряли все, вплоть до имен. А потеря имени означала конец, прощание навеки. Для достижения такого результата достаточно было нескольких инструментов или определенного навыка. Неотразимая сила математики.

— Раздевайся.

Первое действие уравнения. Человек, принужденный раздеться, съеживается до ничтожества.

— Рассказывай все, что знаешь.

На это пустынное тело палач наложит свою печать. Отметину железом, шилом или электрическим током. Ощущать, как приходит в негодность твое тело, как его пожирает огонь, обонять свою горящую плоть — второе действие уравнения.

— Ты будешь говорить.

Из этих двух уравнений следует бездна вариантов. Можно ткнуть человека лицом в его дерьмо. Заставить его глотать испражнения, смот-

реть на собственную кровь, обмочиться, слышать свой крик — на глазах у веселящегося палача и его подручных. Порой простое перечисление предстоящих математических действий заставляло подследственного говорить. Порой... Некоторым удавалось избежать тонкостей математики. Они умирали, и этим все было сказано.

Сеиф хорошо владел таким замечательным способом ведения допроса. Он занялся свидетелем убийства Махмуда.

Рапорт

Подросток четырнадцати лет, проживающий в том же районе, что и Махмуд, оказался осведомителем. Двое боевиков, пробравшихся в город, поджидают жертву на лестничной клетке жилого дома. Проходит сосед: угрожая, они приказывают ему молча идти своей дорогой. Утром Махмуд выходит из квартиры. Главарь группы – разыскиваемый нашими службами – заряжает пистолет. Махмуд слышит щелканье затвора. Он выхватывает оружие и стреляет в того, кто моложе. Тот раньше не принимал участия в покушениях. Он падает. Колбаска-Фри ошибся. Парень не был ранен. В тот момент. А другой? Другой доводит дело до конца. Он тоже думает, что новичок убит. Эта ошибка его и погубит.

Колбаска-Фри врывается в следственный кабинет. Косится на окровавленное тело, распростертое у ног Сеифа. Парень хрипит.

— Он жив, — говорит Сеиф.

— Хватит, поиграл. Уезжаем на операцию.

Сеиф испачканными кровью руками надевает бронежилет, снимает с крючка "калашников", закрывает железную дверь следственного кабинета и вместе с Колбаской-Фри устремляется в ночь.

Словно кошмар или присутствие чего-то сверхъестественного, гигантская гранитная глыба громоздилась там, в вышине, над людьми. Город бросал свои мосты через реку. Ее урчание выдавало ночную упорную работу, с давних пор готовившую падение Скалы. Жители уже и думать забыли о текучей стихии — новая преступная беспечность, — которая несла мелкий строительный мусор, осыпавшуюся завязь лимонов, вбирала мириады водных ниточек, кружилась под утесом, среди сорняков, омывала корни кедров. Их диагональный рост смахивал на чудо, если не на ересь: дерево уже не могло держаться прямо; ствол изгибался назад, подчиняясь притяжению земли и наклону поверхности, но кедры упорно боролись с силой тяготения. Люди Цирты хитро и злобно бросали вызов порядку вещей: они искали надежное средство удавить друг друга в каком-нибудь темном закоулке; взяв наизготовку все органы чувств, они лезли вверх, чтобы коснуться неба, как кедр; они душили друг друга в неописуемой свалке, окуная листья в боль и ветер; по ночам они спали, убаюканные монологом реки, которая, ломая себе ребра, сокрушала город, где шершни устроили себе гнездо.

Слившись с темным потоком внизу, белая "тойота" заглатывала километры извилистой дороги, вспучившейся между бетоном и песком. В салоне Колбаска-Фри, сидевший между двумя вооруженными членами бригады, курил сигарету.

— Ну-ка погаси, у меня астма, — сказал один.

— Так сдохни! — ответил Колбаска-Фри.

Потом, ностальгически и задумчиво:

– Цирта похожа на шлюху.

– Она похожа на нас, – сказал Сеиф. – Неутомимая роженица, она каждый вечер производит на свет ублюдков.

Астматик, заходясь в кашле:

– Вы можете говорить как все люди или нет? И бычки свои погасить?

– Пасть заткни, – бросил Сеиф.

Белый мини-вэн покидал Цирту и углублялся в сельскую местность; он разворачивался спиной к морю, его шепот затихал, теряясь на окраинах мира; за стеклами в свете автомобильных фар проплывала каменистая равнина. Изможденные тополя через неравные промежутки склонялись над колонной белых машин, пожиравших дорогу.

– Те, кто скоро умрут...

– Чепуха! – бросил Колбаска-Фри; к его губе прилипла сигарета. – Я не сегодня вечером сдохну.

– Да услышит тебя Господь, – прибавил хилый фараон.

– Вставь себе своего Господа знаешь куда, – встрял третий бандит.

– Подъезжаем.

– Ну, парни, подъезжаем!

Они схватились за автоматы. Слышен был лязг вставляемых магазинов. Машина замедлила ход. Первое оцепление военных вокруг территории. Зеленые грузовики спали, согнанные на обочину дороги. Привалившись спиной к машинам, люди в камуфляже смотрели на их "тойоту". Некоторые поднимали в приветствии руки.

Колбаска-Фри опустил стекло.

– Пошли вы...!

Он выбросил в воздух пальцы. Усмехаясь, закрутил стекло обратно.

– Грязная работа – это для нас. А пидоры знай себе покуривают, рассевшись в правительственных ложах.

Все закивали. "Тойота" затормозила неподалеку от выставленного жандармерией оцепления. Перед ними лежала деревня. Хижины плавали в свете прожекторов. Город из гофрированного железа казался мертвым. Между покосившимися домами перекрещивались широкие улицы, грязные, вонючие. Спрыгнувший на старую канистру кот потревожил убогий, в лохмотьях, покой этих мест.

Посреди главной улицы, разрезавшей поселение на два полукруга, змеилась ленточка черной воды. Нечистоты текли по нечистотам. Отбросы свидетельствовали о чьем-то присутствии, о чьей-то жизни. Если бы не они – и не подумаешь. Жители спали. Или рыли себе норы под одеялами.

Жандарм, усталый от почти бессонной ночи, показал Сеифу на несколько стоявших отдельно хибар.

– Это там.

– Неудивительно, что здесь пускают корни, растут и зреют гроздья гнева.

– Одна большая свалка, куча клоповников – тут и говорить нечего.

– Стреляют?

– Да, в восточной части. Вон из того дома возле дерева. Как раз в зоне нашей досягаемости. Вертолет облетает ее каждые пять минут.

– А прожектора зачем?

— Иначе не разглядишь: темно, как у черта в заднице.
— За работу.
— Счастливо!
Сеиф вернулся к своим коллегам. Они уже готовились к штурму.
— Я пойду впереди, — сказал Сеиф.
— Договорились.
— О'кей.
— Открываем по ним огонь.
— Я тебя прикрою.
— Яйца свои прикрой!

Сеиф ждал, пока метнут гранаты. Два-три взрыва, и газ пополз в зону будущего боя. Когда деревню накрыло густое облако, он в маске бросился вперед.

Он бежал на восток. Его тень мгновенно сжалась до точки.
— Пидор, — сказал один из его коллег. — Чтоб ему сдохнуть.
— Заткнись, или я тебя пристрелю, — сказал Колбаска-Фри.
Он зарядил пистолет и тоже помчался по каменистой дороге.

Сеиф слышал скрип гравия под ногами. Каждый шаг, вырванный у земли, приближал его к цели. Хибара с железной крышей захватила все его мысли. Он видел — вот она, прижалась к эвкалипту, темная, с виду пустая. Стреляли оттуда. Так сказал жандарм.

Он чуть не запутался ногой в кусте боярышника. Не падать. Удержал равновесие и побежал быстрее. Скоро все это остановится, застопорится, как время, темное, несущееся по его сосудам. Он ощущал неизбежность этого — страшный механизм, крошечной шестеренкой которого он себе казался: танцующая на ниточке марионетка. Мчась все быстрее, он пытался понять, почему его новое, отравленное одиночество отдаляло его от товарищей, от девушки, от университета, от комиссариата. Неужели вся его жизнь сведется к регулярно совершаемым кощунствам? Пытал же он того паренька — без всяких угрызений совести, даже не задумываясь о том, что делает. Просто работа. Покончит ли он с ней когда-нибудь?

Он остановился перед хижиной. Сел на корточки и по-крабьи подполз к фасаду. Прижав голову к стене, вслушался. Целую вечность он просидел, навострив уши. Ни малейшего шума внутри. Он вошел.

Он уронил противогазовую маску. Слабый запах жженой резины коснулся его ноздрей. Огонь. Потушен. Он растоптал холмик сухой золы. Вокруг очага — четыре темные деревянные стенки, меж плохо прилегающих досок там и сям возникали светлые точки. В дальнем углу — зияющее отверстие, по росту ребенка. Кто-то сумел в него протиснуться. Он лег на живот и медленно полез в дыру, сначала голова, потом туловище. Застряв, перевернулся на спину, высвободил одну руку, потом другую и ладонями оттолкнулся от стены. Тело продвинулось вперед!

Шорох, тень, затем ослепивший его сильный свет. Стоящий человек направил фонарь ему в глаза. Сеиф потянулся к оружию — напрасно. Человек поднял руку и выстрелил.

Первого мая, через неделю после того "несчастного случая", Рашид Хшиша, Рыба и я навестили его в больнице. Рашид Хшиша чувствовал свою вину перед Сеифом. Он считал — и вполне обоснованно, — что вытянул

из него, да еще за его же собственные деньги, часть души. Чем дальше, тем с большим трудом Рашид Хшиша и Рыба терпели общество Сеифа – столько он нес в себе неутолимой ненависти, приобретенной в бригаде по борьбе с бандитизмом. Его даже прозвали Циртийским Палачом. К тому же Сеиф с крайне недовольной физиономией выдавал им месячное содержание, разлетавшееся дымом от ядовитых сигарет. Раздув из какого-то пустяка несправедливую ссору, два бандита затем изгнали его из общества, проведя форменный судебный процесс по обвинению в явном отсутствии солидарности (отказ выдавать деньги на анашу) и тщательно скрываемой трусости (страх перед возможными последствиями слишком опасной дружбы). Когда Мураду и мне после слушаний сообщили о приговоре, нам оставалось только подчиниться. Между прочим – об этом я узнал в кафе, – Сеиф считал, что мы были участниками судилища и приняли сторону его обвинителей, поэтому два месяца не подходил к нам.

После ранения Сеифа Рашид бросился в мучительные объятия наркотиков. Он заперся в одном из борделей Цирты, где не только обитали прелестные и услужливые молодые женщины, но и можно было слушать арабо-андалусийскую музыку, пить вино и курить травку. Окна публичного дома выходили на устье реки; мы часто снимали там гнусную конуру с видом на пропасть; зрелище камня, катящегося с неба и тонущего в потоках света, как-то скрашивало убожество комнаты, бугристый матрас и тараканов, которые добросовестно обследовали вас, пока вы спали.

После двух тяжелейших похмелий, легкой алкогольной комы и передозировки зелья Рашид приказал доставить его к другу, в больницу. Мы скрепя сердце покорились и с чувством стыда остановили машину возле отделения восстановительной хирургии госпиталя Скалы.

Палата была убогая. Множество коек стояло вокруг койки Сеифа, который, лежа на спине, о чем-то размышлял – должно быть, о своем положении. Запах пота в сочетании со спертостью пропитывал стены, постельное белье, одежду лежачих. Вонь застоявшейся мочи волнами выползала из туалетов на хребте затхлого воздуха, который, десятилетиями не обновляясь, кружил по госпиталю-тюрьме. В Цирте рассказывали, что это странное здание возводилось на одном из утесов Скалы как укрепленный лагерь, как блиндаж в цитадели – на тот случай, если враги, невзирая на летящие в них пули и копья, все же вскарабкаются на стены и ворвутся в город. Какую роль сыграло это сооружение, когда Цирта пала? Стало оно последним оплотом защитников города? Об этом легенды молчали.

В палате уборщица в оранжевой косынке сновала по углам, залезала под кровати, подбирала сползшее на пол одеяло, наклонялась, чтобы вылить горшок. Словно старый кит, она волокла по линолеуму свои стоптанные шлепанцы, готовая наброситься на пожитки лежащего в коме. Время от времени кто-нибудь из больных стонал, другой поворачивался, надрывая ржавые пружины койки. Брошенные в ад – прикованные к постелям, с измученными лицами, на которых от усталости и нехватки света не росла щетина, – оглядывали друг друга.

С потолка на длинном сером проводе свисала электрическая лампочка без абажура. Дневной свет не достигал погребенных заживо тел, не прикасался к лицам, омраченным болью и заточением. Испитые лица. Простертые тела. На краю бездны.

– Спасибо, что пришли, – сказал Сеиф.

Рашид Хшиша взял руку Сеифа и легонько встряхнул ее.

Сеиф лежал на железной кровати. Он был словно в майке: туловище его было обмотано широкой повязкой. Он смотрел на мух. Зеленоватая тварь села на зияющий рот доходяги. Прошлась по углам губ и выпила остаток жизни из погруженного во мрак человека.

— Я думал, вы и слышать обо мне не хотите.

— Ты нас просто не понял, вот и все, — объяснил Рашид Хшиша.

Сеиф с интересом проследил за тем, как насекомое взлетело и тотчас же уселось на открытую рану — ожог.

— Пить... Пить... — стонал обгоревший человек, не в силах ни дотянуться до стоявшего у изголовья стакана с водой, ни прогнать муху, которая, явившись на водопой, не отрывалась от пурпурного источника, огибавшего его шею, словно ожерелье из кораллов.

Уборщица прошла, даже не взглянув в его сторону...

— Пить...

Хромой сосед отлил немного воды и поднес стакан к его губам. Человек глотал жидкость, хлюпая, как засорившаяся сливная труба, которую прокачивают вантузом. Казалось, проглоченная вода сочилась из его гортани, словно магма из мяса и слизи.

— Пожарный, — пояснил Сеиф. — Сегодня утром пострадал при взрыве бомбы.

— А тебя где угораздило? — спросил Хшиша.

— Во время зачистки.

Старик с завязанными глазами сел на кровати и испустил животный вопль. Открыв рот, он так и замер: застывшее тело, одеревеневшие конечности, запрокинутая голова; весь его облик словно вопрошал небытие.

— В деревне, — продолжал Сеиф. — Я приказал моим людям бросать слезоточивые гранаты, потом рванул в эту кашу. Кромешная тьма, вокруг газ...

Короткий выдох:

— ...Один из этих мерзавцев выстрелил мне в спину.

— Рана опасная? — спросил я.

— Пуля скользнула под бронежилет. И вылетела с другой стороны, спину обожгла. Меня спас мой напарник, Колбаска-Фри.

— Больно? — поинтересовался Рыба.

— Немного.

Рашид, нетерпеливо:

— Ему ведь больно дышать, что ты лезешь?

Рыба, смутившись:

— Я ведь человек вежливый, милостивый государь, вот и интересуюсь, как люди себя чувствуют.

— А я невежлив, что ли, кретин?

— Вот доказательство, — сказал Рыба, поворачиваясь к Сеифу. — Вот доказательство его вежливости, разве не так?

Больные больше не стонали. Слепой старик вслушивался в тишину.

Рыба замолчал.

Стены здесь не красили уже лет десять. Из-под тонкого слоя штукатурки проступал столетний камень, неровный, обтесанный прямо в скальной породе, придававший этому помещению вид темницы, карцера, где растерзанные тела, мучимые болью, пытались спастись от внушающей ужас неподвижности ада.

– Просто мне уже осточертело делить свое полицейское жалованье с вами, вот вы и обозлились.

– Слушай, свои бабки можешь оставить при себе, – ответил Рашид. – Это вопрос принципа, вот что.

– А у тебя, Рашид, оказывается, теперь есть принципы? – проговорил Сеиф отстраненно.

– Я, знаешь ли, молодых парней на улицах не избиваю. Никого до смерти не замучиваю. Людей пачками не мочу. Ну а других принципов у меня нет.

Сеиф откинул голову на подушку, усталый и растерянный.

– Вот как, значит, ты обо мне думаешь?

– Я у тебя ничего не прошу, или так, самую малость, – сказал Рашид Хшиша, избегая смотреть в глаза Сеифу.

– Просишь – денег вам на жизнь.

– Мы студенты. Ты жил в нашей комнате, потому что не переваривал своих приятелей из комиссариата. Скажи, если я ошибаюсь.

– Ты прав, – согласился Сеиф, стараясь избежать ссоры. – Но ведь у меня есть родители, я им посылаю часть заработка.

Рыба, загибая пальцы:

– Ты спишь в одной комнате с нами, старик. Лопаешь тоже с нами. Так что не стоит дуться, если приходится платить.

Казалось, Сеиф сейчас оборвет этот скучный разговор.

– Ну ладно, я был не прав, – произнес он.

Рашид, однако, на этом останавливаться не хотел. Чувство вины, которое преследовало его многие дни, теперь выпадало кристаллами, причиняло нестерпимую физическую боль. Он почти сожалел о том, что тогда, возомнив себя судьями, они устраивали Сеифу допросы, пеняли ему за трусость.

– К тому же ты вынудил нас пойти на риск, – вырвалось у него.

Сеиф снова приподнялся. Его глаза горели.

– А я? Я на риск не шел?

– Это твоя работа, – сказал Рашид. – Ты сам ее выбрал.

– Ничего я не выбирал, черт возьми! Ничего!

Сеиф орал во всю глотку. Один из больных, лежавший на соседней койке, начал стонать. Казалось, стены вот-вот рухнут. Слепой старик кричал. Медбрат в голубой блузе заглянул в приоткрытую дверь. Потом голова тюремщика исчезла. Он захлопнул дверь.

Сеиф понизил голос.

– Я не хотел всей этой грязи. Я не просил, чтобы все так вышло. Я учился, как и вы. Только я всегда терпеть не мог их рассуждений. Никак не мог смириться с тем, что они навязывают мне свой взгляд на вещи. Когда они принялись... Ты ведь помнишь, а? Они бродили по кампусу с топорами – и не говори, что ты этого не помнишь. Они нам угрожали. Никогда не терпел угроз, ни от кого. Да ты послушай меня! Когда они устроили весь этот бардак, объявили, что будут стрелять в студентов, которые не перестанут ходить на занятия, я записался в полицию.

– Что ты все время оправдываешься? – едва слышно спросил Рашид.

– Я не оправдываюсь. Я тебе говорю все как есть, и только. Конечно, я знаю, что делаю грязную работу. Ну а кто еще ее сделает? Ты, Рашид Хшиша? Скажи, сделаешь?

Рашид Хшиша молчал.

— Ясно. Все давно уже ясно. Вы остаетесь людьми, человеческими существами. Вы никогда не сделаете того, что сделал я. Да вы к этому и не способны. Для очистки совести вы именно так себе и говорите: "Я? Убить человека?! Вы, наверное, шутите", — издевательски пропел Сеиф тонким, как у кастрата, голосом.

Его израненное дыхание наполнило палату. Жирная зеленая муха уселась на его запястье. Прошлась по мраморной руке, по голубым жилкам, полным свежей крови. Он быстро прихлопнул ее и сбросил на белую простыню.

— В чем разница между нами, Рашид Хшиша? Я дошел до самой сути проблемы. Я взял оружие, которое вы мне протянули, вот и все.

— Ничего подобного! Никогда в жизни я не подталкивал тебя к тому, что противоречило твоей природе.

— А твои разглагольствования о справедливости, о братстве? Это как, Рашид? Вот куда ведет любовь к человечеству. А то, что ты сейчас видишь, тебя не устраивает.

— Ты передергиваешь, старик.

— Ничего я не передергиваю. Как ты думаешь, что я делал, когда впервые убил человека? Может, сплясал на трупе? Думаешь, так? Да меня всего вывернуло на пол, как ребенка! И вместе с блевотиной ушли все мои иллюзии. И вся моя любовь. Ты, что ли, мне их вернешь? Вы тут судите меня — а вы вернете мне то, что было моим по праву? Ну-ка скажи, Рашид, что вернешь мне мои прежние глаза. Обещай, что вернешь! — выкрикнул он; его взгляд остановился, тело напряглось, мраморная рука дрожала.

Я хотел защитить нас, защитить себя — я почувствовал вину перед ним.

— Не сваливай это на нас. Мы не хотели, чтобы так вышло. Это государство допустило такое. Гниль в нем.

— Хосин, гниль в нас.

— Ты ошибаешься, — сказал я.

— Разуй глаза, здоровяк!

Вокруг нас были больные. Одни спали, другие готовились умереть. Самым везучим это скоро удастся. Они вновь попадут во времена блаженных, в непроницаемое молчание умерших богов. И никакого суда не будет, ибо это неподвластно человеческим законам, и никто не смотрит в лицо погребенного.

— Уходите!

Мы молча вышли. Когда дверь в обитель ужаса закрылась, мне стало легко, даже весело. Идя по коридорам, я думал о Сеифе — узнике своей жизни, распростертом в центре мироздания, марионетке судьбы, что втолкнет его в кабинет полковника Мута и заставит совершить еще один, самый тяжкий из поступков, которым нет оправдания.

Через неделю после нашего визита Сеиф, выписавшись из госпиталя Скалы, добился приема у полковника. Спор с Рашидом Хшишой раскрыл ему глаза на ту пропасть, которая теперь пролегала между ними. Конечно, — как он объяснял мне в сутолоке кафе, под единственным глазом вентилятора, синеватый дым сигареты окутывал его усталое,

вдруг осунувшееся лицо, — после больницы они виделись, но оба были весьма сдержанны.

Со стороны казалось, что они как бы выполняют роль мостов, стараясь соединить противоположные мнения. На самом же деле они лечили косоглазие методами костоправа. Раз прозвучавшие обвинения уже нельзя было, объяснившись или запоздало извинившись, взять назад: так беспощадно они осветили ту сторону личности Сеифа, о которой он и сам раньше не ведал. Теперь он знал о ее существовании, и это открытие привело его к полковнику.

В кафе Сеиф много говорил о том, что чувствует человек, всеми покинутый, утративший социальные, семейные и религиозные связи, которые могли бы удержать его от преступления.

Брошенный на произвол судьбы, подстегиваемый коварной неизбежностью, такой человек целиком оказывается во власти своей тяги к разрушению. Входя в кабинет полковника Мута, Сеиф уже понял сокровенное желание своих врагов — и собственное тоже: познать зло, его притягательную силу. Все играли в разграбление мира, как дети, что ломают игрушки на глазах у своих оторопевших и отнюдь не одобряющих это родителей, а после строгой нотации расчленяют еще и хорошенькую куклу с такими тонкими ручками, в таком славном платьице. Какое удовольствие, особенно если его еще усиливает полновесный родительский шлепок!

Полковник Мут смотрел на человека, сидевшего возле его письменного стола из тикового дерева, из которого делались подпорки для балконов мавританских домов в Верхней Цирте. Полковник постарался, чтобы на этот "верстак" — ему нравилось это шутливое название — пошел редкий материал, частица города, который он защищал от варварских полчищ: столетнее дерево удерживало виллы над морем, лиловые и голубые террасы в поднебесье, где днем пререкались женщины и дети; деревом были укреплены беленые фасады, клонившиеся над улицами с неровной брусчаткой, по которым он мальчишкой с большим портфелем в руке в пасмурные дни мчался к школе, в солнечные — к порту и кораблям, бежал к воде, к свисающему с мачт такелажу, к парусам (он представлял себе, как в парусине сшибаются летучие рыбы), к большой внутренней гавани и ее черным, изъеденным ржавчиной рыболовным судам, радовавшим его взгляд, взгляд мальчишки, который родился в глубине улочки, вырос среди бандитов и ковровщиков, но тайной работе одних и будничным трудам других предпочел кровавое ремесло, что рождало большие художественные полотна, ковры, в шерстяных строках которых была воспета легенда о корсарах — людях, что стоят на носу корабля, запросто болтают с морем и всегда готовы захватить какую-нибудь голландскую флотилию.

Некогда полковник Мут воевал на этих мощеных улочках за независимость своей страны и города. В пятидесятых годах он носил листовки, призывавшие к подпольной борьбе, позже — огнестрельное оружие. В конце войны, когда ему было восемнадцать, он заложил бомбу на главной магистрали Цирты — Садовом бульваре. При взрыве погибло шестьдесят человек разного пола, возраста и национальности; большие эвкалипты сада горели в летнем небе, пальцы в огне, листья в трепете боли и ветра. Две недели потом полковник не мог сомкнуть глаз; он чуть не явился с повинной к оккупационным властям. Его остановила перспек-

тива смерти под пытками. С тех пор он отказался, пусть даже это угрожало его жизни, от участия в терактах без конкретной мишени.

Всю свою жизнь полковник Мут не переставал думать о шестидесяти сгоревших, погибших в адских муках. Он вспоминал большие деревья в саду; запах обугленного дерева, смешанный с запахом жженого мяса, преследовал его даже во сне. После завоевания независимости он стал служить в полиции Цирты.

Шло время, и разношерстный народец — ковровщики, кожевенники, мелкие ремесленники — исчез. Воспоминание о циртийских пиратах стерлось в памяти людей. Остались только имена воинов в названиях городских ворот. Странное дело — он не понимал, до чего это горько. Однако вторая война, та, в которой он участвовал теперь, пробудила эти воспоминания: великий поход мореплавателей распрямился в его памяти, точно нить, проложенная по ткани бедствий. Снова занялись пламенем деревья, скорчившиеся под ветром. И этот мальчик, сидевший у его стола, побуждал его вновь прочувствовать непомерную тяжесть прошлого.

Широкие черные шторы падали с карнизов и запирали темноту в темницу. Настольная лампа слабо освещала его длинные пергаментные ладони, нижнюю часть лица, серые папки и рядом с ними разрезной нож. Полковник Мут зарывался в полумрак, правя с этого сумрачного пьедестала судьбами муравейника, носившего имя главного комиссариата Цирты.

— В темноте я вижу, как крот. А на свету все думаешь, как бы тебя не шлепнули.

Потом, Сеифу:

— Не выношу подвалов.

Полковник Мут знал, какими методами ведется борьба с терроризмом, но не отказывался от них, передоверяя эту "гнусную необходимость" своим подчиненным.

— Если я правильно понимаю, вы желаете вывезти на прогулку убийц вашего коллеги Махмуда.

Убийца, которого арестовали, пока Сеиф оправлялся от раны, гнил в подвалах комиссариата вместе с пареньком, давшим информацию о Махмуде.

— Да, полковник, — ответил Сеиф.

— Я считаю вас острием копья нашего комиссариата, — сказал он с еле заметной насмешливой улыбкой. — При условии, что подобная просьба повторится не слишком скоро, разрешаю: дайте им подышать свежим воздухом.

Полковник Мут поднялся на ноги, длинные и тощие, и протянул руку.

— Этот разговор между нами.

Полковник Мут снова погрузился во мрак. Виден был только его рот — тонкая линия над подбородком. Он посмеивался. Черты этого усталого, постаревшего лица, казалось, были сотворены мрачной скукой. Черный костюм облекал полковника, словно ангела смерти. Смотря вслед Сеифу, которого он не воспринимал серьезно — еще один попавший в бурю ребенок, — он устремился за своими воспоминаниями, снами по благословенной волне, большой корабль на пене валов под изумрудно-синим небом, испещренным, словно булавками, холодными, заледеневшими и мерцающими звездами, что раскинулись на небесной тверди, как широкий веер, где записаны человеческие страдания, минувшие, настоящие и будущие; робкая, но стойкая жажда крови оставила следы на перламутре вод, на его

пергаментных руках. Эвкалипты горели, всегда горели под взглядом богов, у него на глазах, гноящихся глазах великого распорядителя смерти, который пытался убежать от кошмара своей юности, своих восемнадцати лет, но сон не давал себя одурачить и преследовал его, окутывал пустой оболочкой легенд: корсары качались на волнах, кожевенники подсушивали на солнце сочащиеся язвы, благородные разбойники мстили за вдову, за сироту, мальчишку-фантазера, на чью белую и нежную плоть еще не легли стигматы зрелости. Большие деревья всё горели.

На древних болотах, высохших со времени колониальных войн, во множестве были разбросаны спальные районы, обращенные к холодному городу-моллюску, спрятавшемуся в свою раковину, — к Цирте, что стала жертвой собственной апатии и тяжких ошибок. Бесчинства, назвать которые не поворачивается язык, грабежи, насилие, а более всего неисполненные обещания и высокомерие — все это усиливало злопамятство, подогревало ненависть, уснувшую на солнце, словно гадюка, бередило прогоркшую кровь жителей окраины — скучного квартала, где раньше жил Махмуд и его убийцы.

Перед возникшими из ниоткуда людьми поднималась кирпичная стена — ограда, вдоль которой стояли жилые дома и контрфорсы Цирты.

Каким-то чудом высокие эвкалипты, стройные, точно древние актеры, раскинув руки в ночи, под ветром, росли вокруг пустыря и источали смешанное с запахом пыли мятное благоухание, тонкое и нежное, драгоценным убором одевавшее эти жаркие места. Фонарь бросал на красно-коричневую землю широкий круг света, достигавший подножия деревьев.

Четыре человека — двое из них в наручниках — шли, вздымая клубы сыпучей земли. Мелкими шажками, спотыкаясь, двигались они вперед, согнутые, сломанные потоком воздуха, который трепал их одежду, волосы, морщил веки, отяжелевшие от бессонницы, страха, боли — всего того, что неизбежно в их положении пленников, лишенных дневного света, погруженных во мрак главного комиссариата, этой громадной тюрьмы, где гнездилось племя умирающих, осужденных, этой клоаки, мешающей палачей с их жертвами, выполняющей, подобно моргам и больницам, работу по формовке душ и тел, где сплавлялось в единое целое то, что было растерзано в клочья, что неизвестные, скрытые под покровом боги швыряли в новейшие центрифуги.

Сеиф и Колбаска-Фри только что вырвали из чрева этой машины двоих людей, и те шли, полузакрыв глаза, склонив голову под тяжестью ночи. Ничего не соображая, они направлялись к высоким деревьям, окружавшим пустырь.

Внезапно четверо перестали двигаться, словно нить, указывающая им путь, неожиданно оборвалась.

Не было ни договоренности, ни приказа. Люди, которых скрывала ночь, вычеркивало ленивое дыхание бриза, стояли не шелохнувшись, будто пригвожденные к эпицентру агонии.

Квартал, где жил Махмуд, круг света, черные деревья — все это на большой скорости удалялось, образуя между своим физическим присутствием и вселенной пустоту с ее стальной хваткой. Отводя границы к

последней черте, к линии их исчезновения, пустота нарушала восприятие реальности.

Двое опустились на колени. Тот, что постарше, держался прямо и не сводил глаз с темной линии деревьев. Он не хотел смотреть на дома, на приоткрытую дверь подъезда — темный зев, откуда он тогда извлек свою жертву. На его лице не отражалось ничего, ни малейшего страха, который исказил бы его черты, подчеркнул бы тик. Его отсутствующий вид взбесил Сеифа, и он рывком попытался повернуть его ко входу в здание.

Тот плюнул в полицейского. Сеиф несколько раз нажал на курок.

Подростка четырнадцати лет, стоявшего на коленях в полуметре рядом, окропило мозговым веществом соучастника. Он увидел вспышку. Увидел, как под струей воздуха распадается лицо осужденного. Алое облако накрыло его с головы до ног. Он дрожал; его вырвало.

Сеиф не двигался. Вытянув руку, он разглядывал тело у своих ног. Подергивания конечностей говорили о присутствии некоей силы. Сеиф понял, почему его недруги с ожесточением набрасывались на тела жертв. Они гнались за недостижимым абсолютом. Бесполезность погони вела к всевозможным кощунствам. Они расчленяли тела от бессилия перед жизнью.

Сеиф повернулся к парнишке. Он готовился направить свою ярость на него — так впрыскивают яд.

Подросток у его ног стонал, корчился в заблеванной пыли. Слово растаяло, вместо него послышалось странное урчание в животе, ветер засвистел в камнях.

Сколько людей в подобной ситуации издавали такой же крик? Сколько их извивалось в пыли, как рептилии, как личинки? Число их росло на протяжении тысячелетий. Они заполняли архивохранилища земли, дописывали хроники своей кровью, ставшей чернилами, творили историю наций, выросших из такой же грязи, облекшихся такой же плотью во имя своей будущей славы. Какое опустошение! Потом этими преступлениями объедались до тошноты. Их преподносили детям. И те пили из отравленных источников.

— Я там был, когда Суисси завалили, — сказал Колбаска-Фри.

Он стоял поодаль, на разломе, там, где свет мешался с тенью. Он отошел прочь от круга смерти.

Сеиф опустил руку и подошел к нему, не выпуская из виду мальчишку. Тот оставался у него на прицеле.

— И на спусковой крючок нажал Махмуд? — спросил Сеиф, стоя под веткой эвкалипта.

Колбаска-Фри по-прежнему держался в тени.

Сеиф опустил голову. Он заметил, что мальчик дрожит. Ночь обступала его. Ветер с земли кружил мертвые деревья.

После той майской ночи Сеиф бродил, как изгнанный из стаи волк. Пария. На земле больше не было для него места.

Подобные ему обречены идти своей дорогой без передышки. Он же совершил непоправимое. Господу ведомо, что я в своей вере отнюдь не ортодоксален. Мать считает меня атеистом. И нет у меня ничего общего с кретинами, которые заливают страну кровью. Уж они-то веруют. Сколь абсурдным бы это ни казалось, но их вера становится осязаемой. Это самое худшее. Материализация веры здесь, на земле. Человек под-

меняет собой Бога, чтобы осуществлять его властные полномочия. Неограниченные. Каждый человек в свой черед становится Богом. И в каждом человеке — Бог.

Сеиф жаждал понимания. Он убил ребенка и хотел, чтобы ему отпустили этот грех. Он встал на место Бога Авраама и теперь искал искупления. Но ведь искупители, как и добрые люди, не встречаются на каждом шагу. Тени, с которыми он боролся, конечно, не заслуживали лучшего, но мне быстро стало ясно, что я не могу ни искупить вину за него, ни привести его к прощению. Все это не укладывалось в голове. Одни резали, другие пытали и убивали. Одни ошибались, другие были правы. Главное — не попасться им в лапы. Ни тем ни другим.

Слишком много крови налипло на наши воспоминания... Он был студентом, как Рашид, как я. Теперь это стало прошлым, невозвратным, как время, которое он тщетно пытался изничтожить, нажимая на курок, а точнее — вытаскивая на свет Божий погребенный материк, разрешая ужасу воскреснуть и заполнить собой наши дни в призрачных стенах утратившего величие города — Цирты, некогда съеденной своими кошмарами, отвратительными улочками, где преступление бродило безнаказанно, цвело, излучало энергию, возбуждало гнев рабского племени, перешедший точку взрыва и теперь требовавший только ножа, пули террориста или палача, которые наконец выпустят на волю опустошение, накопившееся за целые века, и оно, будто слои лавы, ложащиеся один на другой, достигнет головокружительной высоты.

Вулкан никогда не потухнет, думал Сеиф. Там, в кратере, идет работа, и достаточно пустяка, непостижимой игры тектонических процессов, выстрела, чтобы из него вновь хлынула магма, раздирая в клочья небо и землю, растекаясь так же, как расползается сейчас насилие, пожирающее открытую всем ветрам Цирту.

Сам он вспоминал о городах, готовых кануть в небытие людской памяти, упомянутых на кусках старого пергамента, что на протяжении веков переходят из рук в руки. Такой хочет быть созданная заново Цирта, и непонятно, что лучше — то ли умолчать о ней, то ли дальше откапывать ее из могилы.

— Бабушка, да упокоит Господь ее душу, часто рассказывала мне разные истории, случаи, всякие пустые выдумки про Цирту, что вот уже много столетий передаются из уст в уста. Ты, Хосин, уже понял, что я пытаюсь тебе объяснить. У каждого из нас есть такая бабушка, и она знай себе бубнит эту жутковатую чушь. Как бороться с тем, что вколачивают в тебя с детства? Как бороться с ложью, если она впитана с молоком матери? А ты требуешь, чтобы я копался в могилах! Нет уж, пусть зарытое остается под землей! Оно и так заставляет нас совершать ошибку за ошибкой. Того паренька я убил по наущению Цирты. Да-да, это так. Где-то же сидят в нас все эти истории про тысячу и один раз завоеванный и оставленный город, эти непрерывные войны, эти легендарные имена — Сифак, Югурта, бои на аренах цирков, вторжения римлян, вандалов, турок, французов, а теперь еще и эта сжигающая нас война! Это они парализуют наше будущее, как свинец давят на настоящее, мешают нам свободно двигаться по тому пути, которым идут сохранившие непорочность народы: груз мерзостей не отбрасывает их назад, в прошлое — то ли потому, что они о нем забыли, то ли потому, что он не сгустился в целый континент мрака, то ли по милости управляющего ими божества. Ничего не выкапывать, писать Историю? Возможно...

Обессиленно откинувшись на спинку стула, Сеиф пристально глядел на меня. Чтобы скрыть замешательство, я смотрел, как входят новые клиенты, как, спотыкаясь, с наигранной беспечностью бегает взад-вперед официант, смотрел на акробатические трюки бармена, этого историографа клонящегося к закату города, на дохлый вентилятор.

Я так и не мог ни выразить согласие с тем, что он сказал, ни даже сказать, что я думаю о его поступках. Все это представлялось мне слишком далеким. Неужели легенда завладела им и так отдалила его от ему подобных, что он словно бы превратился в мраморное изваяние? Какое-нибудь увечье — например, потеря руки — еще могло бы придать ему толику здешности, крошку жизни, напомнить, что он из плоти и крови. Но он высился над нами, как древняя статуя, и у нас на глазах облекался в небытие.

— Который час? — спросил Сеиф, разозленный моим молчанием.

Два часа ночи. Снаружи, как цветок, раскрывалась Цирта. Под чернильным и угольным небом расцветали сады и парки, где разливали свой аромат глициния с голубыми лепестками и серая полынь. Лебединая песня усталой, опьяневшей от самой себя природы, высвобожденная землей грусть, размолотая пряность, как туча саранчи, как облако, как сплошной кроваво-красный поток распространялась по дорогам, тропинкам, меж скалистых отвесных стен, проникала в струйку воды, что извивается под циртийскими мостами. Лето запахами вырывалось на свободу. Контраст с прокуренным кафе, с затхлостью пережженных кофейных зерен, развороченных уборных, с погасшими сигаретами, с пепельницами, наполненными до краев, казался богохульством.

— Знаком тебе запах смерти? — спросил Сеиф.

Я жестом ответил, что нет.

— Это запах гниения. Запах разлагающейся плоти, разоренной, как местность после цунами, когда волны, отступив, оставили раздувшиеся тела женщин, детей, стариков, всех вперемешку. Знаком ли тебе именно этот запах?

Предпочитаю об этом не думать. Лето в наших краях курится нежным ладаном; Африка взрывается всеми лепестками своих хищных цветов. Это насилие, состояние обонятельной войны. Берег моря — не исключение. Соленая волна, струящаяся пена так и тянут за собой. Птичий помет, большие бурые водоросли, нити фукусов дурманят смотрящего на поплавок рыбака.

Когда-то давно ночами мы с Мурадом на побережье Цирты Воинственной бросали вызов звездам, гулким перламутровым выпуклостям. В мыслях возвращаясь к этому времени, я ощущаю привкус ностальгии, такой вот чертов привкус дерьмовой ностальгии. Уже пять лет мы не можем и шагу сделать по пляжу вечером вдали от крепости. Боимся, что террористы выпустят нам кишки. Сколько глупцов вот так сгинуло? Сколько пошло на мясо из-за желания прикоснуться к бесконечности?

Мы расстались у кафе. На тротуаре сменяли друг друга мои воспоминания о длинном дне. Вокзал. Квартира Хана. Комната Хшиши. Журналист Хамид Каим. Хаджи. Смерть безумца. Комиссариат Цирты. Неприятное ощущение уже пережитого. Пьяное время шутило со мной. Или травка. Уже не пойму. Сколько людей населяло эти места, сколько их спало, ворочаясь в кроватях, протягивая руки к слабой, дремлющей в них тени? Они встанут утром, по заведенной привычке, не подозревая,

что у них только что отобрали частицу вечности. В конечном счете, смерть ведь так мало их касалась. Она едва дотрагивалась до них своим тонким пальцем; вы же могли сколько угодно издыхать, разинув пасть, околевать в канаве, не понимая, куда мог запропаститься этот проклятый город, этот наглый опасный порт, — им на это было решительно наплевать. И мне это было до лампочки. Однако ничто не помешает мне выть на волков. Пусть небо сольется с землей, пусть нас поглотит океан, пусть вот-вот пойдет ко дну наш корабль и наши сбившиеся в кучу трупы уже никто никогда не опознает: так обкромсаны и раздуты лица, на столько кусков разлетелись тела, исчезли признаки пола — пусть; ничто не утолит мою жажду, жажду обреченного на одиночество.

Пусть мы скованы на долгие века, как нерушимо верные друг другу любовники. Все равно ничто не укроется от моего гнева. Сквозь пальцы у нас протекла наша юность.

VI

Половина третьего. Идя по улицам Цирты, я вспомнил, как мы, приехав в университет, зашли в гости к Али Хану и его жене. Туда же пришел Хамид Каим. Он прилетел из Алжира. Раньше мы с ним не встречались. Он сам решил отправиться с нами к Рашиду Хшише и Рыбе. Он был в бешенстве, когда разговаривал с майором спецслужб. Потом он рассказал нам, что, собственно, вызвало его ярость. Мне кажется, он скрыл от нас многие события своей молодости, умолчал о неприятностях, которые доставляла ему работа журналиста. Слова Каима подтолкнули меня к моему теперешнему странствию. Видимо, из-за него я не могу возвратиться туда, откуда пришел, не могу направить стопы к дому, к родным. Итака терялась где-то на окраинах. Путешествию по Цирте не предвиделось конца. Мои движения приобрели даже некоторую размеренность. Теперь я знал, что скоро растворюсь в этом городе. И все-таки шел дальше.

Я завидовал Мураду. Он был все тем же мальчишкой, с которым я расстался сегодня после обеда: влюбленным в жену преподавателя, пишущим свои безделки, не без удовольствия смотрящим на себя. Конечно, в его жизни иногда появлялось страдание. Было ли ему, как и мне, суждено ускользнуть от кошмара хаоса, возведенного в ранг морали? Найдет ли он точные слова, когда настанет время записать эту историю в школьную тетрадку?

Хамид Каим жил в Алжире и работал журналистом. Как познакомился с ним наш преподаватель литературы? Была ли это одна из тех случайностей, которые приберегает для нас детство? Или, как часто бывает, уже родители этих людей были как-то связаны между собой?

Я выстроил воображаемые связи, бредовые родословные, нитью проходящие по Истории, совсем как в тех романах, где дети из двух враждующих семейств, слышать не желающих ни о каком примирении, сочетаются узами брака, и поколения, похожие на ячейки рыболовной сети, пересекаются, перемешиваются и в конце концов растворяются друг в друге. Благородство обоих вынуждало всякого наблюдателя задаваться вопросом о том, что их связывает, и лихорадочно сочинять всякие безумные истории.

Достаточно было посмотреть, как они идут рядом. Или послушать, как они — порознь — говорят на какую угодно тему. Факты, поступки, идеи обретали в их устах новое измерение. Как в музыке одна нота может вылиться в симфонию, пройдя через буйство тем, так и у этих людей: какое-нибудь пожимание плечами надолго оставалось в душе свидетеля, пусть невнимательного, но все же околдованного редким изяществом этого жеста, а главное — его силой и наполняющим его смыслом.

Их слова — в иных устах они показались бы несуразицей — открывали перспективы, в которых мысленный взор каждого мог разбежаться, скатиться с горных вершин с острыми заснеженными пиками к плодородной зеленеющей долине, где свет каплями собирался на сочной траве. Какие феи склонялись в свое время над их колыбелями? Почему, когда я думал о них, я невольно превозносил их, больше, чем кого бы то ни было? Надо сказать, что меня никогда не учили писать портреты, лестные для модели. Просто я поддавался исходившему от них очарованию. Покидая комнату Хшиши вместе с Мурадом и Хамидом Каимом, я вновь погрузился в вихрь всех этих чувств.

Хамид Каим шел с нами по кампусу и говорил:

— Мы стиснуты со всех сторон, словно остров во время прилива, и ураган, подпитывая бешенством дерзкую выходку природы, принимается дуть на прибывающие валы, швыряет их на песчаные отмели, на холмы с крутыми склонами, на горы и равнины, на пески Сахары, на омраченное июльское небо. Но летом ураганов не бывает. Если они иногда и движутся к нашим берегам, то это несчастливая случайность, трагедия, неизбежность, с которой необходимо вступить в борьбу, против которой надо выстроить защитные сооружения, длинные волнорезы, чтобы море и его бушующие волны не накрыли нас, как жителей древних городов, застывших в лаве неподалеку от вулкана или у самого его подножия, навеки застывших в том, что неслось, как лошадь на скачках или как погоня, и что так никогда и не достигло своего предела, ибо жизнь оборвала это движение.

"Али Хан, — продолжал Хамид Каим, — стал мне братом, которого у меня не было. Когда я вспоминаю свою юность, я слышу его смех. Отец ничего не имел против этого союза, так похожего на братство. Он возил нас обоих на рыбалку. Мы вприпрыжку носились по песку, когда позволяла погода, например в ясные и теплые ночи. Ложились спать под открытым небом. С ним вместе я научился находить и называть созвездия. Ганимед, Кассиопея, Орион. Нам даже казалось, что они шуршат в вышине и этот звук похож на шорох тонкой ткани, потрескивание травы и сухого тростника, поющего на ветру о своей хрупкой боли. Прибой завораживал меня, и я часто думал: какие сокровища таит в себе даль и вечно убегающий горизонт? Я говорил ему об этом, и он смеялся — его мало увлекала поэзия мира. Потом, завернувшись в толстые одеяла, мы засыпали под морским ветром.

Он рассказывал мне о своей сестре. В отличие от него, она была шалуньей. В его глазах часто стояли слезы гнева. Однажды вечером, когда мы уже почти заснули — отец куда-то ушел, — он вскочил на ноги и стал кричать против ветра. Он выкрикивал свою ненависть к жизни. Иногда я думал, что он покончит с собой, но его глубокая натура толкала его на завоевание сча-

стья. Незадолго до смерти сестры он, по его собственному выражению, окунулся в религию. Я — трудно себе представить — никогда не переживал ничего подобного. Я имею в виду ощущение величия, глубокое чувство непрерывности человеческой жизни. Конечно, я очень любил звезды, недосягаемую даль, но не различал в ней ничьего присутствия. Али Хан, напротив, верил, что во всех наших поступках и мыслях есть смысл. Он даже принялся усердно посещать мечеть неподалеку от дома — в то время подобная привычка казалась странной и не подобающей юноше. Иранские муллы еще не свергли шаха. Земля в Эль-Аснаме еще не содрогнулась[1]. Его вера была простой и открытой, она не имела ничего общего с тупым беснованием тех, кто в наши дни готов и солнцу горло перерезать.

Однажды утром — мы еще толком не проснулись — он позвонил в дверь. Ему было пятнадцать лет — сознательный возраст. Он взял меня за руку и сказал:

— Смысла нет ни в чем, даже в отсутствии.

Он выглядел растерянным, и я понял, что с ним что-то случилось. Он зашел ко мне в комнату, порылся в книгах и достал Коран в зеленом шелковом переплете. Долго смотрел на него.

— Книга стоянок[2], — сказал он.

Он погладил обложку, открыл книгу, с ужасающей, почти безумной медлительностью перелистал ее, потом закрыл. И все. Я был на похоронах его сестры. Он никогда больше не говорил со мной о религии. Никогда больше не вошел в мечеть. В течение долгих месяцев сестра была его единственным божеством, и каждую неделю он ходил на кладбище, садился возле маленького надгробия из белого мрамора и слушал, как ветер поет в ветвях буков. Я думал, что он сойдет с ума. Понемногу смех вернулся на его уста. Мы снова пошли по морской дороге, одни.

Дорада, которую я поднял из пены, смотрела мне в глаза. Отец умирал. Мать не находила себе места, и я понял, что они любили друг друга несмотря на бесконечные ссоры, угрозы разрыва, уходы из дому, которыми, как вехами, было размечено мое детство. Я так ничего и не понял в любви. Этому чувству книги не учат. Отец умер июльским вечером.

Позже мы вместе поступили в университет. Там мы изучали литературу под неусыпным полицейским надзором. Внутри университетского микрокосма набирали обороты левые и ультралевые движения. Нам поручили заниматься культурной составляющей революционного проекта. Начал выходить журнал: Хан отвечал за типографию, а я занимался художественным и идеологическим содержанием. В это самое время верхушка нашей партии стала всерьез заигрывать с властью. Мы об этом не знали и в блаженном неведении продолжали свой муравьиный труд.

Я познакомился с молодой женщиной. Она была похожа на преподавательницу, звали ее Самира. Однажды вечером я отвез ее к морю и рассказал ей об отце. Было тепло и прекрасно. В ее волосах блестела водяная пыль. В глазах — звезды. Я заключил ее в объятья, раздел и смотрел на нее, она была бледнее газели. На ее теле сплелись в круг все мои

1. Имеется в виду сильнейшее землетрясение в районе алжирского города Эль-Аснам в октябре 1980 г.

2. Суфизм, мистико-философское течение в исламе, понимает жизнь как путешествие к Богу, подобное движению каравана по пустыне; оазисы, стоянки на этом пути, — изучение Корана. Название "Книга стоянок" имеет ряд памятников арабской литературы: трактат Абд аль-Джаббара Ниффари (X в.), сборник стихов и рассказов Усамы ибн-Мункыза (XI в.) и богословский труд эмира Абд аль-Кадера (XIX в.).

ночи. Мы были совершенно одни. Мир обезлюдел. Я взял небо у нее из рук и нежно поцеловал его. Ее тело трепетало, как оперение птицы. Она позволила мне овладеть ею. Я поднялся к источнику вод.

Она взяла меня за руку и сказала:

— Отныне, пока я жива, ничто не разлучит нас. И это небо, и тело, которое ты созерцаешь, я приношу тебе в дар. Моя кровь принадлежит тебе. И все, что есть на земле, и все, что есть в море, и все, что дышит, и живет, и умирает, — все это принадлежит тебе.

Она распустила волосы, и они упали ей на колени.

— Близко я буду или далеко, подарит нам судьба остаток наших дней или похитит нас друг у друга — ты никогда не будешь одинок, слышишь?

Ее тень выросла и смешалась с водами, по которым я поднимался.

— Тень, лежащая на тебе, необычность, которая тебе присуща, — я читаю об этом в тайнописи твоих рук, которые только кажутся пустыми, но в которых, как говорил тебе отец, таятся все наши жизни, нынешние и грядущие, и моя жизнь, и твоя, и жизнь наших отцов, и жизнь наших матерей.

Я взял ее лицо в свои ладони и заплакал.

— Мои руки пусты, мое семя бесплодно.

— Ты мое раскрывшееся сердце, ты тень, что несет меня, — отозвалась она".

Шел дождь. Ее мокрые волосы пахли скошенной травой. Хамид Каим овладел ею снова под теплым и мягким летним дождем. Песок жадно впитывал воду. У нее был вкус свежескошенной травы. В университете возобновились занятия, и они решили объявить забастовку. Журнал, который они с Али Ханом издавали, стал орудием войны. Они заняли большие аудитории и кабинеты администрации. В течение трех дней они митинговали, отстаивали свои права, требовали. Они шли в колоннах, поднимая к небу транспаранты, говорившие о том, что их жизнь — это их боль. Самира повсюду следовала за ними. Революция испытывала их на прочность.

У всех по рукам ходили листовки. "Демократия!" — беззвучно кричали буквы. Листовки переползали с рук на руки, как мухи. Цеплялись за деревья и повисали головой вниз, как обезьяны. Потом падали, словно листья в потоках ветра и света, ветра и гнева. Стояла осень. Деревьям надлежало умереть, чтобы с новой силой возродиться. Круговращение соков сопровождалось грозовой лихорадкой.

Полиция осадила университет. Уехать. Повсюду рыщут вооруженные люди. Самира? Они никогда больше ее не видели. Хамиду Каиму удалось бежать. Али Хану тоже. Они объехали мир. Китай встретил их пением сирен.

Хамид Каим сидел под эвкалиптами. Лучи солнца падали косо. Меж ветвей, под длинными измученными листьями свет распадался на красные и желтые блестки. Его вспышки, осколки озаряли серьезное лицо журналиста. Когда он вспоминал о юности, пленительная улыбка оттеняла выражение его лица — лица человека, прошедшего через испытания.

Тень ветвей на земле, у нас под ногами, расползалась на сотни штрихов. Хамид Каим рассказывал о своей любовной связи с матерью Амель; он горько сожалел о своей черствости: та женщина, быть может, любила его... Эта неуверенность его страшила. Прежде всего ему вспоминалась плотская страсть — так он сказал нам, улыбаясь. Пожар, зарево! Он смеял-

ся над своей неопытностью. Почему молодые люди отделяют тело от духа? – спросил он. Мурад пустился в пространное метафизическое объяснение, противопоставил Блаженного Августина святой Терезе, Ибн Рушда – Ибн Араби[1], но это не удовлетворило журналиста.

Мне ведомы телесные порывы, пытка чувств, тирания плоти – и только. Неджма под душем, например. Я отчетливо помнил ее формы. И ее запах. Поток, лившийся на наши заново рождающиеся тела. Любовь? Я, знаете ли, дорожу своим душевным здоровьем. Наши женщины, такие красивые, прежде всего ищут заботливого мужа. Этой роли я никак не соответствовал: у меня не было ни приличного состояния, ни квартиры в центре Цирты, ни шикарной машины, что служила бы гнездышком для любовных проказ – душевая кабина в гостинице заставила бы расхохотаться самую простодушную из наших девственниц. И я довольствовался тем, что трахал в задницу самых смелых: невест моих друзей или соседей, усталых путешественниц, заночевавших в гостинице "Хашхаш", шлюх, подружек моих сестер, вдов, сироток, распустех, танцовщиц, бандерш и мечтательниц. Возвышенную любовь и ее тяжелые обязанности я оставлял Мураду, платонику и моему другу. В качестве жертвы своего бреда он заполучил Амель Хан, жену нашего преподавателя. Конечно, я и сам не был равнодушен к чарам этой дамы. И я отнюдь не жаждал послушничества. Монастырскую жизнь я отдавал на откуп идеалистам вроде него. Тени на земле – их отбрасывали листья эвкалиптов – представлялись мне множеством переплетенных тел, которые борются с пожирающим их огнем. Геенна плотская. Не творите блуда, заунывно бормотали наши братья. Не покрывайте их своими телами, легко отзывающимися на похоть. Аминь. Я отменю наложенный запрет. Я повеселю их затюканных баб. В одежде и хиджабе, раздетых, сконфуженных под натиском моих чувств, погребенных под вулканом моей мужественности. Я стисну в объятиях вселенную с ее непрерывным разрастанием. Свет катился по пожелтевшей траве, рассыпался кристаллами и драгоценными камнями.

Хамид Каим вытянулся на сухом газоне, зажав в губах стебель одуванчика. Он насвистывал. Мурад удивленно взглянул на меня и пожал плечами. Уместнее всего было молчать. Хамид Каим, вероятно, думал о том, что он только что рассказал. Голубизна неба резко выделялась на зелени и ржавчине эвкалиптов. Неуловимый ветер шевелил чешуйки древесной коры. Хамид Каим дунул на белый цветок. Пушинки поднялись в заколдованном вихре, вознесенные ветром на гребень дня, высоко в лазурь. В мешанине цветов, в тенистом шорохе на земле и переливах света я различал бесчисленные возможности, таящиеся в любой жизни.

Улицы Цирты разговаривали со мной в темноте. Так кто же ты? Хосин, только и всего. Они отвернулись. Минуточку, пожалуйста... минуточку. Признаю: я уже не ребенок, которым притворялся только что. Я ничем не похож на того, кем был сегодня утром. Прошла вечность. А может, и больше. Но несем ли мы ответственность еще и за истекшее время? Я так не думаю. И вот доказательство: по милости ночи события прошлого возникали вновь. Мне снова было восемнадцать лет.

1. Ибн Рушд (Аверроэс, 1126–1198) – врач, философ-рационалист; Ибн аль-Араби (1165–1240) – поэт и мыслитель-мистик.

Казарма, ощетинившаяся сторожевыми вышками, открыла передо мной свои стальные двери; вооруженные солдаты стояли на посту. За ними девушка-часовой насмешливо посмотрела на меня, когда я проходил мимо; ее волосы ничем не были покрыты. Добро пожаловать в царство дедовщины. Догола. Я побыстрей разделся и сел на металлическую скамейку. Совсем необязательно уточнять, что был утренний, предрассветный час, что холод впивался в голые бледные тела двух сотен будущих новобранцев, в их удрученные горем, сморщенные мошонки. Необязательно вводить в картину аджюдана, который брызгал слюной и гонял нас туда-сюда, гавкая свои приказания.

— Студент? Хорошо. Армии нужны люди умственного труда. Понимаешь, с безмозглым куском мяса уж не знаем, что и делать. Видишь, вон они, стоят по струнке, да, уже. Деревня блюет и дрищет этим мясом. Они воняют. Чуешь, чем — халупой и древесным углем?

— Угу.

— Доктор! Доктор! Студент.

Какой-то вроде как врач, в белом дырявом фартуке, со стетоскопом на широкой груди, открыл мне рот и впихнул туда шпатель.

— Не сблюй, — пошутил аджюдан.

— А-а-а-а-а-а-а-а-а!

— Отлично. Ты годен, малыш. Национальная народная армия призовет тебя. Форт Лотфи, на дальнем Юге. Сначала учеба, потом казарма. Что дальше? Женитьба. Такие вот сукины дети, как ты. У этих шлюшек как? Присягнула — и порядок, всегда боеготова. Что? Они все шлюхи. Да ладно, как же! Поди глянь в том квартале, потом расскажешь.

Я пошел посмотреть.

Публичные дома Цирты. Проститутки стоят рядами по всей улице, пузо голое. Это традиция такая — ходить трахаться после казармы. Ребята из квартала: Момо, Хдиду, Камель Зеркало, Салим Весы, Ясин Невезучий, Рашид Анестезиолог (он масон) — уже отведали борделя. Я нацелился на бойкую, как заводная кобылка, гетеру.

— Садись, мой цыпленочек, налитой миленочек.

Двести динаров. Комната воняла прокисшей спермой, блевотиной и дерьмом. За двести с лишним лет через нее прошли многие поколения сопляков. Берберский, турецкий, французский, китайский, таиландский, камбоджийский бордель. Транснациональная поебень. В сперме ведь нет ни капли расизма. На пороге мамаша-бандерша обжаривала сладкий перец. В комнате шлюха присела на корточки над биде и начала наводить глянец на свою киску, свою красотульку, свой бугорочек, свою...

— Да у тебя слюнки текут, а! Маленький извращенец!

Это правда, я еще никогда к манде не прикасался. Только мельком видел у старшей сестры. Очарование промискуитета. Она повела своей щелью у меня перед носом. Запах этой штуки, смешанный с чадом перцев.

— Нюхай, поросеночек, нюхай!

Она растянулась на железной кровати, покрытой серым одеялом. Вонища. Я так и стоял на месте, с поникшим членом.

— Вижу, вижу, — сказала профессионалка. — Ты первый раз.

— Да, мадам.

— Не называй меня "мадам", а то мне кажется, что я трахаюсь с собственным сыном.

— Да, мадам.

— Ложись.

Я подчинился. Старуха все посолила и полила оливковым маслом. Она взяла его в рот. Зубов не хватало. Она сосала меня. Она проглотила перец с нескрываемым удовольствием. Мой член встал в почетный караул. Смирно! Залп в честь народной армии. Бах! Бабах! Вот ты и мужчина, малыш. Спасибо, мадам. Улицы Цирты Ужасной пропускали меня вниз, и я беспрепятственно шел все дальше. Пока не вспомнил, что мне нужно было подняться к городским вершинам через завитки лабиринта — еще одна западня. А что делает абсолютно современный человек, когда чувствует, что заблудился или устал? Подзывает такси.

— "Шемс Эль-Хамра".

Машина тронулась.

Старый "пежо-504" карабкался по скалистому карнизу Цирты под жалобы осей, скрежет и стон задыхающегося мотора. Водитель, парень лет двадцати, старался меня разговорить. Расспросил про ночной клуб, в который я направлялся, и прокомментировал: "Шемс Эль-Хамра" — это адская бездна; помянул женщин, что там собираются, и вынес свой вердикт: шлюхи; потом опустил стекло и выплюнул жевательный табак, который мусолил во рту уже несколько часов. Коричневатая жижа свистнула на ветру и, описав в воздухе кривую, шлепнулась на асфальт. Он включил радио. Салон наполнился звуками раи[1]. "Мне отказали в визе, — пел популярный артист. — Я изорвал свой паспорт..." Почему бы и нет? Не люблю я таксистов. Если они не превозносят достоинства братьев по вере, значит, работают на соответствующие службы. Ирония судьбы: я ведь и сам собирался пропустить стаканчик с майором тайной полиции. Я попытался себя подбодрить, оправдываясь любопытством, жаждой познания, а еще тоской, объяснимой событиями этого вечера. Напирал на невинное желание развлечься. Чтобы разом покончить с угрызениями совести, я сказал себе, что посулы майора, в конце концов, всегда можно отвергнуть. Закрыв дебаты, я опять склонился над своим прошлым.

После медицинского осмотра военные власти Цирты нашли меня годным к службе под знаменами славного ублюдочного отечества. Я поспешил записаться в университет, что позволяло мне повременить с удовольствием сделать карьеру в каком-либо из родов войск этой национальной и очень ненормальной армии. Первый год я провел в обществе случайных приятелей, невежественных и злобных, чье любимое занятие состояло в надзоре за нравственностью, причем свидетельства о благонравии получали те студентки, которые прилежно ходили на занятия. Мне быстро надоели их злобные придирки. Вскоре я с ними уже не разговаривал. Приняв к сведению моральные критерии моих прежних знакомцев, я стал встречаться с теми студентками, которые из рук вон плохо соблюдали ряд основных предписаний Корана. Теперь меня окружала целая свита правоверных, боготворивших меня обожательниц; для них — я твердо это знал — мои наставления никогда не пропадут даром. Они усвоили важнейшие заповеди, регламентирующие сферу чувств подлинно верующей женщины. Они поднялись до истинного понимания таинств религии. Как первые христиане, мы практиковались вдали от чужих глаз, чаще всего — в аудиториях. Мы вторгались в

1. Популярная современная восточная музыка; возникла в Алжире.

святилище, баррикадировали выходы нагроможденными друг на друга столами и приступали к фундаментальным изысканиям.

Тогда же, в 1991 году, я познакомился с Мурадом. Меня умилила его чистота. Он и не подозревал, что желтоватые пятна на стенах аудиторий повествуют о сексуальной жизни студентов Циртийского университета. Откуда на стене потеки спермы? Во-первых, в силу строгого соблюдения правил о ненарушении девственности. Во-вторых, из-за практики прерванного акта.

— Coitus interruptus, — блеснул латынью Мурад.

— Зашедший слишком далеко флирт, — высказался я как истый законник.

— Не слишком-то полезно для психического здоровья наших однокашников, — съязвил Мурад.

По части душевного равновесия пальма первенства оставалась за моими современниками. Не удивлюсь, если в недалеком будущем они пройдутся бритвой по горлу некоторых своих сограждан. Мы с Мурадом скоро стали неразлучны. Он жил с родителями. Не имея братьев и сестер, он располагал отдельной комнатой, телевизором, видеомагнитофоном и стереосистемой. Те, кто произвел его на свет, были терпимы, добры и всегда готовы к разговорам, особенно отец. Этот человек проводил время в циртийских барах. Домой он возвращался по вечерам, нетвердой походкой, и выказывал желание побеседовать. Его рассуждения длились часами. Будучи профсоюзным деятелем, добряк обнаруживал подлинное знание географии и людей своей страны. Я не мог понять, почему же его сыну вообще невдомек, где он живет. Любимчик и баловень, он держался на окраине мира и писал бессвязные стихи. Курс его обучения жизни начался в университете.

Зато мать Мурада не выносила закидонов мужа. Как рассказывал Мурад, это служило причиной чрезвычайно бурных ссор. Поначалу он был довольно сдержан в том, что касалось семейных дел. Потом, со временем, доверился мне, да и я рассказывал ему обо всем или почти обо всем. Я понял, как функционирует малая семья. Конфликты здесь куда страшнее. В моем доме густая крона родословного древа — мы жили вдесятером, и наше племя вскоре должно было пополниться одиннадцатым — смягчала ссоры; они быстро сходили на нет, ибо участников было слишком много. Отец не мог встать на сторону матери в присутствии дочерей; лишена была этой возможности и мать в присутствии сыновей. Сестры жили под защитой отца, который предпочитал их своим потенциальным конкурентам — нам, его законным сыновьям, мальчики же обретались под крылом у матери, которая, таким образом, делала ставку на молодую гвардию. Эта чехарда интересов защищала нас от болезненных ударов. У нас в доме слово доходило до адресата смягченным, а значит, куда менее страшным. В доме у Мурада слова вылетали, как пули, и ранили.

На исходе пятого года дружбы наши отношения представлялись мне непрерывным и благотворным для обоих обменом. Я научился у Мурада опасаться ложных мудрецов, предрассудков и готовых идей — единственного интеллектуального багажа моих соотечественников. Он благодаря мне понемногу отрывал нос от своих обожаемых книг, смотрел на мир вокруг, побывал в парочке переделок, подавлял в себе желание посылать пламенные письма жене своего преподавателя, учился слушать и — чем черт не шутит — понимать идиотов-сверстников. Он сел писать "Книгу

стоянок" — роман о жизни циртийских студентов; с его разрешения я прочел некоторые куски, изображавшие меня в карикатурном виде. В одном французском ежемесячнике он напечатал аллегорическую новеллу о первых терактах: какие-то насекомые раздувались и пожирали обитателей некоей вымышленной страны, — и стал любимцем преподавателей. Так завязались наши отношения с Али Ханом и Хамидом Каимом, статьи которого мы к тому времени уже читали.

Наша первая и последняя встреча с журналистом, как раз сегодня утром, познакомила нас с облекшимся в плоть и кровь мифом, который сложился в наших умах под воздействием рассказов Али Хана. Хамид Каим, человек как человек.

"Пежо" надрывался на извилистой дороге. Внизу море натягивало на себя изумрудную кожу. На его спине, словно светляки, мигали лунные блики. Нескончаемый прибой затевал свой танец.

Таксист высадил меня у ночного клуба. "Шемс Эль-Хамра" прятался в нескольких километрах от мыса, на холме, что нависал над морем. На востоке Цирта, далекая, почти безобидная, свернулась комочком на своем асфальтовом ложе, мерцая, словно звездное скопление, и ее отливающие стеклянным блеском сполохи танцевали на воде и выплескивались на песок.

Я вошел; два служебных цербера сочувствующе поглядели на меня. Третий в вестибюле обшарил меня с головы до ног. Удовлетворясь результатом просвечивания, пропустил дальше; я толкнул двустворчатую дверь. Музыка, словно взрывная волна, ударила мне в лицо. Я попятился; колоссальный людской водоворот подхватил меня, понес и выбросил у круговой железной ограды. На всей площади этого круга — столики и беседующие за ними люди. Ниже — еще два круга, где сидели другие люди. В последнем круге был танцпол, окруженный несколькими столиками. Сидевший за одним из них майор Смард наблюдал за танцующими.

Его голову осенял тусклый, зыбкий свет; майор восседал посреди выпускающих дым устройств. Он поднял глаза и увидел меня. Его простертая вверх ладонь на несколько мгновений потерялась в дыму, затем появилась вновь, обагренная кровью. Музыка рычала, как самолет на взлете. Он сделал мне знак присоединиться к нему. Я стал спускаться по ступенькам. По мере того как я погружался в чрево клуба, шепот и слова посетителей доносились до меня все отчетливее. Погружение в поток сознания отдельного человека, в общем-то, фантастика, рассуждал я, пытаясь себя подбодрить, как и эта атмосфера, которая со всех сторон окутывает меня своим плащом из черной пены, своей накрахмаленной мантией.

Раньше я думал, что гашиш, который я вдыхал на протяжении всего этого дня, коварно заманил меня в ту самую ловушку, из которой выросла и Цирта. Сейчас я в этом уже не уверен. Истина где-то между листьями конопли и провалом в сознании, в каком-то зазоре — тревожном, но спасительном для рассудка именно потому, что, оставаясь расплывчатым и прикрытым, он дарит мне лазейку, без которой я бы, наверное, сошел с ума. Я выдумал Цирту, чтобы спастись. Жестокий парадокс.

Я лавировал в рассеянном свете, пока круги танцевали. Проглатывал ступеньку за ступенькой. Приложив неимоверные усилия, я достиг цели. Майор Смард, казалось, уснул, убаюканный рекой, которую мне

было так трудно пересечь и из которой все не удавалось выбраться. Странная мысль мелькнула у меня в голове. Так, значит, это он и был, сказал я себе; вся эта каша, вся эта грязь.

— Неправда, — сказал майор Смард. — Я не такой...

— Так кто же вы?

Он долго смотрел мне в глаза, потом предложил сесть. Я придвинул стул.

— Страшно, правда?

Я кивнул.

Прилипшие друг к другу люди устремились в пространство перед нами. Миг — и они танцевали, корчились в свете прожекторов. Кое-где дергались женщины, грубо накрашенные, почти нагие.

Блуждающий океан смел дамбы и уничтожил на земле всякую жизнь и форму. Когда громадная волна отступила и скрутилась в спираль, словно змея в земном чреве, нужно было ждать и ждать, ночи напролет, чтобы хаос вновь обрел очертания и породил свет из тьмы.

— Это чье?

Майор Смард:

— Даже не знаю... может, мое...

Он был пьян.

— Зачем было звать меня?

— Да я и не звал вас вовсе, — ответил он, пожимая плечами.

Музыка раздулась, как волна, и едва не погребла нас под собой. Когда она утихла, майор Смард заговорил снова:

— Взгляните на человечество в целом. Что вы видите? Индивидуумов. Дико возбужденных. И одиноких. Сколько бы они ни притворялись, ни разыгрывали роли, живут они в одиночестве. Это так. Глубоко внутри что-то ясно говорит им, что они одиноки, потеряны. Какой-то зверек бегает у них в головах и громко так кричит, прямо во всю глотку орет, что все это ничего, ну совершенно ничего не значит, — а они не перестают разыгрывать храбрецов, распускать хвосты. И вот, чтобы забыть про зверька, они танцуют, пьют, трахаются. В этом смысле ваш друг — ну, вы знаете, о ком я...

— Мурад? Мурад, что ли?

— Да... Вот-вот, Мурад. Он прав. Им только это и нужно. Пить, жрать и трахаться. Мы же все равно сдохнем. Может, через день, может, через пятьдесят лет. Но это со всеми произойдет. А пока... пока, говорят они себе, надо немножко повеселиться. Давайте веселиться!

— Работенка у вас не из приятных.

— Вы ошибаетесь, молодой человек. Наша работа — это нескончаемое удовольствие. Именно поэтому я и пригласил вас на эти танцульки.

Он забился в конвульсиях. Его сотрясал утробный смех.

— Весьма польщен, — сказал я, собираясь встать.

— Сидите! — приказал он.

Я повиновался. Официант проскользнул между столиками и предстал перед майором.

— Желаете еще что-нибудь, мсье?

— Бутылку виски.

Тот исчез в дыму.

— Вы ведь выпьете со мной?

Официант вернулся с темно-коричневой бутылкой на подносе. Открыл ее и поставил перед нами. Майор Смард щедро плеснул в мой стакан.

— Ваше здоровье! — бросил майор.

— Ваше здоровье, — ответил я робко.

Он с явным удовольствием отхлебнул глоток.

— Мне хочется работать с вами, — продолжал майор Смард. — Ваше положение в университете, уверенность в том, что в недалеком будущем вы при нашей поддержке получите должность в системе образования, — все это позволит нам развивать взаимовыгодные отношения.

— Сейчас я уже не уверен, что мне нужно то, что вы предлагаете.

— Кто же заставил вас переменить мнение? Ваши друзья?

— Я больше не желаю вмешиваться в то, что меня не касается.

— Эта история с вашим юным другом, полицейским... Я слышал, что там многое было не слишком-то красиво, особенно со стороны Хшиши и Рыбы.

Я пропустил его реплику мимо ушей и сказал:

— Я такой же, как все, а может, и хуже других. Вроде этих типов, которые только и думают, как бы поплясать да потрахаться, вкусить жизни перед тем, как умереть.

— Вы могли бы схитрить.

— Не понимаю.

Музыка зазвучала громче. Все устремились на танцпол. Затхлый запах пота волнами повалил в зал. Люди на ступеньках устало глядели на охваченных возбуждением танцующих. Какая-то девушка выплясывала в центре круга, образованного примерно десятком мужчин, в красном, в голубом, в дыму, в ритме музыки. Она была похожа на Неджму, Звезду. Майор Смард тоже за ней наблюдал.

— Играть, как я, — снова заговорил майор, стараясь оторваться от этого зрелища. — Поскольку ничто иное не имеет смысла.

— А как же зло, с которым вы боретесь?

— Я не борюсь с ним. Я ему служу.

— Я полагал, что вы заботитесь о безопасности государства.

— Главное, чтобы оно не менялось!

— Мне этого не хочется.

— Тогда чего же вы хотите, молодой человек?

Я воздел руки к небу.

— Справедливости, Бог мой! Толики справедливости!

— Спокойно, спокойно, — повторил майор, обращаясь со мной как с ребенком. — Ее-то я изо всех сил и призываю. Справедливости, снова справедливости, всегда и везде — справедливости. Справедливость на завтрак, на обед и на ужин.

— Не издевайтесь надо мной!

— Я начинаю понимать вашего приятеля-полицейского, — прошептал он. — На каком свете вы живете?

Я встал.

— Сядьте, прошу вас, — сказал он сухо. — Я не циник, каким вы меня считаете. Я информированный человек. В отличие от вас я с самого начала знаю, что затевается.

Майор схватил меня за пуговицу куртки.

— Посмотрите на меня и скажите: вы считаете, что я один действую таким образом?

Я не ответил.

— Некоторые только подумывают, не заключить ли им сделку с дьяволом, а другие уже подписывают с ним договор, — сказал майор.

— Вы из тех, кто подписывает?

— Как и те, кто вами управляет и тем самым защищает вас. Как те, кто изображает из себя поборников справедливости. Как те, кто идет справа от вас и кто поднимается слева.

— Этот номер уже не пройдет. Время заговоров миновало.

— Речь не об этом, молодой человек. Я говорю о тех, кто покупает оружие, и о тех, кто им его продает. О людях, которые обмениваются оружием и в то же время объявляют друг другу войну.

— Не могу в это поверить.

— Вы верите, что я могу убить вас, прямо здесь, на глазах у всех, и выйти сухим из воды?

— Да.

— Значит, мы поняли друг друга.

— Кто же и когда остановит нас?

— Самому Богу-отцу это не под силу. Поймите меня. Я занимаюсь своим делом. Возделываю, так сказать, свой сад.

— Кладбище вы возделываете.

— Все лучше, чем оказаться удобрением для него, — сказал майор Смард, гордый отпущенной остротой.

Женщина, похожая на Неджму, возникла из клубов дыма на танцполе. Она направилась к нам и села напротив меня. Майор Смард был с ней знаком.

— Как дела? — спросил он, положив руку на ее обнаженное бедро.

— Хорошо, милый.

— Хосин, позвольте вам представить... — сказал майор не очень уверенно. — Я... что-то я подзабыл твое имя. Тебя зовут...?

Брюнетка сурово посмотрела на него, потом, переведя взгляд на меня, смягчилась.

— Наримена.

— Хосин... Наримена.

Я протянул ей руку. Как бы не увидев ее, она перегнулась через стол и поцеловала меня в губы.

— Предпочитаю так, — сказала она, сияя улыбкой.

Красивым движением головы она отбросила назад волосы. Взяла прядь волос и медленно пропустила ее между пальцами.

— Слушай, я тебя так люблю, — сказал майор.

— Я тоже, милый.

— Наримена, я тут объяснял Хосину...

Майор подыскивал слова.

— Вот что. Я пытался убедить его работать со мной. Кстати, подойди-ка.

Наримена поднялась и села ко мне на колени. Обвила рукой мои плечи. Ощущение ее тела на моем пробегало по мне, как электрический ток. Ее волосы источали аромат амбры. Ее грудь прижималась к моей щеке.

— Вот так лучше, — сказал Смард. — Я тебя лучше вижу.

Она возвышалась над толстячком-майором.

— Твои желания — закон.

Наримена пальчиком постучала по моему носу и стряхнула свои волосы на мое лицо. Она прошептала:

— Ты плохо ведешь себя с майором.

Ее рука скользнула ко мне между ног. Я вздрогнул.

— Ты тверд, мой мальчик, — шепнула она.

Наримена продолжала вполголоса говорить со мной, одновременно лаская мой член.

— Я был прав, — взвизгнул майор. — Он бесчувственный, этот юноша. Айсберг. Я предложил ему славу. Он отмел ее. Вот так.

Он провел рукой по столу.

— Всех их взять за яйца, — сказал он, сжимая кулак.

Язык Наримены играл с моим.

— Покупать и продавать их каждый день. (Теперь он мне тыкал!) Ничегошеньки ты не смыслишь, иначе уцепился бы за такую возможность.

Майор говорил громко, вперившись в пустоту. Он изображал театр — когда актеры, еще стоя в кулисах, обращаются к публике, которая их не видит.

— И этот никчемный журналист.

Он имел в виду Хамида Каима.

— Писать статьи. Что это ему даст? Эх! Схлопочет он себе пулю в лоб, вот и все. Гадкое будет зрелище, это я тебе обещаю.

Наримена тяжело дышала. Крупные капли катились по ее бокам и бедрам.

— Идеалисты! Они-то и есть зло. Невинность становится преступлением. Взгляните на них! — Он ткнул пальцем в сторону танцующих. — Их режут, а они пляшут. Помереть со смеху! На чьей стороне правда? Она там, где ясный взгляд. Чтобы выиграть наверняка, в этом мире прежде всего нужно уметь точно оценивать ставки. Слушай. Вот это место. Этот ад, если тебе так больше нравится. Один генерал выстроил его на самом высоком из циртийских холмов. Подонки всегда сидят наверху. Чтобы искупить вину, подземные застенки не нужны. В подвалах пытают — признаю. Пытают все больше и больше. Городу надо отрыгивать. Здесь поднимают дух. Здесь разводят гнусность, что то же самое. Этот генерал, один из моих друзей, строил притон на государственные средства, от фундамента до кровли. Налогоплательщики дали больше всех, если не сказать всё. Когда дело было сделано и этот храм вознесся над морем, он его перепродал, а разницу положил в карман. Инвестиционная стратегия генерала народной армии, гениальное мошенничество, шедевр. Теперь представь себе десять генералов, сто генералов, прокручивающих подобные операции со всей здешней землей, извлекая из нее выгоду, а потом продавая, и ты поймешь, что истинное зло прячется за жестоким невежеством этих нищих. Пусть себе танцуют!

Майор Смард в упоении смотрел на танцующих.

Наримена встала, позвала меня за собой изящным движением руки. Сам не знаю, почему я пошел за ней. Я уже не помнил, зачем явился сюда. Вероятно, из любопытства. А еще из-за гордыни. Я понял, что майор Смард предлагал мне вступить в ряды тайной полиции. Он не хотел возиться ни с Рашидом Хшишой, ни с его приятелем. Они были маргиналами и для спецслужб не представляли никакого интереса. Мурад слишком благожелательно слушал Хамида Каима. Я же, напротив, мог стать избранным. Отклоняя это предложение, я испытывал чувство ни с чем не сравнимого превосходства. Я человек доброй воли. Я купался в самодовольстве. Есть еще одно объяснение. Тяга к познанию.

Запретный плод. Ради этого следовало познать рай. Невозможно. Поэтому я решил, что чувство вины терзает меня из-за истории Каима — его рассказ преследовал меня, точно проклятье, — и бросился на танцпол.

Оказавшись среди танцующих, я потерял из виду майора Смарда. Вероятно, он что-то проповедовал темноте. Мужчины и женщины разного возраста волнообразно раскачивались под осатанелую музыку. Десятка два скользких от пота тел отделяли меня от Наримены. В пульсирующем свете стробоскопов она казалась формой без очертаний. Ее черные как смоль волосы то вспыхивали на секунду, то снова гасли. Резко очерченное лицо появлялось из тени, чтобы тут же исчезнуть. Я направился к ней. Люди препятствовали моему движению. Они образовали цепь, чьи накрепко спаянные звенья никак не хотели ослабевать. Продираясь боком, работая локтями, я добрался до нее. Оказавшись рядом, я сказал ей комплимент по поводу ее чувственной походки. Она слегка улыбнулась мне, ее тело свело судорогой, голова запрокинулась, по груди пробежали спазмы. Все взгляды устремились на нас. Я обнял ее. Ее бедра терлись о мои. Ее нежный живот обжег меня. Обхватив ладонями ее талию, я позабыл, что привело меня сюда. Забыл майора Смарда и то, как он предлагал мне власть и славу. Забыл мрак Цирты и жизнь Хамида Каима. Я забыл даже тело Наримены.

Какой-то мужчина положил ладонь мне на плечо. Он хотел потанцевать с Наримеиой. Музыка еще не кончилась, и я отказался. Его рука тряхнула меня за плечо. Я схватил ее и резко рванул вверх, выкручивая запястье. Из его кармана возник нож. Длинное лезвие блестело в темноте. Свет скользил по стали, падал на пол, рисовал широкие цветные круги. Рука поднялась, кончик лезвия рассек воздух. Увернувшись, я локтем остановил движение ножа. От удивления незнакомец разинул рот. Воспользовавшись его замешательством, я ударил его ногой в живот. Он упал в язык света. Я нанес второй удар. Рот у него раскрылся во второй раз, и его вырвало на паркет. Красный круг вырос под неподвижным телом. Кровь. Наримена закричала. Отовсюду повыскакивали ножи. Ко мне подступало море серебра, его сверкающая пена грозила унести меня. Я отступил; волна спала. В суматохе я краем глаза увидел майора со стаканом в руке; он внимательно смотрел на нас. Наримена куда-то исчезла. Музыка сгустилась. Звуки лупили по моим барабанным перепонкам. Лезвие скользнуло вдоль моей щеки. Люди вопили. Они орали, что убьют меня. Они переглянулись, ножи придвинулись ближе. Я бросился к лестнице, которая вела к первому полуэтажу — круглой площадке. В клубе таких площадок было три. С истошным ревом мои преследователи устремились за мной. Узкая лестница насчитывала около десятка ступеней. Я оперся спиной о самые верхние, и мне удалось распихать людей ногами. С трудом я добрался до площадки. Видя, что мы взбираемся по лестнице, посетители вставали. Я поднял столик, за которым еще несколько мгновений назад сидели, и швырнул его в осаждавших. Они отхлынули назад. Воспользовавшись этим, я начал карабкаться по второй лестнице. Руки взмывали вверх, открывались черные рты. Вооруженные люди преследовали меня по пятам. Они хотели меня убить. Я споткнулся о ступеньку. Ощетинившаяся стальной пеной волна обрушилась на меня. Я барахтался. Я ощутил пронзительную печаль, воля и желание оставили меня. Я вот-

вот должен был умереть, сейчас, в этот миг, в темноте и суматохе, пленник преисподней.

Улицы Цирты спали. Я дрожал, пытаясь идти вперед сквозь ночь. Струйка крови текла по моей щеке, по губам, попадала в рот. Никто не отваживался бродить по городу в этот поздний час. С тех пор как началась вся эта заваруха, в Цирте по ночам носа наружу не высовывали. Скольких убили случайно, обознавшись? Взять хоть того психа. Итака: это название звучит экзотической музыкой. Он прокладывал путь по лабиринтам своего рассудка. Как я. И спутанный клубок города как раз походил на его рассудок. Неразбериха улочек, скользких переулков — человека там не разглядеть: состарившееся лицо Цирты. Итака, должно быть, напоминала такую же каменную опухоль. Переплыть море ради того, чтобы провести остаток жизни в объятиях ужаса. Псих рассуждал верно. Искать этот город значило возвращаться к самым истокам его безумия, утыкаться в первичный узел. Змеи, свившиеся в клубок на мертвом теле, в три часа ночи блестели на моей коже, в моих мечтах.

Путешествие тянулось, отдыхало, изнемогало, как сластолюбивая женщина. И Цирта казалась мне далекой, будто сон, ее ни на что не похожее звучание утеряно, стерто временем, унесено морским ветром. Пара листков дневника выскользнула у меня из рук. Я торопливо подобрал их. Пусть от этого дня останется хоть что-нибудь! Пусть он не истает, как вечерние тени! Одиссей танцует на воде. Его корабль рассекает пену. Дуют встречные ветры, пассаты, бушуют ураганы. Но это не мешает ему идти своим путем. Путешествия становятся вечными, это всем известно.

Дома братья несут караул. Старый партизан должен прочесать густые леса, окружающие Цирту. В нашем квартале все знают, чем занимается мой отец и как строится его день. Многие семьи были истреблены из-за того, что кто-то в них был легавым, жандармом или патриотом. По возвращении домой Одиссей, набравшись ума и опыта, перерезал сутенеров, прилипших к его жене. Лезвием бритвы всех их прикончил. Но среди них не было детей. Он пощадил потомство своих врагов. Или же легенда умалчивает о столь бесславном факте. Одиссей плывет по Эгейскому морю. Киль его корабля прорезает глубокую борозду, целиком из перламутра.

Я вспоминаю о другом дне, похожем на этот. С тех пор прошло четыре года и несколько часов. Мохаммед Будиаф был сражен автоматной очередью. Четыре года насыщенной жизни — моей жизни. В них не было осуществления. Я потерял в них удачу. Много, она, конечно, не стоила. Юность. Иллюзии. Надежда. Начиная с сегодняшнего дня я иду на ощупь, бочком, по-крабьи. Ползу как улитка, прижимаясь спиной к грязным стенам Цирты. У меня нет крыльев, чтобы рвануться вверх. Их подрезала судьба, которая зачала нас страдающими. Я сел на тротуар и на нескольких листках записал эти мысли. Истерзанные строчки быстро покрыли страницу. Знаки — в боли и холоде. Капли крови на моей щеке. В Цирте все кончалось плохо. Так было предначертано.

По нашей вере, человек, еще не начав жить, читает полный отчет о предстоящем ему бытии. Какая насмешка! Почему я не расшифровал мои блуждания по небу? Видимо, инерция доисламской эпохи. Бедуины верили, что могут прочесть на небесном своде о судьбе своих караванов, а их поэты на развалинах какой-нибудь стоянки воспевали утрачен-

ную любовь. Я записал все это: кочевников, пустыню, ночь, небо. Изумруды. Драгоценные камни. Я сидел на тротуаре спящей Цирты и писал. Мурад часто заставлял меня браться за перо, читать.

— Читай, — говорил он. — Читай! Во имя того, кто...

— Ладно! Не приставай! Прочту.

Как-нибудь вечером на влажной мостовой мертвого города я тоже примусь за писание. Развалины, ждущие песен поэта. Подобно рапсоду, я стану оплакивать красотку, что раскрыла мне свои струящиеся бедра и поднесла, как чашу, свой живот. Неджму, быть может? Хамид Каим развеселил меня историей про Самиру. У меня болела голова, хмель пробирался мне в душу, я еле плелся.

Цирта бросалась под колеса такси: улицы, тротуары и фонари, одинокие ночные охранники приближались к нам огромными прыжками.

Таксист, худощавый мужчина, был в джинсовой кепке с надписью "Marlboro". При этом на стеклах и панели его машины красовались наклейки с запрещением курить. Я спросил, можно ли выкурить сигарету. Обычно я не курю по ночам. Вообще потребляю очень мало табака — в отличие от Мурада. Просто хотелось позлить этого господина в кепке. Он косо посмотрел на меня. Я сделал вид, что ничего не заметил, и зажег легкую сигарету. Он поспешно опустил стекло со своей стороны. Запах жимолости ворвался в машину. Квартал особняков. В Цирте состоятельные и бойкие селятся тут, на пологих склонах, кругляющихся, как бедро зрелой девицы. Некоторые дома походили на старые заброшенные дворцы. Неджма, девушка из гостиницы, раньше жила в одной из таких альгамбр. Но в конце концов ее семья перебралась в другой район — вероятно, менее шикарный. Здесь жили только те, кто выбился в люди при ублюдочном режиме: наркодилеры, сутенеры, террористы, которых пригревали богатые торговцы овощами и фруктами. Неджма уехала в новые циртийские кварталы. "У немцев", "У венгров", "У португальцев" — они назывались по национальности тех, кто их построил, кто приехал из дружественных (как говорили по телевизору), в первую очередь социалистических и предпочтительно авторитарных, стран. На государственном уровне самая крепкая дружба возникает между диктатурами.

Жимолость сжигала свой ночной хмель. Подавленное солнечным жаром, это растение, словно порабощенная женщина, дожидается ночи, чтобы дать волю своему благоуханию. Красивейшие из наших возлюбленных прячутся от пламени дня. Водитель рыгнул.

— Будьте здоровы.

Мы ехали уже добрых пять минут, когда у меня в голове разразилась буря. Улицы раздвинулись, на смену ночи пришел день. Мы были около вокзала, и часы показывали пятнадцать минут двенадцатого, 29 июня 1992 года.

В синеве летали голуби. Рядом со мной шел совсем юный Мурад. Он рассказывал мне о небольшой пьеске, которую он ставил в культурном центре одной страны — как сказали по телевидению, ранее нам враждебной. Мы направлялись на репетицию.

Плотная городская толпа — мужчины в джинсах и футболках, женщины в юбках, девушки в покрывалах, грязные дети с присохшими к носу соплями — спускалась по главным улицам Цирты, шла по асфальту,

приподнимаемая горячим ветром. Листья слетали на пахнущие пряностями волосы брюнеток с крутыми и влажными от жары бедрами. Надрывались сирены. Машины "скорой помощи" и полиции колесили по городу. Президент Будиаф должен был произнести речь.

Дворец культуры — здание, которое в случае бунта сошло бы за крепость, — принимало в своих стенах главу государства, который вот-вот должен был обратиться к толпе. Патриарх, состарившийся Югурта, для своей первой поездки по стране выбрал Цирту. Придя к власти полгода назад, он возвращал надежду стране, изглоданной скандалами, залегшей в дрейф и отравляемой военной верхушкой, чьей целью было выжать из нее последние соки.

Мы шли вверх с толпой зевак, когда раздались выстрелы. Толпу охватила паника. Женщины кричали, дети плакали, сирены наполняли воздух воем, раздирая покрывало дня. Мы с Мурадом, еле переводя дух, забежали под арку каких-то ворот. Я ощутил боль, нахлынувшую на Цирту. Огромное черное покрывало падало с облаков.

Прохожие перешептывались: кто-то стрелял в президента.

Вернувшись к Мураду, — он жил неподалеку, — мы попытались позвонить. Телефонные линии не работали. Над мертвым городом летали вертолеты. Отец Мурада, зрелый мужчина, ходил взад-вперед по квартире. Он повторял, что все кончено, что страна катится к гибели. Мать Мурада включила телевизор. Диктор со стерилизованными мозгами монотонным голосом объявил о покушении на Мохаммеда Будиафа. На улицах поздравляли друг друга те, кто сочувствовал исламистам. Они лобызались и пританцовывали на еще не остывшем теле.

Если мне не изменяет память, я плакал, Мурад тоже. Родители Мурада плакали. Торговцы овощами на ходу обменивались поздравлениями. На следующий день в университете студенты-исламисты приветственно похлопывали друг друга по спине и насмешливо глядели на нас. С тех пор я не переставал злиться на весь мир, сходить с ума от ярости. Да пропади они пропадом, эта страна и этот город, как пустой сон! Пусть они рухнут и погребут жителей под густой лавой!

Ночь вернулась. Я докурил сигарету, опустил стекло и бросил окурок в темноту. Кровь уже не текла у меня по щеке. Я в последний раз подумал о журналисте, на мгновение позавидовал тому, что у него есть вера, и показал шоферу дом, где жил Мурад.

Квартира родителей Мурада была погружена в темноту. Они жили втроем на довольно большой площади. Здесь можно было бы разместить две такие семьи, как моя.

— Куда ты провалился? Тебя мать разыскивает, все время звонит то сюда, то в гостиницу. Твой отец вечером уехал на задание. И они остались... Бог ты мой! Что у тебя с лицом?

— Метка. Неглубокая, — сказал я. — Нестрашно.

Мне было трудно говорить. Мурад стоял в проеме двери.

— Ты меня впустишь?

— Прости... Входи! Ты чуть родителей не разбудил.

— Я тут кровь теряю, а ты только и нашел мне сказать...

— Ну ладно, ладно тебе!

— Не ори на меня!

— Да заткнись же! Ты что, действительно хочешь вытащить их из постели?

Я извинился.

— Ничего, — прошептал он. — Сейчас принесу пластырь. Думаю, больше ничего и не надо. Рана впечатляющая, но не опасная.

Он любил играть в доктора. Со своей склонностью к ипохондрии, он довольно много знал о болезнях, ранениях, чудесных исцелениях, чудотворцах и паралитиках. Замкнутая жизнь, которую заклинило между родителями, не ладившими друг с другом, — они расходились минимум раз в неделю, — подогревала его интерес к недугам и шарлатанству. Он вылил мне на лицо никак не меньше литра алкоголя. Я чуть не завыл. Он снова шепотом велел мне умолкнуть.

Я их очень любил, его предков. Они разрешали мне обедать с ними в месяц рамадан. У меня все постились, мать ни за что не позволила бы, чтобы хоть кто-нибудь из ее отпрысков отступил от предписаний, соблюдаемых во всем мусульманском мире, от Китая до Томбукту.

— Рассказывай, — сказал Мурад. — Про гостиницу я знаю.

— Откуда?

— От твоей матери...

Хаджи по телефону объявили ей, что они только что изгнали дьявола.

— А дальше? — жадно спросил Мурад.

Я рассказал ему всю историю.

— Итака. Странно все-таки. Помнишь, как звали пса Одиссея?

— Нет. А какая, к черту, разница?

— Аргус, — сказал Мурад.

— Как?

— Несчастного пса звали Аргус. И он...

Я тоже вырастил пса. Сейчас он совсем состарился. Но его не пожирали паразиты, как того, который принадлежал путешественнику. Еще Мурад спросил, правда ли то, что рассказал мне Сеиф.

— Думаю, да.

Он побежал к себе в комнату и возвратился лишь через несколько минут. В руке он держал зеленую школьную тетрадку. На обложке было написано: "Книга стоянок". Он принялся излагать в ней историю безумца и историю полицейского. История майора грозной тайной полиции его не интересовала. Это слишком обыденно, сказал он. Он ошибался. Ему потребовался целый час, чтобы все записать.

Тем временем я вновь пережевывал то, из-за чего разыгралась вся эта буря. Уже перед самым отъездом Хамид Каим рассказал, что через много лет после исчезновения Самиры он встретил на улице похожую на нее женщину. Мгновение поколебавшись, она пошла своей дорогой. Эта нарочитая отстраненность показалась Каиму подозрительной. Неуверенным голосом он произнес:

— Отныне, пока я жива, ничто не разлучит нас. И это небо, и тело, которое ты созерцаешь, я приношу тебе в дар. Моя кровь принадлежит тебе. И все, что есть на земле, и все, что есть в море, и все, что дышит, и живет, и умирает, — все это принадлежит тебе.

Хамид Каим стоял в университетском городке, в сонном свете послеполуденных часов. Раскаленные эвкалипты пылали на фоне неба. Он тихо повторял слова, которые некогда произнесла Самира.

Женщина остановилась как вкопанная.

— Я думал, что ты умерла.

Было июньское утро 1989 года. На фасадах еще оставались следы неистовой осени 1988-го. Огромные фанерные щиты вместо витрин, разбитых во время восстания. Некоторые дома — они горели в течение пяти дней — только теперь принимались красить заново.

— Я жива как никогда, потому что ты помнишь обо мне.

Она горделиво смотрела на него, волосы развевались на ветру. Он ощутил глухое желание стиснуть ее в объятиях. Но его тело отпрянуло. Она еще принадлежала царству мертвых, как его отец и сестра Али Хана. Ее присутствие было мучительно. Оно опрокидывало ту картину мира, которую он создал себе после ее исчезновения. Она была бесконечно дорога ему мертвая. Теперь это здание грозило рухнуть. Чудовищность этой мысли пригвоздила его к земле.

Море окружало их со всех сторон. В вечном отливе катились аквамариновые текучие массы. Город походил на затерянный остров. Стадо маленьких белых барашков куда-то бежало под солнцем.

— Ты хочешь знать, почему я так и не позвала тебя? Почему никогда не искала встречи с тобой?

Ему было все равно. Он ощущал, как велика опасность. Он хотел бы оторваться от нее, как выныривают из ночного кошмара, чтобы избежать безумия, которое вот-вот навалится и погребет под собой. Тем не менее он ответил:

— Да.

Когда она все ему рассказала, он почувствовал, что силы его покидают. Он почувствовал, что умирает — под солнцем, в центре мироздания, как античный актер. Она вышла замуж за агента спецслужб. Тот ухаживал за ней во время студенческой забастовки. Всецело поглощенные своей деятельностью, Каим и Хан этого не заметили, вокруг них вечно толклась молодежь. Агент сделал ей предложение, она ответила согласием. Чтобы не травмировать Хамида Каима, она распустила слух о том, что ее похитили люди из тайной полиции — тогда это было обычным делом.

Самира улыбалась. Хамиду Каиму хотелось стереть этот оскал с ее лица. Несколько долгих секунд он робко сопротивлялся своему гневу.

— Почему?

Он работал в еженедельном журнале. Профессия учила его задавать вопросы.

Улыбка застыла на лице Самиры.

— У тебя ничего не было. Ничего. Мечты. Но где написано, что мечты нас прокормят? Где сказано, что можно мечтать всю жизнь? Мне нужна была стабильность. Дом, постель, дети.

Готовый к прыжку, словно дикий зверь, он прибавил:

— И руки мои были пусты, не так ли?

Его руки дрожали.

— Да, — ответила она.

Он успокоился. Профессиональные привычки сдерживали безумие, мгновениями накатывавшее на него.

— Как его фамилия?

— Смард, — ответила она.

Мне стала понятна ненависть Каима к представителям спецслужб вообще и к майору Смарду в частности. Они олицетворяли собой грабеж. Развязав волнения в октябре 1988-го, они затем уничтожили вос-

ставших, чье неистовство стало угрожать самим подстрекателям. Один из представителей спецслужб женился на его подруге. Конечно, и Самира не была невинной жертвой. Однако ненависти к ней он больше не испытывал. По совести говоря, он не мог представить себе, что Самира в чем-то виновна. Она вошла в печальную когорту жертв. Мои же странствия, вероятно, были следствием отказа считать Самиру невиновной. Она виновна, как и майор Смард, твердил я, шагая по улицам Цирты. Все виновны: хаджи, легавый, Хшиша, Рыба, Каим, который отдался во власть своих химер, лелеял их и бросил мать Амель. Я представлял себе горе этой женщины, забытой мужем и брошенной любовником ради какого-то привидения.

Самира была права. Не имея сил расстаться с грезами, журналист обрек себя на скитания. Возможно, я был на него похож. Мурад бы тоже уехал. Стал бы гоняться за химерами по иным дорогам, в чужих городах, на окраинах мира. Я помнил о наших прогулках по циртийскому побережью: обещание какой-то дали, скрепленное водами и всегда недоступным горизонтом. Наши мысли бродяжничали в дуновении бриза. Теперь мечта меня не прельщала. Я оставил мысль об отъезде.

Хамид Каим отвернулся от Самиры и зашагал прочь. Он вышел к морю. Подножие холма погружалось в пену. Мастиковые деревья цеплялись за бесплодную оконечность утеса. В глаза ему бросились узловатые стволы, ломкие ветви этих деревьев, чьи корни на многие метры уходили под землю. Он жалел, что не похож на них, хрупких снаружи, живых и упрямых в глубине. Его, жертву сновидений, выводил из равновесия любой пустяк: так буря играет с челноком. Бриз раздувал его волосы; он протянул вперед руки. Там, где кончалась вода, под голубым небом плавали маленькие, игрушечные кораблики.

Он взобрался на парапет, сложенный из замшелых булыжников, и долгие часы шел вдоль утеса. Палило солнце. Он шел долго-долго, столько, что уже не помнил, как ее звали. Теперь он мог начать все заново и жить — наконец-то! Вероятно, было слишком поздно. Он все шел и шел, ни на миг не останавливаясь.

Мурад уже закончил свой труд писца. Казалось, темная квартира вот-вот сомкнется надо мной и я стану ее пленником. У меня не выходил из памяти ночной клуб, откуда я чудом унес ноги. Видно, я пристрастился к огромным циртийским пространствам. Путешествие жгло меня изнутри. Я собирался уходить.

— Он не покончил с собой, — заключил Мурад.

— Конечно, нет. В противном случае кто-то из нас двоих солгал.

— Никуда они не ездили, — прибавил мой друг. — Они были арестованы тайной полицией, их пытали и посадили в тюрьму. Хамид Каим хотел стать писателем. В каком-то смысле его уничтожили.

— Откуда ты знаешь?

Мурад лукаво взглянул на меня. Он что-то скрывал. Никто и никогда не знает о друзьях всего. Он пугающе медленно закрыл книгу в зеленом шелковом переплете, песчаный Коран. Суры в темноте крепко прижались друг к другу, влюбленные, красивые и нежные.

— Пойдем спать, — сказал он.

Он предложил мне переночевать у них. На их громадной веранде стояла запасная кровать. Окна смотрели на звезды, на созвездия.

— Мне надо домой, — сказал я.

— Совсем забыл. Твои родители тебя повсюду разыскивают.

— Ты мне уже говорил.

Бандиты резались в карты. Уж добрых десять лет они каждый вечер собираются для игры в белот. Я всегда их встречаю: они располагаются на полпути к нашему дому, на крутом тротуаре, который ведет к саду.

— Хосин, это ты только домой идешь? — спросил Салим Весы.

— Он со шлюхой развлекался, — ответил Камель Зеркало.

Этот фат обожал причесываться — отсюда кличка.

— Оставьте его в покое, — сказал Рашид Анестезиолог.

Анестезиолог. Единственный умник в этой банде. Занимается отбором лучшей местной конопли. Знает, что делать в случае передозировки.

— У него? Женщина? Да вы шутите, что ли? Он уже тысячу лет к ним не прикасался, — обронил Ясин Невезучий.

Его прозвали Невезучим потому, что легавые как-то замели его с полукилограммовым пакетом конопли. Полгода строгого режима. Только Рашид Анестезиолог занимался ремеслом, которое не стыдно было назвать ремеслом. Остальные ночами шлялись по кварталу. По утрам спали. После обеда одни запасались травкой, которую потом перепродавали. Другие, к примеру Камель Зеркало, перепродавали купленное в Бангкоке белье.

— Ты своих таиландок вместе с трусами сбываешь? — спросил я Камеля.

Зеркало поднялся, готовый дать мне по физиономии.

— Режь! Ну, черт возьми! Режь давай! — заорал Рашид. — Ты же видишь, что тут надо резать, дерьмо!

— Извини, — сказал Камель, садясь напротив Анестезиолога.

Анестезиолог с болезненной жадностью затянулся косяком.

— Он слишком тупой, этот парень, — сказал Весы.

— Не знаю, в каком бизнесе ты вкалываешь, но в картах глупости тебе не занимать, — прибавил Ясин Невезучий.

— Тюрьма пошла тебе на пользу. Языком ты теперь треплешь отлично.

— Твою мать!

— Ну и как она? Хороша? — спросил я.

— И твою тоже! — заорал Невезучий, выставляя напоказ татуированные руки.

В тюрьме он отдал должное нательной живописи. Длинный, похожий на язык пламени нож шел от запястья к локтю. Выше, на бицепсе, голая женщина курила сигарету "Мой миленький".

— Я говорил...

Я указал на окурок во рту у Рашида.

— Извини.

Анестезиолог состроил одобрительную гримасу.

— Хосин, ты меня знаешь. Друзей я никогда не обманывал. Ты знаешь, ради корешей я наркотики изучил досконально. Я могу лошадь усыпить, а какие-то идиоты...

— За других не болтай, — возразил Весы. — Про себя говори, мать твою.

Анестезиолог разозлился:

— Одни матери у вас с языка не сходят! Сукины дети! Словарный запас свой расширили бы, в господа и в бога душу...

— Не богохульствуй! — заорал Весы.

— Захочу — и буду! Черт с ним, с Богом!

— Это что за фигня такая — словарный запас? — спросил Камель Зеркало, почесывая свой укрощенный гелем затылок.

Невезучий вылез с ответом:

— Ты бы сказал — ходячий словарь.

— Который шевелит языком, — сказал Салим Весы и подвигал языком так, словно облизывал половой орган.

Они засмеялись.

Я сел и тоже закурил. Еще минут на десять я мог задержаться. Странствие подходило к концу. Я глубоко затянулся травкой. Итака. Берег. Мой мозг отравлен этим днем. Я заново переживал свое путешествие и его вехи. В обратном порядке. Это дым анаши или усталость? Прибой наступал мне на пятки. Вернувшись домой, моряк целыми часами страдает от бортовой качки и истомы морского плавания. Крики вновь поднимаются из его затуманенного сознания. И тихое журчание волн. Вечное, истекшее, жидкое время разливается под его усталыми ступнями. Цирта.

— Сто пятьдесят на вини!

— Сто семьдесят на вини!

— Удваиваю!

— Пополам!

Прогнившая невинность есть абсолютное зло, полагал майор Смард. Послушать его, так в странствии Каима, и в моем тоже, есть какой-то смысл. Мы жили под знаком утраты. Самира выходила замуж. Будиаф умирал от рук своих сыновей. Наши надежды таяли, я терялся в безымянных улочках Цирты.

— Наша взятка, — потребовал Салим.

— Я отбился вальтом, — запротестовал Камель Зеркало.

— Как бы не так, — сказал Весы.

Он вытащил из своих карт пикового валета.

— Плут.

— Лжец.

— Вор.

Всесмешение, как болезнь, царило вокруг и расползалось в мире. Сейчас оно подгрызало фундаменты. Чуть позже возьмется за наружные стены. И никто не сможет свидетельствовать о случившемся: рассказ Каима, день студента, жизнь полицейского, смерть сумасшедшего, Итака и Цирта сгинут в царстве тьмы, откуда человек будет подниматься, как забытая песня, а следы и наброски развеет ветер. Хаос расшвыривал строки моего дневника. Я все придумал. Вранье от первого до последнего слова. От начала до конца времен. Меня не выгоняли из дому. Я не бродил по умирающей Цирте. Не встречался с журналистом, сошедшим с ума от любви. А может, Мурад — снова Мурад — выдумал меня, нанизывая друг за другом фразы и страницы. Мне кажется, ему не хватило таланта.

— Хосин заснул.

— Разбуди его, — приказал Анестезиолог. — Пусть идет домой!

По возвращении я скорее всего попал бы в лапы бессонницы. Я курил, чтобы спать. И забыть. В начале было забвение. Память рождается

из отсутствия следов. Карты рассыпались по асфальту. Анестезиолог подбирал одну взятку за другой. Радость озаряла его лицо.

30 июня 1996 года. Четыре часа утра. Дом сливается с холмом. Решетка сада, посаженное его отцом лимонное дерево и хлипкое строение, служившее им кровом, сливаются с пейзажем на заднем плане. Цирта, как гора, захватывает все поле зрения, превращая домишко в ничто.

Он вскарабкался на небольшой голый холмик, за которым для красоты была устроена лестница в несколько ступенек. Он навсегда возвращался домой. В квартале все спали. Последние убийцы, жертвы сладкой травяной муки, погрузились в сон.

Он вставил ключ в заржавевшую замочную скважину калитки. Скрежет, потом короткий щелчок. Он замер с ключом в руке. Послышались другие щелчки. Он распластался на земле. По нему, кажется, стреляли сверху.

Его старый пес взвыл, словно над покойником. Еще две очереди просвистели над ухом.

У него перехватило дыхание, он сжался в комок у лестницы. Электрическая решетка подрагивала в вечерних сумерках.

Только старый пес помнил его. Пополз к нему, скуля. Его морда тихонько просунулась между железными прутьями. Большой и щедрый язык заходил по его волосам. Сердце его колотилось. Кто-то в доме пытался его убить.

— Хосин! — сумел выкрикнуть он. — Это я, Хосин!

— Ты не Хосин! Ты грязный террорист! — проорал в ответ один из его братьев.

Еще одна очередь прочертила линию совсем рядом. Какая-то теплая, густая жидкость закапала ему на лоб и черным покрывалом застлала глаза. Дрожащей рукой он вытер слепившую его кровь, не переставая, как одержимый, кричать:

— Это я! Боже мой! Я!

С мольбой он поднял глаза к небу. Ганимед, Кассиопея, Орион танцевали в ночной синеве, плавно, неспешно. Это был танец вечности. Слепое время сгустилось и заговорило с ним. Послушай, Никто, я прочел все книги. Все книги выпиты, как терпкое вино. Кое в каких рассказывалось о жизни, о смерти, о вокзалах, затерянных в утреннем свете, на дорогах мира, просторного и одинокого мира нескольких путешественников, которые уехали без чемоданов, в конце концов сбились с дороги и вернулись назад, все такими же одинокими, только еще постаревшими и усталыми — мертвый упавший эвкалипт и тот живее, чем они. Он опустил глаза и увидел, что старый пес ранен. Он скулил. Медленная дрожь пробегала по его телу. Мозг, вытекая, рисовал на земле затейливый узор из переплетенных линий, похожий на циртийские улицы, что бесконечны, как его жизнь и странствие. Лапы животного напряглись, живот надулся, и челюсти щелкнули в последний раз. Он был залит кровью, черной кровью издохшего пса.

Балинт Балашши

“Как птица воспарю и в песне воспою...”

Стихи

Переводы с венгерского

Вступление Ю. Гусева

© Ю. Гусев. Перевод, вступление, 2006
© Д. Анисимова. Перевод, 2006
© В. Леванский. Перевод, 2006
© М. Бородицкая. Перевод, 2006
© М. Вирозуб. Перевод, 2006

В истории Венгрии, богатой потрясениями и катастрофами, XVI век был одним из самых мрачных. В страну, которая в период правления короля Матяша Хуняди (правил с 1458-го по 1490 год) достигла могущества и культурного расцвета, словно бы вернулось самое темное Средневековье. Усиление крепостнического гнета привело к крестьянской войне под руководством Дёрдя Дожи (1514 г.). Соперничество и раздоры между феодалами в немалой степени способствовали тому, что подошедший с юга грозный противник, турки-османы, без особого труда разгромил дворянскую армию (битва при Мохаче, 1526 г.) и завладел значительной частью страны, через некоторое время захватив и столицу, Буду.

Почти на два столетия Венгрия перестала существовать как единое королевство. Подавляющая часть ее территории вошла в Османскую империю. На востоке возникло Трансильванское княжество, находившееся в вассальной зависимости от Стамбула. Собственно же Венгрия, оказавшаяся в руках Габсбургов, представляла собой полосу земель, тянувшихся по северным и западным окраинам. Турки то и дело совершали набеги на эти земли, забирая все, что можно, угоняя в полон здоровых мужчин, женщин, детей, а остальных вырезая. Для защиты от них вдоль границы создается цепь городков-крепостей, население которых живет, постоянно готовое к осаде. Венгерские бароны, учась у турок, тоже устраивают походы на турецкую территорию, в основном с целью грабежа.

Важная черта эпохи — национальная чересполосица. Венгры жили вперемешку с хорватами, словаками, румынами, чехами, украинцами; среди ремесленников, обитавших в городах, большую прослойку составляли немцы. Тесными были контакты с соседней Польшей (семья Балашши, например, владела там несколькими крепостями и деревнями). Отсюда — многообразие языков и наречий.

На пестроту языков, нравов, культурных традиций накладывалась пестрота религий. К середине XVI в. Центральная Европа была затоплена волной Реформации: лютеранская, кальвинистская, евангелическая, баптистская и другие церкви успешно теснили католицизм. Не последнюю роль играла относительная демократичность новых конфессий; одной из существенных причин их быстрого распространения было и — осознанное или неосознанное — стремление сохранить свою национальную идентичность: перевод религиозной литературы, богослужение на родном языке, конечно, поднимали престиж этого языка, изменяли отношение к нему. Показательный факт: около 1590 года появляется полный венгерский перевод Библии, выполненный лютеранским священником Гашпаром Кароли; с точки зрения точности, а также красоты и правильности языка этот перевод до сих пор остается непревзойденным.

Таким образом, это была беспокойная, противоречивая эпоха, когда, с одной стороны, господствовали варварство, жестокость и культ грубой силы, с другой — еще не забыты были традиции высокого Ренессанса. И, что очень существенно, несмотря на все трудности быстро формировался литературный венгерский язык, что способствовало укреплению национального самосознания.

Возможно, именно в такие эпохи — на скрещении противоположных тенденций, в столкновении несовместимых, разнополюсных сил — и рождаются такие неординарные, яркие личности, какой был Балинт Балашши...

Конечно, Балашши (1554—1594, полная фамилия — Дярмати Балашши, иногда вместо Балашши писали Балашша) прежде всего сын своего времени. Отпрыск древнего рода, корни которого ведут к хазарам (тем самым "неразумным", против которых боролся в свое время наш вещий Олег), когда-то давным-давно присоединившимся к кочующим мадьярским племенам, Балинт с детства воспитывался как воин. Жизнь в окраинных крепостях, частые тревоги, вылазки в занятые турками земли, стычки — все это должно было воспитать из него доблест-

ного солдата. Но его отец, Янош Балашши, человек мужественный, волевой, не боявшийся говорить правду в лицо самому императору, придавал большое значение и образованию сына. С этой целью он отправил Балинта, когда тому было одиннадцать лет, в Нюрнберг для изучения наук и немецкого языка. А когда мальчик вернулся домой, в крепость Зойом (ныне Зволен в Словакии), отец поручил заботу о его воспитании протестантскому проповеднику Петеру Борнемисе (1535—1584), который был одним из образованнейших людей своего времени, богословом, поэтом, писателем, печатником. В качестве учебных пособий Борнемиса использовал трактаты на латинском языке; но, стараясь разнообразить занятия, учил Балинта и стихосложению, причем не латинскому, как было принято в семьях других феодалов, а венгерскому.

Балинт Балашши, по всей видимости, обладал какой-то особой восприимчивостью к гуманитарным материям. И — необыкновенной чуткостью к языкам. Иначе невозможно объяснить, как он, общаясь с содержащимися в подвалах крепости в ожидании выкупа пленными турками (среди них были и "ашики", слово это знакомо нам в другой огласовке — ашуг, то есть сказитель-певец, нечто вроде трубадура, но в восточном контексте), настолько освоил турецкий язык, что проник в структуру турецкой поэзии.

Когда Балинту исполнилось пятнадцать, он оказался в Польше с отцом, который бежал из тюрьмы, куда брошен был по приказу императора Максимилиана II за неповиновение монаршей воле. Это был возраст, когда думаешь не столько об учебе, сколько о забавах со сверстниками, об охоте, о женщинах (Балинт не относился к числу медленно созревающих молодых людей: может быть, что-то подсказывало ему, что жизнь его будет короткой); тем не менее, попадая в Краков, юноша не упускал случая посетить Ягеллонский университет и погрузиться в чтение Плиния, Плутарха, Иосифа Флавия, Блаженного Августина.

А однажды он взял и перевел (переложил) с немецкого душеспасительную книжку лютеранского пастора Михаэля Бокка "Садик целебных трав для недужных душ", посвятив ее родителям — в качестве "утешения в жизненных ненастьях". Конечно, для восемнадцатилетнего юноши это была не более чем проба пера, но современники не просто заметили эту работу, но отзывались о ней с восхищением, по мнению многих перевод получился много лучше оригинала. Недаром книжка — после того как Балашши напечатал ее в Кракове — была за короткое время переиздана еще пять раз, в том числе П. Борнемисой. (В настоящее время единственный сохранившийся экземпляр этой книги находится в Нижнем Новгороде среди большого количества венгерских старопечатных книг и рукописей, попавших после 1945 года в СССР.)

То, что жизнь Балинта Балашши была полна то смертельно опасных, то веселых приключений, сюрпризов, поворотов, — неудивительно: это было вполне в духе той беспокойной эпохи. Но то, что он и в этих условиях ухитрялся находить время и силы для учебы и творчества, свидетельствует о его особых склонностях, о заложенном в нем призвании стать человеком искусства, художником.

В 1575 году, участвуя в инициированном Габсбургами походе против союзника и вассала Порты, Трансильванского княжества, Балашши попадает в плен. Однако великий князь Трансильвании, Иштван Батори, прекрасно знавший Яноша Балашши, отца Балинта, относился к молодому витязю совсем не как к пленнику; у венгерских литературоведов даже существует гипотетическая версия, что "пленение" Балинта было своего рода инсценировкой: возможно, отец просто хотел, чтобы сын провел под надежной опекой князя несколько спокойных лет. Факт тот, что Балинт живет при дворе Батори практически свободно, участвует в пирах, ездит на охоту, ухаживает за дамами: природа наделила его всеми рыцарскими достоин-

ствами, да к тому же быстрым умом, эрудицией и способностью к импровизации. Здесь, во дворце князя, он находит и то, что, видимо, ему было уже не менее важно, чем дамское общество, — большую библиотеку с греческими, римскими классиками и, главное, с книгами Данте, Петрарки, Ариосто, Боккаччо. Неясно, где и от кого успел Балашши в свои двадцать лет выучиться итальянскому, но известно, что он увлеченно осваивал литературу Треченто и Кватроченто.

Между тем над его головой собираются тучи: султан Мурад III, узнав, что сын грозного врага турок, Яноша Балашши, находится у Батори, требует доставить его в Стамбул. Балинту, скорее всего, пришлось бы кончить жизнь на колу или, в лучшем случае, затеряться в армии рабов. Но ему сказочно повезло: в начале 1576 года Батори был избран королем Польши. Двинувшись со своим двором в Краков, Батори — теперь уже Стефан Баторий — увез с собой и Балинта.

Год с небольшим, проведенный в Польше, стал для Балашши настоящим подарком судьбы. Правда, вскоре ему пришлось возвращаться домой: умер отец, и Балинт становится главой семьи, то есть должен заботиться о матери, младшем брате и двух сестренках. Хотя владения семьи были уже далеко не такими большими, как прежде (что-то захватили турки, что-то — родня и соседи), они требовали крепкой руки и изворотливости...

Крепким хозяином, феодалом Балинт Балашши так и не стал. Судя по всему, качеств, необходимых для приумножения богатства: жадности, вероломства, беспринципности, жестокости, всепоглощающего корыстолюбия, — у него не оказалось.

И слава богу, потому что образ *типичного* феодала с трудом совмещается в сознании с обликом гениального поэта.

В чем же она, гениальность, Балашши?

Уже говорилось о том, как легко, неведомо какими путями, словно из воздуха, он усваивал языки. Кроме родного, Балашши более или менее свободно владел восемью языками: не только немецким и латынью (это были языки официального общения) и не только словацким, хорватским, румынским (с этими народами венгры жили бок о бок), но и относительно далекими — турецким, польским, итальянским. Есть сведения, что ему были знакомы также испанский, французский, цыганский языки.

Но куда более поражает то, как Балашши улавливал — чтобы воплотить по-венгерски — сам дух чужеязычной поэзии. До него в Венгрии были два крупных поэта: Янош Витез (1408—1472) и Ян Панноний (1434—1472); но они писали стихи на латыни. То есть опыта соединения поэтической образности с языковой емкостью и силой, с языковой культурой до Балашши у венгров практически не было.

Вернее, такой опыт, как и у любого другого народа, в изобилии был накоплен в литературе дописьменной — фольклоре. Однако перекинуть мостик между двумя этими сферами, как показывает история разных культур, — дело крайне трудное (у нас, в России, например, это произошло лишь к концу XVIII века).

Гениальность Балашши и заключается в том, что он этот мостик *сумел* перекинуть, причем практически самостоятельно.

О таком "мостике" в поэзии Балашши можно говорить в известной мере даже как о чем-то конкретном: большинство стихотворений его снабжено указаниями — на мелодию такой-то песни. Среди песен, к которым он отсылает читателя, фигурируют, кроме венгерских, польские, турецкие, итальянские, хорватские, немецкие и т. д. Отсылки к песням чаще всего необходимы как обозначения ритма, размера, мелодии, ведь стихотворения сочинялись для исполнения, например, под аккомпанемент лютни; нередко это и нечто вроде

эпиграфа, дающего ключ к пониманию настроения и образных особенностей произведения.

Вместе с тем Балашши вовсе не ставил своей целью имитацию — пусть с самыми лучшими намерениями — фольклорных произведений. Он изначально имел в виду литературу, высокую поэзию. Народные же песни помогали Балашши найти образный, языковой способ оформления литературного содержания.

Первый этап творчества Балашши заставляет вспомнить поэзию трубадуров. Большинство его стихотворений этого периода представляет собой куртуазное восхваление красоты и достоинств той или иной дамы, обыгрывает некие ситуации, в которых поэт постигает неземное совершенство предмета своих воздыханий, описывает восторг, томление — или страдания и горечь в связи с отсутствием, реальным или мнимым, взаимности.

На этом этапе Балашши скорее пока восполнял то, что Западная Европа уже оставила позади, — и в то же время испытывал возможности родного языка, его способность передавать как в лексике, так и в мелодии, ритмике, рифмовке все богатство чувств и настроений.

Особенно быстро совершенствуется у Балашши *техника* поэтической речи. Структура и строй венгерского языка предопределяют склонность венгерской поэзии к силлабическому стихосложению; монотонности, опасность которой тут довольно реальна, авторы стараются избежать, инстинктивно или сознательно, разными способами — например, с помощью внутреннего членения строки.

Балашши, экспериментируя со стихом, выработал разнообразные типы поэтической строфы. Самый известный из них — так называемая "строфа Балашши". Она состоит из трех девятнадцатисложных строк; каждая строка в свою очередь делится двумя цезурами на части (6 + 6 + 7), причем части, как правило, рифмуются и между собой, и друг с другом (например, по схеме aabccbddb).

Забуду беды я и радость бытия
изведаю сторицей,
И буду как цветок, когда подходит срок
цвести и веселиться,
Как птица, воспарю и в песне воспою
ту, что ночами снится.

Из *Второго стихотворения*

Содержание поэзии Балашши определяют три главных мотива: обращение к дамам; описание военных будней, походов, стычек, мужская дружба; стихотворные гимны, молитвы, переложения псалмов и так называемые "божественные", то есть духовные стихи.

В любовной лирике Балашши самое значительное место занимает один "объект" — Анна Лошонци, замужняя женщина, на три-четыре года старше Балинта. Это была самая большая любовь Балашши; хотя он отнюдь не был однолюбом и даже в самые безоблачные периоды взаимности отдавал немалую дань случайным, временным увлечениям. В какой-то момент, надеясь поправить свое материальное положение, он женится на Кристине Добо, наследнице героя обороны крепости Эгер от турок Иштвана Добо (роман Г. Гардони "Звезды Эгера", где описывается эта оборона, довольно хорошо известен и у нас). Ради Кристины он порывает с Анной; этот брак, однако, не приносит ему ни семейного счастья, ни богатства. Более того, над Балашши повисают два тяжких обвинения: церковное — за брак с родственницей (Кристина приходилась ему двоюродной сестрой) и гражданское — за вооруженный захват крепости Шарошпатак, которую

он посчитал частью приданого Кристины. Разведясь через пару лет с Кристиной, Балашши обнаруживает, что стал беднее, чем был. К тому же благосклонность Анны Лошонци потеряна для него навсегда.

Правда, Балашши какое-то время еще надеется на прощение и посылает Анне новые стихи, одно лучше другого. Следуя традиции поэзии Возрождения, он дает возлюбленной поэтическое имя Юлия; себя же в некоторых стихах называет Кредул (credulus — доверчивый). Стихи этого периода — уже не просто набор изощренных комплиментов; в них звучат истинные и глубокие чувства: тоска, раскаяние, надежда. Это уже настоящая ренессансная поэзия; иные стихотворения своей искренней интонацией, лаконичностью и емкостью выражения чувства заставляют вспомнить Петрарку. Правда, венгерские исследователи склонны считать, что влияние Петрарки на Балашши было скорее опосредованным; источники же прямого влияния они находят в творчестве средневековых латинских поэтов: неаполитанца Михаила Марулла, голландца, друга Эразма Роттердамского, Иоанна Секунда, швейцарца Теодора де Беза и некоторых других.

Возрожденческая традиция сказывалась у Балинта Балашши и в том, что он пытался представить читателям свою поэзию в виде книги. С 1587 года он стал заносить свои стихотворения, нумеруя их, в рукописный сборник ("Собственноручно написанная книга"), планируя включить в него три цикла по тридцать три произведения в каждом. Основу первого цикла составляли стихи, посвященные Анне, второго — Юлии. В третий цикл Балашши собирался включить духовные стихотворения. Такой принцип группировки, основывающийся на числе три (Святая Троица), знако́м нам, скажем, по "Божественной комедии" Данте. Тридцать три — и возраст Христа, принявшего мученическую смерть, и возраст самого Балашши, когда он сознательно взял на себя миссию поэта. Кроме того, трем циклам Балашши хотел предпослать "Три гимна Святой Троице" — и успел написать их (общее количество строк в трех гимнах 99).

Дошли свидетельства, что любимым героем и образцом для Балашши был библейский царь Давид. Балашши ощущал себя его последователем, ведь, как и Давид, он был набожным человеком, воином и поэтом (добавим, что в повышенном внимании к прекрасному полу Балашши тоже был похож на своего библейского предтечу)...

Последние годы Балинта Балашши прошли относительно спокойно. Обвинения в инцесте и в разбое, которые долго висели над ним (тем временем он перешел в католичество, надеясь, может быть, что в лоне другой конфессии его прегрешения будут оценены не столь сурово), с течением лет — когда выяснилось, что в случае сурового приговора конфисковать у него нечего, — были сняты. Балашши пытался заработать, торгуя лошадьми; снова провел несколько месяцев в Польше, посвятив там несколько стихотворений очередной своей музе, которая фигурировала под именем Целия. Уже после возвращения на родину галерея портретов прекрасных дам пополнилась еще одним именем — Фульвия.

В 1593 году Порта, немного придя в себя после изнурительной войны с Персией, вновь начинает экспансию в Европе. Балашши, успевший стосковаться по ратному делу, одним из первых приходит под знамена Священной Римской империи и при осаде захваченного турками Эстергома в мае 1594 года получает смертельное ранение.

Свой рукописный сборник (третий цикл, духовные стихи, он так и не закончил) Балашши оставил своему ученику и соратнику Яношу Римаи (1569 или 1573—1631), который, дополнив недостающий цикл собственными произведениями, пытался издать стихи Балашши в виде книги. Однако любовные стихотворения великого поэта в тогдашней Венгрии казались слишком смелыми; из-

дать удалось лишь духовные стихи (в 1631 или 1632 году). Любовная же поэзия Балашши на протяжении почти трех столетий оставалась в списках, хранившихся в частных библиотеках. Балашши был заново открыт в Венгрии лишь в 1874 году.

Тем не менее наследие Балашши и в неявном, подспудном виде, участвовало в формировании венгерской литературы — через того же Яноша Римаи, через творчество другого крупнейшего поэта XVII века Миклоша Зрини (1620—1664). Римаи в истории литературы Венгрии представляет маньеризм, Зрини — барокко. Как европейская литература XIX и XX вв. немыслима без Возрождения и его поздних направлений, так и облик современной венгерской литературы не был бы таким, каким он является, без того гениального прорыва, который совершил в XVI веке Балинт Балашши.

Стихотворения Б. Балашши в настоящее время готовятся к публикации в серии "Литературные памятники" Российской академии наук.

Первое

Aenigma[1]

На *мелодию хорватской песни*

Тем, что намедни видел я,
Поражена душа моя.
Поймешь ли ты, любимая,
О чем история сия?

Был тих и ласков летний день,
Лишь облаков скользила тень
По небесам, а по воде
Скользила пара лебедей.

Друг к другу шеи наклонив,
Влюбленно взор соединив,
Плывут, и ход прекрасный их
Нетороплив и горделив.

С улыбкой тихой на устах
Смотрел я, в стремени привстав.
Вдруг коршун, крылья подобрав,
Из облаков упал стремглав.

1. Загадка (*лат.*). (*Здесь и далее – прим. переводчиков.*)

Исчадье черных адских сил,
Лебедушку он ухватил,
Терзал ей шею и когтил,
И клюв кривой ей в грудь вонзил.

А друг ее, поняв в тот миг,
Сколь страшный рок его постиг,
Издал прощальный скорбный крик
И горько головой поник.

Когда, безжалостна и зла,
Судьба подругу отняла,
Ему и воля не мила –
Скорей, скорей бы смерть пришла!

Перевод Ю. Гусева

Тридцать второе

Польская песня

На мелодию "Błogosław nas nasz Panie"[1]

Пред Твоим величьем, Боже, мы немеем,
Одари нас, грешников, милостью своею,
Пусть душа заблудшая истину узреет,
Пусть огонь бессмертный Твой нам сердца согреет.

Чтоб святая благодать путь наш озарила,
Чтоб звездою яркою истина светила,
Господи, коль судишь нас, то тогда и милуй,
Чтобы мы в любви к Тебе обретали силы.

Вновь спасенье вечное мы в Тебе откроем,
Обретем прощение, сердце успокоив,
Не введет в сомненье нас искушенье злое,
И пребудем, Господи, мы вовек с Тобою.

Лишь Тебя, Единого, твердо почитаем,
Имя Твое славное громко восхваляем,
Так благослови же нас, мудростью сияя,
Чтоб стремилась к вечному наша жизнь земная.

Перевод Д. Анисимовой

1. "Благослови нас, Господи" (*польск.*).

Сорок четвертое

Обращение к журавлям

Inventio poetica:
grues alloquitur[1].

Весь журавлиный строй рыдает надо мной
в рассветном озаренье.
Гляжу в седую высь — и слезы полились,
и горько их теченье.
Взываю вновь и вновь к тебе, моя любовь,
к тебе, мое мученье.

Я вижу, журавли, вас крылья повлекли
в тот край, где все мне мило.
В тот чудный край, туда, где ты, моя звезда,
навек меня пленила.
Я был вернее слуг. Ужели ты, мой друг,
забыла все, что было?

Изгнанник, странник, гость, терплю чужбины злость,
сиротство, спесь людскую.
Чернеет плащ, как тень, и в сердце каждый день
ношу я тьму такую.
Взлететь бы — крыльев нет! — за журавлем вослед —
и к той, о ком тоскую!

Ты волен, журавель, лететь за сто земель
и сесть в стране блаженной.
Источник навестишь — и жажду утолишь
прохладой драгоценной.
Там райские места. Там ждет меня мечта,
отрада жизни бренной.

Помедли, погоди! И на твоей груди
рукою запоздалой
То имя, что ношу, я кровью напишу,
своею кровью алой.
Лишь той, кого люблю, я весточку пошлю
без жалобы усталой.

1. Поэтическая находка: обращено к журавлям (*лат.*).

Пошли ей, Боже, свет счастливых долгих лет,
забудь свои угрозы.
Все блага, как цветы, царице красоты
даруй, исполнив грезы.
А там, где шла она, в страдальца влюблена,
пускай зажгутся розы!

Во мгле чужих долин гляжу на стройный клин,
струящийся над бездной.
Летит он в те края, где Юлия моя,
стремится к ней, прелестной.
Молюсь, кричу о ней — и стая журавлей
уносит весть любезной.

Перевод В. Леванского

Сорок восьмое

О *том, как (поэт) посвятил себя* Юлии, *а не любви*[1]

Стою меж двух огней — от Юлии моей
и от любви терплю я:
Та стрел горящих град, та смертоносный взгляд
в меня метнет, лютуя.
И любопытно им — чьим пламенем палим
погибнуть предпочту я.

И шепчет мне Любовь: "Оставь, не прекословь,
мою ты знаешь силу,
Недаром говорят, что в мире стар и млад
любви подвластны пылу.
Сдавайся лучше в плен — иль обращу я в тлен,
сведу тебя в могилу".

— **Н**е сдамся, — говорю, хоть пуще я горю,
заслышав речи эти, —
Твою я знаю власть: ты ядом поишь всласть,
заманиваешь в сети;
Нет, я не твой трофей, я верен только ей,
лишь ей одной на свете!

Ей предназначен я — и дух, и плоть сия, —
моей прекрасной даме:
Пусть я от мук ослаб, прикованный как раб
к ней тяжкими цепями,

1. Первые буквы строф образуют акростих: латинское выражение sine vi (без насилия).

Предполагаемый портрет Анны Лошонци (Юлии), восстановленный по сохранившемуся изображению на изразце, найденном в крепости Эгер

Я сталь своих оков благословлять готов
за эту связь меж нами.

Веселый нрав у ней, у Юлии моей, –
так мне когда-то мнилось:
Не ведал я тогда, сколь ей в любви чужда
к поверженному милость;
Ядро свое влача, я славил палача –
ту, что в ответ глумилась.

И днесь у ней в плену, удел свой не кляну –
она мне всех дороже.
Но вы моим словам внемлите, ведь и вам
могло бы выпасть то же.
От тех, чей дивный взор мужей разит в упор,
впредь упаси нас, Боже!

Перевод М. Бородицкой

Пятьдесят восьмое

Videns Juliam nec oratione nec ratione in sui amorem inflammari posse, questubus miser coelum, terras et maria implet, pollicens indignabundus se nullum carmen Juliae oratia deinceps cantaturum[1].

О храм небесных сил, величие светил,
сиянье синей сферы!
Земля — как вешний сад, цветочный аромат
дарящая без меры!
Великий океан, где всплыл Левиафан,
пугающий галеры!

В рыданьях среди гор бродил я до сих пор,
но толку нет, поверьте,
Скитаться, словно тать, как дикий барс, плутать
в метельной круговерти,
И клясть, во мгле влачась, колючки, снег и грязь,
страдать до самой смерти!

В краю медвежьих гор, во тьме звериных нор
чего ищу, блуждая?
Какой награды жду, когда в слезах бреду
в безлюдных дебрях края?
Напрасно мучусь я — везде любовь моя
горит, не угасая.

Я тешился в лесах охотой, ловлей птах —
не знал, куда мне деться!
Молил тебя, судьба, чтоб ловля и пальба
смягчили пламень сердца.
Но сам я в западне: огонь сумел во мне
лишь ярче разгореться.

Беседу с ней веду, когда один бреду
ущельем, рощей, чащей.
Везде чудесный вид — лишь Юлия сквозит
в душе моей кипящей.
Куда ни глянь — видна очам она одна,
с ее красой летящей.

Сей лик горит во мне, в сердечной глубине
по воле Купидона.
Алмазный идеал он в сердце начертал
давно, во время оно.

1. Видя, что в сердце Юлии невозможно разжечь любовь ни речами, ни разумными доводами, (поэт) наполняет жалобами небеса, землю, море и клянется страшною клятвой, что отныне не станет воспевать Юлию ни единой стихотворной строкой (*лат.*).

Но мне велит и впредь на дивный лик смотреть,
терзаться исступленно.

Прелестнице иной, что бегает за мной,
скажу, что все напрасно.
Для Юлии венец готовил сам творец
премудро, беспристрастно.
На свете лишь она гармонии полна,
воистину прекрасна.

О пагубная страсть! Меня сжигаешь всласть,
со всей тщетой земною.
Но пламень мой святой не шлешь влюбленной той,
что следует за мною!
Для той огонь храня, кто смотрит на меня
твердыней ледяною.

Суров любви закон, я на смерть осужден,
но должен покориться.
Знай, Юлия, что я — для ног твоих скамья,
а ты — моя царица!
Всю тяжесть мук и слез я с радостью пронес —
пускай блаженство длится!

Как легкий мотылек летит на огонек,
где свечка золотая,
И жизни Божий дар бросает прямо в жар,
как будто в двери рая,
Так сердце мчится к ней, близ Юлии моей
от радости сгорая.

Хоть молния очей и гром ее речей
мне гибель обещали,
Такую красоту, любовь и чистоту
увижу я едва ли.
И я в кромешный ад готов за нежный взгляд —
но все ж меня изгнали!

О, будь что будет! Пусть меня терзает грусть
от страсти неизменной.
Воздай мне, Всеблагой, наградой дорогой,
как Юлия, бесценной:
Пусть милая в веках — во мне, в моих стихах —
останется нетленной!

Довольно мне страдать, о Юлии рыдать,
пылая, холодея,
Томясь в чужой стране, летая на коне
по всей земле Эрдея!
И вот что я скажу: ни строчки не сложу
о Юлии нигде я!

Шестьдесят первое

Солдатская песня
In laudem confiniorum[1]

На мелодию венгерской песни
"Лишь тоска и горе"

Гей, витязи, ей-ей на свете нет милей
земли, чем пограничье!
Дышать привольно там — и рядом по утрам
ликует царство птичье.
Там небеса хранят росу и аромат,
родных полей величье.

Но если грянет враг, то сердце вспыхнет так,
что витязь рвется к бою,
И тешится душа — сражаясь! — дорожа
потехою такою!
Весь в ранах, он кипит, разит, теснит, пленит —
и кровь течет рекою.

На копьях блеск зари несут богатыри,
и стяг над ними красный.
Перед войсками мчат, бросая зоркий взгляд
на путь прямой и ясный.
Всем дан пернатый шлем и плащ из барса — всем,
и все они прекрасны.

Когда труба трубит, арабский конь храпит,
танцует от волненья.
Кому в дозор пора, кто спешился с утра
и лег без промедленья.
Всю ночь рубилась рать — когда же и поспать
в объятьях утомленья?

Почет и славу, честь бойцы стяжали здесь,
соблазны отвергая.
Отвага в них без мер и выдержки пример,
и доблесть боевая.
На битву — в самый ад, — как соколы, летят,
сражаясь, побеждая.

Под буйный клич "Гляди! Противник впереди!"
копье горит в ладони.

1. Похвала пограничью (*лат.*).

А если вражья рать принудит отступать,
бойцов спасают кони.
Но кровь зовет: "Назад!" — и, обратясь, отряд
вершит разгром погони.

Для них дремучий бор, цветных полей ковер —
чертог старинной славы.
Их школа — смертный бой, уроки в школе той —
засады и заставы.
Усталость, жажда, глад их только веселят —
как повод для забавы.

Блеснет заветный меч, главу снимая с плеч, —
и рухнет враг постылый.
А можно и свою главу сложить в бою
и лечь, теряя силы.
Где ж павшие друзья? В желудках воронья,
быть может, их могилы...

Вы, юные бойцы, храните, храбрецы,
покой родных раздолий.
Побед у вас не счесть, гремит над миром весть
о вашей славной доле.
Пусть, как плоды ветвям, Господь дарует вам
удачу в ратном поле!

Перевод В. Леванского

Из стихотворений, не вошедших в сборник, составленный Б. Балашши

Вновь о том же самом...

На мотив песнопения "Отец наш
Небесный, храни нас"

Милосердный! В наказанье
За греховные деянья
Ввергнул ты меня в страданье.
Не отвергни ж покаянье!

Милость ведь твоя не ложна,
Пусть я грешен, жил безбожно,
Жизнь моя прошла ничтожно,
Преступал я, что неможно.

Изнемог от бед премного,
И стыдна моя дорога,
Безобразна и убога.
Мне довольно! Ты — подмога.

Я побит вельми сурово.
Где ж целенье Божья слова?
Где десница, коя снова
Защитить, спасти готова?

Во грехе, бежав морали,
Жил Давид, и вопияли
Прегрешенья! Но печали
Он избегнул! Так в начале,

Наказав, прощал ты, Боже.
Я — не больший грешник! Что же
Казнь моя безмерно строже?
Жизнь презренну длить негоже!

Бог Давидов, сжалься! Ныне
Ждет прощенья грешный сыне.
Враг ликует: в паутине
Я увяз. И как в пустыне

Брошен. Не возвеселится
Пусть мой враг! А вражьи лица
Стыд зальет, когда случится
Милости Твоей пролиться.

Ты, к врагов досаде вящей,
Жизни дашь животворящей,
И восстану я, пропащий,
Одного Тебя молящий!

Из отчаянья пустынь
Глас услышь мой! Не покинь!
И дождем на душу хлынь!
Я молю Тебя! Аминь.

Перевод М. Вирозуба

Джон Фаулз
Дневники

Фрагменты книги

Перевод с английского и вступление В. Бернацкой

В марте этого года Джону Фаулзу исполнилось бы восемьдесят лет. До юбилея он не дожил нескольких месяцев. Отдавая дань памяти одному из самых известных современных прозаиков, мы публикуем фрагменты из его "Дневников".

Фаулз назвал "Дневники" своим "последним романом". Читателю, который знает писателя по его замечательным книгам "Коллекционер" (1963), "Волхв" (1965), "Любовница французского лейтенанта" (1969), "Дэниел Мартин" (1977), "Червь" (1986) и др., — такое заявление может показаться странным. Ведь дневниковые записи создаются и существуют совсем по другим законам и рассчитаны на совсем иной настрой читательского восприятия. Однако здесь следует вспомнить слова самого Фаулза, утверждавшего, что настоящий роман не несет в себе никаких философских или научных истин, давая только "ощущение жизненной правды".

Дневники, составившие первый том (фрагменты из которого мы публикуем), Джон Фаулз начал вести на последнем курсе Оксфордского университета. Правда, дневниковые записи он делал и прежде, однако они, по его мнению, отличались "наивностью и незрелостью" и поэтому не заслуживают внимания. Заканчивая Оксфорд Фаулз впервые по-настоящему задумался о своем месте в жизни. Тогда же в нем созрело твердое желание стать писателем. После окончания Оксфорда Фаулз год преподавал в университете французского города Пуатье, затем получил место учителя в престижной школе на прекрасном греческом острове Спеце.

Джон Фаулз отличался невероятной широтой увлечений — он был орнитологом, натуралистом, путешественником, садовником, музыкантом, киноманом, книжником, собирающим раритеты. Сам он называл сочетание столь разных своих ипостасей "клубом Джона Фаулза". И все они появляются на страницах "Дневников", хотя главную роль в "клубе", конечно же, играет Фаулз-писатель, поэтому каждый, кто знаком с творчеством Фаулза, найдет в записях источники сюжетов и прототипы героев будущих романов.

Связь между Фаулзом-романистом и Фаулзом-автором дневников помогают понять следующие его слова: "Дневник может показать людям, кто ты и кем был на самом деле. Альтернатива этому — не писать совсем или создавать что-то вроде безжизненного, лишенного листьев сада".

© John Fowles, 2003
© В. Бернацкая. Перевод, 2006
Полностью книга будет опубликована в издательстве АСТ.

Часть третья

Остров и Греция

2 января 1952

На такси до Афин — через обширный пригород, протянувшийся от Пирея до столицы, — грунтовая дорога, ветхие домишки, пальмы. Мы также проехали мимо апельсинных деревьев, которые сгибались под тяжестью плодов, ярко пылающих на солнце. Эти вроде бы незначительные вещи важнее всех многочисленных памятников, виденных мной ранее. В Афинах я разыскал отделение Британского совета, познакомился с Боллом, советником по образованию, — лысеющим усатым чиновником в очках, равнодушным и бездеятельным. Он направил меня в гостиницу поблизости от площади Омония, где жили мои новые коллеги.

Следующие два дня я провел в Афинах с Шарроксом и Принглом, попивая винцо и слушая их рассказы о школе. Принглу за сорок, любит выпить, легко раздражается, начитанный, но не очень умный. О литературе говорит, прибегая к мыслям самих писателей и критиков, и использует, по сути, перекрестные ссылки. Здесь мне с ним трудно тягаться. В таком разговоре можно принимать участие только на том же уровне — делиться информацией, ссылаться на известные имена, — личное мнение тут значения не имеет. У Прингла неприятные, глубоко посаженные глаза-бусинки. Длинные и довольно грязные ногти. Он работал в школах Индии, Судана и в других местах. Жалкий неудачник, шумно восхищающийся отношением Роя Кэмпбелла[1] и Хемингуэя к бунту. Иронию по этому поводу, как я успел заметить, не переносит. Он рассказал мне множество историй о школе — атмосфера там, похоже, не из легких: преподаватели плетут интриги, желая выслужиться перед директором и добиться популярности среди учеников. Что до самих учеников, то они недисциплинированны, любопытны и слишком бурно проявляют как любовь, так и ненависть. Атмосфера искусственная, тепличная, в таких условиях любые чудачества обретают гротескные формы.

Шаррокс — высокий мужчина, утонченно красивый, так и видишь его с букетом лилий на Пиккадилли, изысканная, обходительная речь, безукоризненное произношение — я заметил только раз или два ланкаширские оговорки. Похоже, он хорошо знает Афины и Грецию, у него здесь много друзей. По словам Прингла, Шарроксу недостает огонька, он пробыл на острове больше, чем кто-либо, — все потому, что ему удается находиться здесь в равновесии. Он, несомненно, poète manqué[2]. В общении с Принглом проявляет удивительную гибкость — и это при том, что никогда не бывает с ним согласен[3].

С первого взгляда Афины не производят впечатления — огромный город, беспокойный, полный движения, все в нем работает нерегулярно, много богатых людей; между площадью Омония и площадью Конституции бедняков почти нет. Женщины красивы и очень женственны — здесь не увидишь мужеподобных лиц мышиного цвета, так же как

1. Ройстон Кэмпбелл (1901–1957) — английский поэт, автор мемуаров. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Никудышный поэт (*франц.*).
3. Денис Шаррокс впоследствии стал близким другом Фаулза.

не встретишь и подлинно классических греческих черт; зато турецкое наследие повсюду — круглые щечки, восточные выразительные глаза с поволокой, пухлые губы, приоткрытые и слегка надутые. Все женщины нежны, у них кроткий, покорный вид — нет и намека на современное фригидное равенство полов. Многие гречанки умеют загадочно улыбаться одними глазами — теплой, манящей улыбкой, sympathique[1]. Языка я совсем не понимаю — на слух он мягкий, шелестящий, отдельные звуки трудно уловить, часто слышится гласный "и".

В Акрополь я отправился в пасмурный день. Удушливый и спертый воздух, на всех тротуарах какая-то грязная слизь — можно поскользнуться, как на льду. Пройдя мимо заурядной современной церкви, я выбрал, как мне показалось, правильный путь к Акрополю — через старый квартал, заселенный беднотой; на улице много мясных лавок с рядами освежеванных туш молодых барашков, много прилавков, заваленных яркими апельсинами с еще не оборванной листвой и прочими фруктами. Босой мужчина в лохмотьях тащил огромный мешок и при этом пел, раскачиваясь из стороны в сторону. Я поднимался все выше, минуя низкие белые домики, крытые красной и коричневато-желтой черепицей; я хотел попасть на дорогу, идущую вверх под самой стеной Акрополя. Но, как сказал мне местный юноша, я выбрал неправильный путь. Пришлось снова спуститься на основную дорогу и оттуда уже идти к Пропилеям[2].

Не знаю, как описать мое впечатление от Акрополя, все это я видел раньше — в книгах, на фотографиях и рисунках. И все же у меня не было общего представления об ансамбле, то есть о самом главном. Парфенон — величественное творение, как на него ни посмотри — вблизи или снизу, находясь за стеной. Погруженный в раздумья, он утратил связь со временем. Я видел во всем грусть и *канувшее в прошлое время* — было холодно, моросило, посетителей почти не было, только фотографы, собственным дыханием согревающие руки. На фоне темно-серых склонов горы Гиметт Парфенон казался красно-коричневым. Каждые две колонны из двухъярусной колоннады образуют секцию в виде вазы, откуда открывается прекрасная перспектива. Особенно хорош вид с восточной колоннады, если смотреть на север — туда, где стоят два кипариса, словно заключенные в рамку.

По свинцовому небу плыли спутанные облака. Было очень холодно. Я смотрел вниз на город, на старые византийские церкви, на древнюю Агору, на Гефестейон[3]. Над Пелопоннесом небо расчистилось — облака стали ярко-золотыми, по морю побежали серебряные тени, над темно-синими вершинами гор облака разошлись, приоткрыв зеленовато-голубое небо. Но все это было далеко от меня, на Акрополе по-прежнему моросило и дул пронизывающий ветер.

Эрехтейон[4] очень красив — Парфенон тоже красив, но мужественной красотой, а этот — женственный, изящный, гармоничный.

1. Приятная (*франц.*).
2. Пропилеи — парадный крытый вход в Афинский акрополь, состоят из пяти ворот, построенных в 437–431 гг. до н. э.
3. Агора (*греч.* рыночная площадь) — площадь для проведения собраний; Гефестейон — небольшой храм на западе Агоры у подножья Акрополя, посвященный Гефесту; построен около 450 г. до н. э.
4. Эрехтейон — ионический храм, сооруженный в 421–415 и 409–406 гг. до н. э., последняя постройка классического периода в Афинском акрополе.

Я спустился к гостинице, раздосадованный тем, что не знаю, как относиться к Акрополю: он не вызвал во мне живой реакции. <...>

На такси мы добрались до Пирея и сели на пароходик, ходивший на Порос и Спеце, — когда-то это была яхта Чиано[1]. Я спустился в каюту и продремал четыре часа. Был прекрасный день, и мы плыли среди восхитительных пейзажей. Но я лежал в темной каюте, расплачиваясь за то, что вчера пошел на поводу у Прингла. Когда я поднялся на палубу, ее всю заливало солнце, море было ярко-синего цвета, оно сверкало и искрилось, а мы входили в залив, на одном конце которого виднелась деревушка с чисто побеленными домиками — Эрмиони. Белизна домов на фоне невысоких голых гор, слева — живописный мыс, поросший сосной.

Через полчаса мы прибыли в Спеце — довольно большое поселение на северной стороне вытянутого зеленого острова; вдали виднелись покрытые снегом вершины Пелопоннесских гор, оранжево-красное побережье залива Арголикос, протянувшееся на милю к северу, и несколько лишенных растительности островов, чудесным образом пребывающих в равновесии, как детские волчки (мираж), среди искрящихся волн.

Островные деревни — невероятно белые и чистые — напоминают собранные в кучу кубики; они как кристаллы на краю голубой воды у подножья поросших соснами склонов. В Спеце лодка доставила нас на берег, к причалу. Я познакомился с двумя учителями. На меня поглядывали с любопытством. Мы зашли в небольшой ресторанчик; похожий на испанца гитарист исполнил несколько греческих песен. У греческой музыки есть общие черты с андалусской, арабской и, конечно, турецкой. Она очень своеобразная, пряная, диссонирующая, в ней много ниспадающих нот, рваных ритмов, восточных интонаций. Чистым, сильным тенором гитарист пел, обращаясь к только что вернувшемуся из Америки греку; тот уже выпил с дружками немало рецины и теперь танцевал в греко-турецкой манере, двигаясь между столиками. Гитарист импровизировал песню о нем, там было много озорных намеков, колких шпилек, и это всех очень веселило.

Потом мы пошли в школу. Я не ожидал, что она так велика — пять больших зданий в несколько этажей с широкими коридорами безо всякой мебели и каменными полами. Когда говоришь, звук сильно резонирует — так бывает в церкви, морге, тюрьме. В моей комнате — 30 на 30 футов — мебели достаточно.

Школа расположена в парке у моря, отсюда слышно, как шумят, разбиваясь о гальку, волны. Много кипарисов и оливковых деревьев. Гибискус в цвету. Прекрасно оборудованный гимнастический зал, есть футбольное поле, теннисные корты, даже большие. Не школа, а мечта — великолепное место, отличное оборудование. Школа рассчитана на четыреста человек, но в настоящее время в ней учатся только сто пятьдесят, и тенденция к сокращению числа учеников сохраняется. А сколько всего можно было бы тут сделать — открыть международную школу, школу совместного обучения. Однако Шаррокс полагает, что надежды на перемены нет никакой.

1. Галеаццо Чиано (1903 — 1944) — министр иностранных дел Италии в 1936–1943 гг., в 1943-м участвовал в заговоре против Б. Муссолини и был казнен.

Я встретился с заместителем директора — приятным мужчиной с морщинистыми веками и открытой улыбкой. За обедом вместе с нами за столом сидели несколько учащихся. Я совсем не знаю греческого, остальные учителя не говорят по-английски, так что я общался только с Шарроксом.

6 января[1]

Утром я вышел немного погулять. За ночь похолодало, море было неспокойным. Я не ожидал встретить тут птиц, однако увидел на берегу двух зимородков, пустельгу, вроде бы клушицу и еще несколько птах. И множество цветов. По словам Шаррокса, птиц на острове нет, однако то, что я увидел, давало надежду. Разнообразие природной жизни возбуждает меня — естественник обладает несомненным преимуществом перед всеми остальными. Когда я оказываюсь в новой стране, знакомство с ее птицами, цветами и насекомыми значит для меня — если говорить о получаемом удовольствии — не меньше, чем знакомство с людьми и их искусственным миром. Природа — наше извечное прибежище.

С Шарроксом я пошел в Спече, чтобы купить необходимые вещи. В маленьком ресторанчике, где с потолка свисало побитое молью чучело канюка, мы ели жареную каракатицу — очень вкусную, — крупные оливки и жареный картофель. Все были очень дружелюбны, настроены мирно, по-товарищески.

Сегодня я познакомился с остальными преподавателями и, так как все они были пока для меня загадкой, сосредоточился на одном — старался запомнить непроизносимые греческие фамилии.

Ужинать я сел за стол с семью учениками — с одной стороны моим соседом оказался критянин, который и двух слов не мог связать по-английски, с другой — турок, тот говорил вполне прилично. Однако будет непросто заниматься с ними в течение семестра, используя их словарный запас — слов в сто, не больше.

Итак, начало положено. Работа, похоже, не из трудных, если исходить из количества часов. Четыре занятия в день, составляющие в совокупности три часа, и два дежурства в неделю — еще пять. Итого — двадцать три часа в неделю. Грех жаловаться! Мальчики живые, непосредственные, энергичные; более женственны в поведении, чем английские подростки. Я видел, как вернувшийся после каникул мальчик поцеловал друга в щеку. Старшие более дружелюбны и ласковы с младшими и оказывают им больше внимания, чем осмелился бы их английский ровесник. А в целом внешний облик и одежда учеников мало отличаются от того, что видишь в Англии.

Мальчикам, однако, не удается наладить определенный порядок в своей жизни; у них нет организованных игр, и после семи школьных уроков они еще два часа сорок пять минут тратят на приготовление домашнего задания. Это слишком много. Педагогическая методика явно устарела. Школа нуждается в реорганизации. Частично дело в отсутствии университетских традиций, вроде тех, что существуют в Оксфорде и Кембридже (в Англии) или в Эколь Нормаль и Сорбонне (во Франции). Основная масса преподавателей не очень образованна. Свой предмет они знают, но в ос-

1. Просматривая дневники спустя сорок лет после их написания, Фаулз сказал: "Думаю, можно считать, что эта январская запись положила начало 'Волхву'".

тальном мало чем интересуются — разве что любят перемывать друг другу косточки. Впрочем, так же себя ведут и их коллеги в Англии.

Но сам остров — драгоценный камень, Остров сокровищ, рай. Я совершил длительную прогулку к удаленным от моря холмам — по сосновым рощам, горным тропам, — в холодное и яркое безмолвие. Был прекрасный ясный день, с Пелопоннеса дул легкий ветерок, погода была почти такая, как в Англии в теплый мартовский день. Пихты растут редко, они невысокие и бесформенные, поэтому не загораживают великолепные пейзажи, а, напротив, выгодно их оттеняют. Когда смотришь на них издали, кажется, что перед тобой одни круглые вершины, как у пробковых деревьев. Удивительнее всего в этих горах — полное безмолвие, нет птиц (в районе школы их множество), почти нет насекомых, нет ни людей, ни животных — только полная тишина, ослепительный свет, голубое море внизу и арголисская равнина с низкой цепочкой гор посредине. Чистота и простота ощущений, какой-то особый средиземноморский экстаз витает в воздухе, пропитанном запахом сосны, зимней свежестью и морской солью.

Долгое время я никого не встречал, только слышал перекличку пастухов вдалеке — звук разносится здесь великолепно. Казалось, что маленький катер, который направлялся к дневному пароходу, пришвартовавшемуся у поселка, пыхтит на расстоянии нескольких сотен ярдов. Он же находился в двух или трех милях. На своем пути я наткнулся на обсерваторию, непонятно зачем построенную в горном лесу. На другой вершине, дальше к востоку, был виден монастырь[1], белизну его очертаний особенно подчеркивали сторожившие его черные кипарисы. По мере подъема вид становился все красивее. Напротив — Арголис, как рельефная карта, с неровными очертаниями, изрезанный заливами, с розовато-оранжевыми скалами по краям и темно-зелеными пихтовыми лесами в глубине. Но эти леса настолько открытые, настолько воздушные, что совсем нет ощущения мрачности — того, что чувствуешь на дальнем севере. Переиначивая пословицу, можно сказать, что за этими деревьями виден лес, деревья дают отдохновение, приют от нестерпимой жары на открытых равнинах. Арголис, похоже, густо заселенный остров — там есть пара беленьких деревушек и еще стоящие в изоляции фермы и коттеджи. Пустует только гористая местность в центре острова. Справа, недалеко от Идры, виднеются очаровательные острова, а сама Идра — голубая, бледно-зеленая и розовая — колышется в изумрудно-синем море. Эти большие острова с остроконечными горными вершинами, крутыми обрывами и утесами гармонично располагаются относительно друг друга. Краски очень живые, но нежные, пастельные, однако не расплывчатые — акварель, хотя и довольно четкая.

Справа, по ту сторону залива Науплия, — высокие горы Центрального Пелопоннеса, их снежные вершины кажутся розовыми облаками, слабо поблескивающими под косыми лучами солнца. Далекие горы, скалы, деревни и безграничный простор моря.

Я поднимался все выше и наконец выбрался на неровную дорогу, шедшую по гребню горной гряды; меня заливало солнце; те же пихты росли и на южном склоне — вплоть до самого побережья, гораздо более

1. Монастырь святого Николая, покровителя Спеце и всех моряков, является также кафедральным собором острова.

безлюдного, чем северное, там не было ничего, кроме нескольких коттеджей и одной или двух вилл. Солнце сейчас стояло над Спартой; море между Спеце и Пелопоннесом ярко сверкало, его оживлял легкий бриз, он волновал и рябил воду.

Далеко внизу, рядом с коттеджем, горел костер, дым поднимался вверх; там же, где находился я, легкий прохладный ветерок смягчал жару. Неподалеку мужчина (первый, кого я встретил на своем пути) рубил сучья. Еще двое на ослах выехали на дорогу. Один из них, поравнявшись со мной, придержал животное, посмотрел на меня с улыбкой и что-то энергично произнес. На нем был грязный голубой берет и потрепанные штаны; загорелое лицо лоснилось, как старая крикетная бита, черные усы были великолепны. Он еще раз повторил ту же фразу. Я что-то пробормотал. Он с удивлением уставился на меня. "Anglike", — сказал я. "А-а!", — понимающе кивнул он, слегка пожал плечами и поехал дальше не оглядываясь. Его товарищ на другом осле, который был едва виден под горой наваленных на него пихтовых веток, проезжая мимо, дружески кивнул: "Kal'emeras"[1]. "Emeras", — отозвался я.

Некоторое время я шел по дороге. Миновал рощу, где прямо из-под моих ног вылетел вальдшнеп. Проскользнула ящерица. Было очень тепло, но не душно; свернув с дороги, я направился к обрыву, обращенному на запад, и сел на камень прямо у края пропасти. Никогда еще не ощущал я такой вознесенности над миром, не испытывал чувства, что он раскинулся у моих ног. Отсюда лес ниспадающими волнами шел к морю, сверкающему морю. Берег Пелопоннеса был полностью лишен глубины и деталей — просто широкая синяя тень на тропе солнца, — даже в бинокль ничего не разглядеть, за исключением снежных шапок. Фантастический эффект, и в течение нескольких минут я переживал невероятное возбуждение, как если бы произошло чудо. Я действительно никогда в жизни не видел ничего прекраснее открывшейся предо мною картины — сочетание сияющего голубого неба, яркого солнца, скал, пихт и моря. И каждый из перечисленных элементов в отдельности был настолько безупречен, что захватывало дух. Похожее чувство я пережил в горах, но там стихия земли как бы отсутствует — переживая восторг, ты удален от всего. Здесь же она повсюду. Какой-то высший уровень познания жизни, всеобъемлющая эйфория, которая не может долго продолжаться. В тот момент я не сумел бы описать свои чувства — потрясение и духовный подъем заставили позабыть о себе. Я словно парил в прозрачном воздухе, утратив чувство времени и способность к движению, воспринимая только величайший синтез всех элементов. И затем — благоухающий ветерок, знание, что я в Греции, а еще — проблеск того, чем была древняя Греция; и тут же неприятное воспоминание о серых улицах, серых городах, о *серости* Англии. Подобные пейзажи в такие дни бесконечно способствуют росту человеческой личности. Возможно, древняя Греция — всего лишь результат воздействия пейзажа и света на чувствительных людей. Это объяснило бы свойственную им мудрость, красоту и ребячливость; мудрость покоится в высших сферах, а греческий ландшафт полон высоких мест, горы возвышаются над равнинами; красота в природе повсюду, *простодушие* пейзажей, чистота, ко-

1. Добрый день (*греч.*).

торая усиливает подобную ей чистоту и простоту; что до ребячливости, то ведь такая красота не человеческая, не практическая, не губительная — и разум, взращенный в таком раю, сам становится его копией, и после первоначального подарка (Золотой век), люди не могли не начать творчески слабеть. Красоту создают, когда ее недостает, здесь же она в избытке. Ее не создают, ею наслаждаются.

Такие фрагменты являются хорошей опорой. <...>

12 января

Невероятно мягкая, ясная ночь; цвета не сливаются — матовое море, гармония белых домов и темных кипарисов. Была суббота, и днем преподавателей собрали, устроив поистине кафкианскую разборку. Главный вопрос в повестке дня касался учеников, которые провели ночь на Поросе, там пили и играли в азартные игры вместо того, чтобы сразу вернуться в школу после посещения Афин. Здесь принято, чтобы каждый пустяк обсуждался всеми без исключения учителями на особом заседании. На сегодняшнем было два лагеря: один более снисходительный, либеральный; другой — консервативный, алчущий крови, во главе его стоял архиковарный Тимайгенис, преподаватель теологии, законченный Тартюф. Директор открыл дискуссию поразительными словами: "Нам не позволено наказывать учеников, но эта провинность требует наказания". Он суетился, как старая бабка, темпераментно нападая на каждого преподавателя, который высказывал взгляды на дисциплину, идущие вразрез с его собственными. Шарроkс заметил, что большинство учеников считает школьные "судилища" не более чем фарсом. "Но ведь и мы, взрослые, относимся к нашим греческим судам так же", — отозвался директор. Обстановка на грани безумия.

Так как была суббота, мы отправились ужинать в Спеце, в ресторанчик, где играет замечательный гитарист. Сложением заставляющий вспомнить Санчо Пансу, лукавый, злой, изобретательный импровизатор и остряк, он сидел в окружении приятелей. В ресторанчике было много рыбаков и местных торговцев. Мы пили рецину, к ней я пока не привык, хотя и понимаю, что придется полюбить, раз уж я нахожусь в Греции, — это была капля дегтя в бочке меда, — съели по большому блюду жареной картошки, бараньих котлет и печенки. Гитарист сложил о нас песню, а мы поставили ему и его друзьям пива. Подняли стаканы. Высокий, толстый, пожилой лодочник в синей кепке спел с гитаристом дуэтом, пел он тенором, очень темпераментно, выводил трели, приподняв голову, так что горло его вибрировало, как у певчей птицы. К ним присоединился юноша, его голос звучал сильно и скорбно.

Сменить обстановку было для меня облегчением, хотя атмосфера в школе оказалась вовсе не так плоха, как я ожидал, — мрачновата, но не безысходна. Живые, неугомонные мальчики могли привести кого угодно в ярость, но могли быть и другими — нежными, любящими. В классе они галдели, перешептывались, постоянно вскакивали с места, тянули изо всех сил руки, задавали вопросы, смеялись. Тишина здесь — вещь относительная. Но причина всего этого — их рвение. Они хотят учиться. Хуже обстоит дело с педагогами, большая часть которых — неуверенные в себе, плохо образованные пожилые женщины, они придерживаются системы, основанной на упорном труде и жесткой дисциплине.

В парке при школе растет множество пихт и кипарисов; в просветах между кронами небо еще синée. Как прекрасна форма кипариса: темное пламя, памятник или фонтан. Самый распространенный сорняк в парке — оксалис, или кислица, его яркие желтые цветки раскрываются только при свете солнца. И все это множество как-то очень по-человечески покачивается на тонких, грациозных стебельках.

В каменных зданиях необычный, гулкий резонанс. Каждый звук усиливается, становится звонче, разносится эхом и обретает черты, свойственные определенным учреждениям — тюрьме, моргу, больнице, школе, казарме. Из радиоприемников несутся какие-то загадочные приглушенные звуки. Каждый этаж разделен на три продольных отсека, и центральный коридор такой же широкий, как расположенные по обе стороны комнаты, в нем-то и концентрируются все звуки. Сейчас, когда я пишу эти строки, из приемника соседа доносится женский голос, поющий по-арабски, — голос вдвойне экзотичен, он приходит откуда-то издалека, из прошедших веков, ностальгический, печальный, как мертвая красота.

Сегодня днем состоялся футбольный матч. Уровень игры хороший. На игроках были желтые и черные футболки соответственно в красную и белую полоску. Все играли с жаром, без намека на технику — на бурокрасной земле ученики проделывали немыслимые пируэты, устремляясь за мячом или высоко подпрыгивая в надежде его достать. Состязались два класса, и вся школа собралась на бетонных трибунах, из городка тоже пришло много народу. Мальчишки вооружились игрушечными трубами, свистками, они кричали и улюлюкали. Мы, преподаватели, сидели на почетном возвышении в центре трибуны и смотрели на поле, за которым тянулся ряд кипарисов, а дальше — белые здания школы, сиреневоголубой пролив и арголисские горы в предвечернем солнце, — там, за мирными голубыми очертаниями, укутанные бело-розовыми облаками, таятся Микены, Тиринф и прочие исторические жемчужины. На таком фоне школьная деятельность кажется мышиной возней, а игры — профанацией настоящих поступков. Дисциплина, организация, начальники, белые стихи, футбольные ворота — все это лишь пена на вечности.

Сегодня приехал еще один преподаватель английского языка — Египтиадис; это пожилой человек, его седые волосы пострижены так коротко, что он кажется почти лысым, у него вид борца или бывшего заключенного. Бычья шея, крупный рот, мало зубов, массивное тело и хорошие манеры. Он жил девятнадцать лет в Штатах и прекрасно говорит по-английски. Как и на многих других языках. Во всяком случае, на каких-то он с нами заговаривал; похоже, это предмет его гордости, хотя, возможно, знание языков сводится у него к нескольким заученным наизусть изречениям. В нем есть что-то жуликоватое. Несомненно, всем скоро надоест слушать, как он, подобно попугаю, бубнит отрывки из молитв или пословицы на разных языках. К несчастью, он мой сосед.

Тамарус, 4-й класс: "Тапочки — туфли ночи". <...>

Я начинаю чувствовать своеобразную прелесть существования на острове. Никаких контактов с внешним миром; со времени своего приезда я не прочел ни одной газеты. Можно, конечно, узнать новости по радио, но у меня нет ни малейшего желания его слушать. Как-то попался в руки "Нью стейтсмен" ("NS"), который в новых обстоятельствах вдруг загадочным образом стал выглядеть псевдоинтеллектуальным, а крити-

ка вообще показалась плодом усилий молодых неуравновешенных и недоучившихся всезнаек. Мир "НС", который совсем недавно я не без удовольствия считал доступным лишь посвященным, почти тайным обществом — крикетной командой графства, чьи уроки я усваивал, — теперь представился мне весьма незначительным, чуть ли не карикатурным, крохотным центром небольшой группы людей, обосновавшихся в северном Лондоне, Оксфорде и Кембридже — и не более того. По моему мнению, географическая отдаленность не могла повлиять на мою систему ценностей. Я полагал, что она устойчива к физическим переменам. Однако человека создает окружение[1].

Неудовлетворенность тюремным существованием. В этой тюрьме нет даже такого блага, как одиночные камеры. Ведь здесь отдельная комната — весьма ненадежное убежище, оно доступно для учителей, сюда проникают звонки и крики мальчишек; кроме того, ее меблировка и местоположение невыносимо казенны. Однако тюрьма — только видимость: вокруг прелестный остров и всего в минуте от дома дивное море. И все же школа (когда находишься внутри здания) может отравить эту красоту. Но стоит выйти наружу — и все тут же меняется. Впрочем, мало кто из преподавателей часто ее покидает — иногда кто-нибудь идет в городок, но в пихтовые леса — никогда. Никаких попыток вырваться из заточения.

Возможностей уединиться здесь мало — особенно в помещениях для учеников, где царит такая же атмосфера, как в тех армейских частях, где офицер питается за одним столом со своими солдатами.

Чувство абсурда и нелепости обострилось до крайности. Мы с Шарроксом большую часть дня проводим вдвоем и хохочем до колик. Остальные педагоги так необразованны, мотивы их поведения настолько ясны и убоги, что остается только смеяться. Однако некоторые вещи, которые вызывают у нас смех, вовсе не забавны, они кажутся такими лишь на Спеце. Главное — смехотворно само существование огромной и нелепой английской школы на этом райском острове, жемчужине Эгейского моря. Как тут не смеяться! А то, что мы англичане, дает нам исключительно удобную позицию, с нее очень легко насмехаться над иностранцами. Мы неинтересны, но неколебимы. У иностранцев нет такой прочной позиции — или она зиждется на чисто личных пристрастиях. Они мечутся, переезжают с места на место, они подвластны переменам. Мы же словно застыли, опираясь на одни и те же принципы, мы — нравственные, демократичные, мудрые, управляющие и управляемые, взрослые и снисходительные, а остальной мир пребывает в состоянии юношеской незрелости.

Арапангис, класс 5-й "В": "Я мог бы рассказывать и дальше, но звонит колокол". По ком звонит...

18 января

Сегодня я пошел с Гиппо в городок узнать, как мне получить permis de séjour[2]. Гиппо, как обычно, нудил всю дорогу, и, признаться, путь до полицейского участка дался мне с трудом. День был пасмурный, материк и острова на востоке затянуты прелестной *безмятежной* серо-голу-

1. Девиз Нью-Колледжа, где учился в Оксфорде Фаулз, звучал так: "Человека делают манеры".
2. Вид на жительство (*франц.*).

бой дымкой. Море спокойное, цвета серого шелка. Гиппо услаждал мой слух анекдотами — в основном непристойными, вроде того, как он ехал на ослице и вдруг на нее стал карабкаться осел. "Я поскорее спрыгнул и пустился наутек — испугался ужасно". Потом начал подробно расписывать, как насильно спаривают жеребца и кобылу. "Очень любопытное зрелище". Все это он рассказывает совершенно серьезно, его лицо прямо молит о доверии, так что невозможно удержаться от смеха. И в перерывах поет — из итальянских опер, из "Веселой вдовы" и так далее. Клоун, Кандид.

Мы провели уморительные полчаса в кабинете шефа полиции, с невероятными муками заполнявшего необходимые бланки. Английские фамилии никак ему не давались. Грустный человек с прилизанными черными волосами и брюзгливым лицом ищейки; две большие серебряные звезды горели на эполетах. Мундир старой британской армии цвета хаки. Он с трудом водил по бумаге скрипучим пером, обмакнув его в красные чернила. Когда мы подошли к вопросу о религии, я быстро ответил (довольно нелепо — а как еще отвечать в стране абсурда): "Религии нет".

— Должна же быть какая-то религия! — сказал Гиппо.

— Нет, — упорствовал я.

— У него нет религии, — сказал Гиппо по-гречески начальнику полиции.

Этот достойный человек бросил на меня испытующий взгляд, потом перевел его на Гиппо и что-то с раздражением произнес.

— Послушай, — сказал Гиппо, — он говорит, что такого не бывает.

— Вот и бывает.

— Но у тебя ведь христианское имя?

— Да.

— Значит, ты христианин.

Я не сумел ничего противопоставить этому триумфу логики. Только пожал плечами и упрямо произнес:

— Я не исповедаю никакой религии.

Гиппо что-то сказал начальнику полиции, тот посмотрел на меня, почесал голову и неожиданно расхохотался.

— Какого черта он смеется? — спросил я.

— Он говорит, что никогда ничего подобного не слышал. Находит это очень забавным.

Я никак не ожидал вызвать своим заявлением смех — скорее провинциальный ужас перед заклятым атеистом.

— Скажите ему, что раньше я был протестантом, — покорно признал я. — Пусть запишет "протестант в прошлом".

Так и записали. Когда форму заполнили, лейтенант попросил дать ему шесть или восемь моих фотографий.

— Так шесть *или* восемь? — спросил я.

Гиппо обсудил этот вопрос с полицейским.

— Он говорит шесть или семь, но шести хватит, он сам уладит это с фотографом.

Греки сумасшедшие. <...>

На следующее утро после незабываемой беседы с шефом полиции я вновь вышел из дома с Гиппо — на этот раз чтобы сфотографироваться. Свежее, сияющее утро; горы и равнина весело нежились в ярких сол-

нечных лучах. Придя к фотографу, мы стали торговаться о цене. За услугу он заломил больше, чем берут в афинских ателье, что не лезло ни в какие ворота. Наконец удалось найти более-менее приемлемый компромисс. Мы вышли на площадь, и я принял красивую позу. Тут вдруг фотографа одолели сомнения.

— Он боится, что эти фотографии окажутся слишком маленькими для полиции, — объяснил Гиппо. — Могут потребовать большие, а они дороже.

— Бог мой, — проговорил я со смехом, — не сомневаюсь, что он знает, какие именно нужны в полиции.

Гиппо вступил в переговоры с фотографом.

— Все зависит, какую форму заполняют, — сказал Гиппо.

— Тогда пойдем к шефу полиции, — предложил я.

Мы вышли через дверь с выцветшей надписью, пересекли сад с небольшими апельсинными деревьями, с которых свисали маленькие апельсины, и поднялись по ступенькам в полицейский участок. Казалось, шефу полиции приятно нас видеть. Опять начались споры и торговля. Я только коварно улыбался в сторонке, не взрывая пока бомбу.

— Скажите им, чтобы послали счет в школу, — сказал я наконец.

— В школу?

Шеф полиции и фотограф переглянулись, пожали плечами и на удивление легко с этим согласились. Мы вышли на площадь, и меня сфотографировали.

Потом мы с Гиппо сидели за столиком, стоящим прямо на гальке, в небольшой уютной гавани. Столик стоял под сосной, у линии древних укреплений; мы грелись на солнышке и ели пирожные. Море было темно-синего цвета, Идра и другие острова — розового, коричневато-желтого и оливкового. Большая шлюпка — каик — покачивалась на волнах.

У меня было легкое похмелье. <...>

Днем отправился на длительную прогулку к дальней оконечности острова, путь мой пролегал по пастушьим тропам вдоль крутого склона. День был ветреный, но ясный, народу ни души. На склонах — пихты, заросли дрока, отполированные разными стихиями скалы. Откуда ни взглянешь вниз, везде ярко сверкает изумрудом море. На открытых участках земли кучно растут ярко-синие гиацинты — и темных, и светлых оттенков. В одном месте я увидел большое количество паучьих орхидей — крупнее тех, что попадались раньше. На этих склонах живет мало птиц. Северная сторона острова холоднее, пустыннее и более зловещая. Берег высокий и крутой, с закрытыми бухточками. Одна бухта, окруженная кипарисовой рощей, особенно красива.

Запомнился некий момент, наполнивший меня восхищением и восторгом. Я уже несколько часов шагал по лесу над морем и никого за это время не встретил; из-за волн в море тоже не вышла ни одна шлюпка — и вдруг, словно яркая вспышка, ко мне явилось ощущение чего-то удивительного, поэтического; все смешалось — легендарный, волшебный лес и духи этого места, нимфы в рощах, наделенные средневековыми французскими чертами и классическими греческими и вдобавок подсвеченные моим воображением. Я стоял на опушке и глядел вверх на темную стену пихт, почти ощущая присутствие иного мира.

Потом пошел домой, пошел быстро через лес и, хотя возвращался уже по дороге, а не по тропе, опять никого не встретил. Правда, я слышал странный крик и сначала подумал, что кричит пастух, но потом крик раздался рядом, из кроны высокого кипариса. Я запустил туда камнем, и оттуда в густеющие сумерки вылетела небольшая сова. Вот он, певец, сказал я себе. Одиночество взбодрило меня, и похмелье отступило. <...>

Старшеклассники говорили сегодня о коммунистах. Они рассказывали ужасные истории о гражданской войне. Стамманоятис сказал, что коммунисты выкалывали глаза пленным, складывали их в железные банки и посылали в Москву, заключенных казнили, отрубая конечности — одну за другой. Он сам видел, как матери обнимали разложившиеся трупы детей. Я не очень верил этим рассказам, но нельзя отрицать: в греческой натуре есть грубое начало. Возможно, это идет от турок, но из христианства в числе прочего в философию древней Греции перешло отсутствие сострадания. Юноши были такими ярыми антикоммунистами, что это меня испугало. Они даже умеренно левого Пластираса[1] считают коммунистом. Когда я попросил назвать имена четырех людей, которых они хотели бы уничтожить, последовал ответ: Сталина, Мао Цзэдуна, Вышинского, Пластираса.

Ужас в том, что эти юнцы не умеют взглянуть на предмет с разных сторон. Они знают только о случаях проявления насилия и жестокости коммунистами. Потому и боятся всяких реформ, а Греция нуждается в реформировании. В будущем крестьяне снова взбунтуются, и тогда опять развяжется кровавая война. Такая же ситуация в Испании, Ираке, Персии, Италии, Египте — там тоже крестьянские массы угнетены, их положение не облегчили мирным, демократическим путем, а, напротив, только усугубили его, проявив жестокость и безумие. А на нынешнее молодое поколение, так называемые "сливки нации", которые показывают себя махровыми реакционерами, вообще нет никакой надежды.

Паучьи орхидеи. Они растут по всему острову. Надменные, причудливые растения с полной коричневой губой, приобретающей на солнце золотистый и пурпурный оттенки, и нежными желто-зелеными лепестками. Они растут по одному, иногда по два-три, на одном растении редко бывает больше двух цветков. Как-то я держал цветок в воде больше десяти дней, рисовал его и часто любовался. Вид этого цветка доставляет мне большое удовольствие. Перевернутый, он странным, экспрессионистским образом напоминает человеческое лицо — клоуна-неврастеника.

За столом любимые темы для разговора — те, что граничат с непристойностью. Ученики, особенно жирный Кабелла, коротышка с Крита, постоянно хихикают и вполголоса говорят мне такое, за что их немедленно исключили бы из английской школы. Если видят, что я сержусь, переходят на греческий; если я выгляжу смущенным, поддразнивают меня, так что мне остается только смеяться. Вчера за столом староста,

1. Николас Пластирас (1883–1953) — генерал, премьер-министр, лидер Национальной прогрессивной партии, вступившей в союз с либералами.

сын бывшего министра труда, вручил мне листок с анекдотом, который он собственноручно записал:

Владелец гостиницы (новобрачному после первой брачной ночи): "Ну и как все прошло?" Муж: "Прошло – не застрял, размеры подошли".

– Не правда ли, смешно? – крикнул он с другого конца стола.

– Очень, – ответил я.

– Этот анекдот рассказал мне мистер Потамианос, – сказал староста.

Я постарался изобразить на своем лице некоторое подобие радостного изумления.

Мой сосед слева, Асимакос, высокий красивый юноша с лицом оливкового цвета, блестящими глазами, длиннющими ресницами и несколько женственными манерами. Большую часть времени он смотрит на меня, хлопая ресницами, и спрашивает, какие оценки я ему поставлю. Они с критянином соревнуются по части порочных поступков. По словам критянина, Асимакос в прошлом году совратил дома служанку – и, глядя на этого красавца, трудно винить девушку. Последний же утверждает, что юноша с Крита (ему шестнадцать) проводит все свободное время в Афинах с "дурными женщинами". Кабелла великодушно предложил познакомить меня с ночной жизнью Афин, а староста пригласил погостить у него дома в Салониках, там есть "бьюик" и "джип" и много готовых на все девушек.

Посещение парикмахерской. Здесь клиент – король, и ради меня был совершен полный ритуал стрижки. Мне то и дело помадили волосы, все инструменты неоднократно продезинфицировали, постоянно смахивали волоски, три раза пускали в ход бриллиантин. Артистически щелкали ножницами. Рядом с парикмахером стоял помощник, юноша в короткой куртке, он вручал мастеру поочередно ножницы, расчески, пульверизаторы – так медсестра помогает усталому хирургу. Раз он ошибся и дал не то, и мастер с раздражением от него отмахнулся. Вскоре я уже с трудом сдерживал желание расхохотаться. Хорошее обслуживание здесь превращается в культовое поклонение. А боги должны смеяться. Какое отличие от равнодушного отношения к клиенту в демократической Англии, где парикмахер работает как машина! Не рабское начало лежит в основе потребности сделать эту услугу приятной. Никто не думает, что парикмахер занимает низшее положение по сравнению с клиентом. А последний расплачивается от избытка чувств, а не потому, что того требует закон.

Гитарист Евангелакис. Он подошел к нашему столику поговорить. Скромный, застенчивый, немного подозрительный человек. Под конец спел одну или две песни и на прощанье еще одну, которую, по его словам, пел нечасто. Пронзительную, мучительную, напряженную, что-то среднее между испанской погребальной песнью и негритянским блюзом. После он рассказал мне, что эта песня ассоциируется у него со смертью матери, там упоминаются больницы и врачи в белых халатах. Гитарное сопровождение было яростным, резким и гневным; он пел с закрытыми глазами, его голос звучал протяжно, и в нем была спокойная, почти экстатическая сила. Один из школьных официантов, Диони-

сос, — он сидел с нами — вдруг зевнул, и не на нервной почве, а просто от непонимания. Это было ужасно. Дионисос — хороший человек с легким, веселым характером, но он — олицетворение равнодушной, невозмутимой, закоснелой глупости, слепоты простого народа перед подлинной искренностью и красотой. Бедный коротышка гитарист заметил, что Дионисос едва подавляет зевоту, вновь закрыл глаза и запел, по-прежнему обнажая перед нами свое сердце.

3 февраля

<...> Реализм. Пытаюсь написать рассказ в стиле Моэма; такие вещи необходимо уметь делать — как художнику подражать великим, овладевая искусством рисования.

6 февраля

Смерть короля Георга VI. Люди подходят ко мне и с веселым видом сообщают печальную новость. За обедом ученики радостно пялились на меня, а староста, широко улыбаясь, объявил: "Умер король Англии". Думаю, их слегка удивило, что я не в трауре и не заливаюсь слезами.

Смерть королей теперь уже не так волнует подданных, к этому событию относишься просто как к вехе — концу одной эпохи и началу другой. В умершем короле не было ничего выдающегося — ни ярких качеств, ни энергии. В наши дни король по конституции — никто, он может остаться в истории только благодаря своей личности.

Теперь в изобилии польются некрологи и приветствия блистательной новой королеве, непременно проведут параллели — к всеобщей самодовольной радости. Но елизаветинские эпохи и условия, при которых они возникают, канули в прошлое, теперь царит политика, а наша Елизавета — консерватор и педант, она — вторая Виктория.

Почему первое неожиданное известие о смерти обычно вызывает улыбку? <...>

24 февраля

<...> Уже несколько дней идет масленица — апокриас. Украшена вся школа, на стенах спален и столовой — забавные фигурки и вымпелы, повсюду красиво и чисто. Сейчас на острове полно богатых родителей и хорошеньких сестер. Погода изумительная. Нам с Шарроксом оказывала покровительство богатая супружеская пара Говаоглоусов, они прекрасно говорят по-английски и намного образованнее остальных мам и пап из нуворишей. Приехал Сотириу, председатель опекунского совета, и совершил обход спальных комнат. Плюгавый, седой старичок, слабый и дряхлый, плелся, опираясь на палку, — инспектирование чуть ли не военного образца. Мальчики стояли у кроватей по стойке "смирно", пока Сотириу и его сопровождение ковыляли мимо, заглядывали в личные тумбочки и вежливо наставляли школьников. Еще один напыщенный коротышка — лет пятидесяти-шестидесяти, с офицерскими усиками, в рыжеватом твидовом костюме — исполнял при председателе роль помощника. Затем шли директор школы, его заместитель, заведующий пансионом и длинная вереница учителей, старших учеников и родителей. Все бы хорошо, но взятый Сотириу темп похоронной процессии вызвал у самых легкомысленных из нас приступ неудержимого смеха.

Утром в воскресенье мы сидели на солнышке неподалеку от гавани, глазея на толпу оживленных людей, пьющих пиво. Днем должен был состояться футбольный матч, а затем торжественная церемония в память об одном из основателей заведения. Вся школа собралась у памятника Анаргиросу. Шарканье ног, хихиканье. Какого-то мальчика послали за стулом, чтобы возложить на плечи великого человека венок. Стул поставили на нужное место. Все хорошо.

"Венок!" — кричит директор. В ответ молчание. О венке забыли. Маленький мальчик стремглав бежит за венком. Опять шарканье, смешки. Мальчуган возвращается, у него в руках большой лавровый венок. Директор стоит с венком в руках, он смущен. Он вдруг заметил, что выпускник школы, которому поручено возложить венок, отсутствует. Шарканье, смешки. Видно, что старшеклассники бегут не по той тропе, они заблудились. Раздаются крики. Старшеклассники мчатся сломя голову к месту церемонии — через кусты, топча клумбы. Смех. Преподаватель физкультуры сердито кричит на них. Воцаряется молчание. Выпускник торопливо поправляет галстук, приглаживает волосы, ему вручают венок.

— Смир-р-рно! — кричит физкультурник.

Лица всех обращены к школе и к памятнику. Греческий флаг медленно плывет вверх. Половину пути он проходит хорошо, но потом что-то в механизме флагштока заедает. Судорожные рывки, флаг немного опускается, потом резко дергается вверх. Но одолеть помеху не удается. Все кусают губы, чтоб не рассмеяться.

Выпускник смотрит на директора, директор оглядывается; шарканье, смешки. Выпускник делает шаг вперед, чтобы возложить венок. Он явно не понимает, почему всех душит смех. Кладет венок у основания памятника и быстро возвращается на место. Кое-кто из мальчишек смеется.

Директор и старшеклассники стоят и смотрят друг на друга; директор делает знак шляпой. Старшеклассники растерянно переглядываются. Молчание становится невыносимым. Все ждут, что кто-то произнесет речь.

Наступает звездный час преподавателя физкультуры.

Он свистит в свой свисток. Ученики начинают переговариваться, родители тоже зашевелились. Ситуация спасена.

Директор говорит: "Хорошо!" Старшеклассники склоняют головы. В душе все смеются. Физкультурник снова свистит. Ученики расходятся, смеясь и болтая. Директор останавливает маленького мальчика и заставляет его водрузить венок на плечи статуи. Старшеклассники стараются скрыть смущение.

Церемония окончена.

Только Анаргирос возвышается над этим абсурдом. Пустые глазницы на каменной голове этого идеалиста — человечного, проницательного, терпимого и благородного — смотрят куда-то вдаль, поверх нелепой толпы. Голова великого идеалиста, почти мечтателя. Его мечта очень далека от осуществления, но камень терпелив. <...>

8 апреля

Карагеоргис, 4-й "А". Стройный, похожий на фавна ребенок с копной черных волос, раскосыми глазами и небольшим красивым ртом. Ка-

жется, что он постоянно где-то витает: то смотрит куда-то вбок, в некую таинственную даль, то становится бешеным и неуправляемым, словом, живет только в двух темпах — замедленном или убыстренном. Остро реагирует на ерунду: может от пустяка расплыться в прелестной, непосредственной улыбке, а мелкая неудача вызывает в нем приступ ярости. Сегодня, к примеру, не смог ответить на ряд вопросов теста. Некоторое время он сидел с отрешенным и мрачным видом, потом вдруг встал, шагнул к моему столу, швырнул работу и пошел обратно. Я крикнул, чтоб он вернулся. Каждый мускул его тела был напряжен, вид оскорбленный, в глазах — мука. Внезапно я понял, что он плачет. Что-то садистское проснулось во мне, я повел себя жестко. Дело того не стоило. По словам мальчика, у него не было времени повторить материал. Я приказал ему выйти из класса. Он молча стоял, охваченный юным гневом, словно был не в силах сдвинуться с места. Я разорвал его работу и сказал, что он на две недели лишается бассейна. Мальчик бросился к парте, уронил голову на руки и зарыдал. Остальные ученики продолжали трудиться. Прошло десять минут. Я написал на доске еще несколько вопросов. Карагеоргис поднял глаза — они были красные от слез, но вдруг засветились радостью. Он приблизился ко мне и спросил, нельзя ли ему попробовать еще раз. Подобрал разорванную работу, переписал предыдущие ответы и задумался над новыми вопросами. К концу урока он уже улыбался и объяснял то, что я говорил, другим школьникам. На перемене, играя с ребятами, он неожиданно глянул на меня, улыбнулся счастливо и взволнованно, дружески помахал рукой и вернулся к перетягиванию каната. Воплощенный дух апреля тринадцати лет от роду; нужно ли говорить, что я его не наказал.

Сейчас, в конце семестра, я все больше осознаю дремлющее во мне гомосексуальное начало. Мне нравится проводить время с некоторыми учениками, смотреть на них, говорить с ними. Это меня не тревожит: некоторым мальчикам на исходе отрочества неопределенность половой принадлежности придает женственные черты, и они очень красивы. Озорные, полные жизни и щенячьей невинности, они — как весенние песни птиц или фруктовые деревья в цвету. Иногда мне кажется, что я купаюсь в реке нежности, но вода поднимается, и есть опасность наводнения. Я знаю, что никогда не потеряю головы и не позволю себе соблазнить кого-то из них. Так уж я устроен; могу признаться в потаенных мыслях и даже потешить себя фантазиями, не видя в этом зла, но дальше не пойду.

Фарс в учительской. Сегодня мы с Гиппо начали переводить на греческий язык список действующих лиц "Сна в летнюю ночь" — для театральной программы к концу летнего семестра. Все шло хорошо до тех пор, пока не пришел черед персонажа по прозвищу Bottom[1]. Я объяснил, что здесь имеется в виду скорее определенная анатомическая часть, чем что-либо другое. Гиппо сказал, что единственное греческое слово с таким значением звучит очень грубо.

— А что вы говорите, когда нужно назвать именно это место? — спросил я.

1. Зад, задница (*англ.*). На русский язык Т. Щепкина-Куперник перевела это прозвище как Основу.

— Употребляем эвфемизм. Говорим — нижняя часть спины или верхняя часть бедра. Вот так.

Я рассмеялся. Тут в учительскую вошел преподаватель богословия. Гиппо попросил у него совета. Тимайгенис пришел в ярость. Он что-то гневно проговорил, пулей вылетел из комнаты и почти сразу же вернулся с директором — он говорил без остановки и указывал на меня, будто на прокаженного. Завязался спор, который длился почти час. Переводить или не переводить это прозвище? Подошел заместитель директора, все высказали свои точки зрения, присоединились и другие учителя. Все единогласно решили (за исключением меня), что Bottom — грязное и неприличное слово.

— По-гречески это звучит ужасно, — сказал Гиппо. — Просто ужасно.

Но не только слово "Bottom" оказалось непереводимым, все остальные прозвища афинских пастухов тоже вызвали глубокое сомнение. Нельзя забывать про родителей: господину Вракасу вряд ли понравится, если его сына будут называть Рылом. В конце концов решили не переводить скандальные имена и оставить английский вариант.

Было видно, что директора этот случай чрезвычайно взволновал. В заключение он сказал: "Нельзя, чтобы пьеса показалась забавной". Он даже не представлял, какой ужасный сюрприз его ждет.

После этой в высшей степени пуританской (и типичной) бури в стакане воды из-за "гнусного" прозвища Bottom, в тот же самый день в школе произошло совершенно парадоксальное событие. Шестой класс устроил вечер в честь окончания семестра, на который пригласили десять-двенадцать преподавателей (в том числе и Старика). Мальчики украсили комнату и соорудили небольшой помост для оркестра из четырех учеников. С одобрения улыбающегося директора начались танцы. Рослые мальчики выбрали партнеров покрасивее; они танцевали самбу, танго, фокстрот, прижимаясь друг к другу с явным удовольствием. Некоторые просто весело проводили время, другие же, как мне показалось, испытывали при этом не вполне невинные эмоции. Дружеские чувства на практике вдруг оказались любовными. Для меня все это выглядело довольно безвкусно, а после утренней пуританской сцены еще и забавно.

В дополнение к характеристикам современных греков: питьевая вода и канализационные трубы проходят у них рядом; их мозги то подвергаются мощной дезинфекции, то просто смердят, и все это невероятно инфантильно. В каждом греке уживаются два совершенно разных человека.

11 апреля

Семестр близится к концу. Если не произойдет ничего чрезвычайного, я здесь еще поработаю. Учителя мне не нравятся, как и школьная система, и публичный характер современного грека (Тартюф), но эти чувства уравновешиваются, когда ты восхищаешься красотой местной природы, пустынностью острова — можно бродить часами и не встретить ни одной живой души, вокруг только растения и насекомые, даже птиц почти нет, — восхитительным климатом и привязанностью к некоторым ученикам. Мальчики рано развиваются, в них есть цинизм, делающий их слегка faisandé[1]; даже в самых невинных есть что-то порочное.

1. С гнильцой (*франц.*).

Здесь не встретишь, как в Англии, розовощекого мальчугана с личиком херувима; тут не обошлось без дьявола: в облике юных греков есть нечто от фавна, и еще — они более практичны.

Юноша, сидящий слева от меня за столом, Гларос (в переводе "чайка" — подходящее для него имя: он очень красив, птица-тезка уступает ему), интересует меня больше остальных. Он жил в Америке и служит мне переводчиком; иногда мы с ним просто болтаем. Высокий, стройный, очень смуглый, с явной примесью восточной крови: я вижу в его лице черты арабской красавицы. Выразительные темные глаза, нежные, пухлые, алые губы, смуглая, теплого оттенка кожа, невероятно длинные, загнутые ресницы; от него веет обольстительностью "Тысячи и одной ночи". Он постоянно говорит о девушках; открыто обсуждает со мной других учителей и критикует школу. Однажды даже сказал, что не верит в православие. Не по годам развитый мальчик, эгоцентричный, темпераментный, ему совсем не место в таком неприветливом и консервативном заведении, как эта школа. <...>

11 мая

Этот семестр отличается от остальных. Новый распорядок — занятия с восьми до часу, потом дневной сон. Каждый день перед ланчем плаваю. Жарко, небо обычно покрыто легкими облаками, трава пожухла, пыль и потрескавшаяся земля. Иногда дует ветер — горячий и совсем не освежающий. Вечером душно, донимают комары. Дни знойные, сухие, жизнь кажется безрадостной. Гор не видно, они постоянно затянуты дымкой. Я жажду дождя, грома, прохлады. Иногда мне кажется, что я в полубессознательном состоянии, ослабевший, заторможенный. Ничего не пишу, в том числе и стихи. Дни пылают и догорают, пылают и догорают — безжалостно, как дуговая лампа.

Ежедневно по часу плаваю с маской. Это делает существование терпимым, появляется стимул жить. Мгновенный шок от вхождения в воду, затем медленное движение над камнями и морскими водорослями; я рассекаю воду над таинственным и полупрозрачным иным миром — морских ежей, морских звезд, голубого песка и темных щелей, зелени и медуз; над миром театральных декораций, миром балета или немого кино, где все движения грациозны и непредсказуемы. Здесь много рыбы, чаще всего встречаются разновидности брамы — размеры их колеблются от пенни до большой столовой тарелки. Эти серебристо-серые диски с черным пятном у хвоста плавают стайками и даже пристраивались за мной, особенно когда я переворачивал камни, — так дрозды внимательно следят, как копает садовник. Я видел длинных полосатых рыб, уродливых и нелепых морских ершей, оригинальных маленьких ярко-красных и ярко-желтых морских собачек, великолепных рыб с длинными ярко-изумрудными боками, синими плавниками и хвостом. И зеленых, с оранжевыми плавниками и пятнами на спинке. И маленькое царственное существо с шестью лапками и громадными относительно крошечного тельца ярко переливающимися лазурными плавниками-веерами. И крупных рыбин жемчужного цвета, вроде лосося, с печальными глазами, они плавали вокруг меня — очень близко, но мне никогда не удавалось их поймать. Я боюсь осьминогов и акул. В Греции от акул ежегодно погибают всего один-два человека, но об этих чудовищах трудно забыть — есть что-то завораживающее и пугающее в плавании над глубо-

кими пещерами и подводными грядами в голубовато-зеленой воде. На расстоянии камни кажутся неподвижно застывшими фигурами, они таятся и поджидают тебя.

Мицо, школьный почтальон, перебрал сегодня все письма, чтобы узнать, нет ли корреспонденции из Англии. Нашелся большой конверт на имя учителя, покинувшего школу еще до войны. На нем я увидел слово "Бедфорд". В конверте оказался альманах "Выпускники Бедфорда", посланный по непонятной причине в нашу школу, хотя Ноэль Пейтон уволился в тридцатые годы. Я прочитал альманах и словно вновь посетил забытые места, ожили старые воспоминания. Внутренне я так и не примирился с Бедфордом, хотелось о нем забыть. Впрочем, последние годы мне там нравилось. Однако школа на пару лет затормозила мое умственное развитие. Я стал взрослеть только на последнем курсе Оксфорда. Дух альманаха казался старомодным, затхлым. Наивный викторианский мир школьных ценностей, сентиментального былого товарищества. Из альманаха я узнал новости о моих ровесниках. Похоже, они так и не стали самостоятельными личностями – участвуют в проекте "Выпускники Бедфорда", держатся вместе. Тоже иллюзия – по крайней мере, на 99 процентов; я же предпочитаю полный разрыв с прошлым, 100-процентную изоляцию.

14 мая

Пять миноносцев и две подводные лодки таинственным образом объявились у берегов Спеце и встали на якорь. Рейд греческого флота. Зловещие очертания в мирных водах.

Генри Миллер. "Колосс Маруссийский"[1]. Энергичный, мощный стиль, хотя мне не по душе этот постоянный, бьющий ключом энтузиазм; к концу книги складывается впечатление, что говорит приходской священник, пытающийся оживить скучное чаепитие. Взгляд Миллера на современного грека кардинально отличается от моего, и непонятно, кто из нас прав. Мне кажется, прав я, хотя, возможно, эта уверенность слишком субъективна. В настоящий момент мне трудно найти в современном греке что-нибудь хорошее. Миллер, по крайней мере, заставляет о хорошем задуматься.

"Сейчас Греция – единственный райский уголок в Европе". Греческие пейзажи подобны музыке Моцарта. Миллер рисует, выдавливая краску из тюбика и размазывая большим пальцем. Однако по сравнению с его ярким письмом мой стиль скучный и пресный. <...>

Июнь

Мопассан. "Мисс Гарриет".

Читая Мопассана, я почувствовал, как меня охватывает волна безысходности. Ни один писатель не превзошел его в наитруднейшей технике письма – реализме. Я не надеюсь когда-нибудь достичь такого мастерства.

Здесь я бездельничаю. Греки заразили меня своей эгоцентричностью, медленным сползанием от солнечного блеска к загниванию. Загнивание

1. В 1939 г. Генри Миллер (1891–1980) ездил в Грецию повидаться со своим другом писателем Лоренсом Даррелом (1912–1990). В Афинах Даррелл познакомил его с писателем и блестящим рассказчиком Георгосом Кацимбалисом, жившим в Марусси, предместье Афин. "Колосс Маруссийский" впервые опубликован в 1941 г.

на солнце — вот что такое жизнь здесь. У меня есть время, но нет желания его использовать. Я недоволен всем, что делаю сейчас и делал раньше.

Ученики, учителя, школьная система — все действует мне на нервы. Греки изменили меня, теперь я подавлен, полон презрения, стал je-m'en-foutiste[1], ожесточенным и яростным, всегда готовым излить на другого свою злобу. Меня выводят из себя мелочи, ничтожные случаи. Единственное, что осталось во мне от пуританина, — это чувство времени, оно заняло место мыслей о нечистой совести. И то, что оно бездарно пролетает, мучает меня. Червяк в бутоне лотоса. <...>

На открытом воздухе прошла репетиция отрывков из пьес Мольера на французском языке. Все собрались посмотреть на это зрелище под звездами. Ученики, запинаясь, произносили французские слова. Мальчишки смеялись над одноклассниками, которые, нарядившись в платья, исполняли женские роли. Из-за тучного ученика, игравшего Аргана[2], репетиция прервалась на пару минут: он вышел в бархатном пурпурном костюме, остановился и молчал, густо покраснев и от смущения, и от злости. Постановка никуда не годилась. Школьникам — простительно, а вообще пьесам Мольера требуются профессионалы высшего класса.

Потом пел хор — марши, патриотические и школьные песни. Все песни на один лад. Докос, учитель музыки, с жаром дирижировал. Когда он резко соединял руки, его пиджак взмывал вверх, открывая на всеобщее обозрение засаленные сзади брюки. Все давились от смеха. "Il a de belles fesses"[3], — сказал я учителю физики. Лоснящийся зад то появлялся, то пропадал, гипнотизируя всех нас. Прозвучала соната Моцарта, потом что-то из Гайдна, "Plaisir d'Amour" на двух визгливых скрипках. Учитель богословия тихо что-то бубнил; он твердолобый византиец и, должно быть, недолюбливает Моцарта.

Я спросил Гларoса, понравился ли ему и его товарищам вечер. "Не знаю, — ответил он. — Мы спали". В нем есть привлекательная утонченность и изощренность соблазнителя — в тринадцать-то лет. Теперь я сажаю его рядом с собой за столом. По крайней мере, он бегло говорит по-английски. Озорной, очень красивый, глубоко презирает школу, из-за него я теперь всегда тороплюсь в столовую. Не могу сказать, что влюблен в него. Однако, если почему-то он не выходит к столу, я чувствую острое разочарование.

Странный, по-своему красивый сон. Как будто я живу за городом в некоем удивительном доме. Ближайшие соседи — в нескольких милях, там живет девушка, ждущая от меня известий. Я не могу ее навестить. Кто-то, какой-то старик — наверное, ее отец, — постоянно звонит, желая что-то сказать, но это касается не дочери, а чего-то другого, потому что, когда однажды надо мной пролетал самолет, он разрешил мне сказать (кому?), что в самолете мое письмо. Помнится, я направил бинокль в ту сторону, где жила девушка, и долго смотрел. Я увидел блондинку (Кайа[4]) в крас-

1. От *франц.* s'en foutre — плевать на...
2. Арган — персонаж пьесы Мольера "Мнимый больной".
3. У него красивые ягодицы (*франц.*).
4. Кайа Юл — молодая датчанка, с которой Фаулз познакомился во Франции; их отношения описаны во Второй части "Дневников".

ном плаще и резиновых сапогах, за ней шел мужчина, в котором я угадал соперника и почувствовал ревность и злость. Потом пришло известие, что девушка покончила с собой. Следующее, что помню: я сижу за столом, в комнату входит Дионисос, один из школьных официантов, и говорит: "Она написала стихи о тебе". В руках у него большой лист, на нем множество напечатанных строф. Неожиданно я ощущаю прилив радости. Не помню, чтобы я испытывал горе по поводу смерти девушки. Переданный Дионисосом лист бумаги становится в моих руках книгой. Странной книгой, полной сюрреалистических фотографий и всяких печатных трюков. Название — нелепая игра слов. Я его не помню, но автором значился А. К. в роли Графа. К моему величайшему сожалению, я увидел дату издания — 1916-й — печально улыбнулся, решив, что это шутка. Но когда стал читать книгу, то заметил, что она необычно напечатана: казалось, каждая ее страница покрыта тонким слоем кремовой краски, и тогда я понял, что книгу реставрировали. Некоторые страницы были черными — рисунки и печать невозможно различить под закрепляющими эмульсиями. На других же поверх старых чернилами были нанесены новые записи, а фотографии четко показывали, что 1916 год — неверная дата. На глаза мне попалась фотография девичьей головки поразительной красоты — классические черты, высокие скулы и большой выразительный рот. Девушка была похожа на Марлен Дитрих или, скорее — печальным выражением лица, — на Грету Гарбо. Проглядывало и что-то общее с Констанс Фаррер, но девушка была гораздо красивее; длинные волосы обрамляли ее лицо. На одной фотографии она радостно улыбалась. На другой, напротив, была очень грустной — смотрела куда-то вдаль, а над ней висел муляж черепа. Я увидел там и свою фотографию, на ней отсутствовал рот и вообще вся нижняя часть лица была плоской и невыразительной. Внизу — подпись, что-то вроде: "Садовник" или "Мой любимый садовник". Надо сказать, тема сада проходила сквозь всю эту книгу воспоминаний. Необычный фронтиспис — нарисовано окно, за стеклом широко улыбается бледное лицо. Поверх окна крупными буквами написано: PAPADOPOULOS, A MOI LA REVANCHE![1]. (Интерполяция — посредством Дионисоса — в основной сюжет сна?)

Самым интересным для меня в этом сне было лицо девушки. Я сразу же ее узнал, и меня охватила нежная, романтическая грусть при мысли, что она умерла. Когда я проснулся, мне показалось, что я хорошо ее знал. Но где? Очевидно, что не в жизни (если это не К. Ф. и Брейфилд). Может, она пришла из другого сна? Я потом еще видел ее в снах, но содержания их не запомнил.

10 июня

Летний школьный праздник "В кругу семьи" — на три дня родители превратили остров в ад. Бесконечные рукопожатия, лицемерие, интриги, обжорство. Всей школой мы спускались к пристани, чтобы приветствовать прибытие "Нереиды" — парохода, на котором плыл Комитет[2] и основная масса гордых родителей. На пристани мальчиков, одетых в белые костюмы, выстроили в два ряда, меж ними, подобно новобрачным, проходили гости. Наиболее почтительные учителя — по сути, весь

1. Пападопулос, я отыгрался! (*франц.*)
2. Школьный совет управляющих.

греческий личный состав — окружили важных персон; обычная восточная возня за право пожать руку человеку, занимающему более высокое положение. Множество льстивых улыбок и притворной веселости. Напыщенность греческих высокопоставленных чиновников и низкопоклонство подчиненных отвратительны. Это приводит меня в ярость, и я становлюсь мрачным.

Долгий уик-энд, полный всяческих церемоний, богато одетых некрасивых женщин и тучных мужчин в серых костюмах. Все родители одинаковы — буржуа, нувориши; говорить с ними невозможно. Исключения все же есть: отец Везироглу, обворожительный доктор с усами как у моржа, от него веет мудростью и добродушием. Еще один замечательный пожилой человек, у него юный сын, и нельзя не заметить, как нежно они любят друг друга, как поглощены общением; отец задумчив и молчалив, да и сын тоже говорит мало, их переполняют эмоции и чувство радости. Но остальные довольно мерзкие. Никогда еще Мольер и Моцарт не метали бисер перед таким количеством свиней.

Устроили спортивные соревнования, стадион был набит до отказа. Когда поднимали греческий флаг, все встали. Но тут что-то треснуло, и к всеобщему ужасу и моему восторгу флаг рухнул на землю. Члены Комитета — мы сидели в королевской ложе — были в ярости, ученики оцепенели от страха, директор чуть не плакал. Быстренько принесли еще один флаг и прикрепили к мачте. Я сожалел, что флаг не достиг самого верха. Он был огромен, а мачта хлипкая и тонкая, как розга. Думаю, тогда зрелище было бы еще веселее. Все пошло обычным порядком, но атлетические соревнования прервали в середине: приехал заместитель премьер-министра, Венизелос. Все приостановилось, смешалось, оркестр заиграл до нелепости слащавый приветственный марш. Великий человек, пяти футов росту, пересек поле, словно диктатор на отдыхе, за ним толпой следовали разные знаменитости. Краснолицый, белобрысый коротышка не скупясь махал всем рукой политика, расточал вежливые улыбки политика и демонстрировал грубовато-добродушные манеры политика. Даже четырехлетний карапуз мог бы догадаться, что популярность этого дяди раздута, что он всего лишь марионетка, ничтожество. Послышались вежливые аплодисменты, один или два энтузиаста что-то выкрикнули. Все презирают Венизелоса. Известно, что он держится только за счет заслуг отца[1] и крупных капиталистов, чьи интересы он защищает. И как все же характерно, что греки его терпят, называют "великим", несмотря на очевидную заурядность. Он вознесся, и его чтут. Ни один человек в Греции не добился большего.

Мы с Шарроксом в этот вечер лицезрели писателя Кацимбалиса. Это его Генри Миллер назвал Колоссом в "Колоссе Маруссийском", плохой книге, как мне теперь кажется, в чем я убедился, увидев воочию Кацимбалиса. В нем легко заподозрить обманщика и прирожденного болтуна, у которого одна забота — произвести впечатление на окружающих. Дородный, крепкий мужчина лет примерно шестидесяти, седая шевелюра, брюки цвета хаки и трость. Что-то армейское есть в его облике, наиг-

1. Софокл Венизелос (1894–1964) — лидер Либеральной партии, разделившей власть с Национально-прогрессивным союзом. Его отец, Элефтериос Венизелос (1864–1936), бывший премьер-министром в 1910–1915, 1917–1920, 1924, 1928–1932 и 1933 гг., — самый влиятельный греческий политик первой половины XX в.

ранная веселость. Его портрет в книге Миллера, похоже, так же точен, как описание Пороса.

Кацимбалис находился в обществе семейства Тэтем, директора Британского Совета в Афинах и его жены. Муж — высокий, весь во власти условностей, типичный англичанин; из тех, про кого понятно еще до того, как они сами об этом скажут, что они преподавали в Итоне. Жена — великанша с лошадиным лицом, из среды крупной буржуазии. Жеманная, неглупая, пьющая джин женщина, явно презирающая мужа. Он курит трубку — старший офицер, который снизошел до общения с подчиненными. Не могу сказать, чтобы он мне решительно не нравился; ему повезло, что у него такая противная жена — по контрасту с ней он смотрится неплохо. Это особы, помешанные на карьере, снобы, коллекционирующие знаменитостей, однако они очень влиятельные люди, и потому я предал себя, став пай-мальчиком и энергичным спортсменом. Похоже, литература их не интересует.

Наша пьеса (в основном моя) имела (как мне кажется) успех. В амфитеатре было много народу, тысячи две или около того, над шутками смеялись. Думаю, результат стоил наших мук. После спектакля обычные горячие, неискренние поздравления. А во время представления за кулисами сплошные волнения. В "Сне в летнюю ночь" были заняты двадцать греческих мальчиков, а с ними не очень-то поспишь! Вся эта необычная труппа вечно торчала за кулисами. Постоянный страх провала и борьба — чтобы его избежать. <...>

Светоний о Нероне, самом удавшемся злодее в его галерее. Он встал на сторону зла по собственному выбору — логическому, — в то время как другие поступали так по традиции или по собственной слабости. Чувствуется, что Нерон мог бы с тем же успехом стать хорошим человеком — во всяком случае, выдающимся артистом и мыслителем, вроде Ницше или Камю. Во многом виновато его положение. Как личность Нерон мог бы проявить себя иначе, но он понимал, что логическим концом абсолютной власти неизбежно является абсолютное зло.

Его слова: "Ни один правитель еще не знал, какой властью он на самом деле обладает". Страница, на которой описана смерть Нерона, — великолепный образец исторического сочинения, живой, обстоятельный. Его предсмертные слова: "Какой великий артист погибает!" — отражают сущность абсолютной власти. Вот где была его игра. А замечание по поводу завершения баснословно дорогого Золотого дома[1]: "Наконец-то я буду жить по-человечески".

Наше отношение к прошлому. Нерон привлекает меня своей исключительной жестокостью, уникальной сардонической чернотой. Нельзя сочувствовать веку, в котором он был тираном. Слишком далеко отстоит тот во времени. В прошлом предпочитают видеть разнообразие, яркость и жестокость. Любить историю означает любить страдания своих сородичей. Любить беспристрастность суждений, отстраненность удовольствия. Историк — садист. Если мы говорим, что сочувствуем прошлому, то только по традиции. Логически нет никакого смысла жалеть fait accompli[2] и что невозможно исправить. Каким бы варварским ни

1. Так называли дворец, построенный Нероном для себя после большого пожара, во время которого сгорела половина Рима (64 г. н. э.).
2. То, что уже свершилось (*франц.*).

было прошлое, оно стало истиной, а истина неприкосновенна, неизменяема. <...>

На днях я поймал маленького осьминога. В маске все кажется крупнее, чем есть на самом деле, и он тоже выглядел довольно большим. Я ударил его острием палки, но он уполз под камень, который мне после долгих усилий удалось перевернуть. Несколько деревенских мальчишек с испугом и восхищением следили с берега за моей титанической борьбой. Они явно ждали чего-то необыкновенного. Когда я вышел на берег с малышом осьминогом, извивающимся на конце палки, и бросил его на камни, чтобы добили, они не могли скрыть своего презрения. Один, самый маленький, поднял осьминога и сказал примерно следующее: "А почему вы не вытащили его просто рукой?"

Осьминог был не больше фута длиной. На следующий день я видел еще одного осьминога — меньше уже быть, наверное, не может. Но я все равно не сумел себя заставить взять эту кроху в руки. В облике осьминога, в этой текучей, колышущейся массе, даже если она миниатюрна, есть что-то ужасное.

21 июня

Конец близок. Семестр заканчивается через три дня. Младшие школьники уезжают завтра. Предчувствия грядущих перемен, планы, прощания, чувства как ностальгические, так и прямо противоположные.

Последние недели солнце отчаянно палит, оно повсюду. Весь день дует жаркий восточный ветер, звенят tzitzikia, греческие цикады; они живут на каждой пихте, на каждой ее ветви. Провожу долгие часы в море, плаваю среди рыб. В столовой всегда рядом Гларос, между нами установились особые отношения — вроде идеального (платонического) брака. Его ясные темно-карие глаза с ослепительными белками иногда встречаются с моими. Я заглядываю под его ресницы, мы читаем мысли друг друга. Думаю, он догадывается о моих чувствах, хотя я избегаю физического контакта с ним. Я получаю все большее удовольствие, когда вхожу в помещение, где живут младшие школьники; мне нравится ходить среди них, быть рядом, смеяться над ними и вместе с ними. Все они загорели и стали как маленькие мавры; раскованные, эгоцентричные, полные энергии — никаких розовых щечек и льстивых речей. Нежные, грациозные линии тел — уже на грани половой зрелости. Не вижу ничего предосудительного в моем восхищении и в том, что я позволяю его себе. Можно находиться между пороком и страхом перед ним, жить на краю дозволенного. Ученики восьмого класса, нынешние выпускники, приводят меня в восторг. Они тискают хорошеньких мальчиков из младших классов и нежно им улыбаются. Внезапное осознание преимуществ убежища.

Пытаюсь шантажировать Комитет — прошу дать мне расчет, хотя и мучаюсь мыслью: не убиваю ли я курицу, несущую золотые яйца. В конце концов, на здешнее существование грех жаловаться — все время светит солнце, нагрузка в среднем два часа в день — и это за $ 520 в год. Нет нужды иметь идеалы, чувство ответственности, не надо волноваться, что избрал второсортную métier[1], ведь на Спеце трудно всерьез считать себя учителем.

1. Профессия (*франц.*).

Вечером сижу у моря на террасе таверны "У Георгоса" и смотрю, как солнце опускается за кипарисы и белые домики, ветер стихает, море успокаивается, горы Арголиса постепенно синеют и наконец становятся бархатисто-черными, а над ними загораются звезды. И в этой тишине, жуя оливки и прислушиваясь к разговору рыбаков за соседним столиком, я понимаю, что живу, живет мое тело.

На Спеце я сформировался как мужчина; руки мои стали бронзового цвета, прорезался хороший аппетит, я почувствовал себя сильным, способным плавать, нырять, бегать, ходить под солнцем, жить среди скал, сосен и солнечного света. Возможно, это всего лишь кожная эйфория. Но начинать надо с элементарного.

22 июня

Сегодня все ученики младших классов уехали в Афины — в школе тихо и пустынно, пустота и в наших душах. Здания кажутся руинами, где никто больше не живет, памятниками прошлому. Отсутствие детских криков, беготни, звонков, смеха пронзает сердце. В таких зданиях особенно быстро воцаряется тишина: белые комнаты, коридоры с каменными полами, море и оливковые деревья со стрекочущими цикадами. Атмосфера печальная и безжизненная, несмотря на зной и солнце.

Сегодня вечером ко мне заглянул Стамматояннис из восьмого класса, лучший ученик по английскому языку. Он рассказал, что происходило на пристани, когда отплывали младшие школьники. Восьмой класс в полном составе явился их проводить. Слезы лились рекой. Ипсиланти, всеобщий любимец, рыдал взахлеб и не хотел уезжать. Он целовал Адрианидеса, друга из восьмого класса. Были и другие рвущие душу сцены расставания. Восьмиклассники плакали, понимая, что больше не увидят своих маленьких друзей. Некоторые, не в силах выдержать такое напряжение, покидали пристань. Третьеклассники заливались слезами, особенно самые популярные из них — Гларос, Седуксис, Ипсиланти, Кириаколис, Рапас, Афанассиадес, любимцы школы. С. дотошно пересказал мне все подробности, в этом было много комичного. Последние, пронизанные печалью дни, казалось, символизировали отношения между младшими и старшими. Грусть, похоже, коснулась даже самых бесчувственных восьмиклассников.

С. много говорил о гомосексуализме. Он убеждал меня, что любовь восьмиклассников к младшим ученикам действительно платоническая, чистая. Чушь, конечно, но я верю, что они сами именно так и думают. У греков удивительно развита способность к самообману, они его даже не замечают. По словам С., в школе, однако, процветает гомосексуализм, директор пансиона Кессес знает об этом и только пожимает плечами. Мне известно, что об одном случае директору докладывали две недели назад, но он постарался дело замять. Двое юнцов, замешанных в неприятной истории, продолжали спать в одной спальне. У некоторых учеников младших классов была репутация проституток, и старшеклассники между собой называли корпус, где они жили, борделем.

В прошлом году преподаватель английского языка приглашал учеников в свою комнату для языковой практики и там их ласкал. Бобес, бывший директором два года назад, имел забавную привычку зазывать в свой кабинет красивеньких мальчиков, спрашивать, хорошо ли они помыли ноги, заставлял — под предлогом проверки — снять брюки и

(тут история, вне всякого сомнения, превращается в легенду) после этого начинал их вылизывать. С. забавлял тот факт, что ученики за версту чуют в преподавателе гомика и умело это используют. Мы разговаривали в темноте: С. — чтобы, рассказывая о расставании, подавить возникающую при этом боль, а я — потому что любил послушать скандальные школьные истории. <...>

Мне грустно покидать Спеце. Я привык к своей незамысловатой жизни — ежедневному плаванию, солнцу, послеобеденному сну. Приятно знать, что я еще вернусь сюда. Я с удовольствием обсудил круг своих обязанностей на следующий год с заместителем директора, думал о будущем, об учениках, еще об одном спокойном годе.

Я покинул Спеце вместе с Шарроксом. Мы сели на утренний пароход — серое море, прохладный воздух и тяжелые головы, — проводили взглядами отступающий остров, потом спустились в каюту и спали до самого Пирея. <...>

Восхождение на Парнас. Частично решение было принято под влиянием тепличной атмосферы роскошного отеля в Дельфах — все удобства цивилизации, — частично носило символический характер. Мне хотелось подняться на Парнас, гору поэтов, победить ее физически, что уже было бы символично. Лучшей точкой для начала восхождения представлялось местечко Арахова, куда я уже на следующий день с утра пораньше отправился автобусом. На автобусной остановке были еще англичане — немногословные, остроумные, они обсуждали счет. После вульгарных американцев с сибаритскими замашками, на которых я нагляделся в отеле, поведение англичан было как глоток свежего воздуха, они показались мне удивительно славными. Неожиданный слабый прилив любви к родине. Прибыв в Арахову, я нашел небольшую гостиницу и объяснил, чего хочу. Хозяева подтвердили то, что говорили другие: мне нужны гид и осел. Наверху есть пристанище, но оно высоко, и там холодно. Сын хозяйки пришел мне на помощь. Он говорил на ужасающем французском, почти таком же плохом, как мой греческий. Я сказал, что хотел бы поесть. Бледному застенчивому юноше было лет пятнадцать-шестнадцать, и, как я понял, он считал себя на голову выше остальных деревенских жителей. Помощник он был никудышный.

— Мне хочется шоколада, — сказал я.

Юноша нашел магазин, где продавались крохотные шоколадки.

— Мне нужны большие, — сказал я.

— Таких нет, — ответил он и посмотрел на меня с легким недовольством.

Но уже в соседнем магазине лежали большие плитки. То же самое повторилось и с яйцами. Я сказал, что хочу яйца вкрутую. "Oeufs durs" он не понимал, а я не знал, как будет по-гречески "варить", не говоря уж о "кипятить". Мы зашли в две таверны — там нас приняли без особого удовольствия и сказали, что яиц у них нет. Юноша был очень удручен.

— Яиц нет, — сказал он.

Меня это стало раздражать.

— Бог мой, ну должен же кто-нибудь продавать яйца!

— Никто не продает.

— Послушай, все, что мне нужно, — это три или четыре яйца, и пусть кто-нибудь их сварит.

— Нет. Их никто не сварит. On ne peut pas. On ne peut pas[1].

Юноша смущенно уставился в землю, не понимая моей настойчивости. И он победил. Я удовольствовался булочкой, сыром и шоколадкой.

Затем мы отправились за ключом от хижины на горе; по мощеному переулку пришли к дому, где в темной комнате с зарешеченным окном за ткацким станком работала женщина. Она к нам вышла. Ключ был у ее отца, а он ушел. "А когда придет?" Женщина, пожав плечами, предположила, что через час, но в голосе не было уверенности. Сверху высунулась ее мать, она хотела знать, в чем дело. Из окна соседнего, увитого виноградом дома выглянула женщина с ребенком. Девушка с ведром остановилась и слушала. Греческие нудные переговоры продолжались.

— Ничего хорошего, — сказал юноша, выдерживая свой стиль пессимиста. — Вам нельзя идти. On ne peut pas.

Оставив его слова без внимания, я заговорил по-гречески. Как я понял, требовалось письмо из туристической конторы.

— Это необязательно, — сказал я.

Переговоры возобновились. Мне предложили пуститься в путь завтра.

— Нужен проводник. Дорогу хоть знаете?

— Знаю. — Я назвал расположенное над Араховой летнее селение. Это было ошибкой. Дорога пролегала не там.

— Dexia, — сказала женщина. — Ochi Kalyvia.

— Ne, ne, xero — dexia[2].

Мои слова их немного успокоили.

— Я должен идти сегодня утром, — настаивал я.

— Он не знает дорогу, — сказала молодая женщина и прибавила, обращаясь к юноше: — Ты должен его проводить.

Юноша дал задний ход.

— Нет, нет... только не сегодня... then boro[3]. — Он прямо зациклился на этих своих "нет".

Пожилая женщина перешла к главному:

— За ключ вам придется заплатить десять тысяч.

— Понимаю, — сказал я и полез в карман. Атмосфера заметно потеплела. Стало ясно, что перед ними простофиля.

— Хорошо, — согласилась пожилая женщина. — Завтра. Принеси ключ.

Молодая женщина вернулась с двумя ключами и дверной ручкой. Я подумал, что хижина нечто вроде Опасной Часовни — до нее не только трудно добраться, но и войти непросто.

Однако приготовления закончены. Я расстался с юношей и пустился в путь — вверх по виноградникам, посаженным вдоль глубокой и широкой Дельфской долины, к Левадийскому плоскогорью. На первоначальные трудности я смотрел как на естественные препятствия, без которых не вырваться из безликой толпы, — важный этап в развитии молодого писателя.

Сильно пекло. Ветра не было. Вскоре тропа, по которой я шел, заметно сузилась, и я перебрался на идущую наискось, мимо церкви и вы-

1. Невозможно. Невозможно (*франц.*).
2. — Направо... Там нет жилья.
— Да, да, я знаю — направо (*греч.*).
3. Я не могу (*греч.*).

сохшего источника, широкую дорогу. Вид высохшего источника заставил меня подумать о воде и о том, что я совершенно не знаю пути. Единственное, на что я мог рассчитывать, это страница из путеводителя Бедекера, там несколько туманных строк посвящалось этому восхождению. Женщина говорила, что путь трудный. Я представлял возможные опасности: жажда, падение в пропасть. Бандиты из коммунистов, даже сверхъестественное — как вариант — не упустил. Но несмотря ни на что я был счастлив. Мимо спускалось много людей из летнего селения в Арахову. "Yassou"[1], — говорили они. "Yassou", — отвечал я.

Один засмеялся: "Na[2], англичанин взбирается на Парнас".

— Я иду правильной дорогой? — спросил я.

Они кивнули и указали на скалы наверху. Я продолжил путь и, как впоследствии выяснилось, пропустил тропинку, ведущую к хижине. Я шел все по той же широкой тропе, постепенно набирая высоту. Напротив простиралось еще одно плато с участками вспаханной рыжей земли и ярко-зелеными полями. Внизу, далеко внизу, множество олив. Наконец дорога обогнула небольшую скалу и резко пошла вверх, к перевалу, позволяющему выйти на плоскогорье. Дул прохладный ветер. Плоскогорье лежало ниже меня: две-три мили зеленеющих полей и в дальнем конце компактная группа из каменных домов. На западе и севере поросшие пихтой склоны. У гор был северный вид, они высились темной стеной. На востоке тоже пихтовые леса; крутые серые склоны по мере подъема становились все более голыми, деревья попадались реже, а потом и совсем исчезли; а над всем этим в форме дуги вздымалась гора, к которой я шел, — грандиозная, изогнутая, затянутая облаками. Я спустился по каменистой тропе на плато и там увидел растущую из расщелин в камнях гвоздику и горную петрушку. Каменки распускали, красуясь, свои хвосты. Надо было идти к деревне: на плато никого не было, а я не знал, по какой тропе следовало свернуть налево. Стая серых ворон — зловещих, хищных птиц — подозрительно поглядывала на меня из-за груды камней. Дойдя до деревни, я направился к двум мужчинам, стоявшим на приличном расстоянии от пашни. Большинство домов выглядело необитаемыми, обветшалыми. Мужчины не могли скрыть любопытство, но помогли: двое подошедших юношей показали мне тропу, вившуюся высоко в хвойном лесу, и я продолжил восхождение, идя на звук пастушьих колокольчиков.

Я вышел на пастуха — загорелого, доброжелательного человека, расположившегося с семейством (жена и трое сыновей) под ветвистой пихтой. Он объяснил мне, как идти дальше, пригласил пообедать с ними — помидорами, огурцами, йогуртом, козьим молоком. Все это он подробно перечислил, радуясь, что может угостить странника, и чуть ли не умолял меня присоединиться к трапезе. Так я впервые познал удивительное гостеприимство парнасских пастухов. Они были почти мифически добры. На поверхности молока я заметил частички навоза и попросил стакан воды. Они смотрели, как я пью, и улыбались. Я оглядел их временное пристанище из камней и пихтовых веток; вместо крыши — натянутая ткань. Внутри несколько ковриков, одеяла, много закоптелых горшков и сковородок. Выше пастухи живут в крошечных, но

1. Привет (*греч.*).
2. Вот, посмотрите (*греч.*).

сложенных целиком из камня домиках, которые прячутся под нависшими над ними утесами; рядом, за каменной оградой, загон для овец. Но внутри та же цыганская простота — самодельные коврики, одеяла из овечьих шкур, несколько сковородок, кастрюли. И так они живут все лето.

Тропа круто вилась вверх по пихтовому лесу — казалось, ей нет конца. Вокруг было много птиц — синичек, корольков — и бабочек. Как будто снова вернулась весна. Пролетел черный дрозд. Наконец я вышел на каменистое неровное плато у западной вершины. Холодный ветер дул откуда-то из облаков, по-прежнему окутывавших горы. Тут тропа разветвлялась. Я колебался, замедлил ход и впервые почувствовал себя неуверенно. Тогда я еще не догадывался, что пастухи живут и на такой высоте. Было холодно, облака угрожающе потемнели, видимый склон горы отливал серым цветом — холодным, зловещим. Ничего похожего на Грецию. Выбрав одну из троп, я пошел по ней дальше — к долине.

Вдруг я увидел, что за соснами клубится дымок, и воспрял духом. Услышав вдалеке звон колокольчиков, я быстро спустился по склону долины. Противоположный склон был крутой, каменистый, заваленный упавшими деревьями. Костер я нашел, но вокруг не было никаких других признаков жизни — только тлеющие ветки, коврик из ползучих искр. Я огляделся и, думаю, не удивился бы, увидев, что меня окружили краснокожие индейцы или, по меньшей мере, бандиты. Но тут вновь выше меня, в лесу, послышался слабый звон колокольчиков. Я заторопился наверх, обливаясь потом и испытывая нестерпимую жажду. Колокольчики звенели все громче, и вот на открытом месте появились овцы. Уже через минуту я был в пастушеском лагере. Меня принял глава семьи — суровый на вид, но обходительный. Ему хотелось знать обо мне все. К нам присоединились двое юношей и мужчина. Хижину им заменял простой щит от ветра. Я видел их ложе: прямо на земле валялось несколько ковриков, шкуры и теплые пальто. Они преподнесли мне флягу, полную воды. Я подарил им сигареты. Похоже, все пастухи здесь без ума от сигарет. Старик предложил мне прилечь отдохнуть, поесть с ними. Но я спросил, как добраться до kataphygeion — хижины. Один из юношей вызвался проводить меня. Он взял свой пастуший посох, плащ и повел меня в гору. Юноша шел привычной для него пружинящей походкой, широко шагая с камня на камень и сохраняя равновесие с помощью посоха. Со стороны это казалось просто, но я все время отставал. Время от времени он останавливался и задавал мне вопросы; иногда подбирал гильзы, валявшиеся здесь со времен гражданской войны, говорил о коммунистах. Я понял, что юноша против них и что он потрясен тем, сколько потребовалось времени и людей, чтобы освободить от них Парнас. Мы выбрались из леса, миновали несколько небольших долин, двигаясь к маячащей впереди вершине. Я спросил, как далеко до центрального пика. Два часа ходьбы, ответил юноша, два с половиной. Путь долгий и трудный. Он пытался объяснить, как туда дойти, но я не понимал многих слов и только еще больше запутался. Мы прошли мимо глубокой и узкой расселины. По словам юноши, на дне лежит снег; он шагнул к краю и бросил камень в зияющую пустоту. Камень два-три раза ударился об отвесные стены, а потом воцарилась странная тишина, бесконечная, как будто у пропасти не было дна. Я так и остался при этом убеждении.

Еще несколько минут — и мы у хижины, почти невидимой издали. Небольшой приземистый домик с круглой крышей, трубой, без окон, словно молельня строгой секты. В ржавой железной двери зазубренные пулевые отверстия. "Communista kaput", — сказал пастух. Я попытался отпереть дверь ключом — она не поддавалась. Тогда пастух попросту выбил ее ногой — ключ не пригодился. Внутри — лежанки, матрасы, печка, лампы, пила, даже пара лыж. Меня приятно удивило, даже поразило, что греки смогли устроить такой пристойный приют. Я немного поговорил с пастухом; страшно хотелось есть, но не было желания делиться. Наконец, выкурив три сигареты, он ушел. Осмотрев запасы, я принялся за еду — съел треть сыра, треть булки, плитку шоколада. Было около трех часов. Я раздумывал, стоит ли сейчас штурмовать вершину или подождать до утра. И пришел к компромиссу: сегодня пойду на разведку, намечу путь, а восхождение отложу на завтра.

Надев лыжную куртку, я вышел из хижины; дул холодный, резкий, неожиданно сильный ветер. Я стал взбираться по каменистому склону прямо к нависшим облакам. Крутой и изнурительный подъем. Каждые несколько минут приходилось отдыхать. Цветов становилось все больше — колокольчики, мелкая розовато-лиловая горечавка и еще неизвестные, нежные, насыщенного ярко-красного цвета. Попадалась заячья капуста, лихнис, цветущая камнеломка, торчавшая из торфяных щелей. Неожиданно сверху донесся — совершенно невероятный на такой высоте — звон пастушьих колокольчиков. На фоне неба, почти из облаков, выросла фигура с посохом, в туго перепоясанной шинели. Пастух тоже шел вверх, иногда останавливался и смотрел на меня сверху вниз. В просвете между проносящимися облаками я видел высоко над собой его коз. Я продолжал идти; каждый шаг давался все труднее. Но лучше одолеть этот каменистый склон сейчас, решил я, и не повторять подъем завтра. Так легче. И вот я достиг высшей точки крутого склона; ветер с бешеной силой налетел на меня — от него перехватывало дыхание, обдавало ледяным холодом, я еле удерживался на ногах. Однако внизу, к моему величайшему изумлению, лежала широкая котловина, из которой полого вырастали две остроконечные вершины, за седловиной высились еще какие-то пики. Справа я видел места névés[1], снег ослепительно сверкал на скалах и каменистом склоне. Внизу, в котловине, местами зеленела трава; в одном углу разбил лагерь пастух. Я оказался в раю верхнего Парнаса.

Эта огромная котловина в окружении горных пиков — совершенно особый мир, с низинами, поросшими сочной травой и цветами, с пастушьими стоянками. Горное убежище. За то время, что я добирался до седловины, небо расчистилось и мир стал прекрасен. Я почувствовал себя свободным, здоровым — ни малейших признаков усталости. По камням я пробирался со скоростью пастухов, получая удовольствие от необходимости постоянно принимать мгновенные решения и проявлять чудеса ловкости. Взобравшись на седловину, я увидел сразу несколько пиков. Проблема заключалась в том, чтобы определить, какой из них Ликерий[2], самая высокая точка Парнаса. Все казались примерно одной вы-

1. Обледеневшие (*франц.*).
2. У горы Парнас две вершины: Ликерий (Волчья гора) — 2457 м и Геронтоврахос (Гора Старика) — 2380 м.

соты, хотя самый дальний, по другую сторону огромной котловины, был вроде бы выше остальных. Я видел двух пастухов, но они были очень далеко от меня, слишком далеко, чтобы идти и спрашивать. Я был готов пойти на компромисс: можно взобраться на один из ближайших пиков, сочтя его самым высоким, — все равно я уже на Парнасе. Солнце клонилось к закату. Я спустился и вновь поднялся на другую седловину. Горные вороны кружили над головой; цветы были повсюду — горные астры, золотисто-желтые, похожие на маргаритки цветы и множество ярко-розовых гераней. Когда я оказался на седловине, невидимый до того пик-великан обрисовался четко. Правильная форма, округлая вершина; но расположен слишком далеко, чтобы успеть подняться на него до темноты, — так, во всяком случае, мне подумалось. Почувствовав разочарование, я попытался солгать самому себе. Можно сочинить историю о том, как я забрался на вершину, полагая, что именно она и есть высочайший пик Парнаса. Ближайший пик был с южной стороны, туда я и решил направить свои стопы. За ним находилась еще одна котловина, богатая растительностью, там паслась большая отара и стоял пастуший лагерь.

Почти все облака разошлись, и вид с вершины пика был превосходный. Но в миле к востоку все тот же непокоренный, округлый купол вздымался надо мной, по-прежнему дразня и мучая. Я сел рядом с пирамидкой, сложенной из камней, и съел немного шоколаду. Закатное солнце подчеркивало все контуры, темно-синие тени, фиолетовые холмы внизу — в долинах и на равнинах. Вдалеке виднелось голубое море. Мною овладела усталость, я испытывал удовлетворение, но не совсем полное. Я вновь посмотрел в бинокль на Ликерий, невольно припомнив тот символический смысл, какой придавал его покорению.

И вдруг, почти бессознательно, я направился к Ликерию, несмотря на поздний час и сильную усталость. Прежняя решимость вдруг ожила во мне и заставила идти. Я почти бежал вниз по склону к подножью Ликерия и стал взбираться на пик с немыслимой скоростью. Но подъем был слишком крутой — не взбежишь. Я замедлял шаг, останавливался отдохнуть, смотрел на мир у моих ног. Ближе к вершине наткнулся на цветущие фиалки, крупные пурпурные цветы — изумительное зрелище; неподалеку цвела золотистая камнеломка. Вспугнул двух глухарей и коричневых куропаток, с шумом вспорхнувших с земли. Дальний склон Ликерия обрывистый — просто огромная пропасть. В состоянии нарастающей экзальтации я, сделав зигзаг, ступил наконец на ровную плоскость, на которой тоже была выложена каменная пирамидка. Чувство победного ликования, полного удовлетворения охватило меня — наслаждение чуть ли не на молекулярном уровне. Солнце еще не опустилось за горизонт. На расстоянии двадцати миль ни одного облачка, небо чистого и ясного синего цвета; и пьянящее ощущение, что, высоко вознесенный над миром, ты теперь вдали от всего — от городов, обществ, тревог, верований, времен, — ты центральная точка во Вселенной, ведь ты решился, достиг цели и теперь пожинаешь плоды. Природный монастырь духа.

Вокруг были другие горы, долины, равнины, моря, но у меня не было никакого желания знать их названия — достаточно просто сознавать, что их великое множество. Горные стрижи рассекали воздух, падали

вниз, в пропасть, или проносились на сумеречный восток. По позолоченным вершинам тянулись длинные тени.

Кто-то написал на прекрасном классическом греческом языке слово φως – свет, выложил его камнями рядом с пирамидой. Даже я загорелся и решил оставить письменное свидетельство. На листе бумаги написал: "Джон Фаулз, 4 июля 1952; вечернее небо ясное, видимость прекрасная, на южном склоне цветут фиалки. Я один, с горными стрижами и Музами". Лист засунул в жестяную банку и поставил ее в середину пирамиды. Становилось холоднее, солнце садилось. А я все стоял, очарованный высотой, вознесенностью над землей, мирской суетой, стоял, наслаждаясь грандиозным, божественным одиночеством.

Это был один из тех моментов, ради которых стоит жить. Они – вознаграждение за месяцы, проведенные в пустыне, за годы пребывания в темноте. Вырваться из времени, раствориться в природе, почувствовать, что ты по-настоящему существуешь, богоподобный настолько, насколько это способен вообразить смертный.

Такие приключения надо переживать в одиночестве. В обществе других людей они теряют ценность. Нужно одному преодолеть все испытания – усталость, путь по незнакомой местности, тишину. Все это, в конечном счете, и станет частью победы. Никаких проводников, никаких карт. Только ты.

Я спустился по крутому склону. Ниже меня, возвращаясь в загон, двигалась отара. Вскоре я увидел девушку пятнадцати-шестнадцати лет с бронзовым от загара лицом и хитрющими, слегка кокетливыми глазками, она шла в мою сторону. На ней было старое коричневое пальто, на голове коричневый платок, и все же эта одежда не могла скрыть ее красоты. На лице девушки играла озорная улыбка, я ее явно забавлял. Нас разделяли 20 или 30 метров. В чистом, четком голосе звучали властные нотки – это присуще людям, подолгу живущим в одиночестве; многого в ее речи я не понимал. Однако уловил легкое презрение ко мне. Ведь она постоянно живет в тени Парнаса, и подняться на пик, с которого я только что спустился, для нее пара пустяков – час, не больше, поэтому моя гордость в ее глазах смехотворна. Меня заставили почувствовать, что я чужой на этом высоком этаже мира. Мне же казалось невероятным, что такая хрупкая девушка может существовать в столь уединенном месте. Отара из двухсот овец, медленно пощипывая траву, направлялась к лагерю. Мы заговорили о волках. Похоже, я вызвал ее восхищение, сказав, что собираюсь вернуться в хижину. "Это далеко, – предупредила она. – Придется идти в темноте". Я ответил, что хорошо знаю дорогу, и показал направление. Часть пути мы двигались параллельно, но на некотором расстоянии друг от друга. Потом я простился с девушкой, она пошла к овцам, что-то тихо напевая, я смотрел ей вслед.

Назад я шагал быстро, несмотря на то, что сильно ныли ноги. Сумерки сгущались, ветер стал ледяным и колючим, воздух – морозным. Я прыгнул с камня на тропинку. Раздался щелчок, и ступню пронзила резкая боль. Я угодил в волчий капкан. Высвобождаясь из него, я провел несколько ужасных минут. К счастью, капкан был без зубцов и держал меня всего лишь за пятку. И все же потребовались немалые усилия, чтобы его разжать. Я продолжил путь, от напряжения пальцы на руках онемели, потом их охватила жгучая боль. Я прошел под большой скалой, впадина у ее подножья была заполнена водой и льдом. Высоко по скале про-

ходили ледяные прожилки, там же наверху вовсю, как разбушевавшееся море, шумел ветер. Я спустился к пастушьему лагерю, который прежде уже видел. Но стоило мне приблизиться, как ко мне бросились собаки, они рычали и свирепо лаяли. Три огромные собаки — черная, серая и белая. Я замахнулся на них палкой, и тут они набросились на меня. Одна вцепилась зубами в палку, другая примеривалась к спине. Я уже не сомневался, что быть мне искусанным, но в этот момент выбежал молодой пастух и отозвал их. Страшно хотелось пить. Пастух подвел меня к хижине, снаружи большой кусок спрессованного снега понемногу подтаивал в миске. Я жадно выпил эту воду из жестяной кружки. Вода была ледяная, очень вкусная. Я рассказал им о капкане. Они рассмеялись. Оказалось, его поставил молодой пастух. Да, волки здесь водятся, два или три. Пастух же, с которым я говорил на следующий день, сообщил, что их здесь много.

Я продолжил путь в темноте. Света луны и отблеска ушедшего дня хватало, чтобы ориентироваться на местности. Однако я часто спотыкался, падал, много раз останавливался и искал взглядом продолговатую серую постройку. Ветер свирепствовал, порывистый и холодный. Наконец я добрался до хижины. Со всех сторон слышался звон колокольчиков невидимой отары и лай собак. Навестить меня пришел пастух — молодой человек с серьезным лицом и низким голосом. На нем была теплая, толстая шинель. Он помог мне зажечь лампы, но они вскоре погасли, и я развел яркий огонь в печи, подбрасывая туда крупные поленья. Было очень холодно, и бушующее пламя согревало душу. Я сел на скамью и разговорился с пастухом. Его мучил конъюнктивит — немудрено, на таком ветру. Он часто выходил из хижины и пронзительным свистом подзывал овец. Пастух звал к себе, но у меня не было сил двигаться. И он ушел, растворившись в ночи под завывания ветра.

Странное, почти нереальное, обособленное существование — и это в 1952 году! Трудно вообразить склад ума пастуха, пасущего скот в горах, — его жизнь состоит из смены дня и ночи, пересчета голов, дойки, холодного света звезд, тишины, ледяного ветра, страха перед волками и ужасающего одиночества, словно он живет на другой планете.

Я сидел и смотрел на огонь, слишком уставший, чтобы есть. Страшно хотелось пить, но воды не было. Я запер дверь на засов, забрался в спальный мешок и заснул. За день я преодолел около пятнадцати миль — по неровным горным дорогам, карабкаясь на крутые каменистые склоны. Лето в Арахове я сменил на парнасскую весну. Посреди ночи я услышал шум борьбы и звук разрываемой плоти: волк, лиса или пастушья собака пытались кого-то задрать. Но у меня не было сил подняться и посмотреть, что происходит. Солнце стояло уже высоко, когда я окончательно проснулся, проспав более двенадцати часов.

Покинув хижину, я пустился в обратный путь мимо пастушьей trypa[1]. Два дочерна загорелых пастуха доили овец — по одной-две струи от каждой. Ведро набралось только после дойки двадцати или тридцати овец. Пастухи дали мне напиться и угостили жирным кислым сыром. Я съел его с видимым удовольствием и внутренним отвращением, залпом выпил кружку все еще теплого молока и распрощался с пастухами.

1. Лачуга (*греч.*).

Спуск занял много времени. Распухшие ноги болели, солнце пекло сильно. В хвойных лесах было много птиц и бабочек — сорокопуты с рыжими спинками, синицы, дрозды-дерябы, пестрые дятлы, разные виды рябчиков и тысячи бабочек репейниц. Я шел краем Левадийского плоскогорья, часто отдыхал, аппетита по-прежнему не было. Когда я добрался до спуска в Арахову, ноги у меня так разболелись, что я еле ковылял.

Но один Парнас я все же покорил, а если как следует постараюсь, может, покорю и другой[1].

Часть пятая

Элизабет

2 октября 1952

Снова в Греции. В последний момент — не в силах оторваться от горьковато-сладких воспоминаний — взял с собой этот дневник. Здесь же солнце и необычная жизнь постепенно сжигают память о прошлом. Очень трудно писать, в этой сказочной стране — как нигде — постоянно хочется бездельничать. <...>

6 октября

Сегодня дверь в мою комнату отворилась, и вошел длиннобородый священник в полном церковном облачении; перед собой он нес крест и зеленую ветку. Я встал, что-то бормоча. Резким движением он стряхнул на пол воду и поднес к моим губам крест. Я колебался, но крест поцеловал, не придумав никаких отговорок. Он окропил водой с ветки мою голову и удалился, приняв от меня как должное поклоны и *enchantés*[2]. Прелестный ритуал.

Это часть обряда очищения водой. Благословение на новый учебный год. Потом учителя сидели в общей комнате, ели ароматные пирожные, покрытые сахарной глазурью, и пили коньяк из больших бокалов. Грекам приходится отмечать каждый праздник. Своего рода компенсация за страх оказаться слишком традиционными. <...>

Впервые после возвращения отправился бродить по холмам. Обычные безлюдье и тишина — только каменистые склоны и пихты. Через какое-то время это однообразие стало меня угнетать, я почувствовал себя больным. Сел и задумался о будущем: девятимесячное пребывание на острове не дает мне шансов завести дом и семью. Я обречен на холостяцкое существование. На меня нахлынули воспоминания о Монике; яркие желто-зеленые иголки торчали гусеницами на пихтах. Повсюду росли цикламены, нежные, трепещущие на ветру, лишенные запаха, маленькие Моники. Горло перехватил спазм невероятной тоски по ней; это

1. "Здесь я имел в виду литературную славу, успех, — писал Фаулз в 1996 г. — Именно после этого восхождения я впервые поверил в себя как писателя. Надо ли говорить, что это было связано не с осознанием писательского мастерства, а с ощущением поворота в жизни. Тогда же я понял, что полюбил Грецию".
2. Зд.: знаки восхищения (*франц.*).

происходило все реже, но так же болезненно. Вокруг никого не было, будто я совсем один в мире, но именно это я и ощущал...

Гитара. Теперь я стал восхищенным владельцем одной из них, ее Евангелос купил для меня в Афинах. Я приобрел самоучитель игры на гитаре и уже узнал, насколько неуклюжие у меня пальцы и несовершенный слух. Не хочу сказать, что напрочь лишен музыкального слуха, просто я совсем невежественный в этих вопросах. Евангелос обещал меня научить. Первый урок при свете лампы в обшарпанной спальне его дома не был удачным. Он понятия не имеет, как надо учить, хотя сам играет превосходно. Мы просто слушали его игру. Придется учиться по книге.

14 октября

Педагокур — так называется школьный суд; пятеро учителей судят учеников. Микрокосм Греции. На судебное заседание допускаются все. Обвиняемые спорят до посинения, доказывая свою правоту, учителя наслаждаются ролью обвинителей. Правосудие исключительно южное: разбирается не столько конкретный случай, сколько прошлое ученика, сексуальная ориентация, влиятельность отца, характер ученика, его успеваемость и прочие не относящиеся к делу факторы. Думаю, любое правосудие этим грешит. Но в греческом — это особенно бросается в глаза. <...>

Сумеречные бабочки, их здесь много. Иногда они залетают в комнаты. Почему эти солнцелюбивые существа летят в тень? Сегодня, наблюдая за одной из них, я понял почему. Она кружила по комнате, зависая в воздухе над разными предметами, и как бы проводила инвентаризацию. Цветы — вот что она здесь искала. В такое время года цветы на острове растут в основном там, где можно найти влагу, на тенистых склонах и в долинах. Сколько поколений сменилось, пока они это усвоили? И бабочки, и люди. Я рассуждаю, как Дарвин. Особое очарование изучения природы заключается в попытке постичь отдаленные пути ее развития. Что сродни страсти к путешествиям. Tout comprendre[1]. На днях мне показалось, что я уловил особый крик, издаваемый белыми трясогузками после того, как они поймают мошку. Словно узнал новое слово в трудном языке.

Думаю, что стал поэтом случайно. В двадцать лет творческая энергия бурлила во мне и искала выхода, а поэзия — единственное, чем можно заниматься, ничего не зная о технике стихосложения, не читая специального руководства. Мне кажется, это было удачей. Теперь я художник широкого, а не узкого профиля; я чувствую себя жизнеспособным, чувствительным, полным всхожих семян, катализатором, водоразделом, человеком с многогранным интеллектом. Сейчас, в поэзии, я наивен в своей попытке достичь ясности.

11 ноября

Еду в Пирей встречать Роя Кристи и его жену. Их пароход пришел — необходимые формальности, приветствия, два дня на Афины, Акро-

1. Все понимать (*франц.*).

поль. Для меня они как новые игрушки: я наблюдал за их реакцией, проверял, чувствовал свое превосходство, был их гидом и переводчиком. Они вели себя как настоящие англичане, англичане за границей, – ели блюда местной кухни. Были еще наивнее, чем я мог предположить. Конечно же, мы пошли осматривать Парфенон. Они бродили вокруг довольно равнодушно. Рой сделал несколько чисто архитектурных замечаний и выглядел разочарованным, что не было оснований сделать их больше. Похоже, он не ощущал романтического, символического значения этого места, руин, теней прошлого, прекрасного расположения. Он дважды повторил: "Да, сюда стоило прийти". Странное замечание – как будто он опасался, что поход сюда будет напрасной тратой времени, и теперь удивлялся, что опасения не подтвердились.

Довольно равнодушно они отнеслись и к переезду на Спеце. Когда началось самое интересное, они погрузились в сон; в салоне сидели, повернувшись спиной к красивейшим островам. Приятное разнообразие после Англии – похоже, это все, о чем они думали. Если Рой так прозаически относится к жизни, как может он быть писателем? Ему не хватает артистизма и быстрой реакции; он, как и Денис Шаррокс, почти равнодушен к природе, к естественному окружению. Он впервые увидел Порос, впервые увидел гибискус, но они не поразили его, не подарили ощущения чуда. Восторженность не по его части. Элизабет в этом похожа на мужа. Она высокая, сутулая, в ней есть что-то от поджарой собаки, очень сдержанная, довольно беззаботная, но упрямая; ее, как и мужа, Греция оставила равнодушной. Он просто глухой к красоте, она же, как мне кажется, считает дурным тоном проявлять восхищение. Такая современная поза – я все видела, все знаю, ничто не может меня поразить – является скорее защитой, чем проявлением агрессии. В очередной раз жалею людей, ничего не знающих о природе, людей, которых не может взволновать мир без человека. <...>

Декабрь

Роман Роя Кристи. Не могу сказать, что я высокого мнения о его произведении. Он талантливо и живо воссоздает пейзаж, но большинство его книг – философские дискуссии, а герои – не живые люди, а точки зрения, рупоры идей, марионетки. Атмосфера столь мрачная, а психология людей столь таинственная, что эффект подчас комический. Написано очень искренне. Но все перемешано: католицизм, борьба с антисемитизмом, отказ от прохождения военной службы по политическим или религиозно-этическим мотивам, теология, метафизика и туманная, маловразумительная теория Воли (с большой буквы) как истории или Истории в Воле. Ее трудно переварить.

Было неловко заниматься критикой. Я не мог сказать, что, по моему мнению, это ни к черту не годится, ему следует порвать рукопись и все начать заново. В жизни он очень практичный, приземленный, веселый, любящий выпить гедонист, и каждому ясно, что роман фальшивый, умозрительный и лучше бы автору спуститься на землю и быть самим собой.

Новый стиль в моей поэзии. Сознательно что-то взято от Кавафиса, бессознательно – от Роберта Фроста, есть что-то и от Лоуренса. Лаконичный, ровный, разговорный стиль. Отличный способ выгодно пре-

поднести жемчужину. Закончился еще один семестр. Я печатаю "Путешествие в Афины, 1952"[1] и собираюсь опробовать его на Рое Кристи. Я больше чем когда-либо уверен в основной мысли моего сочинения, ее весомости и ценности, хотя и сознаю недостатки стиля, слишком робкого и неоригинального.

В остальном все идет нормально; нагрузка в школе небольшая, и у меня много времени, чтобы наслаждаться красотой острова, который я все же собираюсь через год покинуть. Я меньше пью и курю, стал более умеренным. Супруги Кристи, на мой взгляд, слишком земные, грубоватые и лишены стержня. Они пьют, не оглядываясь на других, много курят и, если их этого лишить, будут страдать. Он необычный человек, слегка бестолковый и при этом удивительно проницательный, обладает некоторым живописным даром. И писательским — неясным и вялым. На этом пути ему не стать гением. Мне не нравится его бесцеремонная манера брать чужие вещи, постоянная потребность в "выпивке" и "куреве", его искренний, но быстро проходящий интерес к рыбной ловле, сквошу, теннису, кино и ко всему остальному.

Рождество на Спеце не празднуется особенно широко. Мне это все равно, но Кристи недовольны: вечеринки, угощение и выпивка играют заметную роль в их жизни. Рой не менее двадцати раз в день упоминает о выпивке; думаю, это реакция первого пьющего поколения на трезвое прошлое множества предков. Рождественский обед мы вкушали одни в школьной столовой — скудная еда, скверная погода и раздраженный греческим негостеприимством Рой; ученики ели где-то в другом месте с другими учителями.

Вечером собираемся в "Посейдоне", здесь видные люди поселка кружатся в танце бальзаковских времен. Трудно поверить, но вся атмосфера словно перенесена из Франции тридцатых годов прошлого века. Отцы в парадных костюмах, воротнички накрахмалены; полные, строгие матери; притворно застенчивые дочери — глаза опущены вниз; несколько особенно отважных кавалеров осмеливаются танцевать с дамами "неприличное" танго. Все держатся вокруг небольших столиков — человек четырнадцать-пятнадцать у каждого — и с важным видом потягивают вино или ликер, весь вечер из одной рюмки. Мне казалось, что просто смотреть на них — уже смешно, но Кристи решили взбодрить публику. Рой очень быстро заводится. Он станцевал вальс с Элизабет. Все в полном молчании глазели на них. Гибкая Элизабет танцевала превосходно, несколько в американской манере. Рой — немного неестественно, комично, он становился на цыпочки и подпрыгивал. Когда они кончили танцевать, раздались бурные аплодисменты. Мне все это не нравилось, но им успех ударил в голову. Я не сторонник эксгибиционизма. Рой продолжал свои танцы с прыжками. Элизабет тоже жаждала пусть маленького, но успеха. Рой подошел к самой красивой девушке в зале и пригласил ее на танец. Пока они танцевали танго, царило напряженное молчание, потом такое же напряженное одобрение. Элизабет настойчиво приглашала меня танцевать, но я решил, что не стану принимать участие в танцах: такое испытание не для меня. Между нами воз-

1. "Путешествие в Афины, 1952" — рассказ о вымышленном путешествии Фаулза по Адриатическому морю на первом году его преподавания в греческой школе.

никло нечто вроде классового различия; они, или она, думали, что я считаю их развязными и вульгарными. Так оно и было, но я не хотел, чтобы они это заметили. Потом пошли в "Саванту". Опять греческая музыка. Евангелакис, полный жизненных сил и энергии, исполняет пародии, Рой тоже веселится и продолжает пить — с него хорошо писать молодого Силена. Позже, дома, пение при лунном свете. Думаю, Кристи шокированы и разочаровались во мне. При подобных обстоятельствах они всегда слишком много пьют, становятся слишком взвинченными; я тоже пью, но не теряю головы. Как правило, он пьет больше меня. Рой использует спиртное как стимулятор; когда он приходит ко мне, а у меня нечего выпить, он выглядит смущенным и растерянным.

"День подарков"[1] — безоблачный и теплый. Я весь день просидел один у окна и, раздевшись до пояса, бренчал на гитаре. Этот день принес мне больше радости, чем Рождество.

18 января 1953

Я не использую время полностью. Здесь у меня одна перспектива — забвение; планов хватает, но они не реализуются. Многое в творчестве зависит от упорства и стремления завершить начатое. Легко начать, но вот продолжать... Я по-прежнему не собираюсь идти на компромисс, поэтому каждый проект подвергаю серьезной проверке: достаточно ли он значителен, красив, может ли принести автору подлинную славу. И тогда многие задумки умаляются, оказываются несостоятельными еще до начала работы. Рою Кристи явно не понравилось "Путешествие в Афины", но его пристрастия и антипатии настолько причудливы и субъективны, что его мнение меня нисколько не тревожит. Больше беспокоит собственный стиль. Где он? Или он скоро установится, или этого не случится никогда. По-прежнему много шлака — неточности, непоследовательность, подражательность. Сейчас больше всего я ненавижу поверхностную, современную фотографически-кинематографическую технику. Взять, к примеру, Г. Э. Бейтса[2], великолепного ремесленника, работающего в реалистической манере, академика от литературы, и чего стоят его жизненные впечатления? Ничего. Академическая дребедень, великолепно преподнесенная и полностью лишенная духовности. Повсюду, повсюду теперь этот дух глянцевых журналов, первоклассный, отшлифованный репортаж, полный ярких выражений и красочных определений. Да пошли они к черту! <...>

Тяжелый вечер с четой Кристи. Пустая трата времени. Я не хотел оставаться. С ними надо постоянно пить, потягивать спиртное из бокала. Мне же хотелось побыть одному, провести время с толком. Мне ненавистна мысль, что время идет, а я ничего не делаю. В отношении времени я скряга.

У нас был горячий и нелепый спор о вине нацистов. Рой спорил с необычной, пацифистско-католической точки зрения. Он считает Нюрнбергский процесс ошибкой, ужасной ошибкой; нацистов нельзя было наказывать: союзники не менее виновны, они тоже бомбили не-

1. Второй день Рождества, когда слуги, посыльные и прочие получают подарки.
2. Герберт Эрнест Бейтс (1905–1974) — английский писатель, автор нескольких сборников рассказов, романов и трехтомной автобиографии.

мецкие города. Кажется, он не принимает во внимание изначальных намерений и не видит разницы между жаром битвы и хладнокровным истреблением людей.

Я предложил рассматривать Нюрнбергский процесс как зарождение нового правосудия: именно тогда преступления назвали преступлениями, хотя в момент их совершения закона против них не было. Закона против применения газовых камер не существовало, но это не означает, что Олендорфа[1] следовало бы освободить. Рой спорил в абстрактном, бездоказательном духе митингов в Гайд-парке.

Конечно, нацисты невиновны в том смысле, что их заблуждения — результат экономических и социальных условий, прошлой истории. Ведь ни одно животное не виновно в абсолютном смысле. Закон и наказание — всего лишь уловки общества, вроде подпорки для дерева, чтобы со временем оно окрепло.

Ну, а что, взревел Рой, ты скажешь о том, что все готовились к войне? Все эти чертовы лицемеры. Как насчет Соединенных Штатов, нас?

Есть разница между подготовкой к войне и объявлением войны. Если в следующий раз войну объявит и проиграет Америка, тогда, надеюсь, мир будет судить зачинщиков, как судил нацистов. Ты можешь утвердить закон против убийства, потом сам убить и быть судимым в соответствии с собственным законом. Это не означает, что закон несправедлив.

Мы перескочили на другую тему. Если б Рой не был таким эгоцентриком, думаю, он поменял бы точку зрения. Я просто взбесился, когда он завел речь о психической атаке союзников на нацистских заключенных в Нюрнберге.

Какая еще психическая атака?

Это было отвратительно, сказал Рой. Их заставляли носить тюремную одежду. Часами допрашивали, не давая никакой еды. С ними чудовищно обращались.

Чаша моего терпения переполнилась, и я сам стал кричать о концентрационном лагере в Бельзене и эсэсовских преступлениях.

Потом разговор перекинулся на евреев, которых Рой превозносил. Только одна однородная нация, ядро, сердце мира, единственный народ, несущий миссию, знающий о своем предназначении и обладающий "историческим чутьем" — так это называл Рой. Ты еврей, Джон, говорил он. Ты думаешь, как еврей, и сам не знаешь этого. Ты видишь в себе француза и древнего грека, но ты еврей. Мы продолжали спорить — я в основном из духа противоречия. Хотя у Роя несомненно экстремистский взгляд как на евреев, так и на будущее, которое он в принципе не признает; Рой живет в настоящем, пребывает в нем, не задумываясь о будущем. Идеалы — обременительная ноша и т. д. Нет ничего наивнее таких представлений. Отрицать идеалы — безумнейшая из иллюзий. Рой рассвирепел, когда я назвал его гедонистом и *экзистенциалистом*, но в la vie quotidienne[2] он именно такой. Он пьет, думает исключительно об удовольствиях, комфорте. Его занимает только та жизнь, что проходит здесь и сейчас. Еще я назвал его реакционером и варваром, а потом за-

1. Отто Олендорф (1908–1951) — бригаденфюрер СС, возглавлял айнзатцгруппу "Д", уничтожившую 90 тыс. человек в Советском Союзе. Один из главных обвиняемых на процессе, приговорен к смертной казни.
2. Повседневная жизнь (*франц.*).

дал вопрос, почему он занимается творчеством, на который не получил ответа.

Странно, но у него какая-то прерывистая, импульсивная воля. Я знаю, он считает себя волевым человеком, потому что страстно себя выражает и осуществляет все свои прихоти. Ему нравится встряхнуть человека — вывести из "летаргического сна". Но такая воля не находится под контролем разума, в этом ее слабость. Его взгляды на жизнь, такие крайние и неубедительные, показательны, как и автоматическая критика всего, что им не соответствует.

25 января

<...> Устаревшие слова: "посередь", "надлежит", "обитать". Не могу их употреблять. Против них у меня сложилось стойкое предубеждение. Эти слова, которые я употреблял долгие годы, кажутся мне теперь затасканными, ненадежными; я не уверен в них больше и не получаю от них никакого удовольствия. Нужно вести им учет, чтобы понять, насколько они просочились в текст. Клише и анахронизмы, постоянная осада.

Паучьи орхидеи. Две растут в жестяной банке на моем столе — прелестные, элегантные, маленькие растения; стоят почти прямо, по два цветка на каждом стебельке, смотрят, подобно Янусу, в разные стороны. Два широких зеленых крылышка, два боковых лепестка, зеленый шлем и роскошная бархатистая коричневая губа, длинная и вздутая.

У меня также живет настоящий паук — апатичный черный тарантул, небольшой, он сидит в бутылке из-под коньяка. Паук сплел довольно жалкую паутину и поедает в большом количестве мух. У него крупные зеленые ядовитые зубки; в нем есть какое-то мрачное очарование. Возможно, этому способствует сохранившийся запах коньяка. Сегодня он ничего не ел, лежит скрюченный, ко всему равнодушный, недвижимый — он на пути в нирвану, где никогда не кончается мушиный сок.

11 февраля

Апокриас. Школьный бал. За наш стол после обеда сел американизированный молодой грек. Говорил, думал, танцевал и вел себя настолько по-американски, что как-то забывалось, что он грек. За обедом было скучно — с нами сидел директор. Вина хоть залейся. Супруги Кристи пили, как обычно, много, постоянно наполняли бокалы, и вечер для меня понемногу превращался в кошмар. Во-первых, начались танцы. Я не танцевал, потому что не могу вынести их публичности: иностранец среди местных жителей всегда привлекает внимание. Остальные танцевали, а я стоял и наблюдал. Во взгляде Роя появилось лукавое, заторможенное, пьяное выражение — дьявол в нем уже скалил зубы и потихоньку выбирался наружу, — тогда и пошли неприятности. На столе еще оставалось спиртное, когда я предложил отправиться в "Саванту", где намечалась еще одна вечеринка. "Никуда я не пойду, пока здесь есть выпивка". Эту разновидность алкоголизма я не выношу. Это не дипсомания, а культ спиртного. Кристи только о нем и говорят — что бы они хотели выпить, сколько способны выпить, как бы им хотелось выпить. Рой всегда уточняет, как много он выпил. Если вы не пьете наравне с ним, в его обращении появляется презрительный оттенок, что я нахожу нелепым и примитивным. Для него способность много выпить —

ценнейшее социальное качество. Во время вечеринки я обычно выпиваю три четверти его нормы, но после этого я, как правило, трезв, а он основательно пьян. По остекленевшим глазам и яростной жестикуляции я понимаю, что спиртное для Роя — наркотик. Он громче говорит, громче поет и страстно спорит из-за пустяков.

Наконец мы направились в "Саванту". Американец вел Элизабет под руку и явно с ней флиртовал. В "Саванте" была скука смертная. Гитарист Евангелакис отсутствовал. Назревал скандал. Рой злился на Элизабет из-за флирта с Американцем. Она старалась сохранять спокойствие и невозмутимость, как искушенная и опытная женщина, но иногда срывалась. Евангелакиса пригласили играть в другом месте, и я категорически не хотел выяснять, где он, и извлекать его оттуда, как того требовала Элизабет. Однако она не прекращала терзать меня, и в конце концов мы с Роем пошли искать музыканта. Звуки его гитары доносились из дома на холме. Все двери там были заперты. Выходит, это частная вечеринка. Рой все же рвался войти и увести Евангелакиса. Я пытался ему втолковать, что он не знает греков и их обычаев. Рой, как и положено, вспылил.

Трудная ситуация в "Саванте": Рой злится на меня, Элизабет его дразнит. У нас с Роем перепалка, Элизабет показывает на меня Американцу и шепчет: "Боже, он такой..." Позже все успокоились, помирились и решили все-таки пойти незваными гостями на вечеринку с Евангелакисом. По дороге Элизабет держалась за мое плечо, но меня не так просто умаслить.

И вот мы впятером — Кристи, Американец, Пападакис[1] и я — подошли к нужному дому. Элизабет стала вызывать Евангелакиса. Через некоторое время гитарист вышел с черного хода. Мы его окружили, и после короткой беседы он пригласил нас в дом. Основное помещение занимал магазин; вечеринка проходила в соседней комнате, мы могли видеть там пустые столы и горы грязных тарелок. За столом продолжали сидеть пять человек, уставшие и отяжелевшие от еды и питья — такими обычно бывают хозяева после ухода гостей. Элизабет пригласили войти, или она сама вошла, и после этого мы провели там полчаса, постоянно ощущая неловкость. Элизабет танцевала, преимущественно одна; высокая, хорошо одетая, она импровизировала, расправив плечи и прищелкивая в такт пальцами. Смотрелось это не блестяще. Но Рой так и светился от удовольствия, а молодой Американец повторял: "Прелестно! Вы чудо, Элизабет!" Думаю, она была бы готова в это поверить, если бы не снисходительно-циничная ухмылка на моем лице; она ее раздражала, но именно к этому я и стремился. Не понимаю, как можно до такой степени не чувствовать ситуацию. Четверо мужчин, те, что устроили вечеринку, сидели с каменными лицами, буквально излучая враждебность. Некоторым утешением для меня было присутствие Пападакиса, с которым мы поболтали по-французски.

Наконец мы ушли, направившись домой к Кристи. Молодой Американец и Элизабет постоянно отставали, пропадая из виду. Рой драл глотку, распевая песни, а мы с Пападакисом продолжали говорить по-французски. У Кристи — бесконечный треп. Ощущение некоего духовного дисбаланса между мной и супругами.

1. Новый учитель в школе Анаргироса.

Они загоняют меня назад в пуританство. Может быть, у них комплекс, связанный с происхождением из рабочей среды, может, поэтому они напиваются в обществе. Им хочется быть свободными, раскованными. Однако нельзя относиться к спиртному как к единственному способу развеселиться, эта отчаянная попытка обрести радость, не считаясь с чувствами других людей, — всего лишь современный эгоцентризм, ограниченный и пустой. Богемное времяпрепровождение эмансипированного рабочего класса. Я опишу их в одной из своих книг.

Частично источником неприятностей здесь является Элизабет. С самого начала я решил держаться от нее подальше. В первую очередь, чтобы не давать повода для сплетен в школе и на острове. Достаточно раз пройтись с ней под руку — и скандал обеспечен. Во-вторых, и это куда важнее, мне нельзя, да я и не хочу вступать с ней в какие-либо отношения. Остров — как раз то место, где извечный треугольник просто невыносим, даже если тщательно оберегать тайну. Здесь все как на сцене, из-за чего драматизм ситуации только усиливается. Завязав с ней нежную дружбу, я восстановлю против себя Роя. Да и я буду к нему ревновать. Речь идет не об откровенном адюльтере, а только о легких ежедневных намеках на его возможность. Я не знаю, хочу ли стать ближе Элизабет. Но я точно знаю, что в воскресенье меня раздражал ухаживавший за ней Американец, а это уже похоже на ревность.

Было бы самоуверенно, скучно, наивно, глупо отрицать в этом случае мою симпатию к ней. Однако я долго копался в себе — уже сознательно — и не нашел никаких признаков этой симпатии.

25 февраля

Еще одна утомительная пьянка с Кристи. <...> Мы решили ненадолго зайти в "Саванту". Но наше пребывание там затянулось. Рой стал напиваться и взвинчивать себя. К нам присоединился Гиппо. Мы пили узо, а потом я заказал красного вина. Рой и Гиппо запели. И пели они, кажется, часа четыре — Рой без передышки. Мы прикончили четыре или пять бутылок красного; я пил больше других: мне не нравилось пение, и я подумал, что таким образом притуплю впечатление. Чего они только не пели — греческие песни, оперные арии, песни двадцатых, танцевальные песни. Рой пел очень громко. Поет он вполне прилично, не фальшивит, но в его голосе есть своеобразная четкость, словно он исполняет гимн, и так он поет любую греческую песню, превращая музыкальное золото южан в позолоту. Поет он и джаз, подражает Синатре — очень скверно, и до смешного неточно воспроизводит американский акцент. Лучше всех пела Элизабет, приятным, хрипловатым голосом, а Гиппо выстукивал мелодию.

Я вновь почувствовал неловкость и нарастающее напряжение. Думаю, мое лицо не выражало явного неодобрения, но сам факт, что я не пел и по большей части не улыбался кривлянию Роя, похоже, их раздражал. Поведение Роя было дерзким, развязным. Он словно говорил: "Мне хорошо и весело, но я нисколько не пьян, хотя со стороны может так показаться". Есть две стадии опьянения. В первой человек сознает, что напился, и не скрывает этого, а во второй хотя и сознает, но никогда в этом не признается. Пьянство Роя — что-то вроде фигового листа, которым он пытается прикрыть свою наготу.

Остальные гости взирали на нас с отвращением, с явным раздражением и враждебностью. Особенно недоволен был старик Ламбру, хозяин заведения, весь вечер он грозно хмурил брови.

Чрезмерное пьянство — абсолютная бессмыслица. Я видел растущую неприязнь по отношению к нам и продолжал пить, как бы ничего не замечая. Рою необходим алкоголь — он зависит от него. Без спиртного он не способен развеселиться, а под его воздействием превращается в язычника, в одурманенное животное, в сатира. Он видит в этом преодоление запретов, раскрепощение, я же вижу только отвратительный переход в иррациональное, грубое, варварское состояние. Еще для меня это знак раздвоения личности. Психология Роя не вяжется с его художественными амбициями. Он пишет длинные, сложные произведения, поднимает в них проблемы воли, самоотречения, страдания и пессимизма, а сам живет как раблезианец. Нет, не раблезианец, потому что в его пьянстве есть какая-то одержимость и невротизм, что-то глубинно нездоровое. <...>

Рой Кристи видит в средиземноморской культуре и философии "поддельный, фальшивый гедонизм". Его предубеждение против классицизма Греции, Франции субъективно, лишено всякой логики. Он все время твердит, что нужно жить настоящим, не думать о будущем, и, можно сказать, так и живет. Но его совершенно дикие заявления, касающиеся философии и искусства, заставляют меня задуматься: а не розыгрыш ли все это? Как у отгородившегося от жизни Д. Г. Лоуренса. В нем есть огонь, сложность, острота и сила, и этой необычности нельзя не позавидовать, но в то же время столько путаницы, односторонности, неубедительности, что зависть быстро проходит. Апокалиптическими настроениями нынче никого не удивишь...

Меня раздражает та настойчивость и убежденность, с какой он говорит о себе как о писателе: "мои книги", "мой агент", "моя работа", — словно у него уже есть устоявшаяся писательская репутация. Я заговариваю о своих литературных занятиях, только когда без этого нельзя обойтись: например, кто-то входит в мою комнату и спрашивает, что я делаю. И причина отнюдь не в недостатке уверенности в себе. В конечном успехе я уверен — возможно, даже слишком; просто не выношу, когда успех присваивают заранее — это все равно что заранее брать жалованье за следующий месяц. Реальность подменяешь болтовней. Поэтому я стараюсь держаться скромнее.

20 марта

Идет к концу очередной год моей жизни. Меня не оставляет тяжелое чувство — осознание того, что хватит плестись кое-как, пора переходить на бег. Я по-прежнему разбрасываюсь и тону во множестве проектов. И все же не могу преодолеть значительное расстояние между зародышем идеи, ее внезапным бурным ростом и конечной стадией — цветком, расстояние, требующее недель и месяцев кропотливого труда. Однако веру в себя я не утратил. Я приветствую каждый свой новый промах, ведь его можно устранить, в очередной раз сменив кожу. Чувствую, что копаю все глубже. И даже если с литературной точки зрения глубины моей души не представляют никакого интереса, думаю, я все же не стану сожалеть об этом духовном путешествии. Узнай я сейчас,

что все написанное мною не будет иметь никакой цены или почти никакой, я испытал бы глубокое разочарование. Но, верю, я сумел бы найти утешение. Теперь я обнаруживаю в себе некое самодовольство. В обычном общении я такого за собой не замечаю. Но в творчестве — в моем творчестве — так много серьезного самоанализа, рефлексии, что подобный повышенный интерес к собственной персоне не может не раздражать. Я знаю об этом недостатке и вижу его, да что толку — мне никак не удается избавиться от этой дурной склонности. Пока я не представляю, как писать иначе.

Поездка на Крит, 1–14 апреля

Каникулы не удались. Испортил их собственной филантропией. Покинул Спеце вместе с Кристи на день позже учеников, теплым, лучистым утром, на рассвете. В течение нескольких недель я ощущал скрытое давление со стороны супругов, они явно хотели, чтобы я одолжил им денег на поездку. Собственных у них не осталось. Всякий раз, выпивая с ними, я старательно душил рвущуюся наружу щедрость. Благополучно обойдя множество опасных моментов, под конец я не выдержал и за кофе сказал Рою: "Я мог бы дать вам денег на Крит". Они согласились не раздумывая. Не знаю, почему я сделал это предложение. У нас очень разные вкусы. Теперь, задним числом, я жалею о своем поступке. Деньги они не возвратили, и весь мой выигрыш заключается в том, что я кое-что добавил к знанию о себе самом и пережил один-два момента горького разочарования. Мне не жалко денег, мне жалко — и то не очень, — что Кристи оказались неблагодарными. Правда, и раньше был один случай, довольно неприятный. Мать прислала мне на день рождения книгу. Дня за два до 31 марта он взял ее в руки и спросил, действительно ли у меня скоро день рождения. Да, подтвердил я, в понедельник. В понедельник ни он, ни она об этом даже не вспомнили. Про деньги, потраченные на билеты, тоже разговора больше не заходило. Конечно, они не хуже меня понимали, что Рой никогда не сможет вернуть долг. Не так уж, впрочем, и много — всего 8 фунтов, и я всегда готов дать такую сумму, если они попросят. Что мне в них ужасно не нравится, так это пренебрежительное отношение к чужим деньгам, эгоцентризм. Они живут весело, подчас за чужой счет, но при этом умудряются не оскорблять чужие чувства. Физически Рой очень чувствителен: грубая ткань, яркое солнце, минута, проведенная на жестком стуле или в неудобной позе, причиняют ему муки. Он не тянул армейскую лямку, не носил тяжелого снаряжения, не занимался строевой подготовкой, не жил в казарме. В компании он стремится быть лидером, все должны делать то же, что и он, — останавливаться, пить, есть, идти дальше. Роя можно назвать современным Лоуренсом, но лишенным шарма, утратившим знание природы, цветов, птиц, земли. Нет, не Лоуренсом, а его тенью — бледной, ничтожной.

Элизабет мне нравится больше; она не болтлива, в ней есть стиль, ее не волнует ничего, кроме того, что происходит сейчас; в повседневной жизни она умнее и добрее своего мужа.

20 апреля

Скандал в школе. Учителей-англичан пригласили на встречу с директором и его заместителем, то есть с Анаспостопулесом и Пападакисом. Поначалу все шло как обычно, но потом А. выступил с критикой препо-

давания английского в школе, говорил о низком уровне, потере интереса и славном neige d'antan[1]. Его придирки застали меня врасплох, хоть я и знал, что последнее время он питает ко мне враждебные чувства. Но вот ведь что самое удивительное: он не знает ни одного английского слова и тем не менее убежден, что уровень подготовки падает. При нынешнем состоянии духа я вряд ли способен выйти из себя в столь абсурдной ситуации. Его обвинения основывались на том факте, что в прошлом году я играл в теннис намного больше, чем в нынешнем. Из чего он сделал вывод, будто я утратил интерес к ученикам, а следовательно, и к преподаванию. Я действительно разочаровался в школе, но язык преподавал в этом году лучше — во всех группах, кроме одной, восьмого класса, состоящей из неисправимых бездельников.

Произошел обмен взаимными колкостями, взаимными упреками. Добрые отношения между нами рухнули. Рой взбесился больше меня. Теперь я чувствую к школе едва ли не отвращение.

Очень тяжело, когда ты вступаешь в духовный и эмоциональный конфликт с обществом, в котором вынужден существовать. Даже если бы обвинения А. были справедливы, я не чувствовал бы за собой никакой вины. Сама школьная система и царящая здесь атмосфера подталкивают к безответственности. Я не могу обманывать себя, принимая такие правила игры. Опасное положение. Я намерен покончить с ним как можно скорее — не со своим нежеланием идти на компромисс, не со своей вздорной и упрямой прямолинейностью, а с порочными, сложными ситуациями, в которых это мое свойство проявляется особенно сильно.

1 мая

<...> Отношения внутри нашей маленькой группы постепенно все больше волнуют меня, я все острее реагирую на проявления эгоцентричности и гедонизма. Мелочи — но Кристи всегда устраивают так, что мне приходится оплачивать бóльшую часть счета; или я заказываю еду, а когда приносят, они забирают ее себе, и мне приходится ждать следующей порции (это случилось только дважды, но само по себе показательно); никакой реакции, когда напоминаешь о мелких долгах... У Э. постоянно возникают мелкие прихоти — *хочу* сигарету, кофе, пирожное, — она превращает это в маленький спектакль — что-то вроде женской или детской мольбы о любви — и создает таким образом ложное представление о себе. Р. такой же. Они шумят, пререкаются и хнычут из-за пустячных желаний, будто хотят показать, что они слишком свободные, эмансипированные, "независимые" люди и поэтому не могут мириться ни с какими ограничениями.

Сегодня Элизабет раньше меня взяла газету, только что пришедшую на мое имя из Англии, и не вернула, пока не прочла всю. На уединенном острове такие мелочи приобретают особое значение. У меня же есть навязчивая идея: все должно делаться по справедливости. А Кристи в моем присутствии каждый день присваивают себе чуть больше того, что им положено. Они вносят в общество колорит, но и представляют некоторую угрозу. Это люди, которые сегодня расположены к тебе, а завтра выказывают равнодушие — с легким оттенком дружелюбия или, напро-

1. Прошлогодний снег (*франц.*). Отсылка к знаменитому рефрену из "Баллады о дамах былых времен" Франсуа Вийона.

тив, раздражительности; иногда они проявляют необоснованный энтузиазм. В них нет зла — только бесконечное легкомыслие, безответственность, с которыми невозможно бороться. Они не прыгают сломя голову в ад, но тихо сползают туда, глядя в небо. В общество они вносят порчу — вот с такими людьми я должен знаться, борясь с их влиянием.

Мопассан. Продолжаю его читать с тем же удовольствием. Почему Мопассана можно читать в большем количестве, чем любого другого писателя? Во-первых, притягивает богатство и широта его таланта; во-вторых, полное отсутствие комментариев; и наконец свойство, которое трудно описать, — способность плавно менять смысловые оттенки, особая скрупулезность художника, когда от одного предложения к следующему тянется тончайшая нить. Акварельное искусство уточнений и легких намеков. Его особый талант (ведь всякое литературное произведение должно быть изящным и тщательно отделанным) заключается в том, что он никогда не сбивается с ритма, у него нет неоправданных скачков. Даже в миниатюрах нет напряжения и фальши — ни в сочетаниях, ни в темпе.

3 мая

Весь вечер пил с Кристи; колебание курса драхмы означает удвоение жалованья, это мы и праздновали. Мы с Элизабет выпили много узо в моей комнате, и, когда к нам присоединился Рой, ей было нехорошо. Потом — к Георгосу, еще узо, пиво; там же познакомились с американцами, пили виски. Р. и Э. выплеснули на них все свое красноречие, как всегда беззастенчиво выставив себя напоказ (новая аудитория для них как оазис в пустыне для мучимых жаждой путников), потом все вместе отправились к ним пить кофе. Гидру окрасили ярко-красные лучи величественного рассвета; Рой плавал в розовых волнах, гостям показали Анну[1]. Когда мы вышли, один из американцев, боксер, погнался за белым петушком, поймал и бросил без всяких признаков жизни; черная бородка птицы нелепо смотрелась среди белоснежных перьев. Вот что запомнилось мне больше всего из этой погубленной ночи.

9 мая

Еще одна ночь беспробудного пьянства. Мы с Элизабет репетировали в старом амфитеатре и спустились оттуда в настроении выпить. Вдвоем прикончили бутылку бренди, много говорили в темноте, слушали приемник. Я ощущал, как между нами нарастает нежность. Я тщательно избегаю прикасаться к ней, но наши разговоры и поступки настолько красноречивы, что отсутствие физического контакта не слишком мешает. Рой был в раздражении, когда мы вернулись к нему, все еще трезвые — у нас обоих крепкие головы, — но его гнев нас только позабавил. Потом все вместе пошли в поселок, и там Рой, выпив самую малость, быстро окосел. Евангелакис был в ударе — в заведении пировала компания богатых греков. Рой стал "продавать" себя в обычной манере, пытаясь овладеть всеобщим вниманием. Я сидел в стороне и наблюдал за выражением лиц. Танцевали, Евангелакис пел, Рой тоже. Наконец около двух ночи

1. Фаулз впервые упоминает в дневниках имя дочери Роя и Элизабет. Тогда ей было всего два года.

пошли домой. Рой орал пьяным голосом и заставил везти себя в ручной тележке. (Уже на следующее утро эта новость разнеслась по поселку.) Мы доставили его домой, где он заявил, что хочет спать, мы же хотели петь. Что и делали до пяти утра, пропев весь песенник и все популярные мелодии, какие помнили. Рой продолжал спать, а мы лежали на диване в гостиной. Несколько раз она касалась моей руки прохладными пальцами. Но глаза наши ни разу не встретились. Мы приблизились к опасной черте, за которой открывалась захватывающая, волнующая перспектива. Но даже мысль о возникновении любовного треугольника здесь, на острове, мне невыносима.

17 мая

Началась жара, и я чувствую, как мое сопротивление слабеет. Ничего не могу поделать, хотя и знаю, что это результат моего одиночества и наших постоянных встреч. Время от времени я ловлю на себе ее загадочный, слегка презрительный взгляд, иногда она смотрит на меня с жалостью, как будто ситуация, вначале ее забавлявшая, теперь приносит боль. Вчера мы пили узо в моей комнате примерно часов до десяти, и когда наконец увидели Роя, он был на нас сердит и пошел домой спать; мы же отправились в поселок, чувствуя одновременно близость и смущение, и вечер закончился легким отчуждением. Элизабет пригласила меня к себе выпить кофе, и я оставался в ее обществе до 2.30. В атмосфере — скука и скованность. Я все время чувствую желание объяснить ей ситуацию, которая нависает над нами, ощущается в каждом жесте, временами почти осязаема. Сам факт, что я жажду объяснения, хочу привести доводы, почему я (или мы) не можем и дальше развивать наши отношения, говорит о том, что я ищу ее сочувствия, то есть замаскированной формы любви. Я также влюблен (как было с М.) в сам процесс, в любовный ритуал, даже если он не принесет счастья и удовлетворения. Разум в восторге, оттого что ему выпал шанс испытать желание и исследовать плоть.

21 мая

Пошел слушок, что мы с Э. обманываем Р. Это должно было случиться на таком острове — раньше или позже. Я рассказал об этом Э. Похоже, она не очень расстроилась, а Р. откровенно хохотал, когда мы сошлись вечером, чтобы обсудить ситуацию. Я слишком часто вижусь с Э. наедине, нам надо реже встречаться, и не только из-за сплетен. Мне все труднее отказываться от удовольствия видеть ее, сдерживать проявление чувства, когда она рядом, избегать словно бы случайных прикосновений.

Нужно обязательно жениться — и не позже следующего года. С острова непременно уеду. Есть несколько предложений — работа в Перу, в Винчестерском колледже, несколько вакансий в Греции. Я все больше и больше (несмотря на растущие сомнения в своих способностях) хочу писать. Здесь же я не могу по-настоящему погрузиться в творчество — слишком много рутинной, каждодневной работы, и я начинаю задумываться, а хватит ли у меня вообще сил для этого.

Рассеянность. Однажды за ужином я потянулся за бутылкой с водой и машинально выпил всю из горлышка. Только поставив ее снова на стол,

я по лицам учеников понял, что совершил оплошность. Ипсиланти изумленно взирал на мой стакан. Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться, и поспешил поскорее покинуть столовую.

24 мая

Вечер с Э. Мы вдвоем пошли в кино (Р. устал и рано улегся спать), потом пили узо в таверне. Когда мы наедине, атмосфера становится нервной, заряженной электричеством — или же, напротив, унылой, тусклой, пропитанной безнадежностью. Возвращались слегка пьяненькие, полные нежности, однако шли порознь, избегая малейшего прикосновения. Но домой идти не хотелось. Зашли к Георгосу, потом спустились к морю, сидели на камне, болтая ногами в воде, молчаливые, растроганные. Я чувствовал, что она ждет поцелуя, и сдерживался, как мог, хотя сам хотел этого. Однако последствия были бы столь предсказуемы, что я не ответил на призыв. Не хотелось целовать ее украдкой и жить в аду ревности. Моя сдержанность имела эгоистические корни. Я знаю, какая перед нами скользкая дорожка. Мы решили вернуться в школу (было два часа ночи), взять сигареты и где-нибудь посидеть. Но когда мы тихо крались мимо их дома, в окне неожиданно вспыхнул свет. "Ну, все!" — сказала Э. Мы немного подождали. Свет погас. "Мне нужно идти, Джон. Он ждет меня". Мы не смотрели друг на друга. В моем голосе слышалась горечь, когда я сказал: "Спокойной ночи!" Домой я вернулся в крайнем раздражении. Окажись мы у дома десятью минутами раньше или позже, никакого света не было бы. Я горько сожалел о случившемся. К утру нервное возбуждение спало. Я заглянул к Кристи домой и сразу же заметил в Э. перемену. Она была сдержанной, равнодушной. Я вообразил, что Р. насладился плодами желания, разбуженного мною. В течение всего дня — любовная лихорадка. Вечером опять виделся с ней наедине. Никакого упоминания о прошлой ночи. Если б можно было все объяснить! Сегодня я чувствовал в ней легкое презрение, словно я упустил свой шанс. К черту плоть!

9 июня

Провели втроем целый день на противоположном конце острова. Плавали, загорали. Когда вернулись, узнали, что заболела Анна, у девочки был жар. Измерили температуру — 39, началась паника. Послали за доктором. Перебранки, va-et-vient[1], советы, листание справочников, волнение. Анна лежала, укутанная, в постели, неподвижная, молчаливая, только голубые глазенки моргали и глядели на окружающих странным, загадочным и враждебным взглядом. Я немного посидел рядом с малышкой (первый раз она подпустила меня так близко), гладил ее по головке, а Элизабет стояла и смотрела на нас — короткий синий пиджачок, надетый прямо на лифчик от купальника, темно-синие джинсы; стройная, изящная, загорелое лицо, на голове красная косынка, по-матерински встревоженная, но сохранившая при этом природную рассеянность. Ритм ее жизни размерен, нетороплив; она как бы целиком и полностью поглощена своими мыслями; к ее природным добродетелям относится спокойный и молчаливый отказ повиноваться силе. Но она не упрямица. Чаще всего она идет тебе навстречу, в ней нет таких чис-

1. Хождение туда-сюда (*франц.*).

то женских черт, как капризность и своеволие, — я ненавидел их в Дж. Ее обаяние в особенной реалистичности, бесстрастности, в ней есть что-то уютное, неявное — и ничего косного. Из нее никогда не получится гениальная любовница или замечательная хозяйка, но она может быть отличным партнером в жизни.

Из книги об образовании, написанной Пападакисом: "Движение человечества вперед (он имеет в виду эволюцию того, что называет биопсихическим человеческим обществом, обретшим вид современной политико-экономической структуры) пойдет не по пути нарастания цинизма, изощренности, интеллекта, а по пути естественности, простоты, искренности".

Об этом ноет и мое сердце. Назрела потребность в большом очищении и опрощении мира. Конкретный пример — литература; нужно вернуться к благородной naïveté[1], подлинной искренности и простым темам, к новому классицизму, сознательному упрощению запутанного клубка 1900—1950 гг.

Знойное летнее солнце не покидает неба, настало время плотских утех. Дни проходят в плаванье, питии; в это время остров опутывает тебя чарами, околдовывает, похищает твою душу, волю и не дает работать. Сопротивляться невозможно.

Ночная рыбалка. Как давно это было, я уже забыл. Небольшой катер, фонарь, тихая вода и освещенный подводный мир внизу. Недавно мы обнаружили на острове еще одну таверну. Ее держат две девицы, по виду шлюшки, и их вдовствующая мать. Мы трое, обе девицы и два рыбака вышли в море. Ловилось неважно. Мы сидели и мало чего видели. В конце концов прилегли и задремали. Рука Э. на моем плече. В небе звезды, плеск воды, девушки, тихо напевающие греческие песни...

Странный сон про нее. Эротический. Слишком реальное ощущение веса ее тела, и я думал во сне: это сон, или, может быть, она тайно пробралась ко мне? Никогда у меня не было такой странной иллюзии. Призрачное тело давило на кожу.

11 июня

Болезнь, секс — это болезнь тела. Я увлечен Э., она занимает мои мысли, и я думаю о ней днем и ночью. И в то же время знаю, что это не настоящая любовь, не та, какую я испытывал к М., а более плотское чувство — одиночество, жаждущее утешения. Я провел с ней всю прошлую ночь — мы сидели в гостиной (Рой пошел спать), не прикасаясь друг к другу, молчали, испытывая неловкость, но не чувствуя себя несчастными. Пустое, не заполненное никакими событиями время. Сидели так до рассвета — плечом к плечу — и смотрели из окна на море.

Теперь я с трудом выношу Р. Должно быть, это ревность, но я также вижу, что с ним нелегко иметь дело — уж очень он эгоцентричен. Каждое явление рассматривает применительно к себе. Даже в самых банальных

1. Наивность (*франц.*).

ситуациях ему нужно произвести впечатление, выиграть, победить, преуспеть. Задиристый петушок, кукареканьем неустанно возвещающий миру о своей храбрости. И до такой степени не щепетильный в отношении чужих денег и собственности, что его можно уподобить ребенку. По сравнению с ним Э. спокойна, доброжелательна, сдержанна. Даже если не думать о ней как о женщине, с Э. все равно гораздо легче.

Нужно поскорее обсудить с ней создавшуюся ситуацию. Интересно, как она к этому отнесется. Обязательно запишу.

Сегодня вечером они оба пришли ко мне. Пили, были довольно доброжелательны. Я поймал по приемнику классическую музыку. Они заерзали, и я почувствовал презрение к ним. Атмосфера становилась все напряженнее, они ушли, треугольник деформировался, я остался в одиночестве и в прескверном настроении. Что-нибудь в этом роде рано или поздно неизбежно повторится.

Уик-энд в Афинах и начало долгожданного существования в новой ипостаси. Этот год отмечен для меня медленной моральной деградацией — отвращение к школе, пустая трата денег (как же деньги, даже небольшие, портят человека!), влюбленность в Э. А в придачу набирающая силу жара, приближение летнего солнцестояния.

На рассвете мы были в Пирее, выспавшись на диванах в салоне первого класса. Мы с Э. лежали на одном из них — рядом. Рассвет бледно-голубой, розовый, фиолетовый и лиловый, потом зеленоватый и желтый, нежные, спокойные тона; на берегу огни — яркие жемчужины на черном фоне.

В Афинах душно, пыльно, в магазинах множество недорогих вещей; и мы тратили деньги, словно сошли с ума, — половину месячного жалованья спустили за два дня. Рой совсем потерял голову, Э. — тоже, а я дал слабину и не оказал им достойного сопротивления. Кроме того, мои денежные возможности выше (а им нужен рядом взрослый человек, который контролировал бы их траты). Все завершилось на второй день к двум часам ночи, когда Рой напился до положения риз в "Зонаре"[1]. Наша с Э. взаимная симпатия все возрастает. Мы отвезли Роя в гостиницу и отправились пить кофе.

Я предложил на такси поехать к Акрополю. Быстрая езда по пустынным улицам, в тесной, но невинной близости. На мгновение за окном мелькнул и пропал Тесейон[2]; миновав пихтовую рощу, мы оказались у лестницы, ведущей к Пропилеям. "Давай вернемся назад пешком", — сказала Э. Я отпустил такси. Взявшись за руки и соприкасаясь плечами, мы поднимались по ступеням. Огонек сигареты под деревом у входа предупредил нас, что здесь дежурит охранник. Пришлось повернуть назад. Внизу простиралось море огней — от Пирея до Ликабеттоса[3]. Тишина, ночь, простор. Одеон Герода Аттика[4], равный по величине Колизею, выделялся темным пятном на светлом фоне. Мне было все равно, где находиться, только бы вместе, и я предложил пойти к

1. Знаменитое старое кафе в центре Афин.
2. Храм, построенный в честь героя Тесея после того, как в 475 г. до н. э. сюда были перенесены его останки.
3. Высокий холм на северо-востоке Афин.
4. Одеон — крытый театр для музыкальных представлений, построенный в Афинах выдающимся оратором Геродом Аттиком (191—177).

Ареопагу[1]. На пути — проволочная изгородь, деревья, под ними мрак, каменные ступени, ведущие к небольшому камню, на котором стоял апостол Павел. Мы тоже там постояли, как бы паря над городом и глядя, как первые робкие лучи рассвета встречаются с полной луной. Неожиданно я рассердился на Э. — не хотелось ни прикасаться к ней, ни разговаривать. Но все мгновенно изменилось, как только я взял ее за руку, чтобы помочь сойти по ступеням. Мы спустились краем Ареопага и сели, прислонившись к скале. Она прижалась ко мне, я чувствовал токи, идущие от ее тонкого, изящного тела, она молчала, молчал и я. Было тепло. Как она сказала потом, "повсюду была разлита тишина", сероватый свет, борясь с лунным, пробивался сквозь листву.

Она прошептала: "Тебе не кажется, что нам следует поцеловаться или как?", и я что-то прошептал в ответ. Ее губы, теплые, бархатистые, и глаза, ее обычно холодноватые серо-зеленые глаза, теперь нежные, затуманенные — или это я сам был словно в тумане, — всё, тысячи мелочей, случившихся за прошедшие месяцы, вдруг обрело новую перспективу, сотни ситуаций, когда я страдал, ненавидел, сожалел, вдруг стали понятны, ясны. Она выдохнула: "Как давно я этого хотела". — "Я тоже". Мы передвинулись к другой стене и, лежа на траве, целовались, ласкали друг друга, что-то шептали в изумлении и опьянении, обнаруживали, признавались, что оба боялись одного и того же — что другой не влюблен по-настоящему. Ее нежное, преображенное лицо. Новая женщина. Мы лежали там, пока первые лучи солнца не проникли к нам сквозь деревья и не пришла белая курочка, которая стала клевать что-то в траве рядом с нами. Э. поднялась на ноги и воскликнула: "Как все грустно!", а я пытался ее утешить. Надо было уходить. Рассвело, нас могли увидеть с дороги. Взявшись за руки и прижимаясь друг к другу, мы стали спускаться, соображая, где можно утолить жажду. Перешли по мосту к ресторану, но все официанты спали между столиками. Двинулись дальше вниз, к центру; на пути нам уже попадались первые прохожие, они странно поглядывали на нас — высокая Э. с фигурой манекенщицы, с короткой стрижкой, и я, — мы обнимались, как школьники. Наконец набрели на захудалую таверну, сели за голубой столик, продолжая держаться за руки. Потом вернулись назад, поднялись чуть выше и попали в парк, окружавший Театр Диониса[2]. Там нашли тенистый, заросший кустарником уголок под стенами Акрополя и вновь принялись с упоением целоваться. Будто рухнула плотина — и случилась мгновенная сладостная катастрофа. За два часа мы проделали большой путь, познавая наши тела, наши мысли. Мимо проковыляла старуха и скрылась в усыпальнице, выбитой в камне. Я ласкал изящное, нежное тело, маленькие груди, гладкие стройные ноги. Но в конце концов нам пришлось возвращаться. Мы сели в такси, попрежнему держась за руки, не проронив ни слова доехали до гостиницы и только тут вспомнили о Р. и необходимости лгать. Изобретя подходящую историю, вошли в холл с новым ощущением, в лифте снова соединили руки, потом постучались в дверь. Р. лежал в постели. Э. подошла к нему, села рядом и поцеловала, а я смотрел в приоткрытую дверь на его взволнованное, озабоченное лицо и лгал.

1. Ареопаг (*греч.*, холм Арея) — холм в Афинах, место заседания древнего судилища того же названия. Там апостол Павел произнес свою речь (Деян. 17: 22).
2. Амфитеатр на 20 тысяч мест, построенный Ликургом в 342–326 гг. до н. э., примыкает с юго-восточной стороны к Акрополю.

Надо было еще съездить в Комитет. После этого я был такой измученный, что еле стоял на ногах, и Э. не намного лучше. Обиженный Р. сказал, что ему спутали все карты. Решили, что мы с Э. поспим до четырех и встретимся с Р. Итак, в полдень мы вновь оказались в гостинице. У нас были соседние номера и общий балкон. Она лежала на спине в приспущенном бело-голубовато-розовом платье — пылающее лицо, широко раскрытые глаза. Было очень жарко, от прикосновений тела делались еще более влажными; мы лежали, крепко обнявшись, борясь со сном, вожделением и временем. Желание достигло критической точки. Сгорая от страсти, я чуть ли не бежал из ее комнаты. И наконец — сон.

Мы встретились с Роем и узнали, что он решил повидаться со своими американскими друзьями. Нам опять повезло. В очередной раз договорившись встретиться с Роем позже, мы пошли в кино. Душный кинотеатр, жаркие руки, плечи. Хороший фильм, но я не мог как следует в нем разобраться, ведь она была рядом. Уже на улице — частые остановки, потом поцелуй за открытой дверью, в то время как в комнате наверху кто-то играл Моцарта. Постоянные прикосновения, воспоминания, объяснения прошлых недоразумений. Я безумно рад — такое облегчение, что пришел конец этому напряженному состоянию.

Вечер мы провели в обществе других людей, но при каждой возможности касались друг друга. Поцелуй на балконе, когда Р. оставался в комнате. Утром Рой спустился вниз раньше меня, еще один поцелуй, жаркое объятие, она в голубой ночной рубашке.

Пароход до Спеце отошел в полдень. Мы сидели, держась за руки, говорили о каждом из нас в отдельности и о нас вместе, лукавили и в то же время старались щадить Роя. Оба мы еще ничего толком не понимали, не сознавали, были как в бреду. Обед на Спеце. Наши ноги соприкасаются под столом, взгляды встречаются — взгляды заговорщиков. Первый поцелуй на Спеце — мимолетный, при лунном свете, после ночного купания, она в белом купальнике, я в плавках.

На следующий день она пришла в школу с Анной, чтобы мы вместе отправились плавать; мы сидели рядом на берегу и ласкались, позабыв о ребенке.

Дни проносились как в тумане. Вернувшись из Афин, мы с Роем узнали, что школа на нас отыгралась[1]. Моя гордость была уязвлена тем, что меня изгоняют из такого убогого и порочного коллектива. Хотя в данном случае увольнение — почти что свидетельство о высокой нравственности. Работы теперь у меня нет, да и денег на жизнь в Англии немного.

Но все это чепуха по сравнению с той удивительной нежностью, естественностью и гармонией, которых мы с Э. достигли в наших отношениях за три или четыре дня. Сегодня мы целовались всякий раз, как только Р. покидал комнату, и он только чудом нас не застукал. Мы целовались в море, если Р. отворачивался. Целовались на крыше, когда Р. сидел за машинкой внизу. Мы находили друг в друге много общего, много нежности, полное взаимное соответствие. Э. помолодела, посвежела — иногда казалась совсем школьницей, нежной, одинокой.

1. Обоих уволили. В письме к Фаулзу от 24 июня 1953 г. президент Комитета написал: "Директор школы... рекомендует не продлевать с Вами контракт на следующий год; он считает, что Вы недостаточно квалифицированно исполняете свои обязанности и не участвуете в школьной жизни, как это требуется по контракту".

Самое ужасное в этой истории — присутствие Р. Мы трое живем на бочке с порохом. Он, конечно, понимает, что Э. от него отдаляется. Но, кажется, меня ни в чем не подозревает. Однако не сомневаюсь, что за оставшиеся три недели он как-нибудь застанет нас целующимися, и что будет тогда, знает один Бог. В то же время опасность придает особую пикантность любовным отношениям, адюльтер — дело безнравственное. Перед Р. у меня нет чувства вины. Любовь не подвластна законам морали. Если он потерял любовь Э. и она обрела мою, произошла химическая реакция, и тут уже ни воля, ни добродетель ничего не изменят. Но жизнь значительно усложнилась — трудно работать, трудно общаться с Р. и очень трудно скрывать свои отношения с Э. В то же время теперешнее существование прекрасно.

Кошмарная ситуация. Мы с Э. влюблены друг в друга по уши, а живем в школе почти в соседних комнатах. Весь день мы стараемся отделаться от Р., украдкой целуемся за его спиной, соединяем ноги под столом, обмениваемся быстрыми взглядами — словом, следуем всем порочным законам адюльтера. Треугольника никак не избежать. Э. живет в страшном напряжении. Мы оба мечтаем стать любовниками, лечь наконец в постель, но здесь, на острове, это было бы верхом безумия. Любовь делает нас безнравственными, лишенными стержня, потерянными, смущенными. Работать я не могу: и ее присутствие, и отсутствие в равной мере меня волнуют. Я по-прежнему пребываю в шоке — от неожиданности случившегося, от определенности, сладости и горечи. От странного, переменчивого очарования Э., которая дает и отнимает непредсказуемо, но без тени кокетства.

Дни похожи один на другой: синева, зной, в полдень легкий ветерок, душные вечера. Мы плаваем — Э. в белом атласном купальнике похожа на сильфиду, — загораем, едим всегда вместе: обедаем дома, а вечером идем к Георгосу или в поселок. Мы обречены находиться втроем — выхода нет, ловушка захлопнулась. Я кажусь себе чудовищем — обманываю Р., прикидываясь его другом. Он же мне полностью доверяет. Нас с Э. гнетет чувство вины. В какой-то момент все едва не летит под откос. А через неделю мы уже думаем о том, как станем любовниками, о разводе, о крупных переменах в жизни обоих.

Э. пришла как-то утром с чашкой кофе, когда я еще спал. Свежая, пахнущая душистым мылом, восемнадцатилетняя девчонка, да и только, летнее платье в бело-розовую полоску. Лежала рядом и смеялась, затем — поцелуй, очень долгий, показавшийся в полусне почти бесконечным.

Восхитительные дни, полные смеха, поцелуев, словно мы два подростка. И дни ужасные, нервозные, с комплексом вины, когда искра легко может перекинуться на бочку с порохом. Ее грусть, нежный взгляд, усталость. Ее озорство, игривость, улыбки. Ее жесткость, равнодушие, грубость. Она переменчива, как море. Р. все больше молчит, грустит, отдаляется от нас, ситуация становится все более явной. Скоро неминуемо случится взрыв. Сегодня — особенно ужасный день. Мы сидели в кафе; Р. придрался к какой-то мелочи и довел Э. до слез. Она убежала. Мы с Р. сидели и молчали, впереди — жуткий, напряженный день. В отсутствие Р. мы с Э. вели серьезный разговор. Она жалеет его, из чего я заключаю, что она

по-прежнему находится под влиянием мужа. Если она уйдет, "это разобьет его жизнь". Я намекнул на то, что может случиться в Англии, но она не поддержала эту тему. Жизнь здесь, солнце и море, дни, похожие друг на друга, нежелание смотреть вперед. Мы живем одним мгновением, от наслаждения до наслаждения, кое-как обходя рискованные ситуации. Восхитительное роковое скольжение. Прыжок в реальность будет страшен. Если бы Э. захотела, думается мне, я прошел бы через все испытания — их разрыв и развод, поиски новой работы и так далее. Но пока я не совсем уверен, что получу ее всю. Я страстно хочу Э., мне нужно ее общество, однако я не уверен в стабильности ее чувств и уважении (ко мне), а такая уверенность необходима, если ты намерен совершить столь важный шаг. Я вижу в ней девическое влечение ко мне, что-то вроде запоздалого подросткового чувства, ведь я смешу ее, поддразниваю и страстно добиваюсь. Но это влечение — не любовь. Она часто говорит: "Ты такой милый", "Ты просто прелесть". Но любви нужны характеристики посерьезнее.

Любовь так быстро утрачивает новизну. Подобные романы нужно непременно прекращать после первой же недели. Это как погружение в холодную воду — сначала захватывает дух, зато потом получаешь огромное удовольствие (оттого, что не превратил роман в рутину). Любовь — порча. Никогда бы не поверил (Э. говорит то же самое), что стану с такой легкостью обманывать Роя, так усердно, так часто. Вчера мы были одни, разделись, рухнули обнаженные на кровать и только чудом удержались от последнего шага. Такой внезапный взрыв вожделения пугает меня. Рядом бегает ребенок, смотрит. Иногда мне кажется, что она все понимает.

Ситуация с каждым днем становится все более неестественной. Мы с Э. не можем скрыть наше желание остаться наедине. День за днем мы обманываем Р., притворяемся, что нас беспокоит его судьба, а сами обращаемся с ним как с попрошайкой. Никогда не думал, что любовь может превратить человека в негодяя. Теперь Р. иногда бросает в мою сторону дикий, подозрительный взгляд. Первое время я пребывал в гнусной эйфории от своей сокрушительной победы. Ведь я так легко похитил у него Э., она моя до такой степени, что свободно говорит со мной о нем и передает его слова обо мне. Теперь же я чувствую к нему жалость — моя роль мне отвратительна. Однако невозможно сопротивляться растущему чувству, влечению, симпатии, желанию, любви между мною и Э. Мы пытаемся сопротивляться, но каждый раз проигрываем. Р. по большей части пребывает в одиночестве, его мучают невысказанные упреки. Мы же то грустим, то безудержно веселимся. Если оказываемся втроем, молчим или говорим банальности. Сегодня мы с Э. долго говорили об Англии и о том, что там с нами будет. На горизонте уже маячит развод. Пришла любовь, неожиданная, сильная, глубокая. Последний страстный поцелуй вечером у лестницы, ведущей на крышу.

Любовь растет с каждым днем; положение стало чрезвычайным. Мы с Э. все время вместе. Роя видим только за едой, потом исчезаем. Он пишет книгу и, похоже, не замечает романа под самым своим носом. Мы так часто целуемся и в такие опасные моменты — когда он на секунду выходит из комнаты или в местах, где нас могут увидеть, — что рано или поздно нас уличат. Наверное, Р. думает, что у нас всего лишь флирт. Иногда он даже

снисходительно мне улыбается, как бы говоря: "Да знаю я, что происходит, мой друг, между тобой и Элизабет". Не представляю, что случится, если он поймет, какую страсть и нежность пробудили мы друг в друге, насколько сильно он обманут и предан. Теперь мне ясно, что он никогда не понимал Элизабет, как и прочих людей, — для этого он страшно эгоцентричен. Он выдумал для себя некую Элизабет, совсем не ту, какую видит любой обычный умный человек. Я чувствую, как она стремится к нормальному состоянию, стабильности, естественным любовным отношениям. Она даже утратила собственный возраст, так он давил ее своими тридцатью двумя годами. Мне же, как и ей, двадцать семь; и я иногда бываю шаловливым и юным. Р. — личность сложная, он озабочен философскими и церковными проблемами, а также проблемами плоти[1]. Первый раз он женился еще умненьким студентом; в семье был деловой стиль, современный, с честолюбивыми устремлениями. Этот союз распался. Второй брак был чем-то вроде мистической связи, но свет амбры не помог[2]; затем Элизабет. Еще был бурный роман с финкой, но там о физической близости речь даже не шла. Были и другие романы. Роя я воспринимаю как представителя нравственно неуравновешенной, яростной, антиобщественной силы, не отрицая его стилизаторский талант в искусстве. В каком-то смысле он пародия на Лоуренса. Любопытно — ведь он же не дурак, во всяком случае, человек не бесчувственный, — как он представляет себе наши с Э. отношения? Они оба живут в постоянном напряжении, противоестественно, в атмосфере "мыльного пузыря", каковой я намерен проткнуть. Лично я не смог бы жить с человеком, если между нами разверзлась пропасть, я попробовал бы ее преодолеть, а вот он живет.

Я с каждым днем все больше восхищаюсь Э., загадочной, искренней, нежной, чувствительной, в ней есть все, что хочешь видеть в женщине. Иногда она бывает тиха, молчалива, не склонна к размышлению или к разговорам, и это может раздражать такого болтуна, как я. Но под внешней своевольностью и женским упрямством у нее много надежных, земных, здравых качеств. Ее тип красоты никогда не устареет. Зеленые глаза, они могут быть холодными, а могут таять от нежности, великолепные плечи, маленькая грудь и самое стройное на свете тело. Элегантная нескладность. В ней наверняка есть благородная кровь.

Как меняется любимое лицо! Стоит закрыть глаза, и появляется новое лицо, словно выплывающее изнутри, — его не увидишь, когда глаза открыты, как бы сильно вы ни любили друг друга.

Днем лежим на холме, в пятнистой тени от пихты, целуемся, разговариваем, часами любуемся синим морем и Арголисом за ним.

Э. попросила ничего не писать о ней в дневнике. Но я люблю ее так сильно, что не могу не писать. Если это предательство, тогда оно современный вариант ситуации из "Похищения локона"[3]. Грех из-за любви. Если я что-то и предавал, то этот дневник — никогда.

1. Вскоре после знакомства с Элизабет Рой Кристи, воспитанный в методистской вере, перешел в католичество, попав под влияние католического мистика и духовного руководителя по имени Фредерик Лор.
2. После развода в 1948 г. с первой женой, Мари, Рой почти сразу же женился снова, как вспоминает Денис Шаррокс, "на какой-то богачке — возможно, американке, но она сбежала в первый же день медового месяца".
3. В поэме Александра Попа "Похищение локона" (1714) "предприимчивый барон" проводит день в обществе молодых красавцев и красавиц во дворце Хэмптон-Корт. Когда он срезает локон у Белинды, она бросает ему в лицо щепотку табаку и атакует со шпилькой в руках.

"Иначе нас ждет конфронтация цивилизаций..."

Беседа с д-ром Абрахамом Петером Кустерманом

В ноябре 2005 года во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы проходила церемония вручения премии имени отца Александра Меня. Лауреатом премии стал д-р Эрнст-Йерг фон Штудниц, в 1995—2002 годах чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Российской Федерации, а ныне председатель правления Германо-Российского форума. Награду он получил "за заслуги по упрочению российско-германских связей в духе добрососедства и взаимопонимания, по развитию российско-германского диалога в сфере политики и культуры, а также за плодотворную деятельность в должности посла Федеративной Республики Германии в Российской Федерации и за неустанные усилия на посту президента Германо-Российского форума, направленные на распространение и признание достижений русской культуры, ее духовных и нравственных ценностей". В связи с этим событием в гостях у "ИЛ" побывал д-р Абрахам Петер Кустерман, директор Академии католической епархии Ротенбург—Штутгарт, одной из организаций-учредителей премии, теолог и специалист по взаимоотношениям между христианской, иудейской и мусульманской конфессиями. Мы печатаем запись состоявшейся в редакции беседы.

"ИЛ". Господин Кустерман, мы рады знакомству, рады приветствовать вас у себя. Наш журнал, как и ваша организация, всегда старался способствовать сближению между народами. По существу, именно благодаря "ИЛ" – точнее, благодаря сотрудничающим с нами прекрасным переводчикам, – немецкая послевоенная литература стала фактом российской действительности. В советский период мы были чуть ли не единственным окошком в "железном занавесе", были законодателями в своем роде, потому что издательства печатали иностранных авторов, как правило, уже после нас.

Абрахам Петер Кустерман. Ваш опыт работы в замкнутом пространстве действительно уникален. В нынешнем германском обществе просто невозможно представить себе такие условия, в которых вам приходилось жить и работать. А как обстоят у вас дела сегодня?

"ИЛ". Сегодня ситуация изменилась. Началась рыночная конкуренция. С этим связаны определенные трудности. Тем не менее мы продолжаем работать и только за последние два года выпустили, например, два специальных номера, посвященных новейшей немецкой литературе, а также австрийский и швейцарский номера. Мы хотели бы, господин Кустерман, в свою очередь, задать вам вопрос: что представляет собой ваша организация, давно ли она существует, каковы ее цели?

А. П. К. Вообще церковные академии существуют в Германии с 1945 года, но большинство из них возникло в 50-е годы. После окончания войны очень многие испытывали ощущение, что общество и церковь

потерпели крах во время печально известных исторических событий. Победа национал-социализма, пусть временная, свидетельствовала о том, что церковь, хотя и не прерывала своей проповеднической, катехизационной деятельности, в нацистский период почти не оказывала влияния на общественное сознание. А ведь церковь – одна из частей гражданского общества, она должна иметь гражданско-общественную ипостась. Поэтому после краха нацизма и протестантская, и католическая церковь выдвинули идею контакта, встречи церкви и "мира", то есть светского общества. Инициатива, собственно, исходила от протестантской церкви, но и католики очень скоро эту инициативу поддержали. Общество изменилось, и от обеих церквей потребовалось совершенно новое самосознание. Людей надо было интегрировать в демократическое государство. Ни демократия, ни церковь – в отрыве одна от другой – с такой задачей не справились бы. Интеграционным процессом в обществе занимались, конечно, самые разные учреждения, но что касается церкви, то решение данной задачи взяли на себя именно церковные академии. Они были специально созданы как удобные организационные формы религиозной деятельности в миру.

"ИЛ". Господин Кустерман, а почему все-таки такие организации называются "академиями"? У нас, в России, слово это связывается с несколько иными представлениями...

А. П. К. Вы помните, конечно, что в эпоху античности под "Академией" понималась философская школа Платона. Платон сознательно назвал свою школу скромно, просто по месту – священной роще, – где она находилась. Роща же была посвящена мифическому герою Академу. А теперь я перенесусь во времени на полторы тысячи лет, и мы с вами вспомним, как обстояло дело в эпоху Просвещения. К тому времени в университетах, которые в Средние века были одновременно и образовательными, и церковно-духовными учреждениями, разрушилась взаимосвязь между той и другой составляющими: богословы не проявляли интереса к успехам естественных наук, замкнулись в традиционной догматике, никакого развития их взглядов не происходило. Было очевидно, что университеты нуждаются в обновлении, прежний способ их существования устарел. Возникла потребность в свободном и антидогматическом диалоге между учеными, с одной стороны, теологами и религиозными деятелями – с другой. Сообщества, или содружества, в рамках которых такой диалог мог вестись, в самом деле возникали – их стали называть академиями. В XIX веке создавались уже "академии наук", в Германии их всегда было много, несколько существует и до сих пор, в отличие от России, где есть только одно такое учреждение. Во всяком случае, немецкая традиция со словом "академия" всегда связывает представления о свободной дискуссии, свободном обмене мнениями. Лишь позднее, уже на исходе XIX столетия, академиями стали называть и чисто образовательные учреждения: специализированные высшие учебные заведения, небольшие по сравнению с университетами.

Но интересно, что после Второй мировой войны немцы вернулись к прежнему, первоначальному представлению о том, что такое академия: не образовательное учреждение, а именно место свободного обмена идеями. И, кстати говоря, в послевоенный период слово "академия" долго обозначало только церковные академии. Когда говорилось: "Я поеду в академию" или "В академии состоится такое-то мероприятие", всегда было ясно, о чем идет речь.

"ИЛ". И как же складывалась история церковных академий? Как вписывались эти организации в совсем не простую, не бесконфликтную жизнь послевоенной Западной Германии?

А. П. К. Первая – евангелическая – академия начала работать в

1945 году под Штутгартом. За ней последовали другие, тоже евангелические, – в Нижней Саксонии, в Баварии. У католиков дело несколько затянулось: долго спорили о концептуальной модели, которая должна лечь в основу деятельности подобных организаций. Ватикан полагал, что задача академий – наставлять мирян. Но в конце концов была избрана не эта модель "католического действия", а другая, базирующаяся на идее общественного диалога самых разных сил, направлений и течений, ведь именно в столкновении мнений может родиться новое, полезное и для самой церкви.

Если говорить о политике, то попытка объединить конфессии, в каком-то смысле их интегрировать, удалась в рамках христианско-демократического союза. Этот конфессиональный плюрализм во многом был воспринят академиями. Но, кстати сказать, и очень многое из того, что позже вошло в программу христианских демократов как политической партии, рождалось на академических дискуссиях, в спорах внутри академий. Зачастую бывало даже, что люди, которые активно работали в академии, получали и какие-то политические функции в рамках христианско-демократического союза. Однако такая ситуация характерна, пожалуй, только для первых десяти лет. Потом академии стали дистанцироваться от политических течений. С годами у них даже возникла направленность, которая противоречила господствовавшим тогда политическим тенденциям. Ну например, академии в целом выступили против курса на вооружение, на создание бундесвера... Другим, очень важным направлением деятельности академий было обсуждение проблем социально ориентированного рыночного хозяйства, и здесь, в дискуссионном плане, академии сыграли колоссальную роль в формировании той модели, которая типична для хозяйства нынешней Германии.

Если попытаться теперь подвести итоги, я бы сказал следующее. В конце 60-х годов евангелические академии очень сильно политизировались, а с другой стороны, сделались чем-то вроде образовательных учреждений, народных университетов. Позднее они начали серьезно заниматься миротворческими вопросами и проблемами экологии. С 1978 года – также взаимоотношениями западных и восточноевропейских стран.

"ИЛ". Простите, вы говорили именно о евангелических академиях или о церковных академиях вообще?

А. П. К. Католическая церковь, католические академии переживали несколько иной процесс. Тут я должен напомнить, что в самом начале 60-х годов состоялся Второй Ватиканский собор. Любопытно, что люди, которые играли важную роль в западногерманском католическом движении, оказали определяющее влияние и на решения этого собора. Нынешний Папа, к слову сказать, семь раз выступал в нашей академии, и всегда – с прогрессивными трактовками различных тем. Принцип открытости, провозглашенный Вторым Ватиканским собором, очень сильно повлиял на католическую церковь в целом. И следует заметить, что это новое мышление популяризировалось в первую очередь католическими академиями. Католические академии – пожалуй, даже больше, чем евангелические, – стремились к диалогу внутри самой церкви. Это особенно важно, потому что всегда присутствовала угроза католической реакции.

Что касается нынешнего времени, то теперь евангелические и католические академии нередко работают сообща, участвуя в совместных крупных проектах. Происходит, так сказать, межцерковный диалог – по самым разным тематическим направлениям. Диалог не только внутри самой Христианской Церкви, но и – прежде всего – с другими конфессиями.

"ИЛ". Не могли бы вы привести пример такого межконфессионального диалога?

А. П. К. Ну, скажем, взаимоотношения с исламской общиной Германии, достаточно крупной. В первую очередь это турецкие эмигранты, приехавшие и приезжающие к нам в поисках заработка. Уже на протяжении двадцати лет многие немцы тешат себя иллюзией, что эта проблема — временное явление, что она как-нибудь сама собой "рассосется". Только церковные академии всегда старались убедить общественность в том, что мусульмане останутся здесь навсегда. Теперь одна из главных наших задач — вовлечь живущих в Германии мусульман в межнациональный и межрелигиозный диалог. Задача эта сложная, она имеет и теологический, и социальный аспекты.

Сейчас, если говорить конкретно, мы пытаемся добиться того, чтобы уроженцы мусульманских стран, осевшие в Германии, не отрывались от исламской традиции, чтобы они усваивали основы своей конфессии.

Дело в том, что в Германии религиозное обучение сейчас ведут не учителя, то есть государственные чиновники, а священнослужители — представители разных конфессий. Каждая религиозная община, если она официально зарегистрирована, имеет право на то, чтобы ее священнослужители преподавали в школах. Модель замечательная, и многие государства завидуют нам. У нас действительно существует свобода совести. Каждый свободен в своем религиозном выборе.

Но, конечно, до сих пор сильны традиции — закрепленные и в государственной конституции, и в конституциях земель, и в других документах, — которые определяют деятельность церкви и школы таким образом, что христианская конфессия получает определенные преимущества. Потому что традиционные нормы не вполне подходят для ислама: уровень организованности среди мусульман очень низок, они в Германии слишком разобщены. Один из референтов нашей академии занимается исключительно этим — консультациями с различными структурами, в том числе и государственными (министерствами, например), с целью разработки новых концепций. Главная проблема здесь — каким образом приспособить нынешние нормативные положения к изменившейся конфессиональной ситуации.

Дело трудное, поскольку в Германии практически отсутствуют такие преподаватели исламской теологии, которые сами были бы носителями исламской традиции. Имеется, правда, кафедра исламской теологии во Франкфуртском университете, и она готовит преподавателей. Мы же пытаемся организовать диалог между теми молодыми людьми, которые занимаются христианской теологией, и теми, которые интересуются теологией исламской. Уже сейчас действует христианско-исламский форум, в работе которого принимает участие в общей сложности около семидесяти человек, с исламской стороны тоже, и надо сказать, что круг их разрастается. Мы готовим публикации докладов на форуме, и публикации эти пользуются большим спросом, поскольку других источников информации по данному вопросу нет. То есть мы, можно сказать, не просто ведем диалог с мускульманами, но помогаем самим мусульманам обрести необходимый для такого диалога язык.

"ИЛ". То, что вы, господин Кустерман, рассказываете, в самом деле интересно: ваш опыт может пригодиться и в иных странах, иных культурных ситуациях. Хотелось бы, чтобы вы вкратце охарактеризовали также другие направления деятельности академии.

А. П. К. Конечно, для нас важны и другие направления работы, не только христианско-исламский диалог. Надо заметить, что мы считаемся одной из наиболее крупных академий в Германии. За каждое направление отвечает так называемый референт, который самостоятелен и автономен в своих решениях. У нас девять активных референтов — это довольно много. Один из

них ведет общественно-политический сектор: занимается проблемой эмиграции, в том числе правами и социальным положением иностранцев в Германии, подготовкой тех людей, которые собираются работать в сфере культурных коммуникаций.

Еще один референт в рамках темы "Политика – общество" занимается проблемой глобализации. В сфере его ведения в основном вопросы взаимоотношений Севера и Юга. Прежде всего Южная Америка и Азия в их взаимосвязи с Европой. Тот же референт занимается проектами, которые непосредственно связаны с Россией и затрагивают, например, проблему экономической этики.

Есть еще референт по социальной работе, отвечающий за диалог с общественностью, за проекты, которые связаны с социальными реформами, осуществляющимися сейчас в Германии.

Есть, кроме того, сектор "Искусство и культура". Занимаемся мы в основном изобразительным искусством. У нас имеются два больших комплекса для проведения конгрессов, с выставочными залами. Мы организуем там ежегодно до шести крупных выставок современного искусства. И, естественно, в рамках таких мероприятий, вокруг них всегда завязывается диалог по вопросам современного искусства, современной культуры. Референт, отвечающий за этот сектор, занимается также и историей. Мы – единственная немецкая церковная академия, проявляющая интерес к исторической тематике.

Одна из наших традиционных тем, всегда вызывающая колоссальный интерес у специалистов всего мира, это изучение ведьмовства. Я имею в виду процессы против ведьм и колдовства, то есть историю религиозного менталитета, знание которой важно для современного человека: мы ведь должны отдавать себе отчет, как много осталось еще в нас от Средневековья.

Еще мы затеяли один большой проект, который будет посвящен памяти и воспоминаниям – культуре памяти и культуре воспоминаний; мы постараемся реализовать его в будущем году. Дело в том, что через шестьдесят лет после окончания войны в общественном сознании немцев произошел тревожный перелом. Вспоминая годы нацизма, немцы уже не осознают себя преступниками и носителями зла – они скорее чувствуют себя жертвами. А "преступниками" (по отношению к ним, немцам) стали в их восприятии другие. Немцы действительно понесли в те годы большие потери, но при таком взгляде на вещи нарушаются причинно-следственные связи.

И, наконец, у нас есть сектор теологии. Лично я, работая в нем, занимаюсь академическими контактами между двумя христианскими церквями – католической и православной. Мой коллега специализируется на отношениях между религией и наукой. Существуют "ножницы" между теологической и естественно-научной мыслью, а нам кажется, что это неправильно, что нужно искать пути для взаимопонимания. Еще у нас есть образовательные программы для журналистов. Одна женщина-референт занимается театром, оперой, балетом; следует упомянуть и философское направление.

"ИЛ". Скажите, пожалуйста, сколько же у вас всего сотрудников?

А. П. К. Если считать всех, то примерно пятьдесят. Если брать только референтов, ведущих определенные направления, то восемь, по числу направлений, и скоро добавится еще один.

"ИЛ". Вы, кажется, упомянули, что академия занимается и издательской деятельностью. Сколько книг в год – примерно – у вас выходит?

А. П. К. Трудно ответить определенно, поскольку мы не имеем собственного издательства, а сотрудничаем с другими. Ведь мы выпускаем такие книги, которыми книжный рынок может и не заинтересоваться. Поэтому обычно мы сами делаем очень небольшой пробный тираж, чтобы издательства имели возможность сориентироваться.

"ИЛ". И последнее. Верите ли вы сами в возможность конструктивного диалога между христианами и мусульманами?

А. П. К. Сразу и без колебаний отвечаю: да. Но только в том случае, если в обществе будут созданы структурные предпосылки для такого диалога. Вот, например, боснийский ислам — ислам европейского типа — был практически уничтожен в результате известных трагических событий. Я полагаю, в Германии уже сформировался некий самостоятельный вариант ислама — способный к диалогу. Также могли бы возникнуть французский и, может быть, российский варианты ислама, которые тоже вступили бы в межконфессиональный диалог. Согласен, задача трудная, и все же решать ее надо, жизненно необходимо. Иначе нас ждет конфронтация цивилизаций.

Эрнст-Йерг фон Штудниц

Речь при вручении премии имени отца Александра Меня

14 ноября 2005 года

Перевод с немецкого Е. Араловой

Выступая на сегодняшней церемонии, я хотел бы прежде всего выразить глубокую благодарность за ту честь, которую мне оказали, присудив премию имени Александра Меня за 2005 год. Это в первую очередь благодарность премиальному жюри — коллегии, куда вошли представители таких достойнейших учреждений, как Академия католической епархии Ротенбург—Штутгарт в Штутгарт—Вайнгартене, Всероссийская библиотека иностранной литературы в Москве, действующая в союзе с кругом друзей Александра Меня, Институт восточноевропейской истории и страноведения при Тюбингенском университете, семинар славистики Тюбингенского университета и московский журнал "Иностранная литература". В момент учреждения этой премии, как и сегодня, когда ее в очередной раз вручают, перед ними стояла общая задача — сохранить память об отце Александре Мене и его делах. Сегодня, когда мне присуждается премия его имени за особый вклад в духовное и культурное сближение народов России и Германии в интересах мирного и гуманного построения Европейского дома, я хотел бы сказать о том, как восхищал и вдохновлял меня духовный мир отца Александра Меня с тех пор, как я познакомился с деятельностью этого великого человека.

Мое знакомство с ним началось с того, что я узнал об обстоятельствах его смерти. Страшная гибель этого удивительного человека показывает, что он был истинным последователем Иисуса Христа, убитым именно за свое христианское свидетельствование. Евангелие называет

© Ernst-Jerg von Studnitz, 2005
© Е. Аралова. Перевод, 2006

таких людей истинными апостолами. Это был человек, действительно живший во имя своей христианской веры и принявший за нее смерть. Пути и судьбы людей настолько различны, что невозможно ни от кого требовать адекватного повторения того, что сделал Александр Мень. Ведь в его случае речь идет о человеке, который совершенно сознательно принес определенную жертву, и ждать от кого-то повторения того, что он сделал, мы не вправе. Жертву приносят по доброй воле: ее нельзя ни от кого требовать. Не бывает жертвы по принуждению. Однако такой человек, как Александр Мень, может своей жизнью и смертью призвать к преемственности — к той же безоговорочной ясности убеждений, с которой сам он прошел свой жизненный путь. В этом он стал примером для многих, и именно в наши дни.

Людям нашего времени свойственны самолюбование и нежелание следовать каким-либо образцам. Но это — следствие нескромности и завышенной самооценки. Нельзя определить критерий для своей деятельности, опираясь только на самого себя. Такой критерий будет сугубо индивидуальным, необязательным для других. Александр Мень, твердо верующий христианин, считал своим ориентиром Иисуса Христа и передал этот опыт всем людям, которые следовали за ним как при его жизни, так и после смерти. Благодаря тому, что они видели жизнь и деятельность Александра Меня, многие, очень многие люди смогли приникнуть к христианству как к источнику сил, из которого черпал силы для жизни и он.

В благодарственном слове, произнесенном по такому поводу, нельзя не коснуться личного. Поэтому позвольте мне сказать несколько слов о том, почему лично я убежден в необходимости внутренних ориентиров как в повседневной жизни, так и при исполнении служебных обязанностей, особенно таких, какими были мои обязанности посла Германии в Москве с 1995 по 2002 год. Уже очень давно вошло у меня в привычку каждый день читать Евангелие. О таких вещах обычно не говорят. Ведь это занятие дает внутреннюю энергию и спокойствие, необходимые для решения проблем, встающих перед нами изо дня в день, только в том случае, если не привлекать к нему излишнего внимания. Замечу все же, что такое чтение помогает мне смотреть на повседневную жизнь — на ее волнения, успехи и неудачи — с некоторой дистанции. Я всегда осознавал, что будничная жизнь преходяща. Очень важно каждый день добросовестно исполнять свои обязанности, но не менее важно и другое — не преувеличивать собственную роль. К моему удивлению, когда я несколько раз заговаривал об этих, очень личных, переживаниях с коллегами, они признавались, что смотрят на жизнь сходным образом. Мы пришли к выводу, что необходимо чем-то уравновешивать бури наших будней.

Из такой внутренней позиции вытекают и иные мысли, относящиеся к профессиональной деятельности. Духовный мир человека и мир ежедневной рассудочной деятельности не обязательно должны быть разделены — лучше сказать, их вообще не нужно разделять. Именно тогда, когда важно составить правильное мнение о людях, — например, чтобы добиться плодотворного сотрудничества, — нужно опираться на ценностное сознание, пробуждающее в нас такие силы и мысли, о существовании которых мы и не подозревали. Самые лучшие идеи появлялись у меня, как правило, тогда, когда я не подходил к вопросу предвзято, с заранее сформированным мнением, а просто вникал в ситуацию или выслушивал аргументы других, чтобы потом охватить и продолжить их своей мыслью, — именно таким образом может возникнуть что-то действительно новое. Я сейчас поясню, что́ я имею в виду, на примерах из моей работы в России.

Я хорошо помню учредительную конференцию Российского еврейского конгресса в январе 1996

года. Тогда я получил официальное приглашение, но даже не подозревал, что мне придется произнести на Конгрессе приветственное слово – эта просьба застала меня врасплох. Я выступил экспромтом и сказал, что очень рад как посол Германии присутствовать на таком мероприятии: ведь именно на немцах лежит немалая доля вины за то, что Еврейский конгресс не был учрежден раньше. Я сказал, что приветствую благоприятную перемену: времена изменились настолько, что теперь немецкий посол может принять участие в этой торжественной церемонии. Отклик на мои слова был положительным, и в результате в последующие годы меня всегда приглашали на подобные мероприятия. Люди, претерпевшие ужасные страдания, обратились ко мне с дружественным жестом. Я ответил им тем же и убежден, что между нами возникла новая человеческая связь.

Подобные чувства я испытывал и при общении с россиянами – как с должностными, так и с частными лицами – по поводу открытия немецких военных кладбищ. Как известно, возможность заниматься восстановлением кладбищ, где были похоронены немецкие солдаты, и созданием новых захоронений появилась лишь после окончания эпохи. Раньше существовали только отдельные кладбища военнопленных, практически неухоженные. Я участвовал во многих церемониях открытия, и меня всегда трогало, что российские граждане под впечатлением от хорошего состояния кладбищ советских солдат в Германии воспринимали достойное погребение павших в России немцев как дело своей чести. Знаменитые слова Суворова: "Война закончена только тогда, когда похоронен последний солдат" воспринимаются здесь как приказ. Выступая на подобного рода церемониях, я всегда в первую очередь благодарю россиян за этот – совсем не самоочевидный – поворот в сознании и к благодарности присовокупляю просьбу ухаживать за могилами. Здесь же я должен сказать и о чествовании павших в войну советских граждан. Я хорошо помню, как во время праздничного приема в Кремле 9 мая 1996 года один высокопоставленный российский политик с уважением и похвалой отозвался о том, что в столь знаменательный для России день я нахожусь рядом с ним и его коллегами.

В обеих описанных мною ситуациях для меня было и остается важным представить себя на месте людей, которым пришлось вынести столько несчастий из-за развязанной Германией войны. И когда мне это удавалось, позиция русских, с которыми мне доводилось общаться, менялась: я чувствовал, что они больше не испытывают вражды к немецкому народу, по-настоящему примирились с ним. Конечно, войну невозможно забыть – и ее нельзя забывать. Но в словах, которые мне говорили: оба народа, немцы и русские, перенесли в последней войне столько ужасных страданий, и об этом нельзя забывать, поэтому нужно совместными усилиями сделать все, чтобы такое не повторилось, – в этих словах чувствовалась готовность к примирению.

Эти слова показали мне, насколько сильна связь между немцами и русскими. В поисках истоков такой общности я пришел к мысли о том, что каждый из двух народов испытывает огромное уважение к культуре другого. Великие русские писатели, поэты и музыканты оказали огромное влияние на культурную жизнь Германии XIX и XX веков. А с каким уважением относятся в России к немецким философам, поэтам, композиторам и ученым! Радостно видеть, что и Вторая мировая война не разрушила этого почитания культурных достижений друг друга. Культурные связи между нашими народами всегда были сильнейшим стимулом в моей работе как в должности посла, так и сейчас, в Германо-Российском форуме, и я хотел бы способствовать укреплению этих связей. Я полагаю, что забота о культурных контактах на всех уровнях даже важнее – в долгосрочной

перспективе, — чем впечатляющие государственные соглашения, эффект которых часто оказывается недолговечным. Мне приятно отметить, что руководители наших стран поняли это, и потому в 2003 и 2004 годах каждый из них попытался всесторонне представить свою культуру в другой стране. Я убежден, что эти семена со временем принесут полновесные плоды.

Все сказанное подводит нас к еще одному связующему звену между немцами и русскими, значение которого я всегда осознавал, считая своей важной задачей всячески его укреплять. Я имею в виду контакты нашей молодежи. Нам чрезвычайно повезло, что с концом советского режима возникла возможность для самых разных контактов среди подрастающего поколения. Сам я, участвуя в студенческом обмене между Германией и Америкой, на собственном опыте понял, насколько обогащает внутренний мир молодых людей их пребывание в другой стране. Попав туда, они своими глазами видят, что многое можно сделать иначе, на многое — иначе взглянуть; решения, найденные в другой стране, иногда оказываются лучше, чем то, чему мы научились дома. В результате возникает желание применить на родине то, с чем мы познакомились в гостях, следовательно, происходит культурный обмен и взаимное обогащение опытом. Мне было очень приятно, что Фонд немецкой экономики положительно отреагировал на мое предложение создать специальный стипендиальный фонд для российской молодежи. В результате с 1997 года нам удалось организовать годовую стажировку в Германии уже для нескольких сотен российских студентов, совместивших учебу в Германии с престижной производственной практикой.

Значение молодежных контактов для роста взаимопонимания еще более прояснилось для меня, когда я познакомился с работой молодых немцев, выбравших альтернативную гражданскую службу вместо службы в армии. Эти молодые люди обязались в течение целого года практически даром ухаживать за тяжелобольными, оказавшимися в особо неблагоприятных обстоятельствах — в домах для престарелых или домах инвалидов, — облегчая по мере сил их участь. Такие решения меня всегда восхищали, и со своей стороны я старался помогать избравшим подобный путь всякий раз, когда считал это необходимым и когда — что случалось нередко — у меня была такая возможность. В этом меня неустанно поддерживала в первую очередь моя жена.

Содействие молодежным проектам осталось для меня потребностью и после окончания моей деятельности как посла Германии в России. Прекрасную возможность для такого занятия дает мне работа в Германо-Российском форуме. Основное направление деятельности Форума — это именно содействие молодежи. В качестве примера могу сослаться на семинары для подрастающих руководящих кадров, проходящие два раза в год по неделе — в Германии и в России. Здесь встречаются молодые люди, которым предстоит в скором времени взять на себя ответственность за судьбы наших стран. Важно, чтобы они познакомились как можно раньше, чтобы у них сложились доверительные отношения в том возрасте, когда человек еще только формируется. Именно эта идея, возникшая в период моей работы послом, послужила стимулом для работы Форума. Например, существует ощутимая потребность и желание — прежде всего со стороны российских школ — укреплять партнерские отношения между школами. Дружба, возникшая в школьные годы, нередко оказывается самой прочной. Контакты между школами России и Германии вызывают у учеников интерес к иностранному языку и могут стать отправным пунктом для выбора будущей профессии с международной перспективой. Эта инициатива нашла живой отклик во время съезда школьников в июне 2004 года, связанного с визитом госпожи Пути-

ной в Берлин, к госпоже Шредер-Кепф, в рамках которого было заключено сразу 12 новых договоров о партнерских отношениях между школами. Это начинание будет продолжено, хотя, принимая во внимание разделяющие партнеров расстояния, контакты потребуют и от учительского персонала, и от родителей учеников очень активного участия, в том числе финансового. Мне приятно отметить, что нам удалось включить пункт о школьниках и школах-партнерах в соглашение о молодежных обменах между нашими странами, за это активно выступал и Германо-Российский форум.

Хотелось бы поговорить также о городах-побратимах, то есть о партнерских отношениях между городами России и Германии. На сегодняшний день таких пар уже около ста. Казалось бы, это немало — но и немного, если сравнить, например, с Францией, где существует более 600 городов-побратимов с немецкими городами и поселками. Существенные препятствия для возникновения подобных российско-германских контактов — географическая удаленность и языковой барьер. Однако и здесь мне известно много положительных примеров. Гораздо проще завязывать контакты "снизу", так, чтобы они развивались силами самих граждан или, как я уже говорил, школ, — чем строить их на основе соглашений "сверху", идущих от мэра и городской администрации. Во втором случае партнерские связи зачастую не выходят за рамки официальных встреч, работающих вхолостую и не приводящих к реальным контактам. В итоге отношения вскоре угасают. И наоборот, контакты на основе личных связей между гражданами, поддерживаемые разнообразными совместными проектами, развиваются и крепнут. Им охотно оказывают посильную помощь и официальные городские власти. Разумеется, и Германо-Российский форум считает эту область возможной сферой приложения своих сил и расширения германо-российского диалога.

Все то, что я описал здесь, связано и с Александром Менем, в память которого мы проводим сегодняшнюю встречу. В своей деятельности он всегда ориентировался на конкретного человека, русского человека советской эпохи. Отдельный человек в тот период значил ничтожно мало. Но Александр Мень знал, что отдельный человек — это и есть самое главное. Поэтому он обращался к отдельной личности, укрепляя ее силы и дух, помогая ей справляться с жизненными трудностями. Он понимал, что попытка вселить мужество в конкретную личность воспринималась тогдашней российской властью как вызов. Но он понимал и то, что хочет оставаться верным себе, и поэтому не свернул с раз избранного пути вплоть до своей ужасной гибели. Внимание к отдельному человеку как малому, так и великому, и помощь тем, кто в ней нуждается, — это завет, оставленный нам отцом Александром Менем. И если все мы, каждый на своем месте, будем стремиться сделать целью и содержанием своих земных дел благополучие человека — внимая тому же духу, который вел Александра Меня, — мы сумеем придать нашей Земле более мирный и достойный человека облик.

Павел Лемберский
Исповедь нью-йоркского киномана

В кино не был давно, недели две. Хотел на "Войну миров", попал на "Частную жизнь"[1] ("Vie privée"). Ретроспектива Луи Маля в Линкольн-центре, Бардо и Мастроянни в одном плосковатом флаконе образца 62-го года бранятся/тешатся по-английски, она с французским акцентом, он с непонятным, папарацци лезут не в свое дело, Марчелло, позабыв о Брижит, треть фильма репетирует пьесу, Брижит дует губки и меняет наряды, папарацци наглеют на глазах, ослепленная фотовспышкой звезда красиво падает с крыши в замедленном движении. Конец фильма.

Сколько лет прошло в кино? Три года? Пять лет? Я о чистом, минус походы за попкорном и фестивальные очереди, времени. В который раз сопереживая бегущему от кукурузника Кэри Гранту в хичкоковском "На север через северо-запад" ("North By Northwest"), умирая, как в детстве, от смеха на "Этом безумном, безумном, безумном, безумном мире", но уже не с отцом в к/т "Родина", а с ребенком в "Фильм форум", борясь (мысленно) с инопланетными негодяями или сонливостью в полупустом кинозале им. Майи Дерен в "Антолоджи фильм аркайвз" на мучительной "Смерти Эмпедокла" ("La Morte D'Empedocle") по Гёльдерлину в киноверсии Штрауба и Юйе[2]; танцуя полжизни назад в темноте на лучшем рок-фильме всех времен и народов "Stop Making Sense"[3] (1984) в Сан-Франциско или в прошлом году на фестивальном показе видеоклипов в Эдинбурге; накуриваясь перед кодой "Одиссеи 2001 года" или на фильмах братьев Маркс между лекциями; раздумывая: взять за руку сейчас или когда станет ясно, кто убил Лору Палмер. Факультет кино, работу в киноархиве учитывать? Просмотры своего и чужого материала считать? Если да, то скорее пять, чем три.

Остановка на пути в Новый Свет: новогодняя, с 76-го на 77-й, ночь в Риме, переполненный кинотеатр на фешенебельной виа Венето (где вы, Марчелло и Папараццо?), только что вышедший "Казанова" Феллини, все, включая канадца Сазерленда, говорят по-итальянски, и ничего, кроме частого секса, иногда с неодушевленными предметами (что тоже не понятно), не понятно. И после фильма слова отца, который, фанатируя в 60-е, вставал засветло, чтобы попасть на "Сладкую жизнь" где-то на московской окраине: "Нам, скорей всего, уже поздно, но тебе придется приложить усилия, чтобы вжиться в эту новую культуру". Отцу тогда было столько, сколько мне сейчас, и имел он в виду Запад в целом, а не Италию в частности, но я его понял без пояснений. Недавно, уже на культурно освоенном Западе, точнее на западной стороне Манхэттена, выстояли длинную очередь на трилингвистический мизогиничес-

© Павел Лемберский, 2006

1. Здесь и далее в скобках дается оригинальное название в тех случаях, когда у читателя могут возникнуть трудности с идентификацией фильма. (*Прим. ред.*)
2. Режиссеры Даниэль Юйе и Жан-Мари Штрауб сняли этот фильм в 1987 г. Не менее известна их киноверсия "Антигоны" Софокла, 1992 г.
3. Киноверсия одноименного альбома группы "Talking Heads".

кий садо-мазо комикс "Демон-любовник" ("Demonlover") Ассаяса[1], в котором хорошие и плохие менялись местами и перескакивали, как в видеоиграх, на новые уровни, а саундтрек нью-йоркских нойзмейстеров "Sonic Youth"[2] и анимационные эффекты демонтаж монструозного киноконструкта никак не облегчали, но мой вполне американский отец к подобным европейским штучкам давно стал относиться в лучшем случае со снисхождением. А в худшем — затащил его на "Астенический синдром" (мой третий рецидив по счету); реакция: прости, но после двадцати восьми лет жизни здесь мне это уже ни к чему.

"А Тарковский у вас, наверно, на среднего зрителя?" — спросил в середине 80-х профессор кино, благоговеющий перед просвещенной Европой и, по умолчанию, Россией. Вспомнилось "Зеркало", последний фильм перед отъездом. Тоже с отцом, почему-то ночью, почему-то в московском ТЮЗе, полусанкционированный просмотр, переживания: вдруг окажется слабее "Соляриса"; первая встреча с полнометражным госавангардом, Рерберг[3] на высоте, нарратив усложнен: кто эти испанцы и почему акцентирован след чашки на столе? Но мне девятнадцать: глубина и легкий туман — для меня синонимичны. "На самого элитарного", — сказал я профессору.

"Зеркало" с тех пор видел дважды, последний раз лет пятнадцать назад в викторианской снаружи и готической внутри библиотеке "Джефферсон маркет". Понравилось все: след чашки, испанцы, цитаты из переписки с Чаадаевым и даже пожимающие плечами нью-йоркские пенсионеры. С "Солярисом" вышло сложнее. На двойном сеансе научной фантастики, в одном из полдюжины почивших в бозе сан-францисских артхаусов, согласился с сокурсником из Лос-Анджелеса: тридцатиминутная "Взлетная полоса" ("La Jetée") Криса Маркера[4] сильней покатила. И трава тут была ни при чем. Сокурсник с тех пор написал о кино пару книг, я тоже, правда, не о кино, хотя кто-нибудь подсчитает киноотсылки и скажет, что все-таки о кино; а "Солярис" с тех пор я видел еще раз, девятый по счету, и, возможно, последний. С друзьями-интеллектуалами в Нью-Йорке, и тоже в несуществующем уже артхаусе. И на вопрос "А что, Тарковский занятия по монтажу не посещал?" — пришлось улыбнуться: длиннот и вправду оказалось больше, чем терпения к ним.

Все, что нужно для кино, — это девушка и пистолет, сказал великий Сэм Фуллер[5], и был в чем-то прав. Если вы не любите "Роллинг стоунз", вы не любите рок-н-ролл, а если не любите Фуллера — значит, не любите кино, сказал Мартин Скорсезе, и тоже был в чем-то прав. Что нужно для эссе о кино? Перечитать Базена или Делеза не тянет. Выстроить запомнившиеся фильмы в хронологический ряд не получится, да и зачем? Сосредоточить внимание на фильмах, просмотренных более двух раз, и задуматься: почему? Рассказать о необъятном личном проекте: пересмотреть фильмы 77-го и его окрестностей года ("Нью-Йорк, Нью-

1. Оливье Ассаяс (р. 1955) — французский режиссер, редактор журнала "Cahiers du Cinema" (1980–1985). В числе его фильмов: "Беспорядок" ("Désordre", 1986), "Дитя зимы" ("L'Enfant de l'hiver", 1989), "Новая жизнь" ("Une nouvelle vie", 1993), "Конец августа, начало сентября" ("Fin août, debut septembre", 1998), "Ирма Веп" ("Irma Vep", 1996), "Сентиментальные судьбы" ("Les Destinées sentimentales", 2000), "Чистая" ("Clean", 2004).
2. Известная альтернативная рок-группа, основана в 1981 г.
3. Георгий Рерберг (1937–1999) — оператор, снимавший "Зеркало" (1975) А. Тарковского, а также "Историю Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1967) А. Кончаловского, "Обыкновенное чудо" (1978) М. Захарова, "Плюмбум" (1986) В. Абдрашитова и др.
4. Крис Маркер — французский режиссер, фотограф, видеограф, поэт, журналист. Обладатель приза Венецианского фестиваля 1963 г. за лучший дебют (фильм "Прекрасный май"), приза Сезар за документальный фильм "Джанкония" (1983). Среди других известных работ фильм "Sans Soleil без солнца" ("Sans Soleil Sunless", 1982).
5. Сэмюэла Фуллера часто называют "самым популярным режиссером среди режиссеров". Снимал преимущественно триллеры, вестерны, военные фильмы и "films noir". Среди самых известных работ — "Происшествие на Саут-стрит" ("Pickup on South Street", 1953), "Шоковый коридор" ("Shock Corridor", 1963), "Обнаженный поцелуй" ("Naked Kiss", 1964) и др.

Йорк" Скорсезе, "Три женщины" Олтмана[1], "Энни Холл" Аллена[2]) плюс телесериалы ("Такси", "С возвращением, Коттер!", "Старски и Хатч" и др.), чтобы восстановить фон ушедшей эпохи? А может быть, просто вспомнить исчезнувшие кинотеатры юности, а к этому все приложится?

Понаехали рокеры с виджеями, из метрополии или местные — не разберешь. Добродушно-настырный импрессарио упросил выступить. Мучительно долго, на арендованных костылях и в лжегипсе, поднимался на сцену бывшего кинотеатра на Бликер-стрит. Мучительно долго спускался. В промежутке минуты четыре что-то мямлил в темноту клуба. Дефиниция жанра: концептуальный стенд-ап, несмешной, контакта с аудиторией не предполагающий. Но попытка была: помните, здесь кино когда-то показывали, неплохое? "Последнее танго", "Профессия: репортер", помните? Молчание ягнят... Не помнят. Другая тусовка, другая эмиграция. И только при слове "кокаин", которым, согласно телеге, Ибн-Сина лечил якобы упавшего в Альгамбре с мотоцикла меня, зашевелился народ, залопотал: "Йес! Коук! Нормалек!" Месяц спустя ветеран пограничных жанров, писатель Юрграу, рассказывал: в клубах тебя обычно никто не слушает, работают только отсылки к наркотикам, ну и мат еще. Нехитрые секреты мастерства... Через год после ортопедического перформанса один из рокеров опознал в даунтауне: "Костыль"? Я не сразу понял — решил, что это его кличка. Оказалась моя.

...А в "Бликер синема" в конце 70-х и "Отвращение" ("Repulsion") Полански с Денёв давали, и "Презрение" ("Le Mépris") Годара с Бардо и Фрицем Лангом, и "Жюль и Джим" Трюффо. "Лолиту" Кубрика, трилогию ("L'Avventura", "La Notte", "L'Eclisse") Антониони, "Персону" Бергмана... Чего только не давали! "Эдипа" Пазолини, "Сладкую жизнь" Феллини (наконец-то и я увидел!), "Амаркорд"... Персональный проект "Похищенная Европа" там и осуществил, задолго до факультета кино, на двойных сеансах, за полгода какие-то. Там да еще в кинотеатре на 356 плюшевых мест, что под Карнеги-холл располагался. И тот давно закрыли, и этот, и кинотеатр на 8-й, где смотрел "Заводной апельсин" с родителями, а с девушкой — "Монтерей Поп", тот, где Хендрикс сжигает свою гитару, а Таунсенд разбивает... И "Талию", в которой так и не успел побывать, и "Синема студиоз", где остался на второй сеанс "Неба над Берлином"[3] ("Wings of Desire"), но ушел с "Закона желания"[4] ("Law of Desire")... Репертуарных и арткинотеатров в Манхэттене штук семь осталось: "Фильм форум", "Анджелика", "Линкольн синемаз", крошечное "Синема виллидж", два-три новых — и всё. О кинотеатрах-дворцах 20-х и 30-х годов разговор особый — их стали закрывать еще в семидесятые.

Читаешь на специальных сайтах комменты ностальгирующих киноманов: вспоминают, вежливо поправляя друг друга, преобразившийся под двойным нашествием видео и мультиплексов киноландшафт города, волшебные в стиле ар-деко интерьеры кинозалов, Фасбиндера на St. Marks Place, Кассаветиса[5] на Третьей

1. Роберт Олтман (р. 1925) — американский режиссер. Получил известность после фильма "Военно-полевой госпиталь" (1970) о войне в Корее. Среди его работ: "Маккейб и миссис Миллер" (1971), "Долгое прощание" (1973), "Воры, как мы" (1974), "Нэшвилл" (1975), "Свадьба" (1978), "Квинтет" (1979), "Игрок" (1992), "Нарезка кадров" (1993), "Канзас-сити" (1996), "Госфорд-парк" (2001).
2. Фильм Вуди Аллена, снятый в 1977 г. Получил четыре "Оскара": за лучший фильм, режиссуру, сценарий и женскую роль.
3. Фильм Вима Вендерса (1987).
4. Фильм Педро Альмодовара (1987).
5. Джон Кассаветис (1929–1989) — режиссер, актер. Его называют первопроходцем, визионером, духовным отцом американского независимого кино. Его дебютная малобюджетная полнометражная импровизация "Тени" ("Shadows", 1960) с джазовым саундтреком Чарльза Мингуса получила пять призов на Венецианском фестивале. После нескольких фильмов, сделанных в студийной системе, Кассаветис вернулся к независимому кино. Среди фильмов Кассаветиса — "Лица", ("Faces", 1968), "Мужья"("Husbands", 1970), к наиболее удачным относят "Женщину под воздействием" ("Woman Under Influence", 1974) и "Глорию" ("Glory", 1980). Из актерских работ Кассаветиса надо отметить главную роль в фильме Р. Полански "Ребенок Розмари" ("Rosemary's Baby", 1968).

авеню, качество звука (не всегда на уровне), вкус печенья, которое продавали в фойе, и думаешь: запóстить бы и мне на их форумы тоже что-нибудь проникновенное, под говорящим каким-нибудь ником, uznik_dvd, скажем, или madelaine_kinoglaz.

О том, например, как в 77-м во Флашинге, на углу Мейн-стрит и Нортерн-бульвара, в театре-дворце ар-деко за два с полтиной показывали "The Song Remains the Same" (1976) — честный отчет (по словам Джимми Пейджа) о среднем концерте "Led Zeppelin". Тогда не понимал: зачем отчет, ведь концерт-то средний; сейчас думаю: всем бы такой средний. В кинотеатре разрешалось курить все что душе угодно. Что угодно и курили.

Или о первом фильме в Америке: если не Superman, то вспоминается именно он. С родителями и соседом, опять на Мейн-стрит, но не во дворце, а в кинотеатре попроще. Сосед демонстрирует плоды адаптации в Новом Свете и закидывает ноги на спинку пустого кресла; покойный Супермен Кристофер Ривз выказывает чудеса героизма в воздухе; "научивший целое поколение быть грубым" Марлон Брандо в роли инопланетного отца Супермена сверхцивилизован и честно отрабатывает свои четыре миллиона за десять минут экранного времени — контракт астрономический, даже для планеты Криптон... Но маму подвиги "Человека из стали" не занимают, сюжет комикса не цепляет, мама выросла на совершенно других супергероях с загадочными именами: Кривонос, Мамлакат, Карацупа, тем более что завтра маме вставать в шесть утра, чтобы к восьми поспеть на работу где-то у черта на рогах, чуть ли не на Криптоне, и между вторым и третьим вылетом Супермена мама безмятежно засыпает в кресле.

Или о том, как пару лет назад подыскивал место для презентации новой книжки и заглянул в хайтек-клуб "Remote", а там чистенькие и ухоженные юноши и девушки старшего школьного возраста потягивают пивко и щелкают орешки, а на мониторах — презентация классики хардкора "Глубокая глотка" ("Deep Throat", 1972). Всё, кроме мизансцен и звукового ряда, вполне пристойно. После просмотра некто (продюсер?) отвечает на вопросы юных зрителей, вспоминает, как быстро снимали (за 6 дней), как уложились в бюджет (24 тыс. долларов), как не всегда успевали подбить выручку (приходилось торопиться), но фильм, по неточным подсчетам, за время проката собрал 600 миллионов долларов, и так далее. И получается, что сейчас "Deep Throat" — своего рода артфильм для клубной молодежи, да и кинотеатров для легальной демонстрации жесткого порно в диснеизированном Манхэттене не осталось. А в мои, помнится, годы оральные эскапады анатомически неординарной Линды Лавлэйс совсем в других местах показывали (напишу я в своем посте и укажу в каких). Да и зритель тогда поволосатей был и пообтрепанней.

Авангард нашаривался вслепую, квадратно-гнездовым, доинтернетным способом. Опять же в 77 году на углу Пятой и Сорок второй приметил афишку у Публичной библиотеки: "Фильмы Марселя Дюшана[1] в "Китчен". Имя Дюшана знал то ли из интервью с продвинутым Йокой Ленноном в журнале "Роллинг стоун", то ли из совдеповской брошюры "Кризис безобразия". О фильмах Дюшана не знал ничего. О знаменитом центре "Китчен" тоже. Отправился по старому адресу, на Брум-стрит. В просторном лофте — пятнадцать задумчивых артстудентов, на экране крупным планом 8-миллиметровый авангард: цепи, заборы, дверные ручки, шахматные фигуры. Диегезисом не пахнет. Словом диегезис тоже. Нечаянная встреча с богемным даунтауном особого следа не оставила. Наутро делился впечатлениями с коллегой в отделе упаковок женского платья. "На 'Звездные войны' сходи", — посоветовал лаконичный Хосе.

На кампусе между психологией и лингвистикой забрел в темную ауди-

1. Среди киноопытов Дюшана чаще всего вспоминают его фильм "Анемичное кино" ("Anemic cinema", 1926).

торию. На экране миловидная женщина в клешах спасалась бегством от преследователя в черном. Вместо лица у преследователя зеркало. Или зеркало у женщины? Не помню, что заинтриговало больше: четырнадцатиминутный фильм или перспектива ходить в кино, не пропуская лекций. Постфактум идентифицировал "Полуденные сети" ("Meshes of the Afternoon", 1943) бабушки американского авангарда Майи Дерен (Элеоноры Деренковской)[1], к фильмам которой стал относиться с пиететом. Постпостфактум пиетет куда-то пропал, интерес к работам Дерен о культуре Гаити и магии вуду остался.

Уже почти овладев понятиями "бриколаж", "jouissance" и "двойная артикуляция" и совершая частые набеги в сан-францисскую "Синематеку" в первой половине 80-х, высматривал продвинутых в сторону авангарда преподавателей и не понимал, почему не вижу их на структуралистских фильмах Стэна Брекиджа[2] и Пола Шаритса[3]. Бог с ним, с "Племянником Рамо" ("Rameau's Nephew by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen", 1974) канадца Майкла Сноу[4], его-то наши бодрийарки и лаканисты наверняка успели разобрать по кадрам, благо есть что: "события" четырехчасовой ленты "происходят" в пустом салоне самолета. Но как насчет премьеры новых работ Годара для ТВ? Годар ведь это наше всё? И почему нет в зале великолепной Бабетт Мангольт, той самой Бабетт, которая работала DP у нашего кумира — бельгийского "Годара в юбке" Шанталь Акерман[5] и чуть ли не у самого Годара? Бабетт Мангольт, которая поставила мне "А" (до сих пор приятно) за опус "Силиконовая долина: золотая лихорадка 100 лет спустя", но так и не смогла понять, что мне за дело до этих сугубо калифорнийских проблем. Как что за дело, Бабетт?! Живу я тут. (Месяца три назад, давно успев поостыть и к авангарду, и к теории, заглянул в кинотеатр "Уолтер Рид" при Линкольн-центре на фильм Акерман "Завтра мы переезжаем" (2003). И огорчился. Невеселую комедию о трех поколениях евреев во Франции смотреть было неловко. Неудачное кино? Постмод антикомедия? Как-то стало хотеться удачного и не анти).

На факультете говорили "фильм", сказать "кино" считалось дурным то-

1. Майя Дерен (1917–1961) — кинорежиссер, поэт, хореограф, этнограф, теоретик кино и политический публицист. Стояла у истоков "независимого" кинематографа США — ее первый фильм "Сети полудня" ("Meshes of the Afternoon") вышел в 1943 г. За ним последовали "На земле" ("At Land", 1944), "Урок хореографии для камеры" ("A Study in Choreography for the Camera", 1945), "Ритуал в преображенном времени" ("Ritual in Transfigured Time", 1946), "Медитация на темы насилия" ("Meditation on Violence", 1948), "Божественные всадники: гаитянские боги вуду" ("Divine Horsemen: The Voodoo Gods of Haiti", 1953), "Пристальный взгляд ночи" ("The Very Eye of Night", 1952-1959).
2. Стэн Брекидж (1933–2003) — кинорежиссер, фотограф, художник, теоретик кино. Начал снимать в начале 50-х, а спустя десятилетие уже считался признанным классиком американского экспериментального кино. Снял более 350 фильмов, среди них "Окно, вода, ребенок шевелится" (1959), "Собака, звезда, человек" (1962–1964).
3. Пол Шаритс (1923–1991) — художник, кинорежиссер, "концептуальный романтик", экспериментировал с образами и ритмами речи, наиболее известен своими "flicker films", или мерцающими фильмами, в которых последовательное действие заменено черными или белыми кадрами, в результате чего зритель видит яркие вспышки света, чьи интенсивность и цвет зависят от скорости перемены цветных кадров и спонтанно индуцированных комплиментарных цветов остаточного изображения. Основные работы: "Лезвия бритвы" ("Razor Blades", 1965–1968) "H:И:Ч:Т:О" ("N:O:T:H:I:N:G", 1968), "П,Р,И,К,О,С,Н,О,В,Е,Н,И,Е" (T,O,U,C,H,I,N,G, 1968), "Кажущееся движение" ("Apparent Motion", 1975).
4. Майкл Джеймс Сноу (р. 1929) — режиссер, фотограф, джазист, художник, скульптор. Его фильм "Длина волны" ("Wavelength", 1967) иногда называют "Гражданином Кейном" экспериментального кино. Среди иных работ надо назвать фильм "Центральный регион" ("La Region Centrale", 1970).
5. Шанталь Акерман (р. 1950) — бельгийский режиссер. Первый полнометражный фильм — "Я, ты, он, она" ("Je, tu, il, elle", 1974). В 1975-м вместе с Марилин Ватле создает компанию "Парадайз-фильм" и выпускает картину "Жанна Дильман, Набережная коммерции, 23, 1080 Брюссель", которая приносит ей европейскую известность. Среди других работ: "Новости из дома" ("News from Home", 1976) и "Пленница" ("La Captive", 2000) по Прусту. Известна также многоэкранная инсталляция "D'Est" (1993), аккумулировавшая опыт ее поездок в Восточную Германию и Россию.

ном. А на первом настоящем проекте ждал сюрприз: даже самые продвинутые режиссеры говорили кино, movie. "А я это кино видел!" – подмигнул я большеглазому парню с волевым подбородком и ткнул в его футболку с надписью "Stop Making Sense". "Я тоже", – сострил Джонатан Демме. Еще бы: он этот фильм снял. "Классное кино!" – не унимался я. "Так ведь команда какая!" – ответил тогда еще не оскароносный скромняга. Артрокеры "Talking Heads" в те годы рулили по крайней мере в моей, отдельно взятой голове, и полагаю, что фильм я видел не меньше раз, чем Демме. На премьере, в старинном кинотеатре "Кастро" в Сан-Франциско (где годом раньше показывали "Новый Вавилон" Козинцева и Трауберга в сопровождении "живого" оркестра); в дюжине других кинотеатров Калифорнии и Нью-Йорка. Полгода бегал на субботние ночные сеансы в берклийский кинотеатр "UC". Озадачил профессора, читавшего курс "Кино и психоанализ", назвав фильм любимым. Профессор в тот семестр перевел "Кафку" Делеза и Гваттари, и в ответ, думаю, ждал как минимум "Америку" Штрауба и Юйе. Или что-нибудь Фасбиндера. Его эпический "Берлин, Александерплац" в 85-м показывали в кинотеатрике "Ред вик" в районе Хэйт-Эшбери, и мы старались не пропустить ни одной серии. Как, впрочем, и всё Фасбиндера. "Ред вик" переехал на квартал дальше, "Кастро" пока на месте, "UC" закрыли.

И вот, представьте, возвращается человек в город молодости, а любимого кинотеатра уже нет. А с ним столько всего связано: золотой век Голливуда, Новая волна, старая любовь... А кафе рядом открыто, и цены примерно те же, ну точно как в том эпизоде из "Twilight Zone", где герой возвращается, но не просто в город детства, а в то самое время, короче, "Можно дойти пешком". Но курить уже нельзя. А он там сидел, страшно вспомнить когда, и курил, и писал свои papers, все пытался нащупать связь между категориями символического и семиотического (по Кристевой) и производством и дистрибуцией независимого кино. А что смешного, начало восьмидесятых, Джим Джармуш, Спайк Ли[1] и Сюзен Сайдельман[2] уже сняли по первому фильму, и слово "независимые" имеет еще какой-то смысл и обнадеживает. Но связь так просто не нащупывается. А потом он переезжает в Нью-Йорк и чуть ли не на первом же фильме решается на радикальный жест – вручает зачитанную до дыр книжку Кристевой одному популярному актеру и монологисту. А монологист взял и спрыгнул с парома в Нью-Йоркский залив через семнадцать лет. И жалко его от души, хотя связи тут никакой, одна клиническая депрессия. И книжку жалко. Конечно, можно новую купить. Но я ту хочу, зачитанную.

Затащила домой после съемок дочь бывшего президента "Коламбия пикчерз", дала погладить облезлую кошку по имени Мишка, похвалилась, в числе прочего, седлом из какого-то фильма, я так и не понял какого. Кажется из "Унесенных ветром". "Frankly, my dear, I don't give a damn"[3], чуть не щегольнул цитатой из не виденных мной "Унесенных". Большие фильмы всегда отпугивали. Первую часть "Крестного отца" впервые увидел полгода назад. Медленный процесс контекстуализации расхожих цитат постфактум: вошедшая в обиход фраза "Make him an offer he can't refuse"[4] в фильме Копполы оказалась

1. Спайк Ли (наст. имя Шелтон Джексон Ли, р. 1957) – американский режиссер, сценарист и актер. Среди его работ фильмы "Ей это нужно позарез" ("She's Gotta Have It", 1986), "Делай, как надо" ("Do the Right Things", 1989), "Торговцы наркотой" ("Clockers", 1995), "25 час" (2002) и др.
2. Сюзен Сайдельман (р. 1952) – режиссер, сценарист. Ее полнометражный дебют "Осколки" ("Smithereenes", 1982) был первым независимым американским фильмом, допущенным к соревнованиям на Каннском фестивале. Широкое признание получила ее комедия "Ищу Сюзен" ("Desperately Seeking Susan", 1985) с малоизвестной тогда Мадонной в одной из главных ролей.
3. "Честно говоря, дорогая, плевать мне на это" (*англ.*).
4. "Сделай ему предложение, от которого он не сможет отказаться" (*англ.*).

более зловещей, чем ожидал, — либо на документе подпись, либо мозги неподписанта. Фразой с тех пор пользуюсь осторожней. Или аналогично жесткий контекст фразы "Go ahead, make my day"[1] из первого "Грязного Гарри" ("Dirty Harry", 1971), снятого в Сан-Франциско замечательным Доном Сигалом. Сымпровизированная на площадке фраза "Are you talking to me?"[2] из неонуарного "Таксиста" (1976) Скорсезе давно превратилась в объект пародии и самопародии. Из старого доброго кино конечно же "Here's looking at you, kid"[3] или "We'll always have Paris"[4] плюс десяток других фраз из апроприированной и сэмплированной (и не потерявшей своей прелести) "Касабланки" (1942). Цитируется реплика "Nobody's perfect"[5] из финала "В джазе только девушки" ("Some Like It Hot", 1959), но об атрибуции тут говорить сложно — выражение устойчиво и вне фильма. Цитируются пикантные фразы из старых фильмов с участием Мэй Уэст и последние страшные слова Джеймса Кэгни из "Белой горячки" ("White Heat", 1949): "Made it, Ma! Top o' the world!"[6]. Какими социальными группами и в каком контексте цитируются — предмет особого разговора.

Примечательно, что из вербально-интенсивной и для моего поколения знаковой (читай: идеальной для свиданий) комедии "Энни Холл" Вуди Аллена в обиход вошла (и вышла) лишь присказка главной героини "La-de-da", в основном же имитировалась ее манера одеваться, а из популярного (и удручающе пустословного) "Бульварного чтива" ("Pulp Fiction") не цитируется практически ничего, даже реплика "Zed's dead"[7], к цитированию, казалось бы, располагающая. Иногда цитируется не отдельная фраза из конкретного фильма, а некая обобщенная фраза, произнесенная с определенной интонацией, которая и указывает на жанр, будь то нуар или хоррор. Разумеется, существуют фильмы культовые, и тексты этих фильмов заучиваются наизусть, а на просмотрах фанаты рядятся в костюмы героев, хором скандируют реплики, повторяют жесты, бросаются рисом и т. д., как это делалось (иногда делается и до сих пор) на ночных сеансах "Rocky Horror Picture Show" (1975). Однако это скорее исключение из правила. Помимо прочего, действенным способом коммуникации служит использование музыкальных цитат из телесериалов, и тут существует известная иерархия. Не вдаваясь в подробности, упомяну легко идентифицируемую музыкальную фразу из "Twilight Zone" (1959), но кто может вспомнить заставку из телесериала "Columbo" (1967) и зачем? Промурлыкать цитату из "Twilight Zone" означает намекнуть, что с вами или вашим собеседником происходит нечто сверхъестественное, но на что укажут несколько тактов мелодии из криминальной драмы "Columbo"? В худшем случае на то, что у вас на полу в гостиной лежит остывающий труп, в лучшем — что у вас отменная память и вам впору играть в Trivial Pursuit. Выкарабкиваясь из этого абзаца, более уместного в этнологическом трактате Бронислава Малиновского или в пособии для сотрудников ФСБ, отбывающих в длительную зарубежную командировку, повторю шутливое замечание одного моего приятеля, сделанное в далекие рейгановские времена: "Вычислить русского шпиона в Америке довольно несложно. Достаточно спросить у него имена трех Студжей". Как гражданин США я не в праве предавать огласке имена участников старого комедийного трио и в этом стратегически сенситивном месте ставлю точку.

Но это еще не все. По дороге на службу — то ли в берклийский в стиле

1. "Ну давай, порадуй меня" (*англ.*).
2. "Ты ко мне обращаешься?" (*англ.*)
3. "За тебя, малыш" (*англ.*).
4. "Париж всегда будет с нами" (*англ.*).
5. "У каждого свои недостатки" (*англ.*).
6. "Наконец-то, мама! Я на вершине мира!" (*англ.*)
7. "Зед мертв" (*англ.*).

модерн "Пасифик фильм аркайв", где между делом смотрел по 2–3 фильма в день (Дзига Вертов, Бастер Китон, Джон Форд, "Девять дней одного года", мюзиклы Басби Беркли), то ли в сан-францисский ложноклассический "Палас оф Файн Артс", где в то время показывали снятый в формате IMAX "Кронос" Рона Фрике (снявшего до этого "Коянискацци" Годфри Реджио), – столкнулся с грузовиком, точнее, был смят им. Мой "форд-мустанг" стал намного компактней, я отделался относительно легким испугом и с болью в пояснице стал посещать офис физиотерапевта. И вот, лежу я на одном из таких сеансов раздетый до пояса, крупногабаритный негр-массажист обкладывает меня горячими компрессами, как вдруг по радио сообщают, что сбит корейский авиалайнер. Этого еще не хватало! Я съеживаюсь, жду реакции массажиста, массажист молчит, бормочет что-то недоброе про этих русских, скороговоркой рекомендует расслабиться и резко давит на позвоночник. Я благодарю Асклепия, что это всего лишь массаж, а не токи высокой частоты, и чтобы отвлечься, пытаюсь припомнить свой первый фильм. Самый первый, что очень непросто.

Может быть, спичечный коробок кинотеатра "Малютка" где-то на белом свете, там, где Иванушка-дурачок, он же Шурик, бьется с поддатым трехглавым драконом Трусомбалбесомбывалым? А к нам в Черноморск как раз прибыла съемочная группа, работающая над кинофильмом "Шея" ("The Neck"). Действие фильма происходит в 30-е, течение жизни в городе – в 60-е, и поэтому не обошлось без легких корректив. Фасады домов облепили довоенными вывесками: "Моментальная фотография", "Фильдеперсовые чулки", ОСОАВИАХИМ. "Что это – ОСОАВИАХИМ?" – спрашиваю я у отца. "ОСОАВИАХИМ, сынок, – отвечает отец, – это отец ДОСААФа". Но это случилось потом.

А в самом начале было "Чистое небо", летний кинотеатр, огромные южные звезды над головой, черно-белые лица на полотне громко обмениваются задушевными фразами, мама и бабушка смотрят в одну точку и переживают. Мне тоже туда смотреть?

Место парижских картин

Пространство другими словами. Французские поэты XX века об образе в искусстве. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2005. — 304 с. с иллюстр.

В подзаголовке этой нарядной, богато иллюстрированной книги присутствует слово "образ". Применительно к нефигуративному, неперспективному, "антиреалистическому" по большей части искусству, о котором идет речь, это слово требует комментариев. Если в таком искусстве и есть "образы", то "отображают" они не какой-то внешний объект, а лишенный формы процесс энергетического обмена, связывающий художника со зрителем. Соответственно они и описываются с помощью таких понятий, как "напряжение", "энергия" (Мишель Лейрис о Фрэнсисе Бэконе) или даже "удар хлыстом" (Жак Дюпен об Антони Тапиесе); или еще так: "Мы тоже становимся (рассматривая картину. — *С. З.*) тягучей, разноликой, неверной, губчатой массой, плывущей, как мир, который нас тащит и душит. Растворясь в этой исполинской плазме, потерявшись в безостановочном дрейфе, человек и сам теперь — головокружение, тошнота, амебная поросль, кипящее варево..." (Жан Тардье о Вольсе). Анри Мишо, поэт и художник в одном лице, "думая о феномене живописи" (название одного из его эссе), призывает писать "флюиды между людьми", "внутренний призрак человека", "текучее, неуловимое существо, несводимое к костям и натянутой на них коже", и процесс такого письма сравнивает с обменом ударами — "рисовать, чтобы отбиваться". В общем, нельзя сказать, что такое искусство совсем отбросило идею подражания, просто предметом подражания отныне служит тело художника, создавшего произведение, и мы должны миметически отождествить его с нашим собственным телом, переживаемым через внутренние реакции и движения. Деавтоматизация, о которой писали современники французских авангардистов — русские литературоведы-формалисты, — в конечном счете нацелена не столько на внешнюю "натуру", приевшуюся от рутинного лениво-утилитарного употребления, сколько на телесную натуру самого зрителя или читателя: его надо "хлестнуть", раздразнить и заставить "отбиваться" от новых переживаний.

Подвижность и возбужденность рисующего (или ваяющего) тела — это источник энергии, наполняющей образ, и французские поэты ищут ее следы повсюду. Они, например, с интересом вглядываются в примитивные (во всех смыслах слова, включая "первобытность") граффити на городских стенах: "Ясно одно: стена притягивает рисовальщика — и сатира. Что в Геркуланум, что в Париже, все принимает здесь порнографический оттенок, вообще, надо признать, не чуждый искусству", — пишет Робер Деснос ("Знаки на стене"). И двумя страницами ниже обобщает: "Наша жизнь — вроде такой стены. Надписи наслаиваются друг на друга. Время от времени мы ее штукатурим и вот уже, кажется, совсем обновили, но колупни ногтем, и перед тобой опять рисунок или формула прошлых лет". А вот опять уже цитированная статья Жака Дюпена:

"Полотно — и это ключевая тема Тапиеса — принимает вид стены, ветхой, облупившейся стены. <...> Эта стена — антология всех отметин, оставленных человеком, любым человеком, прохожим с улицы. <...> Стена-палимпсест, чуткая к тому, как сглаживается безымянный жест, тает ничейный вздох, к неразборчивым граффити, к летучей подписи исчезнувшего очевидца. Двойное, спаренное воздействие самой материи — активности, энергии — и этой антологии человеческих отметин и перипетий, сросшихся с ней, закаменев, в одно целое..." Магия произвольного, "автоматического" в сюрреалистском смысле рисунка заставляет видеть в нем живой отпечаток чьих-то тел и лиц. Ив Бонфуа, верящий в бытийную полноту художественного произведения и в картину-икону, запечатлевающую человеческий лик ("тот последний образ, которым обоснованы все остальные, тот выплеск, который выносит наружу утраченное единство"), заканчивает свою статью "Близость лица" размышлением о надписях, оставленных некогда крестьянами на стенах амбара — безыскусно, просто для учета мешков с зерном: эти практические пометы сами собой начинают изгибаться, превращаясь в "круг мироздания с распаханным полем", выражая своими контурами труд людей, давным-давно вырастивших этот давно уже кем-то съеденный хлеб. А Анри Мишо, судящий по собственному опыту рисовальщика, не сомневается в самопроизвольном зарождении человеческих фигур: "Глядя на белую бумагу, <...> я всякий раз вижу бегущего куда-то вдаль перепуганного человечка" ("Чистая страница"). И заявляет еще решительнее: "Малюйте без цели, чертите не задумываясь — рано или поздно на бумаге появятся лица" ("Думая о феномене живописи").

Результатом такого творчества — "чем случайней, тем вернее" — становится превращение *пространства* в *место*. Классическая европейская живопись писала прежде всего онтологически пустое, опустошенное пространство: "Смысл строгой перспективы у кватрочентистов не в том, чтобы как можно точнее расположить фигуры, а в том, чтобы всеми средствами математики подчеркнуть в этих образах глубочайшую нехватку бытия" (Ив Бонфуа "Живопись и ее дом"). "...Меланхолия перспективы, с помощью которой Запад всегда думал заменить когда-то пережитое *место*, гулкое, полное смысла, священное место геометрическим *пространством*, внешним миром, небытием" (он же, статья о Джорджо де Кирико). Напротив того, "живое пространство", создаваемое в авангардистской живописи и взаимодействующее с зрительским/авторским телом, насыщено силами: "Это пространство во всей своей мощи и затаенной дрожи, тяжестью труда и натиском форм стиснутое для накопления энергии" (Жак Дюпен "Кружение вокруг пустоты"). В таком динамическом, смятенном пространстве нам явлены уже не вещи как таковые, а что-то иное. Сэмюэл Беккет в статье "Мир и пара брюк" пытается было выразить впечатление, которое производят на него полотна Брама ван Вельде, через идею "вещи, застывшей в пустоте", "чистого предмета", — но видно, как бьется, топчется на месте его мысль, не находя подходящего слова. И лишь в следующей статье, "Живописцы препятствий", он наконец нащупывает более верную формулу: "От чего живопись и вправду, кажется, освободилась, так это от иллюзии, что существует множество предметов воображения..." Суть современной живописи, как становится ясно, это "поиски не столько вещи, сколько вещно-

сти, не столько предмета, сколько возможности быть предметом".

Ирландский писатель (скорее прозаик, чем поэт, но не суть важно) тут же замечает, что, придя к такому творческому принципу, Парижская школа неизбежно должна была оказаться в кризисе: "Что остается изображать художнику, если суть предмета теперь в том, чтобы от изображения уворачиваться? Остается изображать особенности этих увертoк..." И действительно, эти строки написаны как раз тогда, когда запах "масла парижских картин", будораживший воображение поэтов далеко за пределами Франции (снова Беккет: "...живопись меряют по Парижу, как время по Гринвичу"), начал постепенно выдыхаться. У европейского авангарда был момент славного начала — рубеж XIX—XX веков, когда "поэты первыми прекратили описывать реальность, вслед за ними художники перестали ей подражать" (Пьер Реверди "Кубизм, или Поэзия на холсте"), но наступил и закат — после Второй мировой войны, когда центр художественной жизни переместился в США, а сами формы авангардной культуры стали существенно иными. Мишель Лейрис, тоже скорее прозаик, чем поэт, с восхищением писал о провозвестнике этой перемены Марселе Дюшане, задумавшем "превратить пластическое искусство в *письмо,* используя знаки совершенно произвольные" — например, реальные серийно-промышленные вещи, являющие себя взгляду напрямик, без всяких увертoк; у него нет "никакой мистики *красивых вещей*", ее заменяет "упорный труд по десакрализации и анатомированию живописи, которому много лет предан Дюшан, озабоченный тем, чтобы использовать свой — как известно, редкостный — дар художника исключительно в форме его отрицания". В итоге это отрицание зашло далеко, и порожденная им художественная практика концептуализма и поп-арта оказалась в менее родственных отношениях с поэзией, чем авангард героической эпохи. "Современное искусство" — то, что называется этими словами, — описывается уже не столько в непринужденных поэтических эссе, сколько в изощренных философских концепциях, ставших непременной принадлежностью выставочных каталогов (и еще, конечно, в подскочивших до небес аукционных ценах — эта грядущая коммерциализация авангарда составляет настоящую "слепую точку" в текстах его ранних апологетов). В этом смысле сборник "Пространство другими словами" — в названии имеется в виду, конечно, то самое "энергетическое" пространство-место, образуемое совместными усилиями художнического тела и поэтического слова, — предстает как галерея блестящего, но, быть может, уже оставшегося в прошлом союза двух искусств.

В самой рецензируемой книге эти два искусства, однако, вновь вступили в союз в лице двух подготовивших ее талантливых людей — составителя и переводчика Бориса Дубина и художника Андрея Бондаренко, — чья работа заслуживает самых высоких похвал. Единственное, что оставляет некоторую неудовлетворенность, так это скупость сопроводительного аппарата. Примечания к текстам, нередко плотно насыщенным именами и реминисценциями, прямо-таки вызывающе выборочны, а многочисленные и очень эффектные иллюстрации (черно-белые — на шмуцтитулах и цветные — в завершающей книгу тетрадке-альбоме) лишены всякой пояснительной информации о произведениях. У всех этих картин и скульптур худо-бедно есть названия и даты, нам же сообщают в

лучшем случае краткие сведения о художниках, порой не позволяющие даже уверенно атрибуировать вещь: в подписи сказано о двух братьях ван Вельде, а над нею воспроизведена одна картина — чья же? Кажется, то ли авторам книги недостало слов, то ли издательство не выделило для них пространства...

Сергей Зенкин

Бунтующий человек Уильяма Стайрона

Уильям Стайрон *Признания Ната Тернера:* Роман / Перев. с англ. В. Бошняка. — СПб.: Лимбус Пресс, 2005

"Каждый белый на Юге рождается распятым на черном кресте" — под этим чеканным фолкнеровским афоризмом охотно подписался бы и Уильям Стайрон, по мнению которого, любой "южанин осознает негра как вечную, непреложную часть самой истории, как компонент самой ткани бытия, и настолько естественный, настолько необходимый, что, убери его, вся эта ткань расползется"[1].

(Едва ли нужно разъяснять, кто такой Уильям Стайрон и каково его место в истории американской литературы XX века: достойный наследник Фолкнера и Томаса Вулфа, лауреат престижных литературных премий, традиционалист, переросший рамки школ и "измов", затрагивавший в своих книгах самые кровоточащие проблемы человеческого бытия, короче говоря — живой классик.)

Детство и юность Стайрон провел "неподалеку от округа Саутгемптон, <...> в том краю на виргинском побережье, который обычно включают в черный пояс, потому что население тут преимущественно негритянское"[1]. Именно там в 1831 году вспыхнуло восстание чернокожих рабов под предводительством баптистского проповедника Ната Тернера, всколыхнувшее весь рабовладельческий Юг: восставшие методично вырезали белое население округа, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Правда, черное воинство (не превышавшее сотню бойцов) так и не смогло увлечь за собой массы рабов. Подавляющее большинство чернокожих осталось пассивным, а некоторые — из числа дворовых слуг — даже защищали жизнь и имущество хозяев. Разграбив несколько поместий и уничтожив около пятидесяти человек, отряд Тернера разложился от повального пьянства и мародерства, а при первом же серьезном столкновении с ополчением белых рассыпался; зачинщики, кто раньше, кто позже, были схвачены и после скорого суда казнены. Отчаянный порыв к свободе увенчался сотнями трупов: мстя за убитых, виргинцы и съехавшиеся со всего Юга добровольные каратели перебили множество ни в чем не повинных негров, в том числе и вольноотпущенников. Одним из последних был повешен Нат Тернер, чью предсмертную исповедь записал и вскоре издал адвокат Томас Грей.

Кровавые события далекого прошлого, запечатленные в тощей брошюрке Грея да в скупых газетных сообщениях, легли в основу романа "Признания Ната Тернера" (1967), замысел которого возник у писателя уже в конце сороковых годов, когда он только вступал на литературное поприще. Как неоднократно признавался сам Уильям Стайрон (например, устами автобиографического героя-повествова-

1. У. Стайрон. *Безмолвный прах* // Иностранная литература, 1986, № 7, с. 222.

1. Там же. С. 220.

теля из "Выбора Софи"), с детских лет его воображение опалял образ "черного дьявола-фанатика": "...Он возник из истории ослепляющим, поистине катастрофическим взрывом, совершил свой эпохальный подвиг и исчез столь же таинственно, как и появился, не оставив ничего о себе, о своей личности, ни единого изображения — ничего, кроме имени".

Роман, потребовавший от автора несколько лет мучительного труда, был опубликован в разгар негритянских бунтов и сразу же вызвал "кривые толки, шум и брань" в американской прессе. Но если в США книга сделалась супербестселлером и была удостоена Пулицеровской премии, то в Советском Союзе она оказалась "персоной нон грата". В то время как остальные произведения Уильяма Стайрона — пусть и со скрипом, пусть и в кастрированном виде, как это случилось с "Выбором Софи" (1979), — дошли до российского читателя еще на излете советской эры, роман "Признания Ната Тернера" немного задержался в пути: его русский перевод появился на прилавках книжных магазинов в прошлом году, когда писатель разменял восьмой десяток.

О причинах подобной задержки можно только гадать. Вероятно, советским литчиновникам не пришлись по душе стайроновские "раздумья по поводу истории" и безжалостные выводы относительно революционного насилия как средства достижения благой цели. Да и возглавивший заранее обреченное восстание Нат Тернер, религиозный проповедник и визионер, который, "выражая собственные мысли исключительно языком пророков, должно быть, видел себя не меньше как Гедеоном, карающим мадианитян"[1], в интерпретации Стайрона никак не похож на твердокаменного революционера с холодной головой и горячим сердцем. Им движут не классовая ненависть или отчаянная нужда (по сравнению с рабами, изнывающими от непосильного труда на табачных и хлопковых плантациях Алабамы или Джорджии, у Ната, принадлежавшего незлобивому виргинскому фермеру, были сносные бытовые условия), а религиозный фанатизм, сдавленные сексуальные комплексы и уязвленное честолюбие. К тому же стайроновский герой, сеявший в душе своих сподвижников "семена негритянской воинственности", показан совершенно никудышным руководителем: он не смог "совладать с разбушевавшимися черными мерзавцами" и поддерживать на должном уровне дисциплину, но главное — органически не способен убивать. Сцены насилия (воссозданные автором с жутким правдоподобием) вызывают у новоявленного Иисуса Навина приступы тошноты. Выяснилось, что "пить вино ярости Божией" не так-то сладостно, как грезилось во время экстатических видений. Единственной его жертвой стала кроткая восемнадцатилетняя красавица Маргарет, в которую он был безнадежно влюблен, но ее зверское убийство вызывает скорее мрачноватые фрейдистские ассоциации, нежели радужные мысли о праведном возмездии белым угнетателям. Убив Маргарет (едва ли не единственного человека, с которым чувствовал душевную и интеллектуальную близость), Нат Тернер внутренне надламывается. Вдохновлявшая его на бунт вера в сопричастность божественному замыслу сменяется тягостным осознанием собственной вины и чувством "удаленности от Бога, разобщенности с Ним, не имеющим ничего общего ни с маловерием, ни с недостатком богоустремленности".

1. Там же. С. 225.

Короче говоря, вместо образцово показательного революционера, вместо идеального борца за светлое негритянское будущее у Стайрона получился сложный, многомерный характер, в котором переплавлены рассудочная жестокость и душевное благородство, живой ум и слепой догматизм, обостренное чувство собственного достоинства и мучительное ощущение "черномазой неполноценности", сила духа и фатальная нерешительность. Образ настолько не соответствовал пропагандистским клише, что этого писателю не могли простить.

Недаром же ведущие советские американисты пеняли на "художественно не слишком убедительный "гамлетизм" центрального персонажа, под конец словно бы раздавленного яростью беспощадного бунта, который он сам же и проповедовал", и утверждали, что в целом вещь "не стала творческой удачей Стайрона", а на страницах "Литературной газеты" появилась перепечатка ворчливой рецензии американского критика-марксиста Герберта Аптекера, раздраконившего автора, чей роман, "нашпигованный самыми шовинистическими стереотипами в описаниях негров", будто бы искажает "образ народного героя"[1].

С еще более резкой и безапелляционной критикой стайроновского романа выступили чернокожие интеллектуалы, тогда, в конце шестидесятых, завороженные идеологией "власть черным" и считавшие расизмом все, что противоречило идее "черного превосходства". В пику Стайрону был выпущен сборник "'Нат Тернер'" Уильяма Стайрона. Возражения десяти черных писателей" (1968), на страницах которого писателя обвиняли в расизме, игнорировании исторических фактов, относящихся к жизни черных рабов, в невнимании к "красоте афроамериканских идиом" и в прочих смертных грехах. О характере полемических выпадов можно судить уже по названию статей: "Искажение истории и фактов. Апологетический трактат бывшего южанина о рабстве и жизни Ната Тернера, или Сфабрикованные признания Уильяма Стайрона" (Джон Уильямс), "Поражение Уильяма Стайрона" (Эрнест Кайзер), "Признания Уилли Стайрона" (Джон Килленс) и т. д. Почти все обвинения, предъявленные писателю, были откровенно абсурдны. Один критик корил Стайрона за то, что его герой вдохновляет себя и своих сообщников образом Наполеона, вместо того чтобы избрать образцом для подражания гаитянина Туссена-Лувертюра[1] (как будто проповедник из виргинской глубинки мог знать о его существовании!); другой возмущался тем, что автор обрек протагониста на целибат да еще заставил влюбиться в белую девушку, в то время как у прототипа якобы имелась жена[2] (в своих интервью, отбиваясь от упреков, Стайрон называл эту версию беспочвенной[3]); третий утверждал, что герой исторического романа не может "действовать в историческом вакууме"[4], а, значит, автор непременно должен был упомянуть всех предшественников виргинского мятежника: Габриэля Проссера, пытавшегося поднять восстание возле Ричмонда в 1800 году, Денмарка Вези, в 1822 году подбивавшего к бунту рабов под Чарльтоном, и других (как будто перед ним было не ху-

1. Аптекер Г. Нат Тернер – миф и реальность // Литературная газета. 1968. 27 ноября (№ 49). С. 14.

1. William Styron's Nat Turner. Ten Black Writers Respond / Ed. by John Clarke. – Boston: Beacon Press, 1968, p. 42.
2. Op. cit., p. VII.
3. Conversations with William Styron / Ed. by James L. – West. Univ.: Press of Mississippi, 1985, p. 106.
4. William Styron's Nat Turner. Ten Black Writers Respond... p. 46.

дожественное произведение, а и впрямь исторический трактат).

Из всех чернокожих зоилов, сплясавших вокруг Стайрона танец скальпа, лишь один приблизился к истине, когда заявил, что роман больше говорит о психологии автора, чем "о сердце, душе и сознании негритянского революционера Ната Тернера"[1].

Действительно, несмотря на то, что проникновение в сознание чернокожего раба и попытка взглянуть на мир его глазами и сделали "Признания Ната Тернера" уникальным явлением в истории американской литературы (даже Фолкнер предпочитал изображать своих чернокожих героев "со стороны" или в объективной повествовательной манере, но не "изнутри"[2]), образ мятежного проповедника был интересен Стайрону постольку, поскольку позволял "пройти сквозь время и пространство, чтобы до некоторой степени раскрыть самого себя"[3] и осмыслить общезначимые свойства человеческого "я". А благодаря этому образ главного героя да и произведение в целом способны вызвать живой отклик и трепет узнавания и у российского читателя, мало озабоченного расовыми конфликтами между белыми и черными американцами.

Поверх сюжетно-событийной канвы исторического романа Стайрону удалось создать величественную поэму о несчастной, заблудшей человеческой душе, восставшей против "беспросветной реальности несвободы" и потерпевшей жестокое нравственное поражение, ибо нельзя отстоять собственную человечность за счет ее отрицания в других. Среди реалистически выписанных декораций американского захолустья разыгрывается метафизическая трагедия, главными движущими силами которой становятся не расовые и социальные антагонизмы, а нравственные и философские антиномии, обрекающие любого мыслящего человека на мучительный выбор между многими жизненными правдами и поиск конечных, абсолютных истин.

Одну из них — "*Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога*" — пусть и с опозданием, уже перед лицом вечности, осознал стайроновский бунтарь. Что ж, будем благодарны за это и ему, и его создателю...

Будем признательны и переводчику: благодаря ему среди пестрого переводного хлама появилась книга, напоминающая нам о том, какой должна быть настоящая литература, не подвластная политической конъюнктуре, диктату рынка и скучным безумствам моды.

Николай Мельников

1. Op. cit., p. 36.
2. По мнению Стайрона, "его [Фолкнера] персонажи-негры, сколь ни превосходно они обрисованы, все же воспринимаются как плод долгого внимательного наблюдения, а не как итог вживания" ("Иностранная литература", 1986, № 7, с. 222).
3. Conversations with William Styron... p. 87.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Вайда А. *Кино и все остальное* / Пер. с польск. И. Рубановой. — М.: Вагриус, 2005. — 352 с. — (Мой 20 век). Тираж не указ. (п)

Кинематографические мемуары самого известного польского режиссера. Каждый абзац — как хорошо построенный кадр. И в каждом абзаце-кадре, как и в настоящих кадрах из фильмов Вайды, — не только история жизни и творчества одного из самых знаменитых и значительных кинорежиссеров XX века, но также история Польши и всей Европы. Для тех, кто в советское время прорывался на фильмы Вайды во время фестивалей или исхитрялся попасть на полузакрытые просмотры, эта книга — прекрасный повод вспомнить молодость. Для других — достоверный и яркий источник, помогающий лучше понять атмосферу ушедшего столетия.

Данливи Дж. П. *Волшебная сказка Нью-Йорка*: Роман / Пер. с англ. С. Ильина. — СПб.: Симпозиум, 2005. — 480 с. — 3000 экз. (п)

Один из самых знаменитых романов Джеймса Патрика Данливи — ирландца, родившегося в Америке, но постоянно живущего на родине предков. Америка глазами европейца: за нарядным фасадом всеобщего благодушия и торжества американской мечты обнаруживается всеобщее отчуждение. Этот мрачный роман чем-то похож на "Америку" Франца Кафки. Вроде все нормально, и герой, переживший тяжелую личную драму, смог восстановить минимальный внутренний комфорт и душевное равновесие, как вдруг из-за неосторожного слова, дурацкой ссоры или какого-то пустяка все летит в пропасть. И никакого благодушия.

Память о войне 60 лет спустя: Россия, Европа, Германия. — М.: Новое Литературное Обозрение, 2005. — 784 с. — (Библиотека журнала "Неприкосновенный запас"). Тираж не указ. (п)

Книжная версия специального номера журнала "Неприкосновенный запас", подготовленная совместно с коллегами из немецкого журнала "Osteuropa". Статьи о том, как воспринимается войны 60 лет спустя в самых разных странах мира. Россия, Германия, Украина, Латвия, Италия, Япония, Сербия, Хорватия. Везде идет переоценка событий тех лет: кто-то считает, что неплохо бы покаяться, а кто-то, наоборот, утверждает, что каяться ему не в чем, потому что он был, в сущности, не агрессором, а жертвой. Нагляднее всего тенденции переоценки войны проявляются в массовой культуре, и поэтому целый ряд статей сборника посвящен новейшим фильмам (в том числе сериалам) и книгам о войне.

Эко У. *Роль читателя* / Пер. с ит. С. Серебряного. — СПб.: Симпозиум; Издательство РГГУ, 2006. — 502 с. — 5000 экз. (п)

Сборник эссе Умберто Эко, посвященных тому, как писатель влияет на читателя, а читатель на писателя. Прежде чем садиться за роман, автор должен ясно представить себе своего читателя — и писать именно для него. Иначе ничего не получится. Но таким образом писатель попадает в плен к выдуманному адресату и отчасти теряет свободу. Эту теорию Эко подкрепляет кучей формул, графиков и таблиц, а также разнообразными примерами, взятыми как из классической литературы, так и из комиксов.

Пеннак Д. *Диктатор и гамак*: Роман / Пер. с франц. Н. Калягиной. — СПб.: Амфора, 2006. — 319 с. — (Амфора 2006). 5000 экз. (п)

Изящная и красивая книга Даниэля Пеннака — своего рода гимн Латинской Америке. Диктаторы приходят и уходят, а величественный континент остается. С диктатором случилась такая история: он оставил вместо себя двойника, а сам отправился гулять по Европе. А двойник тоже прибегнул к помощи двойника... Другому писателю хватило бы для полноценного романа уже этих бесконечных диктаторов. Но Пеннак знает много других, ничуть не менее увлекательных историй. Вот, например, поезд, который должен был доставить строительные материалы в затерянный где-то в джунглях городок. Рабочие прорубают проход, кладут рельсы, поезд проезжает, потом рабочие снимают рельсы и кладут их снова перед поездом. Поезд проезжает еще один отрезок и рельсы снова перекладываются, а сзади уже снова стоит стена джунглей.

Шульпяков Г. *Дядюшкин сон.* — М.: Запасный Выход / Emergency Exit, 2005. — 160 с. — 2000 экз. (п.)

Не удивляйтесь появлению книги вполне русского автора в нашем обзоре. Шульпяков-то русский, а вот предметы его очерков, вошедших в новую книгу, — по большей части иностранные. Шульпяков любит путешествовать; мало того, он любит и умеет описывать свои путешествия. Барнаул и Краснодар — это еще не пересекая государственной границы. Ташкент — уже ближнее зарубежье, а дальше — совсем далеко: Лондон, Бангкок, Будапешт, Стамбул и наконец небольшой город с великим названием Коньяк. Очерк про Коньяк и коньяки (между прочим, превосходное справочное пособие) вполне закономерно венчает книгу, потому что и во всех остальных "вкусных" текстах Шульпяков интересуется едва ли не в первую очередь материально-телесной и, так сказать, съедобной стороной иностранной жизни.

Альенде И. *Зорро. Рождение легенды*: Роман / Пер. с исп. Е. Матерновской. — СПб.: Азбука-классика, 2006. — 416 с. — 15000 экз. (п)

Прекрасная книга для мальчиков от 5 и до 150 лет. Все, кто в детстве увлекался книгами из серии "Библиотека приключений", могут вспомнить давно ушедшие годы, а те, кто не читал, — наконец-то наверстать упущенное. Детство и молодость величайшего латиноамериканского борца за справедливость (если, конечно, не считать Эрнесто Че Гевары) — Зорро. Драки на шпагах, заговоры, предательства, тайные общества, красавицы, пираты, индейцы, революционеры — в общем, полный набор, просто необходимый для идеальной мальчишеской книги. Даром что написана книга дамой.

"ИЛ" рекомендует

На книжных прилавках апреля 2006-го

Выбор главного редактора

Буковски Чарльз *Путь в рай закрыт*: Антология / Перев. с англ. Василия Голышева, В. Голышева. — СПб.: Азбука-классика, 2005. — 800 с. — (Белая серия). 5000 экз.

Три авторских сборника и избранные стихи одного из крупнейших писателей США. Фигура рассказчика — алкаша и бабника — в произведениях Буковски отчасти автобиографична и вызывает у российского читателя неизбежные ассоциации с другой культовой фигурой — Сергеем Довлатовым.

В "ИЛ" печатались рассказы из разных сборников Чарльза Буковски (1995, № 8), роман *Макулатура* (1996, № 1), стихи (2000, № 5).

Варгас Льоса Марио *Письма молодому романисту (Cartas a un joven novelista)* / Перев. с исп. Натальи Богомоловой. — М.: КоЛибри, 2006. — 272 с. — (В Иллюминаторе Испания). 5000 экз.

Марио Варгас Льоса — выдающийся перуанский романист. Один из творцов "бума" латиноамериканской прозы, несомненный и очевидный претендент на Нобелевскую премию демонстрирует на сей раз грань своего мастерства и таланта, до сих пор почти не известную российскому читателю. "Письма молодому романисту" — книга о писательском ремесле, в которой мастер раскрывает свои профессиональные секреты. Варгас Льоса предстает здесь блестящим и остроумным эссеистом, знатоком мировой литературы.

Главы из книги "Письма молодому романисту" печатались в "ИЛ" (2005, № 10). В "ИЛ" опубликованы также романы Марио Варгаса Льосы *Тетушка Хулия и писака* (1979, № 11), *Литума в Андах* (1997, № 3), главы из книг *Правда в вымыслах* (1997, № 5) и *Рыба в воде* (2000, № 1).

Вила-Матас Энрике *Такая вот странная жизнь (Extraña forma de vida)* / Перев. с исп. Натальи Богомоловой. — М.: Иностранка, 2005. — 192 с. — 5000 экз.

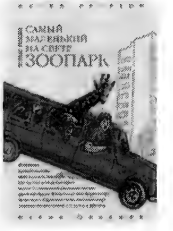
К своим неполным шестидесяти годам Энрике Вила-Матас — самый значительный испанский прозаик сегодняшнего дня. Каждая его новая книга — событие. В Испании, называя его "лучшим", "значительным", "оригинальнейшим", не забывают добавить: "странный".

"Такая вот странная жизнь" — роман о человеке, взбунтовавшемся против мира привычных и комфортных условностей. О человеке, который хочет быть самим собой, писать, что пишется, и без оглядки любить взбалмошную красавицу — женщину его мечты. А помогают герою найти себя реальные "бунтари" Сальвадор Дали и Грэм Грин, органично введенные автором в ткань повествования.

Роман впервые опубликован в "ИЛ", 2004, № 12.

Гумбрехт Ханс Ульрих *В 1926. На острие времени (In 1926: Living at the Edge of Time)* / Перев. с англ. Евгении Канищевой. — М.: Новое Литературное Обозрение, 2005. — 574 с. — (Интеллектуальная история). 2000 экз.

Профессору Стэнфордского университета Хансу Ульриху Гумбрехту удалось прикоснуться к прошлому, возвращая нам восприятие его реалий: бары и бокс, огромные кинотеатры-дворцы и лифты, автомобили и аэропланы, коррида и кинозвезды, джаз и триумфальное "воскрешение" фараона Тутанхамона; специфичные для того времени противопоставления индивидуального и коллективного, прошлого и настоящего, мужского и женского и т. д. С таких головокружительных "смотровых площадок", как Берлин, Буэнос-Айрес, Париж, Нью-Йорк, Гумбрехт озирает повседневную жизнь Испании и Италии, Франции и Латинской Америки, Германии и США.



Гунциг Томас *Самый маленький на свете зоопарк (Le plus petit zoo du monde)* / Перев. с франц. Нины Хотинской. — М.: УльтраКультура, 2006. — 224 стр. — (Ultra. Fiction). 3000 экз.

Посетите самый маленький на свете зоопарк. Где на вас всегда смотрит какое-то животное своим немигающим взглядом. Оно смотрит, как мы бесцельно живем, мучаемся от тоски и умираем от одиночества. Мертвая жирафа. Корова, превратившаяся в девушку, но оставшаяся коровой в душе. Маленький, беззащитный коала, жертва цивилизованного неврастеника. Мужчина с глазами ездовой собаки. Муж с глазами гадкой крысы. Индус, похожий на кота. Животные — как мерило человеческого. Картонно-пластиковый мир, одинаково жестокий и к тем, и к другим.

О. Генри *Игра на понижение (The Discounters of Money)* / Перев. с англ. Т. Бердюковой, Татьяны Доброницкой, Сергея Кулланды, М. Макаровой, Елены Суриц. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2006. — 416 стр. — (Mosaic). 5000 экз.

В сборник "Игра на понижение" (второй по счету; первый, "Самая малость", по выходе сразу же стал бестселлером) вошло тридцать тоже ранее не издававшихся на русском языке новелл, каждая из которых поражает неистощимой фантазией, вызывая то грустную, то ироничную, то сентиментальную улыбку.

Палья Камилла *Личины сексуальности (Sexual Personae: Art and Decadence From Nefertiti to Emily Dickinson)* / Составитель В. Харитонов; Перев. с англ. С. Никитина. — Екатеринбург: У-Фактория; изд-во Уральского университета, 2006. — 880 с. — (Академический бестселлер). 3000 экз.

Была ли Эмили Дикинсон "де Садом в юбке"? Является ли "Давид" Донателло порнографией? В чем тайное сходство Байрона и Элвиса Пресли, Медузы Горгоны и Мадонны? Какова главная ошибка либерализма, феминизма и консерватизма в понимании человека? Профессор гуманитарных наук Университета искусств Филадельфии Камилла Палья анализирует внутренние движущие силы эволюции европейской цивилизации с точки зрения вечной битвы мужского и женского, порядка и хаоса, цивилизации и язычества

В "ИЛ", 1996, № 10 опубликована статья Сергея Кузнецова *Камилла Палья: черная овца в стаде американского феминизма.*

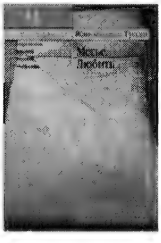
Рифеншталь Лени *Мемуары (Memoiren)* / Перев. с нем. Юрия Архипова. — М.: Ладомир, 2006. — 700 с. — (Литературные шедевры знаменитых кинорежиссеров). 3000 экз.

"Мемуары" Лени Рифеншталь (1902—2003), впервые переведенные на русский язык, воистину сенсационный памятник эпохи, запечатлевший время глазами одной из талантливейших женщин XX века. Танцовщица и актриса, работавшая в начале жизненного пути с известными западными актерами, она прославилась в дальнейшем как блистательный мастер документального кино, классик этого жанра. Такие ее фильмы, как "Триумф воли" (1935) и "Олимпия" (1936—1938), навсегда останутся памятниками "большого стиля" тоталитарной эпохи. Высоко ценимая Гитлером, Рифеншталь близко знала и его окружение. Геббельс, Геринг, Гиммлер и другие бонзы Третьего рейха описаны ею живо, с обилием бытовых и даже интимных подробностей.

Ружевич Тадеуш *Грех (Grzech)* / Перев. с польск. Е. Поповой, И. Подчищаевой, Е. Верниковской, М. Курганской, Е. Барзовой и Г. Мурадян, Э. Гессен, И. Адельгейм, О. Чеховой, К. Старосельской, С. Равва, О. Катречко, М. Габачовой. — М.: Текст, 2005. — 352 с. — (Впервые). 3000 экз.

Тадеуш Ружевич — особое явление в современной польской литературе, ее гордость и слава. Едва ли не в каждом его произведении, независимо от жанра, сочетаются вещи, казалось бы, плохо сочетаемые: нарочитая обыденность стиля и экспериментаторство, эмоциональность и философичность, боль за человека и неприкрытая ирония в описании человеческих поступков. В России Ружевича знают куда меньше, чем он того заслуживает. Сборник "Грех" отчасти восполняет досадный пробел.

В "ИЛ" публиковались стихи и рассказы Тадеуша Ружевича (1956, № 8; 1967, № 2; 1969, № 7; 1978, № 5; 1989, № 3, 1998, № 7; 2000, № 8; 2005, № 5), поэмы *Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста* (1998, № 7) и *Беспрестанное опускание* (2002, № 3), пьеса *Западня* (1989, № 3).



Туссен Жан-Филипп *Месье. Любить (Monsieur. Faire l'amour)* / Перев. с франц. Ирины Радченко. — М.: Иностранка, 2006. — 176 стр. — (ИЛлюминатор). 5000 экз.

Знаменитый бельгиец Жан-Филипп Туссен, один из самых утонченных прозаиков рубежа тысячелетий, лауреат премии Медичи 2005 года, чемпион мира по интеллектуальной игре в "скрэббл", кинорежиссер, фотограф и литературный экспериментатор, покорил мир двадцать лет назад бестселлерами "Ванная комната" (1985) и "Фотоаппарат" (1988). Туссен — лидер направления европейской прозы, которое называют "новый 'новый роман'".

"Месье" (1986; экранизирован автором в 1989 г.) и "Любить" (2002) — это два текста о любви, где чувства персонажей находятся в постоянном разладе с поступками. Действие одного происходит в Париже, другого — в Токио. Герой первого, молодой застенчивый интеллектуал, вполне мог бы оказаться и повзрослевшим героем второго: в фокусе разные этапы его отношений с любимой женщиной и с миром. Хрупкое, вибрирующее от эмоционального накала авторское письмо открывает читателю больше, чем выражено собственно словами.

В "ИЛ" опубликованы романы Жан-Филиппа Туссена *Месье* (2001, № 3) и *Фотоаппарат* (2002, № 1).

Великобритания

Премия *Россика*

В октябре 2005 года в Российском посольстве в Лондоне состоялось вручение премии "Россика", первой (и пока единственной) в мире награды за литературный перевод с русского языка на английский. В конкурсе участвовало тридцать пять переводчиков, опубликовавших свои работы с 2001 по 2004 годы. Победитель получил полторы тысячи фунтов и приз — раскрытую книгу из бронзы (издательству также причиталось пятьсот фунтов). Список финалистов определило авторитетное жюри: профессор Джон Элсворт из Манчестерского университета, почетный профессор Оксфордского университета Джеральд Смит (переводчик поэзии А. Галича, Б. Слуцкого и составитель двуязычной антологии "Современная русская поэзия") и профессор Эссекского университета Анжела Ливингстон (автор книг о Платонове, Цветаевой и Пастернаке).

Торжественному событию предшествовал литературный вечер в книжном магазине журнала "Лондон ревью оф букс", на котором финалисты читали фрагменты из переведенных ими книг. В шорт-лист вошли: Эндрю Бромфилд (роман М. Кононова "Голая пионерка"), Роберт Магуайр (поэма Н. Гоголя "Мертвые души"), Оливер Риди (сборник рассказов Ю. Буйды "Прусская невеста"), Арч Тэйт (роман А. Волоса "Хуррамабад"), Роберт и Элизабет Чандлер и Ольга Меерсон (повесть А. Платонова "Джан"), Хью Эплин (повесть М. Булгакова "Роковые яйца"). Жюри особо отметило работы Майкла Молнара, переводчика стихов В. Кривулина, вошедших в книгу "Десять русских поэтов. Переживая XX век", и Робина Кембэла, переводчика поэмы М. Цветаевой "Вехи".

После вскрытия заветного конверта публика узнала имя победителя: им стал самый молодой переводчик Оливер Риди (р. 1976). Он изучал русский в Оксфорде и в лондонском Институте славянских и восточноевропейских исследований, а теперь работает над диссертацией "От Алешковского до Галковского: Похвала глупости в современной русской прозе". Следует добавить, что в 2001 году в переводе Риди вышел роман Юрия Буйды "Дон Домино".

Учредитель премии — основанная в 2000 году британская филантропическая организация "Академия Россика", в чьи задачи входит популяризация на Западе российского культурного наследия. Этой цели служит и журнал "Россика", единственное англоязычное издание, посвященное российской культуре. В 2005 году спонсором конкурса переводчиков выступил фонд Б. Н. Ельцина.

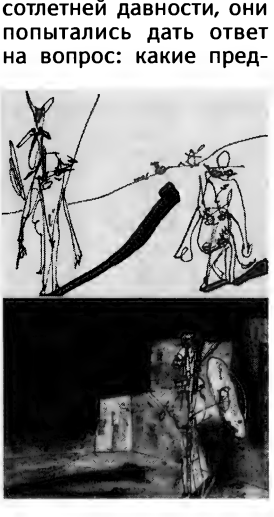
Начинание оказалось успешным, и было решено проводить конкурс регулярно — раз в два года. С его условиями можно ознакомиться на сайте www.academia-rossica.org

Испания

Вечно живой роман

Широко отмечавшееся не только в Испании, но и во всем мире 400-летие "Дон Кихота", безусловно, стало знаменательной вехой в истории культуры. Однако с окончанием официальных торжеств поток книг, посвященных знаменитому роману Сервантеса, отнюдь не иссяк.

Недавно в барселонском издательстве "Критика" вышел сборник "Наука и 'Дон Кихот'", составленный Хосе Мануэлем Санчесом Роном. В него вошли статьи специалистов в пятнадцати различных областях. Анализируя уровень научных знаний четырехсотлетней давности, они попытались дать ответ на вопрос: какие пред-



Дон Кихот и Санчо Панса перед мельницами. Рисунок Антонио Сауры, представленный на выставке "'Дон Кихот' Антонио Сауры"

ставления об окружающем мире существовали в эпоху Сервантеса? Хотя сам Сервантес и заверял в предисловии, что его сочинение не содержит научных сведений, способных поразить воображение публики, участники сборника сумели почерпнуть из романа массу полезной и занимательной информации, имеющей отношение к географии, астрономии, навигации, математике, медицине, горному делу, естествознанию и даже кулинарии.

Мир "Дон Кихота" настолько богат и разнообразен, что для его освоения сегодняшним читателям потребовался бы не один справочник. Иначе, полагают ученые, трудно в полной мере понять роман, не говоря уже о том, чтобы верно оценить познания благородного идальго, который, как известно, считал себя докой в законоведении и теологии, знахарстве и астрологии.

Кроме того, разве не любопытно узнать, воспринимал ли Дон Кихот мельницы как нечто диковинное или же в Ла-Манче той поры они были столь же привычной деталью пейзажа, как сейчас ветряные двигатели, весьма редкие еще двадцать лет назад? Или: почему автор "Дон Кихота" относил летучих мышей к птицам? Как явствует из книги "Наука и 'Дон Кихот'", никакой ошибки в этом не было: в XVI веке птицами считали всю летающую живность.

Франция

Литература на экспорт

По данным Издательского центра (организации, помогающей французским издателям наладить международные связи), Франция продает в четыре раза больше авторских прав, чем покупает, причем за последние пять лет эта тенденция заметно упрочилась. Больше всего поклонников у французской литературы в Испании и Италии, затем следуют Южная Корея, Германия, Португалия и Бразилия. По словам Жаклин Фаверо, руководителя отдела авторских прав издательства "Альбен Мишель", история любви между Парижем и Сеулом началась с перевода на корейский романа популярного фантаста Бернара Вербера "Муравьи", который за два месяца разошелся двухмиллионным тиражом.

Что касается Германии, то здесь недавно литературными премиями были отмечены сразу два французских автора: Ясмина Реза и детективщица Фред Варгас. Кроме того, в десятке бестселлеров журнала "Шпигель" уже полгода числится роман Анны Гавальды "Просто вместе". Но самого заметного успеха на родине Гёте добился драматург Эрик-Эммануэль Шмитт: его повесть "Мсье Ибрагим и цветы Корана" была напечатана здесь в количестве 800 тысяч экземпляров, а это в два с лишним раза больше, чем во Франции.

Круг писателей, переведенных на более чем 30 языков, довольно узок. Помимо Мишеля Уэльбека, к нему принадлежат Амели Нотомб, Филипп Делерм, Гонкуровский лауреат 2004 года Лоран Годе и уже упомянутая Анна Гавальда. Имеется в этом кругу и своя чемпионка — искусствовед Катрин Милле, чей скандальный роман "Сексуальная жизнь Катрин М." жадно обсуждали читатели в 44 странах. И все-таки трудно привести читательские вкусы к общему знаменателю. Например, иронические детективы Даниэля Пеннака имели большой успех в Германии и провалились в Англии. Несмотря на все усилия агентов, мелодрамы Марка Леви так и не нашли отклика у американской аудитории. При этом выпущенный во Франции весьма скромным тиражом роман Мюриэль Барбери "Гурманка" привлек к себе внимание более десятка зарубежных издательств.

Французские издатели сетуют, что их иностранные коллеги, делая ставку на занимательный сюжет, избегают публиковать автобиографические произведения. Так, за пределами Франции практически неизвестен прозаик и режиссер Александр Жарден, чей последний полумемуарный роман очень хорошо приняли французская пресса и читатели. Непростая издательская судьба за границей складывается и у книги Мари Нимье, посвященной отцу, одному из самых ярких писателей 50-х годов, и это несмотря на то, что в 2004-м роман был удостоен престижной премии "Медичи".

Япония

Последнее интервью Юкио Мисимы

25 ноября 1970 года знаменитый писатель Юкио Мисима покончил с собой, сделав харакири на одной из токийских баз Сил самообороны.

За неделю до смерти он дал эксклюзивное интервью Хирокадзу Маэ-

де, репортеру японской газеты "Сюкан пост". Это интервью, ставшее последним в жизни писателя, не было опубликовано и появилось — в виде книги — только недавно, в 35-ю годовщину со дня его смерти.

"Я собирал материалы о людях, родившихся в 20-е годы, — вспоминает Маэда. — И Мисима стал первым, к кому я обратился с вопросами".

"Я не верю моему поколению. Ему не хватает искренности, — ответил Мисима. — Я охотнее общаюсь с молодежью. Главный недостаток нынешних молодых людей — отсутствие терпения. Им надо воспитывать в себе стоицизм. Японский дух сумеют возродить самураи, соблюдающие наши традиции". По словам Мисимы, многие иностранные интеллектуалы относятся к самураям с подозрением, видя в них духовных братьев милитаристов и нацистов, однако "ни милитаризм, ни нацизм не требуют от своих адептов таких форм самопожертвования, поэтому 'путь воина' не имеет с ними ничего общего".

"У Мисимы был очень сильный голос, — рассказывает Маэда. — Он стоял прямо, гордо расправив плечи. Помнится, меня смутил его пристальный взгляд. Он был на 10 сантиметров ниже

Ю. Мисима

меня, но это не имело значения. Он обладал аурой".

Интервью вместо запланированных 15 минут длилось более часа. По его окончании репортер стал договариваться с писателем о новой встрече, чтобы сделать фотографии. "25-е у меня занято. Давайте встретимся 27-го", — предложил Мисима.

"Новость о его смерти потрясла меня до глубины души, — делится с корреспондентом интернет-газеты "Япония сегодня" Маэда. — Помнится, сначала я даже разозлился: Мисима столько твердил о самурайской этике и об ответственности, а сам нарушил слово. Я не понимал причин, побудивших его совершить роковой шаг".

Не понял их и тогдашний премьер-министр Садо, расценивший поступок Мисимы как признак безумия.

"Мне не хотелось обнародовать интервью сразу после смерти Мисимы. Его жена утверждала, что муж не строил никаких планов на будущее, постаравшись завершить все дела к 25-му числу, и я боялся, что мои записи лишь посеют дополнительное смятение в умах. Я решил оставить их себе на память", — вспоминает Маэда.

Что же заставило его сейчас выпустить книгу?

"Согласно буддийскому верованию, в 33-ю годовщину со дня смерти душа человека покидает этот мир, — поясняет Маэда. — Поэтому два года назад я стал подумывать о том, чтобы вернуться к интервью и еще раз его проанализировать. Кроме того, я не думаю, что самоубийство Мисимы было делом предрешенным, и мне бы хотелось, чтобы публика узнала, какие мысли он высказывал за неделю до трагедии".

По материалам интернет-портала "Джапан тудей" [Япония], газет "Гардиан" [Великобритания] и "Паис" [Испания], еженедельника "Нувель обсерватёр" [Франция].

Питер Шеффер
Peter Shaffer
[р. 1926]. Английский драматург. Лауреат многих премий, в том числе двух высших театральных премий *Тони* [1975, 1981].

Автор пьес *Соленая земля* [*The Salt Land*, 1954], *Пьеса для одной руки* [*Five Fingers Exercise*, 1958], *Королевская охота за солнцем* [*The Royal Hunt of the Sun*, 1964], *Черная комедия* [*Black Comedy*, 1965], *Эквус* [*Equus*, 1973], *Амадей* [*Amadeus*, 1979] и др. На российской сцене ставились его пьесы *Амадей*, *Темная история*, *Эквус* и др.
Публикуемая пьеса печатается по изданию *Yonadab* [London: Macnaughton Lord, 1985].

Ван Мэн
[р. 1934]. Китайский писатель. В 1986–1989 гг. был министром культуры, в настоящее время – заместитель председателя Союза китайских писателей, заместитель председателя китайского ПЕН-клуба, ректор Института литературы китайского университета Хайян. Лауреат многих национальных и международных премий.

В Китае издано несколько собраний его сочинений. Издательство *Жэньминь вэньсюэ* в настоящее время выпускает *Архив произведений Ван Мэна* в 23 томах.
Автор романов *Да здравствует юность* [1979], *Марионетки* [1986], *Сезон любви* [1993], *Сезон утрат* [1994] и др., а также многих повестей и рассказов. На русском языке выходили его повесть *Чалый* [1985]; *Избранное* [1988] и др. В *ИЛ* печатались его рассказы [1981, № 11; 1986, № 9], повесть *Мертвеющие корни самшита* [2004, № 5], а также интервью с ним [2005, № 4].
Микрорассказы, публикуемые в номере, присланы автором в рукописи. Они войдут в книгу микрорассказов Ван Мэна, готовящуюся к изданию в Китае.

Илья Сергеевич Смирнов
[р. 1948]. Переводчик и исследователь классической и современной литературы Китая, кандидат филологических наук.

В его переводе опубликованы книги *Из китайской лирики VIII–XIV веков* [1978], *Яшмовые ступени. Китайская поэзия эпохи Мин. XIV–XVII вв.* [1989], *Призрачная тень. Поэзия эпохи Мин* [2000], *Небесный мост. Поэзия Гао Ци 1336–1374* [2000]. В *ИЛ* печатались его переводы из средневековой китайской поэзии [1986, № 10 и 1999, № 6], повестей *Мимоза* Чжан Сянляна [1988, № 8] и *Красная Азалия. Жизнь и любовь в Китае* Аньци Минь [1996, № 6], стихов Ян Ляня [2004, № 1] и др.

Роберт Крили
Robert Creeley
[1926–2005]. Американский поэт, поэт-лауреат штата Нью-Йорк [1989–1991], председатель Американской поэтической академии [1999–2005]. Награжден медалью им. Фроста, медалью Шелли, лауреат Боллингеновской премии [1999], почетной стипендии Гуггенхайма и др.

Автор более 60-ти поэтических книг, изданных в США и за рубежом, среди них: *Ради любви. Стихи 1950–1960* [*For Love: Poems 1950–1960*, 1962], *Перст* [*The Finger*, 1968], *По прошествии времени* [*Later*, 1979], *Зеркала* [*Mirrors*, 1983], *Сады памяти* [*Memory Gardens*, 1986], *Жизнь и Смерть* [*Life & Death*, 1998] и др.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, канди-

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Ж. Гина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Фер-

дат филологических наук. Лауреат премии *Инолитл* [2002].

лингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор многих работ по английской поэзии рубежа XVI–XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Салим Баши
Salim Bachi
[р. 1971]. Французский писатель.

Автор романов *Кахина* [*La Kahéna*, 2003; премия *Тропик*], *Убейте их всех* [*Tuez-les tous*, 2006] и книги эссе *Автопортрет с Гранадой* [*Autoportrait avec Grenade*, 2005]. Публикуемый роман *Пёс Одиссея* был удостоен Гонкуровской премии. Роман публикуется по изданию *Le Chien d'Ulysse* [Paris: Gallimard, 2001].

Екатерина Эдуардовна Лямина
Филолог, историк литературы, переводчик с французского и английского языков. Лауреат премии им. Мориса Ваксмахера [2004].

В ее переводе публиковались роман К. Симона *Приглашение*, эссе И. Берлина, Ж. Нива, проза М. Озуф, Ж. Старобинского, Ж. Делюмо и др., мемуары, письма и дневники императрицы Елизаветы Алексеевны, Н. М. Карамзина, Н. Н. Пушкиной, Е. А. Баратынского и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Балинт Балашши
Bálint Balassi
[1554–1594]. Венгерский поэт, крупнейший представитель возрожденческой традиции в венгерской литературе, предтеча современной венгерской поэзии.

Публикуемые стихи взяты из сборника *Избранное* [*Összes versei*. Budapest: Osiris Kiadó, 2004].

Юрий Павлович Гусев
[р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук. Лауреат премии Тибора Дёри [1997].

В его переводе были опубликованы романы *Вина* и *Милосердие* Л. Немета, *Старомодная история* М. Сабо, *Градооснователь* и *Соучастник* Д. Конрада, романы *Без судьбы*, *Кадиш по нерожденному ребенку*, *Самоликвидация* и повести *По следам*, *Английский флаг* и *Протокол* И. Кертеса. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны повесть Д. Конрада *Тяжелый день* [1991, № 4], дневники Шандора Мараи [1993, № 12], роман С. Эрдега *Безымянная могила* [1998, № 5], главы из романа *Гунны в Париже* Д. Ийеша [2003, № 7], стихи Д. Петри [1998, № 10], И. Оравца [2001, № 3], рассказы М. Корниша [1995, № 3], Л. Дарваши [1997, № 2] и др.

Джон Фаулз
John Fowles
[1926–2005]. Английский писатель.

Автор романов *Коллекционер* [*The Collector*, 1963; рус. перев. 1991, Библиотека *ИЛ*], *Женщина французского лейтенанта* [*The French Lieutenant's Woman*, 1969; рус. перев. 1985], *Червь* [*A Maggot*, 1985; рус. перев. 1996], повести *Мантисса* [*Mantissa*, 1982; рус. перев. 2000], сборника афоризмов, посвященных проблемам искусства и философии *Аристос: автопортрет в идеях* [*The Aristos. A Self-Portrait in Ideas*, 1965; рус. перев. 2001] и др. В *ИЛ* были напечатаны его повесть *Башня из черного дерева* [*The Ebony Tower*, 1979, № 3], романы *Дэниэл Мартин* [*Daniel Martin*, 1989, № 10–12], *Волхв* [*The Magus*, 1993, № 7–9], фрагменты книги *Кротовые норы* [*Wormholes*, 2002, № 1]. Фрагменты дневников публикуются по изданию *The Journals, Volume I* [London: Jonathan Cape, 2003].

Павел Лемберский
[р. 1956]. Русский писатель, сценарист. Лауреат ряда российских конкурсов сетевой словесности. С 1977 г. живет в США.

В нью-йоркском издательстве *Слово\Word* вышла его книга *Река № 7* [2000]; рассказы публиковались в журналах *Соло*, *Новый журнал* и др. В России известен по *Антологии современного рассказа* [2000] и авторскому сборнику *Iород убывающих пространств* [2002]. Переводился на немецкий, английский, финский, иврит и др. языки. Многие его рассказы опубликованы в Интернете.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Сергей Эмильевич Таск
[р. 1952]. Поэт, прозаик, переводчик.

Публиковал стихи, прозу, пьесы и литературную критику в русскоязычных и зарубежных журналах и издательствах. Переводил пьесы современников Шекспира и драматургов нашего времени, прозу Дж. Оруэлла, Дж. Сэлинджера, П. Остера, С. Кинга; поэзию Дж. Китса, У. Б. Йейтса, С. Малларме, Э. Лира, Э. Йонг и др. В *ИЛ* публиковались его перевод лимериков Э. Лира [1982, № 3] и интервью с Полом Остером [2005, № 3].

Ольга Михайловна Мазо
Научный сотрудник Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук.

Впервые публикуется в *ИЛ*.

Аркадий Трофимович Драгомощенко
[р. 1946]. Поэт, прозаик, переводчик. Лауреат премии Андрея Белого [1978], премии электронного журнала *Post modern culture* [1995].

Автор многих поэтических книг, среди них: *Небо Соответствий* [1990], *Description* [1990], *Xenia* [1993], *Фосфор* [1994], *Описание* [2000], *На берегах исключенной реки* [2005], романа *Китайское солнце* [1997] и др. В его переводах публиковались стихи М. Бланшо, Р. Крили, Ч. Милоша, М. Палмера, Ч. Олсона, Б. Уоттена, Л. Хеджинян, Дж. Эшбери и др.

Ирина Викторовна Машинская
Поэт, переводчик с английского. Лауреат Первого международного конкурса Клуба русских поэтов [Нью-Йорк, 1995], конкурса *Сетевой Бродвей* [2000], поэтического сетевого конкурса *Русская Америка* [2001], 3-го Филаретовского конкурса религиозной поэзии [2002], Первого международного конкурса им. М. Волошина [2003].

Автор поэтических книг *Потому что мы здесь / Because We Are Here* [1995], *После эпиграфа* [1996], *Простые времена* [2000], *Стихотворения* [2001], *Путнику снится* [2004]. Ее стихи переводились на сербский, итальянский, французский и английский языки. В ее переводах публиковались стихи И. Греннана, Р. Фроста, Р. Л. Стивенсона, Э. Файнстайн, К. Чури, Дж. Дрю.

Григорий Геннадьевич Стариковский
[р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, С. Беккета, Э. Хекта, Д. Махуна, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его переводы Л. Арагона [2002, № 5], Л. Глик [2004, № 4], П. Каванаха [2006, № 3].

Александр Алексеевич Стесин
[р. 1978]. Поэт, переводчик. С 1990 г. живет в Нью-Йорке. Куратор литературных вечеров в Нью-Йорке *Проект ГОРОД*.

Автор книг стихов *Мягкий дым тополей* [1998], *Точка отсчета* [2002]. Подготовил к печати антологию *Современная русская поэзия в Америке*.

Дарья Юрьевна Анисимова
Аспирантка филфака МГУ.

В *ИЛ* в ее переводе печаталось стихотворение А. Йожефа [2004, № 5].

Владимир Александрович Леванский
[р. 1942]. Поэт, переводчик с немецкого, английского и венгерского языков, сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук.

Автор книг стихотворений *Шародейство* [1976] и *Пытка светом* [1990]. В его переводах опубликованы стихотворения Р. М. Рильке, И. Бобровского, Г. Гейне, П. Целана, Г. Маурера, Г. фон дер Вринга, Н. Ленау, Ф. Сидни, Д. Г. Лоуренса и др.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков.

Автор стихотворных сборников *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], а также книг для детей *Последний день учения* [1989], *Ракушки* [2001] и др. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. К. Честертона, Г. Лонгфелло, Р. Бернса, П. Ронсара, П. Верлена, Э. Фарджен, А. Милна и др. В *ИЛ* в ее переводах печатались стихи Г. К. Честертона, Дж. Чосера, Д. Паркер, В. Набокова, В. Сета, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга и др.

Михаил Рафаилович Вирозуб
[р. 1962]. Поэт, публицист, переводчик с английского и немецкого языков.

В его переводах публиковались стихи Г. Воэна, А. Каули, О. Хаксли, К. Эмиса, Б. Патерсона, К. Моргенштерна, сказки Л. Ф. Баума и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Валерия Ивановна Бернацкая
Литературный критик, переводчик с английского, кандидат филологических наук.

Автор книг *Четыре десятилетия американской драмы (1950—1980)* [1993] и *Онассис: любовь и бизнес* [2000], а также статей по американской и английской литературе. В ее переводе опубликованы произведения Э. Олби, Д. Мэмета, В. Аллена, Г. Брентона, Г. Лавкрафта, У. Фолкнера, Т. Уильямса, А. Азимова, Дж. Болдуина, Г. Миллера, А. Конан Дойла и др. В *ИЛ* публиковались ее переводы повести Дж К. Оутс *Черная вода* [1997, № 3], рассказов Т. Вулфа [1998, № 10], фрагменты биографии *Я, Феллини* Ф. Феллини и Ш. Чэндлер [2002, № 3].

Екатерина Борисовна Аралова
Переводчик с немецкого языка, преподаватель.

В ее переводе опубликован цикл рассказов Й. Фальцой *Кино* и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины современного китайского художника Чжан Сяоганя из серии *Семейные черты* [1997].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.2.2006
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 436.
Тираж 7400 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[5] 2006

РОМАН КРИСТОФЕРА Т. БАКЛИ "ФЛОРЕНС АРАВИЙСКАЯ" / СТИХИ АЛЬФРЕДА ТЕННИСОНА / ПЬЕСА ГАРОЛЬДА ПИНТЕРА "БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА" / АЛЕКСАНДР ВАТ И ЧЕСЛАВ МИЛОШ В РУБРИКЕ "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА" / НАШИ ГОСТИ: АЛАН СИЛЛИТОУ И РУТ ФЭЙНЛАЙТ / "МИФОГЕННАЯ ЗОНА" КСЕНИИ СТАРОСЕЛЬСКОЙ В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

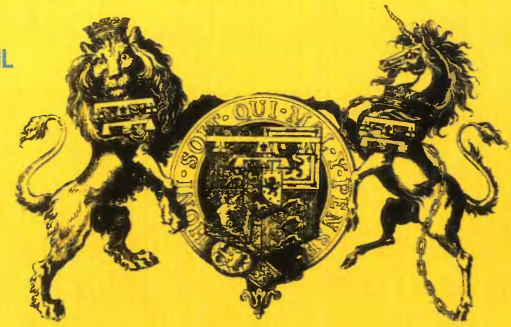
БРИТАНСКИЙ СОВЕТ В РОССИИ / ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» /
ГАЗЕТА «КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» / СОЮЗ «МАСТЕРА ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА»

объявляют конкурс

"Единорог и Лев"

на лучший перевод на русский язык литературы Британских островов

BRITISH COUNCIL Russia



книжное обозрение

Премия за лучший перевод будет присуждена в двух номинациях:
перевод прозы / перевод поэзии

На конкурс принимаются переводы произведений авторов с Британских островов. Произведения для конкурса должны быть впервые опубликованы на языке оригинала с 1980 по 2005 год; переводы на русский язык – с 2000 по 2005 год.

Выдвижение на соискание премии могут осуществлять:
издательства / редакции газет и журналов, регулярно освещающих литературный процесс / библиотеки федерального подчинения / областные научные универсальные библиотеки / национальные библиотеки республик / краевые библиотеки.
Каждая организация может выдвинуть
не более двух произведений в каждой номинации.

Выдвижение на соискание премии будет производиться с 15 марта до 15 мая 2006 года. Заявку и 2 копии издания, содержащего номинируемый перевод, необходимо прислать до 15 мая по адресу: 129272, Москва, Сущевский вал, 64. Редакция газеты «Книжное обозрение». На конверте должно быть указано: Премия «Единорог и Лев».
Организаторы оставляют за собой право не рассматривать заявки, поступившие после 15 мая.

Заявка должна содержать в себе следующую информацию:
название произведения (на русском и английском языках) / фамилию и имя автора (на русском и английском языках) / фамилию и имя переводчика и краткую информацию о нем / контактные координаты номинирующей организации / фамилию и имя представителя номинирующей организации.

Объявление итогов конкурса состоится на Московском международном открытом книжном фестивале, который пройдет с 30 июня по 2 июля 2006 года.
Премия победителям –
участие в Эдинбургском книжном фестивале в августе 2006 года.
В дальнейшем конкурс предполагается сделать ежегодным.
За дополнительной информацией обращайтесь
в Британский Совет к Татьяне Ильиной / tatiana.ilyina@britishcouncil.ru

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2006, №4, 1-288